



Леонид Шинкарев

Я это всё почти забыл...

**Опыт психологических очерков
событий в Чехословакии
в 1968 году**

Но что с того, что я там был,
В том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть...

*Юрий Левитанский,
участник освобождения
Праги в 1945 г.*

Шинкарев Леонид Иосифович

Я это всё почти забыл... Опыт психологических очерков событий в Чехословакии в 1968 году. М., Собрание, 2008, 447 с. ISBN 978-5-9606-0062-0

Эта книга о том, как в событиях 1968 года проявилась психология руководства СССР и Чехословакии, народов двух стран, их традиции и историческая память. Воспоминания участников событий, документы из архивов в Москве и Праге, в том числе впервые публикуемые, впечатления автора и его переписка с Иржи Ганзелкой и Мирославом Зикмундом на протяжении более сорока лет помогут глубже понять мотивы решений, повлиявших на историю новой Европы. Обращение к прошлому проникнуто уважением к соседним народам, любовью к Родине и болью за нее.

* * *

Данная электронная версия книги является не полной копией первого издания (Москва, «Собрание», 2008). Внесены некоторые исправления и уточнения, учитывающие новые источники. Используются фотоснимки из архива автора, опубликованные в печатном русском и чешском издании (переводчики Людмила Душкова и Вацлав Данек, Прага, «Akropolis», 2009).

Хочу поблагодарить всех, помогавших мне на разных стадиях работы над книгой, в том числе И. Ванчuru, В. Ведрашку, З. Горжени, Е. Дарагана, А. Ермолаеву, М. Каргера, Я. Петранека, С. Стулова.

Леонид Шинкарев

Ноябрь, 2016 г.

Содержание

От автора

Глава первая

«В ваших руках судьба Европы...»

Находка в рабочем столе Брежнева. «У вас есть ко мне допуск?» Интернированные чехословаки в лагерях СССР. Камбулов и Свобода забрасывают в Чехословакию парашютистов. «Мы не знали антисоветизма, и если что-то страшное случилось, у него есть точная дата возникновения – 1968 год». Ивашутин и ракетно-ядерный удар. «Леонид Ильич... на вас рассчитывает...»

Фотографии к главе 1

Глава вторая

«Границы нет. Дом наш только один...»

Ганзелка и Зикмунд за четыре года до вторжения. В «Татрах-508» от Ангары до Енисея. «Нас хоронили в одних могилах». Станция Зима: «Эти танки... Стыд-то какой перед людьми...» Чешская речь в Нижнеудинске. «Спецотчет № 4» и переполох в Москве. Академик Капица о «большом медведе»

Фотографии к главе 2

Глава третья

«А если все не так?»

Брежнев пишет Дубчеку «личные письма». «Выходи из партии или выполняй принятое решение». «Мир идет огромными шагами вперед...» Бовин и Сынек на перроне Чиерны-над-Тисой. Как Шелест получил «Обращение пятерых». Экономист Лисичкин: «Своих друзей предали...» На иркутском партийном пленуме. Что думали о чехах и словаках в КГБ. Ночной разговор с директором атомного комбината в Сибири

Фотографии к главе 3

Глава четвертая

«Мы чувствовали себя последними дураками...»

Посол Червоненко: «Больше всех не хотел военного решения Андропов...» Косыгин и Зимянин над «Заявлением ТАСС». Три версии разговора с министром Дзуром. Драма семьи Свободы. Полночная встреча в Граде. «Мы чувствовали себя последними дураками...» «Сделать из Праги Будапешт я не дам!» Как Черник подписался под своей судьбой

Фотографии к главе 4

Глава пятая

«Прости нас, Прага...»

Исповедь десантника Нефедова. «Приказы не обсуждаются». «Прости нас, Прага...» «Я не говорю, что сошли с ума, но какой-то сдвиг произошел». Над кем смеялась площадь. «Морально нам было тяжело...» Капитан Шлапак спасает честь армии. Приматор Черный в плену у капитана Медведева. «Он был слишком молод, чтобы понять грустную улыбку Гуса»

Фотографии к главе 5

Глава шестая

«Свои взгляды как перчатки не меняю...»

Член Политбюро Мазуров: «Самое главное не то, что я вернулся, а то, что ни одного чеха не похоронил». Стычки в окружении Брежнева. Генерал Павловский взгляды не меняет. «Кого бояться? Силу!» Чего стыдился под конец жизни командарм Майоров.

Комендант Брно Иванов не хотел бы снова начинать от Сталинграда. Причина бессонницы генерала Левченко

Фотографии к главе 6

Глава седьмая

«Я прошу вас, не молчите!»

Иржи Гаек против Якова Малика. Москвич Цукерман защищает честь чехословацкого министра. «Всегда оставаться людьми». Что считал своей ошибкой подполковник безопасности Зденек Форманек. Совесть нации на XIV съезде КПЧ в Высочанах. Зикмунд обращается по радио к друзьям в СССР. «Давно пора Брежневу хвост укоротить»

Фотографии к главе 7

Глава восьмая

«...Утонули люди. Но это все мелочи»

У Густы Фучиковой. «Рабоче-крестьянское правительство» или оккупационный статус? Ленарт: «Одна мысль сверлила меня: плохо мы работали, если дошли до этого...» Брежнев угрожает гражданской войной. Как подписывали «Московский протокол». «Неужели Чехословакия будет бороться за Кригеля?» У Ривы на Сметанце. Петр Шелест: «Если б я был антисемитом...»

Фотографии к главе 8

Глава девятая

«Три года я ждал эти слова...»

Письмо Анатолия Марченко в редакции газет. Три часа с Ларисой Богораз. Голоса несогласной России. Две встречи с А.Яковлевым. Евтушенко читает «Танки идут по Праге...». Прогулки с Левитанским. Над дневниками Твардовского. Поэт Урин пишет в Политбюро. Тайная встреча с Иржи Ганзелкой

Фотографии к главе 9

Глава десятая

«Взять совесть за сердце...»

Факел на Вацлавской площади. Зденка Кмуничкова у постели Яна Палаха. «Он не самоубийца и не буддист...» Чего боялись Брежнев и Косыгин. Страшный список Яна Черного. Поездка во Вшетаты. У Милослава Слаха, школьного учителя Яна

Фотографии к главе 10

Глава одиннадцатая

«Десятилетия пошли к черту...»

Картинки времен «нормализации». «Я не готов иметь с этой партией что-либо общее, агой!» «Ясно, что больших путешествий у меня не будет...» «Придется распрощаться с моим домом». Чьи были кости в снегах Килиманджаро? Ганзелка в перестроечной Москве. Две встречи с Дубчеком

Фотографии к главе 11

Глава двенадцатая

«И все же, зачем вы пришли?»

Встречи с чешской эмиграцией. Зденек Млынарж, друг Михаила Горбачева. У президента Вацлава Гавела в Праге. Иллюзия массового сознания: «Нас не любят, потому что мы сильные...» «Юра уже более 12 месяцев в больнице». Католики и православные в 1968 году. Зикмунд о Ганзелке: «Мне очень жаль, что я никаким способом не могу ему помочь...» Чем отличаются чехи и русские

Фотографии к главе 12

Глава тринадцатая

«Больше нет чувства вины...»?

Ветеран войны в электричке: «Великая страна никого не держит силой...» Психический надлом российской армии в Чехословакии. «Они кто – нападающие “Динамо”?» «Я рад, что Юра не дожил до того, чтобы читать эти документы». Зачем чехам американский радар? В Злине у Мирека в 2007 году. Как прощались с Иржи Ганзелкой

Фотографии к главе 13

Послесловие

Примечания

От автора

Каждая историческая драма рано или поздно уходит в прошлое, для потомков все менее интересное; у эпохи, пришедшей на смену, свои, новые коллизии. Но в событиях, даже очень давних, пусть уже смутно различимых, есть аспект очень важный, бесконечно воспроизводимый в дальнейшем течении времени. Это психологическая сущность индивидуальных и групповых поступков, влияющих на ход истории.

Можно помнить, при каких деятелях что именно произошло, только что нам от этих знаний, если мы не представляем, чем жили, как воспринимали других людей, что думали и чувствовали участники событий; шли ли они в своих замыслах по дороге к храму или в обратном направлении.

Еще не все документы о событиях вокруг Пражской весны доступны исследователям, но даже когда откроют архивные фонды полностью, вряд ли принципиально изменятся наши представления о самой военно-политической акции пяти стран Варшавского договора. Смысл обращения к этой теме для меня не в том, чтобы еще раз предъявить счет прошлому, а в ином, на мой взгляд, важном подходе, выраженном в подзаголовке повествования: «Опыт психологических очерков...»

Это ни в коей мере не хроника пражского реформаторства и его подавления, ее аспектами занимаются более подготовленные историки Чехии, Словакии, России, США, стран Европы. И хотя избежать некоторые известные факты в книге вряд ли удастся, мне бы хотелось в центр повествования поставить характеры и поведение людей, столкнувшихся в драме 1968 года, присмотреться в этой истории, как сказали бы пражские реформаторы, к ее «человеческому лицу».

Хотя заметки, наблюдения, воспоминания опираются на архивные и другие надежные источники, подход к ним неизбежно субъективен, часто эмоционален, ибо автор хотел бы не только ввести в оборот некоторые новые или малоизвестные исторические материалы, но и предложить их трактовку.

В основу же повествования легли устные свидетельства – важная часть общечеловеческой памяти. В моем архиве 156 аудиокассет, каждая по 90 минут, с записью моих бесед в течение почти сорока лет (1968–2007) с руководителями СССР и ЧССР:

Геннадием Вороновым, Вацлавом Гавелом, Иржи Гаеком, Александром Дубчеком, Михаилом Зимяниным, Владимиром Кадлецом, Константином Катусевым, Йозефом Ленартом, Кириллом Мазуровым, Зденеком Млынаржем, Честмиром Цисаржем, Олдржихом Черником, Петром Шелестом, Венеком Шилганом, Богумилом Шимоном, Александром Яковлевым;

с партийными и общественными деятелями Андреем Александровым-Агентовым, Георгием Арбатовым, Ларисой Богораз, Эдуардом Гольдштюккером, Любошем Добровски, Зое Клусаковой (Свободовой), Миланом Клусаком, Ривой Кригловой, Ладиславом Новаком, Мирославом Полрейхом, Иржи Славой, Иваном Сынеком, Степаном Червоненко, Людвиком Черным.

В этом же ряду воспоминания военных: генерала Льва Горелова, генерала Семена Золотова, генерала Бориса Иванова, генерала Александра Ляховского, подполковника военной разведки Петра Камбулова, ефрейтора Алексея Курилова, генерала Александра Майорова, капитана Эдуарда Медве-

дева, ефрейтора Валерия Нефедова, генерала Ивана Павловского, генерала Сергея Радзиевского, генерала Михаила Сухарева, рядового Николая Успенского, подполковника безопасности Зденека Форманека;

историков, экономистов, производственников Милоша Барты, Антонина Бенчика, Карела Каплана, Иржи Косты, Геннадия Лисичкина, Галины Мурашко, Виктора Новокшенова, Бориса Орлова, Василия Цветкова, Йозефа Шедивого; журналистов и писателей Александра Бовина, Иржи Ванчуры, Любови Ванчуровой, Людвика Вацулика, Элизы Гореловой, Зденека Горжени, Виктора Зорзы, Владлена Кривошеева, Карела Ланского, Яна Петранека, Иржи Румла, Владимира Тумы, Густы Фучиковой, Генриха Ючкявичуса.

Для меня важны были также встречи с доцентом Миланом Черным и доктором Зденкой Кмуничковой, наблюдавшими Яна Палаха в его последние дни, и с Милославом Слахом из Вшетат – школьным учителем Яна.

Всем им я многим обязан и глубоко благодарен.

Разумеется, никто из них не может отвечать за то, как удавалось автору понимать собеседников.

В работе использованы также материалы Архива Института современной истории чехословацкой Академии наук (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), Архива внешней политики Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Моя искренняя признательность сотрудникам этих архивов за помощь в поисках материалов, использованных в предлагаемых очерках.

Все источники и комментарии – в примечаниях.

Вряд ли я взялся бы собирать свидетельства и документы, если бы события тяжелым катком не прошли по судьбам знакомых чехов и словаков, прежде всего – двух дорогих мне людей, разделивших со своим народом историческую драму. Один из них не дожил до наших дней, его не стало в 2003 году; другой живет в Южной Моравии, Злине, и донимает вопросами, когда я начну публиковать собранные материалы. С обоими я встретился в 1964 году в Иркутске и с ними в их «Татрах» прошел тысячу километров по Сибирскому тракту от Ангары до Енисея. Письма известных путешественников и писателей Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда за эти сорок с лишним лет нашей переписки, я надеюсь, помогут как-то структурировать, стянуть обручем архивные бумаги, воспоминания участников событий, а также мои собственные впечатления.

Мне бы никогда не завершить эту книгу, если бы не величайшее терпение моей жены Нели; она принимала на свои плечи многие мои обязанности по дому и была первым строгим читателем рукописи.

Напоследок один пражский эпизод из роковой ночи с 20 на 21 августа 1968 года; он может быть некой метафорой этих очерков. В помещении почтовой экспедиции на территории аэропорта Рузине пять женщин и старичок, ветеран из корпуса Людвика Свободы, сортировали корреспонденцию. После полуночи на почту ворвался солдат с автоматом в руках: «Всем к стенке! Руки за голову!» Он говорил по-русски. Люди стали к стенке, сцепили руки за головами. Никто не знал, что каждые полторы-две минуты на взлетно-

посадочную полосу уже садятся военно-транспортные самолеты и, не выключая двигателей, выпустив десантников и АСУ-85 (артиллерийские самоходные установки), взмывают в небо, освобождая полосу следующим.

«Сынок, – сказал старик, – ты знаешь, где находишься?» – «Знаю. В Германии!» – «Сынок, посмотри в окно». Солдат подошел к окну. Он ничего не понимал. «А куда мы пришли?!» – «В Прагу, сынок!» Солдат задумался, потом сделал знак, чтобы все вернулись на свои места. Он опустился на табурет, поставил автомат между ног и обхватил голову руками. Так он просидел, не поднимая головы, до утра, пока не пришли ему на смену другие десантники. После всего с тех пор пережитого нашими народами мы тоже задаемся вопросом: «А куда мы пришли?»

Глава первая

«В ваших руках судьба Европы...»

Находка в рабочем столе Брежнева. «У вас есть ко мне допуск?» Интернированные чехословаки в лагерях СССР. Камбулов и Свобода забрасывают в Чехословакию парашютистов. «Мы не знали антисоветизма, и если что-то страшное случилось, у него есть точная дата возникновения – 1968 год». Ивашутин и ракетно-ядерный удар. «Леонид Ильич... на вас рассчитывает...»

В середине ноября 1982 года, когда Л.И.Брежнева хоронили у Кремлевской стены, офицеры службы безопасности заканчивали осмотр его рабочего кабинета. В ящике письменного стола обнаружили семнадцать машинописных страниц: «Некоторые замечания по вопросу подготовки военно-политической акции 21 августа 1968 г.». Ни подписи, ни даты. Только три уведомления на первой странице в верхнем правом углу: «для устного доклада», «экземпляр единственный», «строго секретно». Похоже, ее составил кто-то из близкого круга. Иной не решился бы испытывать брежневское тщеславие и указывать на просчеты операции, изучаемой в военных академиях как образцовая. Но поразительней всего оказалась обозначенная цель документа: «извлечь необходимые уроки на будущее». Стало быть, новые вторжения войск прогнозировались, выглядели неизбежными. В разгоряченных умах Прага оставалась учебным полигоном для отработки грядущих, более масштабных, военных действий. За Чехословакией последует Афганистан, а кремлевская мотивация будет та же: «опередим врага или погибнем!»

Среди уроков 1968 года – четыре просчета органов госбезопасности.

Во-первых, «работа по созданию соответствующих оперативных позиций в Чехословакии была начата с опозданием. Это, безусловно, сузило наши возможности. Контрреволюция приняла решение об организованном переходе в подполье еще в марте месяце, однако нами ничего не предпринималось для того, чтобы заблаговременно внедриться в это подполье. В результате мы столкнулись в стране с исключительно высоко организованной подпольной системой сопротивления, и, если бы дело дошло до вооруженной борьбы, наша армия и специальные органы оказались бы в весьма затруднительном положении».

Во-вторых, «важной задачей специальных служб являлось проведение всеобъемлющей операции по дезинформации противника и деморализации его рядов. Эту задачу можно было решить только специальными средствами и только при условии, если бы эти средства использовались в исключительно широком масштабе, смело и на высоком профессиональном уровне. Надо было внести раскол в ряды контрреволюции, вызвать недоверие друг к другу, направить в ложном направлении усилия внешней контрреволюции, что, в конечном счете, подготовило бы благоприятную почву для принятия необходимых политических решений. К сожалению, эта задача даже не была поставлена на повестку дня».

В-третьих, не удалось «активизировать поляризацию сил среди депутатов Национального собрания и членов ЦК. Нельзя было слепо полагаться на то, что здоровые элементы стихийно возьмут верх. Им нужно было, безусловно, оказать необходимую помощь. А это было возможно только путем

индивидуальной работы с каждым человеком из упомянутой категории лиц с использованием всего арсенала известных средств».

В-четвертых, «задача, без решения которой невозможна была стабилизация положения в Чехословакии, состояла в овладении нами МВД. Независимо от политического урегулирования надо было с первых дней самым решительным, самым радикальным образом вмешаться в деятельность этого очень важного органа и овладеть всеми его позициями. Однако этого тоже сделано не было. Органы МВД оказались под контролем одного из лидеров правых – Павела»¹.

Возможно, эту записку подготовил кто-то из соратников Брежнева, из высших чинов армии или комитета государственной безопасности. Накануне ввода войск в Праге два месяца тайно находился генерал Н.В.Огарков, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. А с началом операции туда направили генерала Г.К.Цинева, заместителя председателя КГБ, близкого друга Брежнева со времен их совместной работы в Днепропетровске. Возможно, кто-то из них готовил документ? Судя по тексту, автор знаком с участием СССР в конфликтах и локальных войнах на протяжении всего XX столетия (Монголия, Испания, Финляндия, Германская Демократическая Республика, Венгерская Народная Республика и т.д.), но надеется, что главные военные действия впереди. Видимо, не зря уроки чехословацких событий Брежнев держал под рукой. Их учтут уже при организации ввода советских войск в Афганистан, когда в Кабул пошлют 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и часть офицеров 7-й воздушно-десантной дивизии, те самые отборные штурмовые части, которые, не встречая сопротивления, победно выполнили свою миссию в 1968 году.

КГБ больше не будет, как в Чехословакии, стараться устроить переворот политическим способом и с перевесом голосов пытаться заменить непослушных лидеров на послушных. Устав от затянувшейся пражской «нормализации», Кремль уберет Х.Амина и посадит на его место Б.Кармаля (афганского посла в Чехословакии), старым способом, проверенным в 1920-е и в 1930-е годы. «Спецсредство», подмешанное советскими поварами в еду Амина, сразу не сработает, эксперимент придется повторить. На торжественном обеде во дворце Тадж-Бек, когда вещество начнет действовать, а Амин не будет понимать, что с ним происходит, уверенный, что советские войска пришли по его приглашению, для обещанной Москвою поддержки, «гости» начнут штурм; зенитные самоходные установки и ручные пулеметы будут бить по дворцу прямой наводкой. В огне и дыму погибнет Амин, его семья, личная охрана, близкое окружение; падет и немалое число ворвавшихся во дворец советских спецназовцев. Во время штурма обманутый Амин успеет сказать: «Я об этом догадывался, все верно...»²

Но расчетом на доверчивость «друзей» с самого начала была отмечена операция в Праге в 1968 году. Чехи ничего не заподозрили, когда экипаж советского самолета, у которого якобы отказал двигатель, ночью попросил вынужденную посадку. Не успел приземлившийся самолет остановить двигатели, как из чрева высыпали на бетон вооруженные десантники, за ними выкатились боевые машины десанта, и в один миг в их руки перешло управление всеми службами аэродрома; теперь каждые полторы-две минуты один за другим приземлялись транспортные самолеты с десантами, посланными обеспечить смену власти. Одно и то же можно назвать военной хитростью, полководческим искусством, а можно – вероломством; зависит от того, мы

ли нападаем или на нас напали. Троянский конь – это что? Но повторяемость ситуаций никого не учит; есть своя правда в словах Милана Кундеры, сказанных по другому поводу: а что если история просто дура?

Обе военные уловки, в Чехословакии, а затем в Афганистане, возможные при безграничном простодушном доверии другой стороны, психологически точно рассчитанные, случились во времена Брежнева. Человека, известного редкой для лидера державы сентиментальностью. Его трогали чужие военные воспоминания, он мог на людях расчувствоваться, при этом лицо выглядело непроницаемым, а по окаменевшим щекам текли слезы. Увы, его слезы существовали отдельно от его решений.

Пишущему о Брежневе трудно передать глубинную мотивацию его поступков, но самой удивительной для окружения оставалась его способность держать в голове и при случае использовать моменты чужой жизни. Этому его интуитивному чутью обязана предпринятая накануне ввода войск секретная миссия в Прагу подполковника военной разведки Петра Ивановича Камбулова. Имя ветерана разведки, боевого друга президента Людвика Свободы неожиданно всплыло, когда Брежнев и генерал Ивашутин, глава военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил, обдумывали, как подстраховаться и быть уверенными в бескровности операции в центре Европы. Единственным, облеченным законной властью, кто при вторжении войск мог удержать в казармах 200-тысячную чехословацкую армию и тем предотвратить возможную войну, был чехословацкий президент, главнокомандующий вооруженными силами республики. В кремлевских кругах он слыл верным человеком, но никто не мог гарантировать его реакцию на экспансию пяти государств. Поручиться за старого генерала мог разве что отставной подполковник Камбулов, имевший над чехословацким президентом, как многим казалось, необъяснимую странную власть.

Имя Камбулова я впервые услышал от профессора московской Военной академии Александра Дмитриевича Марченко. «...Перед вступлением союзных войск в Чехословакию искали меня и других, о ком Свобода отзывался весьма положительно, но я был в отпуске, нашли Камбулова. Он был офицером связи НКВД в чехословацких частях, а на Дукле прикрыл собой Свободу. Свобода не пострадал, а Камбулов был ранен. В августе 1968 года его разыскали под Москвой, посадили в машину – и в Кремль. Из Кремля сразу на аэродром... Конечно, рассчитывать на встречу с Камбуловым сейчас трудно, но и времени терять нельзя. Звоните ему, договаривайтесь, пока не поздно...» – читал я в письме³.

Петру Ивановичу Камбулову на вид лет семьдесят, уже в прихожей интересуется, при себе ли у меня документы: «Порядок есть порядок!» А за столом, когда я достал диктофон, успокоился только после уверений, что в эфир его голос не попадет. Теперь, прослушивая кассеты, постараюсь воспроизвести наш разговор, дополняя услышанное другими свидетельствами, позднее попавшими мне в руки.

До начала военной операции, 2 мая 1968 года в Прагу вылетела группа офицеров отдела «В» Первого Главного управления КГБ при Совете министров СССР; старшим был заместитель начальника отдела полковник А.И.Лазаренко. Им предстояло провести «спецмероприятия» (например, «обнаруживать» и предавать огласке ими же подготовленные «склады оружия»)

и технически подготовить предстоящий ввод войск. Под видом туристов в страну направили также три десятка живущих на Западе нелегальных советских разведчиков (среди них был имевший западногерманский паспорт брат О.Гордиевского). По замыслу Москвы, эти «люди с Запада» должны вызывать у чехословацких «контрреволюционеров» больше доверия, нежели соседи из Восточной Европы, и при встречах с ними они скорее проговорятся о подрывных планах ⁴. У назначенного год назад (18 мая 1967 года) председателем КГБ Ю.В.Андропова, пережившего события в Будапеште, было предчувствие, что на этот раз вызревает чехословацкий заговор и выступление контрреволюции будет поддержано извне агрессией натовских войск.

Полет в Прагу подполковника Камбулова был отмечен особой скрытностью. Кроме Брежнева и Ивашутина о замысле знал советский посол С.В.Червоненко ⁵. Сам же ветеран ни о чем не подозревал и был, по его словам, в полной растерянности, когда августовским утром копался у себя на даче в подмосковной Кубинке, не слыша, как в калитку вошел морской офицер в чине капитана третьего ранга.

– Подполковник Камбулов? Петр Иванович?

– Так точно, – поднялся он.

– Мне приказано препроводить вас в Генеральный штаб.

Что случилось? – догадки были смутны и тревожны. Он давно не у дел, но у кого из сотрудников секретных служб, хранителей чужих псевдонимов, конспиративных адресов, маршрутов тайной переписки, не случилось такого, что по прошествии лет могло вызвать вопросы. В конце 1930-х годов из четырехсот пятидесяти разведчиков Иностранного отдела НКВД больше половины чекистов и резидентов были репрессированы, другие от страха становились перебежчиками. На гребень волны его, совсем молодого, вознесла спешка, с какой власти, спохватившись, принялись восстанавливать почти рухнувшую внешнюю разведку. Для работы в органах он вполне подходил: донецкий сирота, усыновленный красноармейским эскадроном, потом рабочий на угольной шахте, студент института народного хозяйства. С четвертого курса его берут в Школу особого назначения (ШОН), созданную перед войной. Там готовят диверсантов против нацистской Германии, ее союзников, белоэмигрантских и троцкистских организаций. С чешскими эмигрантами молодой Камбулов учит их язык.

А Европа бурлит.

Вслед за мюнхенским соглашением (29–30 сентября 1938 года) в марте 1939 года происходит расчленение Чехословакии. Под предлогом защиты судетских немцев германские войска занимают Судетскую область, Тешинская Силезия отходит к Польше, южную часть Словакии и юго-западную часть Прикарпатской Руси занимает Венгрия. У страны отбирают почти треть территории и населения; самостоятельное чехословацкое государство обречено.

В ночь с 14 на 15 марта 1939 года 60-летний Эмил Гаха, недавно избранный чехословацким президентом, не выдержав грубого разговора с Гитлером, Риббентропом, Герингом, терявший сознание и приводимый в чувство уколами немецких врачей, подпишет в Берлине протокол, по которому отныне чехи окажутся под германским покровительством, а следом объявят о создании «Протектората Богемия и Моравия». Моторизованные части вермахта вступят в Чехословакию; запертые в казармах чехословацкие

войска будут молча наблюдать за вторжением. Их командиры передадут немцам ключи от казарм и возьмут под козырек. Для чехословацких властей главное всего избежать кровопролития. К вечеру в колонне автомобилей и бронетранспортеров в Прагу прибудет Гитлер, а вслед за ним, четверть часа спустя, специальным поездом возвратится в столицу Гаха ⁶.

Первого сентября 1939 года Германия нападает на Польшу и через тридцать дней подавляет очаги сопротивления. Москва растерянно поздравляет немцев со взятием Варшавы, а 17 сентября по секретному дополнительному протоколу к Пакту Молотова-Риббентропа вводит части Красной армии на территорию Польши, занимает Западную Белоруссию и Западную Украину. Через две недели на этих землях с населением 12 миллионов человек (в основном белорусы, украинцы, евреи) Москва проводит плебисцит и объявляет их составной частью СССР. Тогда к своим главным врагам Кремль относил Англию и Францию, к союзникам – Германию, не предполагая, что для Германии захват малых европейских стран на юго-востоке был разминкой перед неминуемым столкновением с Россией.

В германо-польской войне чешские солдаты и офицеры приняли сторону братьев-славян, вошли в состав польской армии, а когда Красная армия ступила на земли Восточной Польши (Западной Украины и Западной Белоруссии), чехословацкий легион под командованием 44-летнего подполковника Людвика Свободы вместе с польскими воинскими частями оказался на советской территории, с ним и с другими интернированными военными подразделениями разбирались советские органы государственной безопасности. Выпускнику разведшколы Камбулову поручают присмотреться к чехам и заняться вербовкой агентов, чтобы после короткого обучения возвращать их на историческую родину. В Кремле нервничают: в обстановке так много неясного, а поток упреждающей информации с мест пересыхает.

Камбулов принимает по списку около семи сотен (674) чехословацких солдат и офицеров, среди них 507 чехов, 62 словака, 104 еврея. Они голодны, измучены переходом, в жалком тряпье. Потрепанные батальоны размещают под Каменец-Подольском в наспех сколоченных бараках с нарами в два-три яруса. Чехи не очень понимают, почему их, с Красной армией не воевавших, стерегут с собаками, как военнопленных. На чекистов они свалились неожиданно-негаданно.

«Начальнику управления по делам военнопленных НКВД СССР майору Сопруненко, гор. Москва. Пункт интернированных чехов, находящийся в Каменец-Подольске, 19.X. с.г. был переброшен в местечко Ярмолинцы. Чехи в количестве 700 чел. размещены в здании Ярмольницкого военкомата, вместимость которого рассчитана на 450 чел., в связи с чем имеет место большая скученность. Интернированные чехи раздеты, а также отсутствует обувь, белье и постельные принадлежности... Спят на нарах, покрытых соломой. Среди чехов имеются люди в одних трусах. Такое положение грозит возникновением инфекционных заболеваний. В связи с этим просим срочно отгрузить в адрес пункта: 1. Белья постельного 700 шт. 2. Костюмов теплых 700 пар. 3. Обуви 700 пар. 4. Пальто или телогреек ватных 700 шт. 5. Головных уборов зимних 700 шт. Постельных принадлежностей: одеял, матрацев, простынь и наволочек 700 комплектов. По сообщению... у интернированных чехов на руках имеется оружие системы “браунинг”, которое они носят повседневно с собой. По существу затронутых вопросов просим срочно сообщить, так как областное управление НКВД поставило перед нами вопрос о ликвидации

этого пункта»⁷.

«Уважаемый т. Хохлов! Посылаю письмо исполняющего сейчас обязанности командира чешского легиона штабс-капитана Крчак, адресованное выехавшему в Москву полковнику Свобода⁸. Отсутствие писем от Свободы вызывает нежелательные здесь разговоры. Поговаривают даже о голодовке протеста. Прошу передать т. Адамовичу, что крайне желательно немедленно организовать письмо Свободы в легион. Если т. Адамович найдет нужным, пусть письмо Крчака передаст Свободе.

Из пункта через Каменец-Подольск в Москву отправлено более 5000 писем чехов, как входящих, так и исходящих. Ни одно из них обратно не возвращено. Это совершенно неправильно, ибо значительная часть писем – чисто семейного характера. Такое положение с письмами отражается на настроении чехов, они жаждут известий от своих родных, а мы их бюрократически задерживаем. Я считаю, что после проверки письма *должны быть немедленно возвращены адресатам...*»⁹

Две сотни чехов разбрелись по Западной Украине, перебиваясь случайными заработками. Легионеры раздражали органы НКВД своим непослушанием, самовольными выездами во Львов и в центральные районы СССР, а еще больше полным отсутствием в их среде «агентурного обслуживания». В селениях чехи открывали свои канцелярии с национальными флагами и портретами Томаша Масарика. Навести порядок поручили Камбулову. «Совершенно секретно. Комиссару Оранского лагеря лейтенанту тов. Кузнецову. Оперуполномоченный 5-го отдела ГУГВ НКВД СССР лейтенант госбезопасности тов. Камбулов командирован в Оранский лагерь по особому заданию. Вам надлежит оказывать тов. Камбулову максимальное содействие. Зам. начальника управления НКВД СССР по делам о военнопленных лейтенант госбезопасности Хохлов. 28 апр. 1940 г.»¹⁰.

Из воспоминаний П.И.Камбулова:

«Мне надо было присмотреться, что за группа. В пограничном районе оставлять чехов было нельзя, их погрузили в товарняки и по железной дороге отправили в Поволжье. Из общей массы отбирали, нам казалось, надежных, наскоро обучали радиodelу и с поддельными документами возвращали по воздуху на родину. Предпочтение отдавали чехам, у которых на советской территории оставались родственники. Такими были чешские и словацкие колонисты, романтики мировой революции, откликнувшиеся на призыв Ленина к международному пролетариату помочь своим непосредственным участием восстановлению и строительству страны Советов. Став агентами советской разведки, тайно возвращенные на родину, они попадали в распоряжение нашего резидента в Праге Леонида Мохова, сотрудника генерального консульства. Но многие, приземлившись в лесах, еще не успев развернуть работу, заваливались...»¹¹

Когда машина неслась по Можайскому шоссе к Москве, Камбулов, по его словам, склонялся к мысли о том, что его прегрешения, если они имелись, могли относиться, скорее всего, к этому предвоенному времени. Среди чехов и словаков, которых он готовил к заброске, были его ровесники, хотя встречались постарше; в коммунистических и левых изданиях («Руде право», «Творба» и др.) они читали репортажи из СССР Юлиуса Фучика, его единомышленников, которым Кремль позволял ездить по стране, чтобы видели, как отсталая царская Россия превращается в мировую державу рабочих и

крестьян. Доверяясь агитаторам, люди вскладчину закупают оборудование и в товарняках с семьями отправляются в советскую Россию строить кооператив «Интергельпо». Переселенцы оставляли свою страну, которая слыла «Швецией Центральной Европы», надеясь подтянуть будущую новую родину до уровня покинутой. Среди переселенцев была словацкая семья столяра Штефана Дубчека. Перед Первой мировой войной Штефан отправился в Америку на заработки, вернулся в начале 1920-х годов с рожденным в Чикаго сыном Юлиусом и женой, ожидавшей второго ребенка, который появится на свет в Словакии и будет назван Александром. Отец семейства был обязан Америке не скудными деньгами, а вскружившими его голову социалистическими идеями. Они и привели его с другими земляками в Киргизию. У подножия Тянь-Шаня переселенцам указали, где обосноваться; они изумляли местное население: все были грамотными, технически квалифицированными, по-европейски раскованными. Но предвидение своей судьбы к их преимуществам не относилось. Многие потом будут репрессированы, другие спасутся, подавшись в войско Людвига Свободы.

Между тем в марте 1939 года по улицам Праги шли грузовики с германскими солдатами, а над Градчанами, историческим центром Праги, взмывал флаг с нацистской свастикой. Для чехов это была национальная трагедия. Пешеходы брезгливо не замечали чужих марширующих войск; обращать на них внимание для чехов было бы утратой уважения к себе. Рациональные и сдержанные, они прислушивались к своим просвещенным интеллектуалам, приверженцам славянской идеи, взывавшим к национальной гордости, и искали духовную опору в исторической, культурной, рабочей традициях. Ведь это их руками делались известная в Европе обувь компании Томаша Бати, автомобили «Шкода», спортивные самолеты, промышленное оборудование. Властителям их дум была оскорбительна варварская нацистская идеология. Сталин казался предпочтительнее Гитлера для их надежд реализовать национальные интересы. А когда в 1968 году союзные войска вторгнутся в Прагу, не только граждане Чехословакии, но и оставшиеся в СССР редкие чешские переселенцы двадцатых и тридцатых годов, обрусевшие потомки организаторов кооператива «Интергельпо», для которых русский стал родным языком, будут ходить с опущенными головами. Как немцы Поволжья, когда Германия напала на Советский Союз – виноватыми неизвестно за какие грехи.

Из интернированных чехов ближе других Камбулову был подполковник Людвик Свобода, Людвик Иванович, как все его будут звать. В Первую мировую войну солдатом австро-венгерской армии он оказался в русском плену, вступил в чехословацкий легион, воевал на Урале и в Сибири против большевиков и не скрывал этого.

У советского руководства теперь к нему был особый интерес.

По словам генерала П.А.Судоплатова, в те годы заместителя отдела внешней разведки НКВД СССР, до отъезда в Великобританию «Бенеш приказал сформировать чешский легион, который был направлен в Польшу под командованием молодого подполковника Свободы. После предварительных контактов с нашей резидентурой в Варшаве Свобода перешел со своей частью в Западную Украину. Фактически после разоружения его легиона, получив статус неофициального посланника, он жил на явочной квартире и на моей даче в пригороде Москвы. С ним регулярную связь поддерживал Ма-

клярский...».

Маклярский – лейтенант госбезопасности, начальник 2-го отдела Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР.

На «даче» Судоплатова имелся радиопередатчик с позывным «Зоя».

«Мы держали Свободу в резерве. В мае и в июне, перед самым началом войны мы начали обсуждать с ним план формирования чешских частей в Советском Союзе, чтобы затем выбросить их в немецкий тыл для ведения партизанских операций в Чехословакии. Я очень хорошо помню этого человека неизменно вежливого и неизменно выдержанного, державшегося с большим достоинством»¹².

Под «началом войны» Судоплатов имеет в виду, разумеется, не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го, нападение Германии на Советский Союз. В свидетельствах генерала есть недомолвки, подразумевать под которыми можно разное. В каком, например, «резерве» держали под Москвой подполковника Свободу? Пока доступ к архивам внешней разведки и другим секретным фондам закрыт, приходится довольствоваться догадками.

Свидетельство генерала Судоплатова о начале сотрудничества Людвика Свободы с советской разведкой не совпадает с материалами, на которые опирается Зое Клусакова (Свободова). Дочь Людвика Ивановича издала воспоминания об отце (2005) и его «Дневник военного времени. Июнь 1939 – январь 1943» (Прага, 2008). И в письме автору этой книги пишет с уверенностью, что до Второй мировой войны отец «никак не мог быть в контакте с русской агентурой и также не был в контакте с ней на территории Польши».

Не знаю, чьи сведения надежнее, но по моему разумению, не было и нет никакого греха на тех людях, в том числе известных деятелях Европы, кто в предвоенные и военные годы стал открыт для сотрудничества с советской разведкой. Некоторые даже искали с ней связи, надеясь хотя бы таким образом противостоять угрозе, которую нес народам фашизм.

О подробностях я услышал от Камбулова:

«Мне приказали привезти Свободу и отобранных им чешских офицеров в Москву. Группу разместили на загородной даче, а подполковника отдельно, в гостинице “Националь”. Свобода сам подбирал надежных людей, после нашей проверки их переправляли на родину для разведки и организации партизанских отрядов. От них ждали наблюдений, заметна ли подготовка германских войск к возможной войне против СССР. При содействии Свободы, а также по другим своим каналам, я получал из Чехословакии агентурную информацию и передавал в Центр. Анализируя факты, предвоенной весной я собственноручно писал сообщения о германских приготовлениях к войне, направлял их на имя Сталина. Но реакции никакой не было»¹³.

Можно представить, каким доверием чекистов пользовался Свобода, если в январе 1941 года Москва отправляет его в Стамбул для участия в переговорах с военным атташе Чехословакии в Турции генералом Гелиодором Пике, руководителем чехословацкой военной разведки на Балканах. Вместе со Свободой на этих переговорах о сотрудничестве разведывательных служб был называвшийся другим именем (генерала Фокина) начальник 5-го (иностранного) отдела Главного управления госбезопасности НКВД П.М.Фитин. Стороны договорились о прибытии в Москву чехословацкой миссии, чтобы «под руководством советского главного штаба организовать разведку на

чешских землях, на Балканах и в Германии», а также, когда позволит обстановка, создать на территории СССР воинские части из чехов и словаков. Впоследствии Фитин (генерал Фокин) был награжден грамотой «За освобождение Чехословакии», подписанной Людвиком Свободой¹⁴.

Камбулов запомнил первое утро войны. В штабе подразделения он услышал, что германские части перешли границу. Надо было обеспечить безопасность агентов, заброшенных в Чехословакию, сообщить им план действий в новых условиях. Накануне успели переправить группу в двенадцать–пятнадцать человек. «Было воскресенье, люди шли вдоль дороги по грибы, ничего не зная, а я летел на машине в расположение чехословацких военных. Иду по баракам, извещаю о начале войны. Чехи радуются, давай меня обнимать. “Вы чего?!” – теряюсь я. “Теперь Чехословакия точно будет освобождена!”»¹⁵.

Камбулов со Свободой продолжали забрасывать в страну парашютистов-диверсантов. После отправки значительной части интернированных через Одессу и Стамбул в Европу из оставшихся легионеров, перемещенных в лагерь под Бузулуком, начали спешно готовить Первый Чехословацкий отдельный пехотный батальон. В батальон записывались чешские и словацкие политэмигранты, коммунисты и беспартийные, участники испанской войны, инженеры (в том числе фирмы «Шкода»), врачи, музыканты, работавшие в СССР по договорам. Чешские женщины шли медсестрами, пекарями, поварами. Формирование части поручили не армейским структурам, а органам госбезопасности. Не хотели повторять опыт с поляками: их объединили в семь дивизий во главе с генералом Андерсом, но когда подоспела пора отправляться под Сталинград, польское командование настояло перебазировать дивизии в Иран, а оттуда на Ближний Восток. Этот случай (1942 год) навел на мысль создать при НКВД Аппарат уполномоченного Ставки по иностранным воинским формированиям; в новой структуре был и капитан госбезопасности Камбулов.

Бузулук, сорок тысяч жителей, стал походить на Вавилон. Перемещенные из западных районов предприятия, беженцы из прифронтовой полосы, а теперь вот и чехословаки в новых шинелях и в шапках с восьмиугольными кокардами. Город искал им помещения под казармы, под штаб части, под госпиталь. Чехи становились для бузулукцев своими людьми; шли рубить жителям дрова, ремонтировать косилки, восстанавливать мосты и линии электропередачи. У эвакуированных предприятий были нарасхват чехи-рабочие, особенно заводов «Шкода».

Камбулов помнит каменную школу на углу улиц Октябрьской и Первомайской, отданную городом под «Велительстви первниго прапору», то есть под командование и штаб чехословацкого батальона. На втором этаже в конце коридора был кабинет Свободы, а рядом кабинет Камбулова.

«В небольшой классной комнате, – будет вспоминать в записках Л.Свобода, – собираются офицеры штаба батальона и командиры подразделений... Здесь и оба советских офицера связи – подполковник Загоскин и капитан Камбулов, прошедшие с нами весь путь от Бузулука»¹⁶. Камбулов несколько не обижался на скороговорку, с какой автор упоминал в книге его имя, понимая, как непросто Людвигу Ивановичу, теперь Президенту Чехословакии, признаваться в близости к офицеру советской разведки, всю войну его опекавшему. Чуть приоткрыть их отношения осторожный генерал ре-

шился только в автографе: «Соудругу подполковнику Камбулову Петру Ивановичу в память о наших совместных боях за свободу нашего народа преподносит Свобода... 09.01.1962».

Что Камбулову могли припомнить?

В чем упрекнуть?

После войны Камбулов не раз бывал в Чехословакии. Он любил эти поездки за встречи с однополчанами, за роднившую их общую память о мае сорок пятого. Со временем, он чувствовал, застольные речи все чаще выглядели ритуальными; чехов занимало совсем другое. В последнюю поездку, за год до ввода войск, он слышал от пражан об экономическом кризисе 1962–1963 годов, об инакомыслии студентов, о появлении в коммунистических рядах сомневающейся интеллигенции (интеллектуалов). Бурлили невидимые глазу подпочвенные воды, на поверхность прорывалось недовольство диктаторскими замашками партийного аппарата; советской гегемонией в чехословацкой внутренней и внешней политике. Чехи слишком долго испытывали унижение, наблюдая, как созданное Кремлем в сороковые годы Информбюро следило за тем, усердно ли в странах Восточной Европы копируют советский образец, не отступают ли чехи и словаки от единственно возможной для них модели. А Кремль раздражает, что «приживальщики», то есть малочисленные народы Восточной Европы, пытаются жить своим умом и выбрать к общей цели собственные пути.

Особую психологическую напряженность создавала расстановка противоборствующих сил. Инициаторами перемен выступали не оппоненты чехословацкой власти, а чаще носители самой власти, многие лидеры партии, раньше других уловившие общественное недовольство. Ситуацию, как она складывалась, все труднее было понимать в марксистских категориях «классовой борьбы». Во второй половине и в конце шестидесятых годов чехословацкие реформы, поддержанные обществом, вынашивались в самих властных структурах и влиятельная оппозиция им оставалась внутри тех же структур. Опорой оппозиции реформам была владевшая ее умами, закостеневшая в своей ортодоксальности Москва.

Отношения к Москве были деликатной материей.

Будь у чехов и словаков исторический опыт общения с самодержавной Россией, пусть даже драматический, как у поляков, финнов, прибалтов, когда-то бунтовавших, дорого плативших за отвоеванную свободу, они бы лучше понимали большой соседний народ, они бы учитывали другое мировосприятие, часто экспансивное, настороженное, иногда мистическое, всегда непредсказуемое. Но опасными для чехов бывали соседи-немцы, соседи-венгры, соседи-австрийцы; под их верховенством существовали, к ним присматривались, без иллюзий представляли, что от них можно ожидать. Устояли перед казавшейся неотвратимой германизацией, сохранили язык предков и навсегда избавились, казалось, от чужой превалирующей роли в своей национальной судьбе.

Русские – другое дело.

В Европе не было народа с таким же, как у чехов, восторженным представлением о русском народе. Его знали скорее по легендам, нежели по опыту общения. Но слухи о фантастических лесных и сырьевых богатствах, о драгоценных русских соболях и горностаях, которыми оторачивали свои одежды европейские монархи, в том числе чешские короли, но слава о хле-

босольстве, о безумной для европейцев щедрости, граничащей с расточительством и выдаваемой за широту души, усиливали интерес к большому славянскому брату.

Только в XIX веке, когда царские войска дважды разгромили польские восстания (1830 и 1847) и десятки тысяч поляков, связанные цепью, шли сквозь Россию в Сибирь, редкие уцелевшие и вернувшиеся на родину будут своими воспоминаниями наводить ужас на Европу. Суровый заснеженный мир пугал непредсказуемостью, его судьба, как потом напишут польские публицисты, казалась им чуждой, они не ощущали себя за нее в ответе. Россия «давит на нас, но не является частью нашего наследия»¹⁷.

Предки же чехов не знали даже таких конфликтов с русскими, у них не было оснований слать своим потомкам тревожные предупреждающие импульсы. Чехи, по их словам, оставались «невежественны относительно России, так как на протяжении тысячелетий не входили с ней в прямой контакт. Несмотря на родство языков, чехи и русские никогда не имели ничего общего ни в истории, ни в культуре»¹⁸. А в годы гражданской войны чешские легионеры оказались в России, частью за «красных», частью за «белых», не приемля идеалы тех или других, но надеясь с их помощью скорее вернуться домой. Впечатления выживших были сумбурны и существенно не влияли на традиционное восприятие русских в Центральной Европе.

В чешском обыденном сознании достоинство и величие нации никогда не связывалось с воинскими доблестями, с покорением или усмирением других народов, с колонизацией соседних пространств. Это было от них далеко; история и европейское мироустройство не давали им шансов поправлять свои дела экспансией, в том числе культурно-идеологической, поучать других, как правильно жить, думать, верить. Они относили себя к малым народам, уважающим достоинства всех.

А во времена Мюнхена (1938), когда западные державы, уступив Чехословакию Гитлеру, позволили разорвать ее на части, надеждой чехов на другой поворот судьбы мог быть только сталинский СССР. История эту надежду оправдала; в мае 1945 года население старинных городов и сел толпилось вдоль дорог, мужчины и женщины бросали цветы на танки под красным флагом и тянули руки, принимая в объятия советских освободителей. Ни одну чужую армию чехи так не встречали. Как напишет потом Зденек Млынарж, «у чехов никогда не было, быть не могло, массовых антирусских настроений, мы не знали антисоветизма, и если что-то страшное случилось, у него есть точная дата возникновения – 1968 год»¹⁹.

Чехи помнили, кто их освободил от фашизма, но повторяли, почти умоляли советское руководство: не надо нас унижать на каждом шагу напоминанием, что вы старшие братья. Мы маленькая страна, особенно в сравнении с вами, но у нас тысячелетняя история, непрерывная борьба за выживание, трудно найти другой народ, столько переживший. Мы знали гитлеровскую Германию, но у нас был Ян Гус, Ян Жижка, Томаш Масарик... Пожалуйста, считайтесь с нами!

Антонин Новотный, до войны руководитель областной партийной организации, узник германского концлагеря, по-своему честный, не очень общительный, но с твердым характером, был для советского руководства надежным человеком. Он следовал советам кремлевских наставников, не

очень считаясь с тем, как это примут земляки. Любви к себе он не вызывал.

Лучше других Новотного понимал Хрущев. У них было много общего: пролетарское происхождение, некоторая угловатость, внезапная вспыльчивость и бессознательное недоверие к интеллигенции. Они чувствовали родство и ни в чем не отказывали друг другу. Как мне расскажет М.Зимянин, посол СССР в Чехословакии в 1960–1965 годах, однажды он летел по делам в Москву. «Новотный мне говорит: “В этом году у нас урожай зерна неважный. Попросите для нас 500 тысяч тонн”. В Кремле, в Георгиевском зале, шел правительственный прием, я подошел к Хрущеву, передал просьбу. “Обрадовал! – буркнул Хрущев. – Откуда я тебе возьму!” А когда я вернулся в Прагу, через пару дней пришло решение: удовлетворить просьбу чехословацких товарищей»²⁰.

Смещение Хрущева застало Новотного врасплох. Он растерянно слушал информацию посла Зимянина. «И можете представить мое изумление, когда на следующий день Новотный выступил в газете “Руде право” с сожалением об освобождении Хрущева! В практике отношений “братских партий” это было неслыханно. Думаю, его уязвило, что очень скоро после приема Хрущева в Праге, по-чешски хлебосольного, его гостя с треском снимают. Я тут же напросился к Новотному на прием. Товарищ Новотный, сказал я, вы мне не задавали никаких вопросов, никакого протеста не выразили. Как коммунист, как человек, как ваш товарищ, наконец, как посол я просто возмущен. Простите, но считаю своим долгом это сказать. Подумав, Новотный говорит: “Я протеста не выражал, только свои чувства. Я имею на это право?” Я говорю: “Вы на все имеете право. Но должны были меня предупредить. Я бы сообщил своему ЦК, мне бы ответили, как поступать, чтобы не создавать отчуждения между СССР и ЧССР”. У меня было такое чувство, будто мне плюнули в лицо. Я написал шифровку в Политбюро и тут же позвонил Брежневу. “Он что, спятил?!” – возмутился Брежнев. И спросил, что я думаю делать дальше. Постараюсь, говорю, все выровнять, насколько это возможно, но прошу вас исходить из того, что работать с ним я больше не хочу. Новотный потом через чешского посла в Москве искал пути, чтобы снять неприятный осадок, но Брежнев и Сулов такие вещи не прощали»²¹.

Серьезная внутривнутрипартийная критика обрушилась на Новотного на октябрьском пленуме ЦК КПЧ в 1967 году. Ситуация выглядела пикантной: за Новотным стояло советское посольство (послом уже был С.В.Червоненко, советником-посланником И.И.Удальцов, друг семьи Новотного); на все распри внутри КПЧ посольство смотрело глазами Новотного, он был для посольства и лично для посла главным источником информации, их мозгом.

На декабрьский пленум прилетел Брежнев.

По воспоминаниям М.А. Александрова-Агентова, помощника Брежнева, «некоторые участники пленума раскрылись с совершенно неожиданной стороны. Больше всех изумил Й.Гендрих, ближайший друг Новотного, с которым они вместе были в концлагере, его выдвигенец, второй секретарь президиума ЦК КПЧ. На вопрос Брежнева, есть ли авторитетный в партии человек, способный заменить Новотного, он ответил: “Есть такой человек. Это я!” Леониду Ильичу запомнился молодой и чувствительный Александр Дубчек, в то время первый секретарь ЦК компартии Словакии. Он вспоминал обиды от Новотного и плакал»²².

Дубчек конца 1960-х годов был азартный партийный игрок, веривший

в свою интуицию, которая до сих пор его не подводила. Ему казалось, что в Советском Союзе знают, не могут не знать, его преданность. Всем своим искренним видом он говорил: пожалуйста, доверьтесь мне, дайте шанс, вы даже не догадываетесь, как много во мне нерастрченных сил, меня любят рабочие, полюбит весь народ, я многое могу сделать...

Накануне январского пленума ЦК КПЧ в пражской гостинице на улице Рибна за столиком ресторана с Дубчеком оказался Владлен Кривошеев, корреспондент «Известий» в Чехословакии, его давний знакомый. «Давай на всякий случай попрощаемся, – сказал Дубчек. – Завтра я пойду в атаку. Не знаю, чем это может закончиться. Пан или пропал. Если меня не поддержат – пропал...»²³

Пленум оставил президентом Антонина Новотного, а на пост главы ЦК КПЧ впервые избрал словака Александра Дубчека.

Впереди была «Программа действий», Пражская весна.

Приезжая на дачу в Кубинку, встречаясь с соседями, Камбулов не соглашался с теми, кто относил Брежнева к «скучным людям», а вполне понимал его усилия сохранять существующий порядок вещей. Народ устал, ничего не надо ломать, переустраивать. С Леонидом Ильичом, членом военного совета армии, политработником, он мельком встречался в годы войны, но теперь, говорят ветераны разведки, это другой человек. За образом радужного хозяина, страстного охотника на кабанов, любителя застолий и дамского угодника, каким он выглядит в рассказах вышедших на пенсию охранников-чекистов, Камбулову виделся нерешительный человек, угнетенный внутренним страхом. В год Пражской весны Брежнев колебался под напором политических сил, с разных сторон наседавших на него, требовавших от него решение.

Жаркой была середина лета. В обществе вызревали тревожные процессы, материализованные в письмах интеллигенции, в том числе деятелей культуры, бравших под защиту людей, осужденных властью за инакомыслие. Власти вскипали от дерзких по тону писем, от их трудноуловимой, но несомненной связи с Пражской весной. Ощущалась подвижка тектонических плит, на которых до сих пор твердо – так казалось – держались СССР и с ним Восточная Европа. По всей стране шли «закрытые» обсуждения чехословацкой ситуации.

Во второй половине июля, когда на партийных собраниях обсуждали письмо Политбюро ЦК КПСС об итогах Варшавской встречи делегаций коммунистических и рабочих партий социалистических стран, при обысках у инакомыслящих чекисты находили распространяемую в кругах интеллигенции рукопись А.Д.Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней была тревога о хрупкости современного мира на краю техногенных и социальных катастроф и надежда на демократию, свободу личности, открытое общество, как гарантии выживания человечества. Мысли ученого перекликались с манифестами чехословацких реформаторов, и эта общность витавших в воздухе настроений подталкивала власти к действиям. Инакомыслящих исключали из партии, снимали с работы, привлекали к уголовной ответственности.

Позднее в архивах я выпишу в блокнот свидетельства о возбужденных Кремлем умонастроениях советской «общественности». На собрании Курско-

го партийного актива руководитель писательской организации А.Харитоновский 19 июля говорил: «...И если чехословацкий народ, Компартия Чехословакии, среди которой есть несомненно здоровая и хорошая часть, если они своевременно не затушат весь этот контрреволюционный пожар, то, конечно, социалистическим братским народам придется принимать решительные меры. Это будет историческая необходимость. История заставляет вспомнить и то, когда чехословацкий корпус буржуазной Чехословакии был повернут против Советской власти, которая как раз и освободила солдат-чехов и отправила их домой. Молодой советской республике был нанесен удар в спину...»²⁴

Из выступления первого секретаря Боханского райкома КПСС В.Б.Ботороева на собрании Иркутского областного актива: «Наши славные советские воины 23 года тому назад отдали свои жизни при освобождении Чехословакии от гитлеровского фашизма. Наши воины погибли не для того, чтобы там был капитализм, а для того, чтобы чехи и словаки жили свободно при социализме. Мое предложение: просить наше правительство в случае необходимости *ввести войска* стран Варшавского договора на территорию ЧССР»²⁵.

Из выступления Г.В.Мещерякова, начальника управления океанического рыболовства на собрании Камчатского областного актива: «Члены экипажа траулера “Опала” матросы Чижевский и Скороходов, механик завода Гарбузов и другие заявили о том, что ЦК КПЧ должен принять решительные меры и пресечь разгул сил реакции, и выразили свое желание в случае необходимости принять личное участие в наведении порядка в этой дружественной стране». Начальник камчатского управления бытового обслуживания Ф.К.Белопотапов внес предложение «просить Политбюро ЦК КПСС оказать самую энергичную помощь КПЧ в наведении порядка в стране вплоть до *применения военной силы*»²⁶.

Настроения в Советской армии, вернее – как они представлялись Кремлю, передает записка министра обороны А.Гречко и начальника Политуправления А.Епишева в ЦК КПСС от 8 августа 1968 года. Оба военачальника более других были заинтересованы короткой победоносной военной акцией реализовать давние планы размещения в Чехословакии советских дивизий с ракетными установками, готовыми к атомным ударам. Военные учения «Шумава» на чешских землях, ими проведенные, все-таки не давали возможности законно закрепиться на новых рубежах надолго, но были несомненным продвижением к цели. Теперь, когда цель казалась близкой и пьянила размахом, которого так не хватало для встряски дремавшей страны, они своей запиской, как могли, торопили события. Оба военачальника убеждают руководство в полной готовности армии вмешаться в чехословацкий кризис.

«...Значительная часть военнослужащих продолжает высказывать опасения за внутреннее положение в Чехословакии, так как должных практических шагов против антисоциалистических сил там не предпринимается. Некоторые солдаты и особенно офицеры считают, что следовало бы оказать военную помощь в укреплении западных границ ЧССР и в обуздании реакционных элементов, что только *присутствие советских войск* на территории Чехословакии окажет помощь трудящимся ЧССР в борьбе против сил реакции и будет надежной преградой на пути реваншистов ФРГ».

«Я полностью одобряю Заявление Братиславского совещания компартий, но одновременно считаю, что *только присутствие Советской армии* или союзных армий на

территории ЧССР может оказать действенную помощь чехословацкому народу в борьбе с контрреволюцией (сержант Рябцев, 11 т[анковой] д[ивизии] 20 армии)».

«Президиуму ЦК КПЧ полностью доверять невозможно, – сказал майор Каратаев (129-я мотострелковая дивизия, Прикарпатский военный округ). – При сложившейся обстановке мы должны иметь твердые гарантии того, что здоровые силы Чехословакии могут сохранить социалистические завоевания».

«Вряд ли сами чехословаки способны уничтожить контрреволюционные элементы без нашей военной помощи. Нельзя терять времени, потом трудно будет наверстать упущенное. Нужно сейчас *вводить советские войска в ЧССР* (подполковник Серверин, 2-я мотострелковая дивизия, Группа советских войск в Германии)...

Командиры, политорганы и партийные организации армии и флота принимают конкретные меры по изучению настроений личного состава, глубокому разъяснению решений июльского (1968 г.) Пленума ЦК КПСС и Заявления шести коммунистических и рабочих партий – участниц Совещания в Братиславе, мобилизуют личный состав на образцовое выполнение воинского долга и готовность выполнить любой приказ партии и правительства»²⁷.

Под конец лета 1968 года обнаружилось полное бессилие власти манипулировать массовым сознанием эффективно. Поддержку кремлевской политики ораторы выражали вымученными словами. Власти не могли предложить правдоподобные аргументы исторического, культурного, религиозного характера, способные убедить думающих людей в действительной угрозе со стороны чехов и словаков. Хотя Дубчеку и пражским реформаторам тоже приходилось впадать в партийную риторику, они тем и держали в напряжении Кремль, что на резкости в свой адрес отвечали со спокойствием и достоинством стоявшей за ними европейской цивилизации.

Если бы руководство СССР лучше знало отечественную историю, его могло бы насторожить некоторое сходство развития событий в 1968 году с европейской ситуацией в 1914 году. При всей разности конкретных обстоятельств, разделенных половиной века, неизменной оставалась уверенность России в державном праве наводить порядок на чужой земле. Тогда сербы (теперь их назвали бы «здоровыми силами»), решая свои проблемы с Австро-Венгрией, обвинившей их в убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда, обратились за помощью к России. Власти объявили мобилизацию в защиту братьев-славян. В патриотическом угаре никто не представлял масштабы потрясений, ожидавших Европу и Россию.

Чехи с беспокойством наблюдали, как Кремль неотступно, с необъяснимым, почти нескрываемым раздражением возбуждает себя и нагнетает напряженность в стране. С надеждой сбить хотя бы чуть накал страстей партийная организация Министерства иностранных дел Чехословакии, отбросив дипломатические условности, 17 июля 1968 года шлет дружеское письмо партийной организации Министерства иностранных дел СССР. С советскими коллегами чехословацкие дипломаты не один год вместе учились, сотрудничали, встречались в разных странах и не могли поверить, что теперь упираются в стену. «Мы полагаем, что наши друзья в некоторых социалистических странах не понимают или неправильно толкуют многое из того, что у нас происходит. Мы полагаем, что это является следствием недостаточной информированности и неправильного понимания и оценки новых явлений в нашей современной жизни»²⁸.

Можно представить, как далеко зашло отчуждение, если люди, давно и хорошо друг друга знающие, вынуждены объяснять коллегам, что дружба с Советским Союзом и другими социалистическими странами «имеет не только рациональные причины, но и глубокие эмоциональные основы». Им непонятно, почему «друзья опасаются» за происходящее в Праге и «неустанно обращают наше внимание на опасность роста враждебных сил». Стараясь не задеть самолюбие коллег, чехословацкие дипломаты уже в который раз напоминают, что для беспокойства решительно нет причин; процесс демократизации проводит партия «при полной поддержке широчайших слоев народа».

Мы стоим, говорится в письме, за единство социалистических стран, а оно «может осуществляться только на основе признания и уважения различных условий и путей построения социализма в каждой отдельно взятой социалистической стране». Чехословацкие дипломаты приглашают делегацию коммунистов МИД СССР в Чехословакию, чтобы «воочию убедиться в фактах нашей жизни в настоящее время». Откуда им было знать, что в приграничных лесах 7-я воздушно-десантная дивизия уже отрабатывает взятие Праги и захват Министерства иностранных дел?

За неделю до вторжения войск, 12 августа МИД СССР возвращает чехословацким коллегам их послание, не слишком церемонясь: «...такого рода действия, когда делается попытка навязать советским людям тенденциозную оценку событий в ЧССР и утверждается, что советские люди “не понимают и неправильно толкуют” эти события, противоречат установившейся практике в отношениях между нашими странами. Советская сторона не может согласиться с методом, избранным чехословацкой стороной. Возвращая письмо парторганизации МИД Чехословакии, МИД СССР выражает надежду, что подобная практика в будущем не будет иметь места».

Таким тоном советские мидовцы позволяли себе говорить разве что с американским госдепартаментом в худшие времена «холодной войны».

Едва машина свернула на Хорошевское шоссе, Камбулову стало ясно, куда его везут. Единственным зданием в этом районе, где могли о нем помнить, было Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ). Сюда круглые сутки идут потоки информации: данные электронного, космического, радиотехнического слежения за действиями чужих армий и властей; это неусыпный центр связи со спецподразделениями в военных округах на территории СССР и в группах советских войск в Восточной Европе. Лучшие умы Генштаба и военной разведки в те дни думали над тем, как разрешить ситуацию, сохраняя Чехословакию в социалистическом сообществе и удерживая от вмешательства Запад. Станции перехвата в СССР, на Кубе (Лурдес), во Вьетнаме (бухта Камрань), Бирме (Рангун), Монголии, на кораблях в морях и океанах на пределе возможностей обрабатывали электронные сигналы со спутников и кораблей радио и гидроакустической разведки, из зданий советских посольств, консульств, торговых миссий по всему миру, с объектов разведки в столицах разных государств, в военных округах, в группах войск, в армиях и на флоте. Как просчитывали аналитики, вероятность мировой войны невелика, но было бы опрометчивым такой вариант не учитывать. На скрытых полигонах готовят к операциям части спецназа, подразделения военной разведки, способной свалиться с неба в

любую точку на земном шаре. Трудности военных, понимал Камбулов, не в скудости информации, ее тут имелось достаточно, а в том, чтобы убеждать политическую власть считаться с этой информацией, когда она расходится с представлениями, давно сложившимися в головах.

С тех пор как в 1953 году это ведомство стало называться ГРУ, короткая аббревиатура была окутана непроницаемой тайной, но люди с воображением, связанные с учреждением хотя бы косвенно, не зная ничего конкретно, представляли снующих по всем материкам секретных агентов и начиненную электронно-космической техникой паутину, плотно опутавшую земной шар. Примерно такая картина рисовалась и Камбулову, который в этой системе работал всю жизнь.

Камбулов шагал по коридору рядом с капитаном третьего ранга. Тут никто не знал, чем занимаются в соседнем кабинете. Загадочным оставался и начальник ГРУ генерал-полковник Петр Иванович Ивашутин, патриарх советской контрразведки, «дядя Петя», как его называли разведчики в своем кругу ²⁹. С Камбуловым они были полными тезками, Петрами Ивановичами, да еще одного года рождения и почти в одно время попали в разведку. Но теперь Ивашутин – одна из самых влиятельных фигур в высшем руководстве СССР, у него круглосуточная связь с Брежневым.

Разница в положении не задевала Камбулова, ему грех было жаловаться на судьбу. Женился по любви на Елизавете Стефановне, она ему единственная, вырастили троих детей, начальство обещает переселить из коммунальной квартиры с кухней на четыре семьи в отдельную квартиру. А что еще нужно ветерану?

Но пока Камбулов не вошел к генералу Ивашутину, следует кое о чем рассказать, чтобы понятнее был смысл их неожиданной встречи. В августе 1964 года Ивашутин подготовил записку «О развитии военного искусства в условиях ведения ракетно-ядерной войны по современным представлениям». Это была оценка высшим военным командованием перспектив возможной ядерной войны. Она отличалась от концепции американцев, главного потенциального противника СССР. По сценарию американцев будущая ядерная война может носить локальный характер. Но по расчетам Ивашутина, атомный удар, даже самый малый, вовлечет в противостояние все ядерные державы и, если его тотчас не потушить, перерастет в мировую термоядерную войну. Любая вооруженная провокация в Восточной Европе могла вызвать использование ядерного ракетного оружия и привести к третьей мировой войне. События в Чехословакии становились спичкой, способной поджечь планету.

Ивашутин это понимал больше других.

Потом станет известно, что утром 12 апреля 1968 года во Львове генерал-полковник М.И.Повалий, начальник главного оперативного управления Генерального штаба в штабе командующего войсками Прикарпатского военного округа показал генералу А.М.Майорову составленную им самим «Карту-приказ...» в одном экземпляре. Майоров запомнит выведенные тушью слова: «...на вторжение 38-й армии... (был указан ее состав) в ЧССР с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции на ее территории». Под картой были подписи министра обороны А.А.Гречко и начальника Генштаба М.В.Захарова ³⁰.

Накануне оба маршала докладывали карту Брежневу.

«Андрей, – сказал тогда Брежнев маршалу Гречко, – готовься к большому... Но, Бог даст, обойдется без этого»³¹. Что он имел в виду под «большим», оба военачальника понимали. Брожение умов в чехословацком обществе уже привело к власти реформаторов; у них появились сомнения, надо ли их маленькой стране слишком долго задерживаться в организации Варшавского договора, не лежало к ней национальное чувство. С отменой цензуры люди писали в газеты и об этом. А в Кремле такая политическая щекотка вызывала ярость. Тут еще натовское руководство назначило на сентябрь военные учения с участием 18–20 дивизий. Впечатлительный Брежнев прислушивался к своему другу Гречко. Логика событий казалась очевидной: чехословаки идут на чехословаков; вмешиваются западные армии, в Европе начинается Третья мировая война.

В просмотрном зале ГРУ на экране показывали секретные военные разработки НАТО. Кошмары становились навязчивыми. «На июньском заседании Политбюро в Москве Брежнев с горечью мне сказал: «Если потеряем Чехословакию, я уйду с поста Генерального секретаря ЦК КПСС», – будет вспоминать посол Червоненко³².

Брежнев и Гречко с полуслова понимали фронтовиков, чужие военные воспоминания могли обоих доводить до слез. Но когда страну несло к пропасти или так им казалось, чувствительность оставляла их. Они с трудом сдерживались, когда на заседании Политбюро кто-то предлагал ввести в Чехословакию пару дивизий, вторгнуться символически, в уверенности, что мягкие, податливые чехи тут же «подогнут хвост». Осторожный Гречко умоляющими глазами смотрел на Брежнева: «Товарищи дорогие, вы решите принципиально, вводить или не вводить, и доверьте нам с Генеральным штабом сделать это с полной ответственностью перед вами, перед историей». Брежнев на заседаниях отмалчивался, а наедине говорил другу Гречко: «Пару дивизий – это мы решим на Политбюро, а ты готовь сколько надо». В первый стратегический эшелон на Чехословакию Гречко определил двадцать дивизий, потом еще десять...

Летом во время учений «Шумава» на территории Чехословакии маршал Якубовский, генералы Майоров и Дзур с командного пункта наблюдали, как танковые части противостоят условному противнику. Подразумевались войска НАТО. Опустив бинокль, Дзур спросил Якубовского и Майорова, возможно ли в случае войны применение атомного оружия. Оба ответили: «Да».

«Но там люди!» – воскликнул Дзур. «Удары мы будем наносить по командным пунктам, по средствам атомного нападения противника, по танковым группам, а не по мирному населению», – ответил Майоров. «Это не гуманно...» – упорствовал Дзур. «Война, соудруг министр, дело всегда негуманное», – отвечал Майоров³³.

То, что одному генералу виделось чудовищным, не укладывающимся в голову, невозможным для осуществления, для генерала с иной психологией, выросшего в иной военной культуре, уже воевавшего и смотревшего, как говорится, смерти в лицо, атомная война была нежелательной, но возможной.

Ивашутин Камбулова ждал.

Спросил, что связывает подполковника с чехословацким президентом Людвиком Свободой. Камбулов доложил, как в довоенные годы по заданию командования встречал интернированных чехов, развозил их по лагерям,

неотлучно при них находился, вместе со Свободой засылал на родину чехов и словаков, завербованных как агентов. С батальоном, впоследствии корпусом, прошел всю войну, в 1945 году вместе вступали в Прагу. Рассказывая, он перебирал в памяти неудачи, отступления, гибель солдат, но как ни силился, не мог взять в толк, что именно могло стать причиной его вызова.

– Все? – спросил Ивашутин.

– Вроде все, товарищ генерал.

– Вы умалчиваете об одной истории, – Ивашутин не отводил глаз. – Что произошло у вас под Киевом в 1943 году?

Камбулов напрягся.

– Чего-то особенного вспомнить не могу...

– Ноябрь, вечер, командный пункт бригады. Впереди Киев. Вы рядом со Свободой... Было такое?

– Так точно, товарищ генерал.

– А тут налет немецкой авиации... Что дальше? Ну?!

...И Камбулов увидел как наяву. Пылало над лесом закатное солнце. Мимо раскаленного диска черными птицами неслись немецкие бомбардировщики, кружили над линией обороны. Свобода глазами провожал самолеты. «Вдруг слышу нарастающий рев, бомба летела прямо на нас. Не знаю, как это получилось, я толкнул Свободу в траншею, прыгнул на него сверху, прикрыл, обхватил руками. Бомба взорвалась поблизости, осколки летели во все стороны, но нас не задела. А ранило меня в похожей ситуации в другой раз...» – будет мне рассказывать Камбулов.

– Вспомнили? – Ивашутин не отводил глаза.

– Так точно, товарищ генерал, – сказал Камбулов. – Но толкнул не сильно, даже синяков не было. Генерал Свобода может подтвердить.

Камбулов терялся в догадках, каким образом давно забытый им эпизод дошел до руководства. Возможно, Людвик Свобода вспомнил в кругу военных, как приставленный к нему офицер безопасности под бомбежкой бросил его в траншею и укрыл собою.

– Я отвечал за его жизнь, товарищ генерал!

Камбулов не знал, чем объяснялась некоторая пред ним робость Людвика Ивановича, но мог догадываться, что дело не в этом происшествии, на фронте обычном. Камбулов был одним из немногих, кто в конце 1930-х годов был в НКВД ознакомлен с секретным досье на подопечного чешского офицера и мог знать уязвимые моменты в его военном прошлом.

Камбулов и Свобода никогда не говорили об этом, понимали друг друга молча, но чекист постоянно читал в глазах Свободы обращенный к нему вопрос: знает? Не знает?

Уместно предположить, что генерал Ивашутин тоже был осведомлен о деталях военной биографии Свободы, с точки зрения чекистов небезупречной, которую можно было использовать как психологический крючок.

Президент Свобода, сообщил Ивашутин, этим летом интересовался у А.Н.Косыгина, как поживает соудруг Камбулов, и заметил, что неплохо было бы повидаться. Теперь это в самый раз. Страны Варшавского договора намерены протянуть чехам руку помощи, и очень важно, если в решающие часы в Пражском Граде рядом с президентом будет наш человек, подполковник

Камбулов, которому президент многим обязан и полностью доверяет. Наша задача, говорил Ивашутин, иметь стопроцентные гарантии, что при вводе союзных войск чехословацкая армия не выйдет из казарм. Один недотепа-солдат, неосторожно обращаясь с оружием, нечаянным выстрелом может вызвать сокрушительный ответный огонь с непредсказуемыми последствиями. Ведется работа и с министром обороны Дзуром, но главнокомандующий есть главнокомандующий.

Ивашутин попросил Камбулова подождать пару минут в приемной.

В приемной за столами два офицера, помощники хозяина кабинета, перебирали газеты.

– И чего нейметя этим вацуликам, прохазкам, когоутам, свитакам... Они допрыгаются!

– А эти, Ганзелка и Зикмунд... Мы же их принимали как людей. Кормили, поили. Им чего не хватало? В политику полезли, путешественнички!

Камбулов мучительно соображал, при чем тут два чешских писателя. Он не встречался с ними, но был наслышан, как их «Татры» объехали половину земного шара. Они были нашими самыми близкими друзьями. На полке у сыновей стоят их книги: «Африка грез и действительности», «Охотники за черепами», «Между двух океанов»... Они-то как попали в антисоветчики? С ними-то что случилось? Он ничего не понимал.

Наконец, Камбулова позвали в кабинет.

Ивашутин поднялся навстречу.

– Я сейчас говорил с товарищем Брежневым. Он вас помнит, вы встречались в 18-й армии. Вас познакомил...

– Так точно, начальник контрразведки СМЕРШ 18-й армии полковник Шмойлов.

– Леонид Ильич в курсе вашей поездки в Прагу. Он на вас рассчитывает. Надо подстраховать ввод союзных войск. Ваша задача: находясь рядом с президентом, своим присутствием исключить какое-либо сопротивление чехословацкой армии. Людвигу Свободе мы доверяем, он наш друг, но бывает всякое. Если же возникнет перестрелка, армия НАТО перейдет границу Чехословакии, тогда неминуема ракетно-ядерная война.

Генерал помолчал.

– С выстрела в Сараево, вы знаете, началась Первая мировая. Я понятно говорю?

– Так точно, товарищ генерал армии.

– Вылет завтра утром. Конкретные указания получите на месте от посла Червоненко.

– Разрешите идти?

– Подполковник, в ваших руках судьба Европы! – улыбнулся Ивашутин.

Камбулов не строил иллюзий на свой счет; он понял отведенную ему роль. Его молчаливое, психологически давящее присутствие в решающей сцене вынудит главных героев двинуться в сторону, указанную постановщиком за кулисами.

На рассвете в московском аэропорту Шереметьево подполковник ГРУ Петр Иванович Камбулов в экипировке спортсмена-туриста с чемоданчиком в руке поднимался на борт Ту-104, вылетающего в Прагу. На летном поле

шла посадка в другие самолеты. Накрапывал дождик, трап под ногами пошатывался, а сверху поджидал овал дверного проема, как разинутая пасть.

Фотографии к главе 1



Чешские путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд в чукотской тундре



...и в якутских снегах. 1963



Впереди Сибирский тракт...И.Ганзелка и М.Зикмунд (в центре) с Л.Шинкаревым (слева) и А.Макаровым. Май 1964



Остановка в Черемхово



Начальник ГРУ, генерал Петр Ивашутин: «...Леонид Ильич на вас рассчитывает!». Москва. Август 1968



Офицер разведки Петр Камбулов: «Так точно, товарищ генерал армии!»

Глава вторая

«Границы нет. Дом наш только один...»

Ганзелка и Зикмунд за четыре года до вторжения. В «Татрах-508» от Ангары до Енисея. «Нас хоронили в одних могилах». Станция Зима: «Эти танки... Стыд-то какой перед людьми...» Чешская речь в Нижнеудинске. «Спецотчет № 4» и переполох в Москве. Академик Капица о «большом медведе»

Профессор-славист Горьковского (Нижегородского) университета Александр Николаевич Свободов, человек старой русской культуры, вовлек нас, девять первокурсников, в кружок славянской литературы. Мы обсуждали книги, сочувствуя малочисленным нациям, вынужденным выбирать, к какому сильному плечу прислониться; чехи тоже спорили – к немцам ли, к австрийцам ли, к русским ли. Необходимость выбора оберегала от резких движений, делала характер покладистой, но обостряла чувство собственного достоинства.

Россия всегда была загадкой.

Триста лет Европа пытается разобраться в метаниях русской души и ответить самой себе, почему соседние с ней народы вдруг начинают страшиться ее непредсказуемости. Когда в европейских салонах заходит о русских речь, звучат имена Достоевского, Толстого, Чехова, но в исторической памяти живы картины, как российская империя помогала австрийцам громить венгерскую революцию, дважды направляла армию усмирять польских повстанцев, гнала их в Сибирь. А в сталинские времена свои порядки навязывала монголам, среднеазиатским народам, прибалтам, другим нациям и сама страдала больше всех. Возникло устойчивое представление о присущем молодому русскому этносу беспокоящем начале, источнике постоянной угрозы ослабевшей европейской цивилизации.

Между тем с древних времен, когда в 796 году на территории современной Чехии появилось государство Великая Моравия, на протяжении почти тысячи двухсот лет у чехов не наблюдалось особой близости с русскими. Ни в те времена, когда Прага стала столицей Священной Римской империи, ни в средневековую пору брожения умов и сожжения Яна Гуса, ни при мудрой Марии-Терезии, современнице Екатерины II, открывшей век чешского просвещения. Мало что изменилось и в позднейшие годы, когда чешскими умами владели писатели, философы, духовенство, деятели культуры. Врожденная толерантность, мягкий склад характера, страх потерять лицо оберегали чехов от экстремизма, они старались ладить с разными людьми. В России уважали их образованность, прагматичность, мягкий нрав и ироничный ум. Лев Толстой к своим идейным предшественникам относил Петра Хельчицкого (XV в.), страстного проповедника непротivления злу насилieм.

Первой чешской книгой, которую я прочитал студентом, был «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика, тогда только изданный у нас под названием «Слово перед казнью». Книга ошеломила меня. Потом, читая фучиковские очерки о Советском Союзе, я искал героев его книг, переписывался, встречался с ними, а однажды с молодой дерзостью, не зная адреса, написал в Прагу Густе Фучиковой. Письмо дошло! Судьба Фучика стала одним из моих самых сильных переживаний. Со студенческими агитбригадами мы ез-

дили по заводам, по полевым станам; друзья читали стихи, пели, танцевали, а я рассказывал о своем герое. Наверное, слишком возбужденно; многие думали, что я говорю о родственнике.

Я увижу Густу Фучикову в Праге много лет спустя, уже как собственный корреспондент «Известий» по Восточной Сибири. Впечатления будут сложны; на них потом наслоятся свидетельства людей, встречавших Густу в 1968 году; вместе с противниками Пражской весны, сторонниками ввода войск, она будет искать пристанище под крышей советского посольства, когда там будут создавать «рабоче-крестьянское правительство», но об этом в свое время.

А первыми «живыми» чехами для меня были Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд. Путешественники обогнули полмира перед тем, как переправить из Японии во Владивосток на морском пароме две «Татры-805» и начать странствие по Советскому Союзу. В те дни в Москве главный редактор «Известий» Алексей Иванович Аджубей не без ревности говорил на летучке сотрудникам: «Ну, держитесь! Чехи вкатят нам такой арбуз!» Для большинства из нас за граница оставалась недостижимой галактикой, увидеть саванны и джунгли было невообразимо, а эти двое молодых, тоже из мира социализма, прорвались через «железный занавес»; в закрытом, зашоренном СССР они стали идолами советских журналистов. Аджубей знал: два неутомных чеха с их общительностью, аналитическим умом, тягой к труднодоступным местам приоткроют нашу страну не только миру, но и нам самим.

Не пройдет и пяти лет, как на крутом повороте истории, с нарастанием реформистского движения в Чехословакии писатели-путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд вместе с Людвиком Вацуликом, Эдуардом Гольдштюккером, Яном Прохазкой, Иржи Пеликаном, другими деятелями чехословацкой культуры станут на родине властителями умов. Унаследовав глубину Карела Чапека, неожиданность Франца Кафки, улыбку Ярослава Гашека, эта плеяда интеллектуалов будет бродильным началом Пражской весны и привлечет к ней внимание мира. Никто из них не был радикалом, не впадал в крайности, не помышлял навязывать свой образ мысли другим, но с терпеливостью и упорством они добивались равного со всеми народами права жить по своему разумению.

Пишу об Иржи Ганзелке и Мирославе Зикмунде не потому, что отвожу им в событиях особое место, а по соображениям субъективного свойства. Просто я знал их лучше других пражских писателей-реформаторов, встречал их в разных обстоятельствах, прошел по их следам в Африке, Южной Америке, Австралии. Их история и судьбы, я надеюсь, дадут представление о том, что это за люди, как воспринимали русский народ, революцию, социализм, и что должно было произойти, чтобы Кремль отнес их к своим врагам.

Ганзелку и Зикмунда я увидел весной 1964 года в Иркутске. Власти запретили местным журналистам тревожить гостей, страшно занятых и усталых, и я бы не стал искать знакомства со знаменитостями, когда бы в корпункт «Известий» не позвонили из московской редакции: в первомайский номер ждут беседу, как путешественники встречали этот праздник в других странах. Затея была практически невыполнима; гостей разместили в отдельной резиденции, усиленно охраняемой. Я упрашиваю приятеля из обкома партии взять меня с собой под видом электромонтера. Подхожу к воротам в поношенной куртке, через плечо сумка, будто с инструментами. При

виде моего приятеля милиционеры берут под козырек, мы проходим в вестибюль, поднимаемся по широкой лестнице и стучим в первую дверь.

В дверях Иржи Ганзелка.

Страшно смущаясь, я передаю просьбу редакции.

– Дорогой товарищ, – улыбается Ганзелка, жестом приглашая войти, – это никак не можно. У нас папка телеграмм от ваших газет, агентств, радио, мы всем сказали «нет», немаме ни минуты. В Прагу семье, детям забыли, когда писали. Не поспеваем, такая у вас страна.

Могу представить, какое у меня было выражение лица.

– Пойдемте к Мирославу, услышите то же самое.

В соседней комнате Мирослав Зикмунд сидит на кровати, спрятав обе руки в черный мешок, заправляет в фотоаппарат пленку.

– Да, – говорит Зикмунд, – это никак не можно. Что нам скажут другие советские товарищи, которые телефоновали?

Я смиряюсь, но хочется потянуть время. Помню об их недавней поездке по Северу и наобум спрашиваю, как им показались юкагиры. Не знаю, почему эта вымирающая народность возникает в моей разгоряченной голове, но лаконичный ответ путешественников меня задевает. Когда-то юкагиров было так много, что белые лебеди, пролетая над их кострами, вылетали черными, а теперь мужчин и женщин в возрасте, способном давать потомство, осталось человек двадцать. Что-то на меня находит, и мы спорим о юкагирах, возбуждаясь и перебивая друг друга. Когда успокаиваемся и пора прощаться, Зикмунд бросает на Ганзелку слегка виноватый взгляд. И как-то обреченно спрашивает, какие у газеты к ним вопросы...

Через час в моем блокноте были записи о первомайских праздниках в Лионе, Претории, Буэнос-Айресе, Джакарте... Все в порядке! Но перед тем, как утром диктовать беседу московским стенографисткам, надо уточнить по справочникам русское написание услышанных имен, географических названий...

– Только, пожалуйста, поменьше ошибок! – протягивает руку Ганзелка.

– Не передам, пока сами не прочтете, – обещаю я.

– Все так говорят, а потом мы читаем о себе такое! – смеется Зикмунд.

Что за невезучий день! Одна библиотека на ремонте, в другой нет нужного тома энциклопедии... Время приближается к полуночи, когда удастся, наконец, все сверить. Но как вернуться к путешественникам? Как поднимать людей среди ночи с постели... Черт меня дернул обещать.

Второй час ночи, накрапывает дождик. Я у резиденции, озираюсь по сторонам и перелезаю через ограду. Парадная дверь заперта, обхожу вокруг, нащупывая в стенах запасной вход. Одна дверь поддалась, я ныряю в темноту; что-то сверху срывается и громыкает под ногами. Кастрюля! Я где-то на кухне. В полутьме продолжаю шарить рукой по стенам. Вот еще проем, вестибюль, крадусь по лестнице и на ощупь толкаю дверь. Зикмунд лежит в постели, читает при свете ночника. Поднимает глаза как на привидение.

– Пришли! А я уже не ждал.

Он опускает ноги в тапки.

– Многие обещали показывать, но исчезали бесследно. И приучили нас,

приписывая нам свой образ мышления, утешаться юмором. Мы сами знаем держать слово и в людях это ценим...

Когда начинает везти, то уж такова природа везения, что оно не обрывается, а имеет хотя бы короткое продолжение. Через пару дней мы уже вместе кружим на машинах по Иркутску; реальность здесь так перемешана с историей, что каждая остановка угрожает спутать планы. Ну как проехать, не останавливаясь, мимо Публичной библиотеки на улице Тимирязева и здания в мавританском стиле с угловыми башнями на улице Карла Маркса (областной краеведческий музей)? Их основал в XVIII веке иркутский губернатор чех Н.Ф.Кличка. И как не задержаться у каменного здания на улице Ленина, у бывшего отеля «Централь», где обосновались бежавшие из Омска министры Колчака, а в 1920 году в тех же кабинетах в Политотделе 5-й Красной армии редактировал революционную газету на монгольском языке Ярослав Гашек?

А потом мы ели пельмени на кухне моей иркутской квартиры. Ввалился прилетевший из Братска молодой, долговязый, возбужденный Евгений Евтушенко, с ним пришел веселый и шумный сумбур. Мы пили кедровую водку под соленого омуля, бессвязно говорили все разом, а счастливый поэт, все еще хмельной от таежного города, где впервые читал новую поэму, все повторял, как на плотине откуда-то из-под облаков лилась теплая струйка на его непокрытую голову, а когда он вскинул глаза, увидел над собой кабину порталного крана. Молодая крановщица на вытянутых руках держала малыша, пока тот выпускал струю вниз на непокрытую голову поэта.

– Не хватает яслей! – горячился поэт. – Матери-одиночки берут детей с собой на работу. Юра, Мирек, вы должны это увидеть!

Ганзелка взмолился:

– У нас большое желание посетить всех. Но мы пока не можем это сделать, много работы, а нам еще хочется побывать дома. Мои дети меня, наверное, забыли. Когда я в последний раз вернулся в Чехословакию, дочка показала мне мою фотографию: «Смотри, дядя, этой мой папа!»

Поэт не унимался:

– А на станции Зима идите прямо к Дубининым... Леня, Неля, у вас есть черемша?

– Знаете, чем отличается наша поездка по Советскому Союзу? Здесь у нас не было ни одного выходного дня!

– Как, вы ни-ког-да не пробовали черемшу?! Леня, Неля, ну, где черемша?

– Думаю, правильно делает иркутский градоначальник, когда сносит старые заборы. У англичан говорят: чем выше забор, тем лучше соседи, но это, может быть, правильно для капиталистического мира.

– Как это в доме нет черемши!?

– ...При социализме должно быть меньше заборов, люди будут ближе друг к другу. Заборы тоже часть бытия, которое определяет сознание.

– Юра, Мирек, вы должны нас понять. Мы, русские, как пенёк: все выдержим, когда нас бьют... Ну, где черемша?!

Поэт жестикулирует рукой с браслетом на запястье, подаренным то ли индейцами Амазонки, то ли эскимосами Аляски, и смотрит на всех поочередно влюбленными глазами. Он обожает Ганзелку и Зикмунда, и город Ир-

кутск, и всю за окнами Сибирь, и весь огромный мир, который готов обнять, прижать к груди своими длинными руками.

И в страшном сне тогда не представить было, что четыре года спустя, даже раньше, Иржи Ганзелку и Мирослава Зикмунда в СССР назовут антисоветчиками, чешскими националистами, ярыми врагами социализма, а Зикмунд, видя у ограды своего дома советские танки, задыхаясь от обиды, будет кричать в микрофон подпольной радиостанции: «В эти трагические минуты моей родины я, Мирослав Антонович, обращаюсь к вам, дорогие друзья – Володя, Толя, Таня, Женя, Валя, Виктор, Гаврила, Лидочка, Леня – все вы, бесчисленные наши друзья, которые нас встречали как родных и которым вы верили. Я обращаюсь к вам с вопросом, верите ли вы, что мы, Мирослав Зикмунд и Юрий Ганзелка, что 14 миллионов чехов и словаков, которых вы все называли самыми верными из всего социалистического лагеря, вы верите, что мы – контрреволюционеры?.. Я прошу тебя, мой хороший друг Женя Евтушенко, не молчи!..»³⁴

Но это будет потом, а 17 мая 1964 года мы с Иржи Ганзелкой и Мирославом Зикмундом, с их спутниками – врачом Йозефом Кориной и механиком Мирославом Дриаком выехали из Иркутска; днем и ночью трясемся сквозь тайгу в серебристых «Татрах-805», хмелея от восходов и закатов, и подсакиваем на выбоинах дороги от Ангары до Енисея. В дороге все в радость – и встречи в почерневших притрактовых избах, и завтрак на обочине, и разговоры по «токи-воки» с где-то отставшей второй машиной, и даже коллективное извлечение гвоздя из спущенного колеса. А вечером так сладко засыпать в кузове на гладком кожаном мате, укрыв курткой голову от комаров, и слышать, как на остановке в таежном поселке Мирек отвечает местным газетчикам, любопытствующим, почему путешественники, изменив своим правилам, взяли в путь пятого члена экспедиции, к тому же журналиста.

– Очень просто, – говорил Мирек. – Все началось в Иркутске, в дождливую ночь, когда он перелез через ограду, вломился в нашу гостиницу и гремел на кухне посудой.

– Смотри, вылезло солнце, а мы еще собираемся, как это... как психи!

Чудные минуты тишины и покоя. Ганзелка устраивает чемодан, чтобы на ходу больше не катался по кузову. Дверцы кабины распахнуты, слышны пересвисты птиц. Можно свесить ноги в открытую дверцу, устроить на коленях тетрадь и записать про «психи». Иржи услышал это слово от забайкальских геологов, и, как всякое новое слово, сразу ввел в лексикон.

Один из первых «психов» был Фред Юсфин, диспетчер Братской ГЭС. Рыжий, вихрастый, он объявился в Иркутске, когда путешественники собирались лететь на стройку. Дни были расписаны по минутам, а диспетчер умолял непременно выступить на Падуне, в клубе «Глобус».

– Немаме ни минуты времени! – извинялись путешественники.

Фред достает из рюкзака афиши: «В гостях у “Глобуса” Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд. Три витка вокруг земли на “Татрах”... Афиши, говорит, прибиты к соснам по всему городу.

Иржи изумляется:

– Из-за этого вы летели пятьсот километров?

– Напрямую четыреста семьдесят, – отвечал Фред.

В клубе «Глобус» на Падуне путешественники сидели за столом на сцене, а в зале восемьсот пар глаз, устремленных на них. Для большинства они были первые в жизни иностранцы.

– Что в Советском Союзе произвело на вас самое большое впечатление?

– Нас поражают не отдельные факты, а огромный размах вашего строительства и его блестящие результаты. У вас масса талантливых людей. Разбуженные таланты – вот самое яркое впечатление. Это подтверждается везде, где бы мы ни были.

– С кем из интересных людей вы встречались?

– В вашей стране встреча с человеком неинтересным – исключение, поэтому назвать всех трудно.

– Чем отличается ваша поездка по Советскому Союзу?

– У нас не было ни одного выходного дня.

– Когда закончится это ваше заграничное путешествие?

– Оно окончилось, когда пароход «Серго Орджоникидзе» доставил нас из Японии на советский Дальний Восток. Здесь мы дома.

– Влюблялись ли вы во время путешествия?

Зал взрывается хохотом.

– Поскольку Мирек, отвечая на предыдущий вопрос, не выдержал регламент, я коротко отвечу – да!

Ганзелка и Зикмунд чувствуют затруднения, только встречая функционеров. Дежурные заискивания чиновников, их назойливые тосты «за дружбу» в очевидном разладе с их цепкими взглядами; они говорят все, кроме правды. Только человек, знающий изнутри заведенный порядок вещей, представляет, как после прощания с путешественниками они будут спешно докладывать по инстанции, что заметили подозрительного. Официально поездка проходит под патронажем Академии наук СССР, в республиках и областях сотрудники Академии не оставляют путешественников ни на шаг и шлют отчеты руководству ЦК КПСС, Комитету государственной безопасности, Генеральному штабу Вооруженных сил СССР... Когда путешественников в Москве познакомят с Брежневым, в ту осень сменившим Хрущева, тот им простодушно скажет: «Мне известны все разговоры, которые вы вели от Владивостока до Москвы»³⁵.

Миновав угольные разрезы Черемхова, по пути к городу Зиме сворачиваем в рабочий поселок Забитуй, ищем Александра Герасимовича Нестерова, штабс-капитана Белой армии, потом заместителя главнокомандующего войсками Политцентра в Сибири. 20 января 1920 года на станции Иркутск в охраняемом чехами («белочехами») поезде, следовавшем во Владивосток, Нестеров руководил арестом адмирала А.В.Колчака и председателя правительства В.Н.Пепеляева. Трудно было в это поверить, увидев Александра Герасимовича, теперь сухонького старичка, начальника поселковой жилищно-коммунальной конторы. А тогда он, двадцатитрехлетний, вслед за дежурным чешским офицером 6-го чехословацкого полка Боровичкой со своими солдатами входил в вагон поезда, над которым флаги стран Антанты, и направлялся в купе Колчака.

По словам Нестерова, Колчак сидел на диване рядом с Анной Васильев-

ной Тимиревой, вокруг стояли офицеры. Боровичка сообщил о передаче адмирала местным властям и попросил приготовить вещи. Анна Тимирева сжимала руки адмирала, успокаивая. Попросили выйти Колчака и Пепеляева, арестовывать Тимиреву не собирались, но она сама спустилась вслед за адмиралом на перрон, чтобы разделить его участь. Сохранилась расписка: «Настоящим удостоверяю, что от уполномоченного Политического центра мной получен акт в принятии бывшего Верховного Правителя адмирала Колчака и бывшего Председателя Совета министров Пепеляева. Дежурный 6-го чеховый полк Боровичка»³⁶. Нестеров и конвой повели Колчака, Пепеляева, Тимиреву по льду Ангары к городской тюрьме.

Ганзелка и Зикмунд хотят понять, что на самом деле случилось с чехами в России в 1918–1920 годах.

История не так проста, как она представлялась истолкователям, компенсировавшим полузнания актуальной идеологией. Идея создания воинства из представителей славянских народов Австро-Венгрии принадлежала чехам-колонистам Российской империи, «русским чехам», как они себя называли, объединенным в «Чешский национальный комитет». В день объявления войны с Германией, 14 июля 1914 года, комитет сообщил Государю Николаю II о готовности чехов «бок о бок с русскими братьями-богатырями» бороться за освобождение своей родины, «а два месяца спустя чешская делегация, принятая в Петербурге, в Зимнем дворце, известила русского императора о своей надежде, что “свободная и независимая корона Святого Вацлава скоро будет сиять в лучах короны Романовых...”»³⁷. Другими словами, чехи не только изъявляли готовность воевать против немцев в составе русской армии, но не исключали перспективы для освобожденной Чехии войти в состав России. Чехословацкое военное формирование, созданное той же осенью на Юго-Западном фронте, успешно участвовало в боевых действиях 3-й армии генерала Р.Д.Радко-Дмитриева и по воле великого князя Николая Николаевича, командующего российской армией, получило разрешение пополнять свои ряды воевавшими на стороне Австро-Венгрии чехами, словаками, русинами, попавшими в плен или добровольно перешедшими на российскую сторону. За участие в войне против австро-венгерской монархии Петербург обещал пленным поддержку в создании самостоятельного государства.

К концу 1915 года уже был Первый чехословацкий стрелковый полк имени Яна Гуса, вскоре развернутый в бригаду. Она становилась опорой созданного в Петербурге «Союза чешских национальных обществ», других близких к царствующему дому политических образований, призванных осуществить державный замысел Государя привести славянские народы Восточной Европы под российское влияние. Так бы, возможно, и случилось, если бы не февральская революция 1917 года и не отречение Николая II. Чехи опасались связывать свою судьбу с ненадежной временной властью, предпочли продолжать на восточном фронте войну с Германией, цепляясь за эту единственную возможность создать независимую республику. Их воинский дух изумил генерала Брусилова: чехословацкие добровольцы, писал генерал, «оставленные всеми, бились так, что все мы должны преклониться перед их доблестью. Одна чехословацкая бригада сдерживала несколько неприятельских дивизий. Пал цвет чехословацкой интеллигенции. В качестве простых солдат сражались и умирали: учителя, адвокаты, инженеры, писатели, известные общественные деятели. Раненые просили убивать их, лишь бы не попасть в руки немцев...»³⁸.

Генерал Брусилов зря говорить не стал бы.

Свидетельства боевых русских командиров ничего не оставляют от позднейших мифов, получивших хождение в 1968 году, о якобы неспособности чехов постоять за себя и только потому не пытавшихся сопротивляться. И сегодня есть возбужденные головы, так объясняющие, почему чехам удалось сохранить первозданными средневековые города с замками и костелами: «чехи никому не сопротивлялись». Это очевидно только тем, кому для познания чешской природы довольно знакомства с бравым Йозефом Швейком.

Чехи и словаки срывали с воинских одежд погоны и кокарды царской армии, но новая российская власть отказалась выполнять подписанные царским правительством договора. Заключив с немцами мир, большевики не могли гарантировать обещанную прежней властью поддержку. Что было делать войску, неприкаянному на чужой земле? Франция и Англия пообещали чехословакам взять на себя выполнение царских обещаний при условии, что корпус вернется в Европу и вступит в бои на западном фронте. Большевистская Россия и Антанта признали корпус частью французской армии; солдаты спешно пришивали красно-белые ленточки к головным уборам. Существовавший в Париже Чехословацкий Национальный Совет, опекаемый французскими властями, объявил себя единственным верховным органом всех чехословацких воинских частей, в том числе действующих в России. Корпус получил предписание передвигаться по Транссибирской магистрали до Владивостока, оттуда морем до Европы, пополнить чешские легионы, окопавшиеся на холмах, где проходил западный фронт.

Охваченная гражданской войной, Россия тянула чехословаков в разные стороны, одинаково чуждые и не нужные им. Часть их, взбудораженная большевистскими идеями, чуя дух свободы, равенства, братства, шла под красные знамена, в ряды интернациональных бригад. Для других большевики были союзниками ненавистных немцев, подписавшими Брестский мир и развалившими фронт; они шли в Белую армию спасать Святую Русь и Европу от большевистской заразы. А третьи, не желая вмешиваться в чужие дела, толкались на железной дороге, забитой воинскими эшелонами, штурмовали теплушки с нарами и соломой, надеясь добраться до океана.

Германское командование опасалось переброски с Дальнего Востока на Западный фронт чехословацкого корпуса. Советское правительство гарантировало чехословацкому командованию беспрепятственное передвижение корпуса по железной дороге и уже договорились о том, сколько оружия для самозащиты могут иметь проезжающие войска (каждый эшелон охраняет вооруженная рота численностью 168 человек, один пулемет с тысячью двумя патронами и по триста патронов на винтовку), а все остальное оружие сдается представителям советской власти. Чехи придерживались договоренностей. Тем не менее в двадцатых числах мая 1918 года народный комиссариат по военным делам распорядился задержать и разоружить чехословацкое войско. Председатель Реввоенсовета РСФСР Л.Д.Троцкий приказал передать высших офицеров корпуса Австро-Венгрии. От сибирских властей требовалось расстреливать на месте каждого, кто окажется с оружием на рельсовых путях. Это вызвало вооруженное выступление 40 тысяч (по другим источникам, 30 тысяч) чехословацких солдат и офицеров. На Волге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке началась кровавая вакханалия.

В Красной армии, в интернациональных батальонах, были латыши, китайцы, венгры, немцы, военнопленные чехи. Они составляли до двух третей численности некоторых большевистских полков. В жестокосердном сумасшествии человек с ружьем доходил до крайностей, независимо от происхождения или сословия. Весной 1970 года в Москве мне рассказывала вернувшаяся из ссылки А.В.Тимирева, арестованная тогда в Иркутске вместе с Колчаком и препровожденная поручиком Нестеровым в тюрьму, как в ее присутствии белые и красные одинаково захватывали заложников, в их числе беременных женщин, с равным хладнокровием ставили лицом к стене, стреляли в затылок.

Среди чешских легионеров известнее других были командующий чехословацким корпусом генерал Ян Сыровы и один из командиров корпуса Радола Гайда. Их связи с генералами Белой армии, с комиссарами Красной армии, с чинами войск Антанты, а особенно между собой были запутанны и сложны. Сохранились письма Яну Сыровы от русских генералов, когда в Красноярске чехи задержали поезд с адмиралом Колчаком. Телеграмма от 19 декабря 1919 года: «Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новые испытания, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступили и, взаимно уважая друг друга, дрались во имя общей идеи, решились нанести оскорбление русской армии и ее верховному главнокомандующему, то я, как главнокомандующий русской армии, в защиту ее чести и достоинства требую лично от вас удовлетворения путем дуэли со мной... Генерал-лейтенант Каппель»³⁹.

Два дня спустя, 21 декабря, на имя Каппеля придет телеграмма от атamana Семенова: «Глубоко возмущенный распоряжениями чешской администрации и действиями чешских комендантов, со своей стороны принимаю все возможные и доступные мне меры к прекращению чинимых ими безобразий, не останавливаясь в крайнем случае перед вооруженным воздействием. Приветствуя ваше рыцарское патриотическое решение, прошу верить, что я всегда готов заступить ваше место у барьера...

Генерал-майор Семенов»⁴⁰.

Все уладили без дуэли.

Охраняемый чехами поезд с Колчаком прошел к Иркутску.

У генерала Гайды, поставленного Колчаком во главе Сибирской армии, возникла напряженность с начальником штаба армии генералом Лебедевым. Гайда отказался подчиняться Ставке; конфликт между ними был неприятен Колчаку, он с трудом уладил их отношения, но настороженность к чешскому командиру у Колчака оставалась. В ноябре 1919 года из-за военных неудач Гайда был лишен генеральского звания; отстраненный от должности, он попытался организовать во Владивостоке антиколчаковский переворот, но потерпел неудачу, бежал на родину и после Второй мировой войны был осужден за сотрудничество с гитлеровской Германией. Тем интереснее предсмертная записка Колчака, адресованная Анне Васильевне Тимиревой, не дошедшая до любимой женщины, но сохраненная в «Деле по обвинению Колчака Александра Васильевича и др.». В самом ее конце, как внезапный проблеск воспоминания, возникает имя упрямого чешского генерала; что-то с ним связанное до конца дней смущало Колчака, и на краю смерти он хотел прийти к христианскому согласию в душе. «...Твои записки единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим са-

мопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. Гайдю я простил...»⁴¹

Гайда об этом никогда не узнает.

В Забитуе Нестеров вспоминал об эпизодах гражданской войны, по его словам, первый раз после тридцати четырех лет, которые он провел как заключенный в лагерях на Колыме. Из ссылки вернулся семь лет назад. Отвечать на расспросы подробно не стал. «Это, знаете, как ад у Данте... Но без Вергилия».

Нестеров обнимал Ганзелку и Зикмунда, первых чехов, увиденных после гражданской войны. Когда «Татры» тронулись в путь, он вспомнил что-то недосказанное, для него важное, предназначенное путешественникам, и бежал вослед, крича вдогонку: «Запишите! В гражданскую войну русских и чехов хоронили вместе! Рядом! В Иркутске, Новосибирске, под Свердловском, под Челябинском! В одних могилах!»

В боковое зеркало еще долго был виден Забитуй. Посреди дороги бежал старичок, спотыкаясь и махая рукой, пока не исчез в клубах пыли.

В поездке с Ганзелкой и Зикмундом и даже четыре года спустя, при вводе советских войск в Чехословакию, я как-то не задумывался о том, какой след оставили чешские легионеры в нашей исторической памяти. У каждого свое представление, но помимо личного восприятия существует массовое (коллективное) сознание, каким его формирует принятая в обществе идеология. У советских историков был собственный взгляд на легион; не допуская исследователей к архивам, власть насаждала представление о мятежных «белочехах» исключительно как о беспощадной враждебной силе, брошенной Антантой против Советов и своим вмешательством вызвавшей у нас гражданскую войну.

Сотнями лет живет историческая память о Ледовом побоище или о Куликовской битве, но после гражданской войны прошло не так много времени, чтобы судить о том, какими ее события остались в массовом представлении и как они передаются с генами потомкам. Во времена горбачевского «нового мышления», когда в газетах появлялся призыв к властям покаяться перед чехами за вторжение 1968 года, снять с души грех, среди откликов читателей было несколько раздраженных, с требованием напомнить чехам, как они себя вели в гражданскую войну.

Из письма В.Ф.Горохова (гор. Изюм, Харьковская область): «Бывший министр иностранных дел ЧССР Иржи Гаек пишет, что ввод войск в Чехословакию вызвал глубокое отчуждение между нашими народами. Я хотел спросить, знает ли Гаек о чехословацком корпусе в 40–60 тысяч штыков, которые вмешались в гражданскую войну в России и не помнит ли он песенку, которую распевали в Сибири: “Отца убили злые чехи, а мать живьем в костре сожгли, с сестрой мы в лодочку сядились и тихо плыли по реке...” Я родился под Омском в 1918 году. Моего отца фельдшера забрали чехи (белочехи) и колчаковцы и убили. Зачем чехи были в Сибири, зачем помогали Колчаку в терроре против русских людей? Что им надо было за тысячи километров? Наш народ не злопамятен, он ничего не забыл, но простил это чешским парням. Что касается событий 21 августа 1968 года, я считаю, что чехословацкое руководство забыло, что их народ – славянское племя. Они, эти правители, онемечились. Это событие было предательством дела славян, социализма,

содружества Варшавского договора. И войска (не только советские) сообща пресекли это предательство. А часть чехословацкого народа поддавалась провокации со стороны экстремистов. И еще: надо ли было ждать, когда немцы ФРГ введут войска в Чехословакию?.. 18 сентября 1989 г.».

Из письма доцента Г.А.Хомянина (Москва): «...В наших отношениях был не только 1968 год, был еще май 1918 года, когда начался мятеж белочехов в Челябинске. То было внезапное вмешательство чехословацких легионеров в гражданскую войну на стороне врагов Советской власти. Они составили ударную наступательную силу Колчака и наводили ужас на население Урала и Сибири. Они вешали по несколько человек на фонарных столбах. Эта “новинка” была названа “букетом Гайды”. Представьте себе, какой крик поднялся бы в Европе, если бы, скажем, на улицах Брно или Братиславы появились подобные букеты в 1968 году. А ведь это было бы простым возвращением долга. Теперь дело в прошлом. Тем не менее у меня есть предложение. Президент Чехословакии В.Гавел принес извинения судетским немцам за 1945 год, за их массовое выселение с территории Чехословакии. Почему бы ему не попросить извинения у нас за вмешательство в наши внутренние дела в 1918 году?.. 24 мая 1990 г.».

Писем достаточно, чтобы за ними увидеть советское общество конца XX столетия, по крайней мере, его значительную часть, отождествляющую себя с непогрешимой и всегда правой властью. Ничего не поделаешь, такова природа нашей исторической памяти: подозрительность к окружению, вечно норовящему что-то у нас прихватить, и при этом застарелое чувство униженности и готовность, рванув рубаху на груди, взять реванш. Глубоко в подкорке таятся нанесенные когда-то обиды, и нужен был грохот танков по улицам Праги, чтобы все темное, что пряталось в подсознании, вдруг вырвалось наружу в подспудном и злорадном: «Так им и надо!»

Точнее многих эту психологию выразил Наум Коржавин: «Мы испытали все на свете, / но есть у нас теперь квартиры, / – как в светлый сон, мы входим в них. / А в Праге, в танках, наши дети... / Но нам плевать на ужас мира, / пьем в «Гастрономах» на троих. / Мы так давно привыкли к аду, что нет у нас ни капли грусти – / нам даже льстит, что мы страшны. / К тому, что стало нам не надо, / других мы силой не подпустим, – / мы, отродясь, – оскорблены...» В сущности, это обидный, горький, но верный ключ к пониманию, отчего части нашего населения оказалась близка кремлевская риторика против Пражской весны.

Станция Зима, 19 мая. В бревенчатом доме шофера Андрея Ивановича и Евгении Иосифовны Дубининых Иржи раздевается до пояса, подставляет шею под кувшин холодной воды, за ним другие; в нашем омовении участвуют брат Андрея Ивановича Владимир Иванович, дочь Андрея Ивановича Эля со своим ребенком, все помогают, передают из рук в руки пахнущий земляникой обмылок. После долгой тряски на дороге приходит ощущение легкости, свежести, счастья. А на столе соленая черемша, и черный хлеб, и бутылка водки, и уже Евгения Иосифовна несет на подносах из печи к столу шанежки, а к самовару торт из черемуховой муки. Это дом дяди и тети Евгения Евтушенко, в этих стенах прошло его детство.

Андрей Иванович, видно, читал книги Ганзелки и Зикмунда и теперь допытывается, где их знаменитая «Татра», намотавшая на спидометр,

наверное, больше всех на свете машин.

– Ей место в музее! – горячится Андрей Иванович.

Иржи не согласен:

– По совести, в музее должны быть ваши грузовики. Так носиться по сибирским дорогам, по колдобинам и оставлять шоферов в живых! Если подбирать по пути запасные части, отвалившиеся от ваших машин, можно укомплектовать половину автохозяйств Сибири!

К Дубининым набивается полно людей. Старики вспоминают, как в марте 1919 года на станцию Зима пришли эшелоны 4-го чешского полка. Полк отказался выступать против Красной Армии; когда партизаны взяли под контроль движение белогвардейских поездов, связной между чешским полком и партизанами была Ядвига, мать Андрея Ивановича, бабушка Евгения Евтушенко. Она служила буфетчицей в Народном доме, там была штабквартира местной контрреволюции, при ней застенки для заключенных. Через Ядвигу чехи передавали партизанам оружие, помогали арестованным устраивать побеги.

Мать Ядвиги, житомирская крестьянка Варвара Кузьминична Байковская, не потерпев обиды от помещика, убила негодя и пошла по этапу в Сибирь. Ее муж, участник польского восстания, взял сына Степана на руки и пошел вслед за нею. Сестра Степана Мария вышла замуж за Ермолая Наумовича Евтушенко. Белый офицер перешел на сторону большевиков и в 1938 году сгинул в одном из сталинских лагерей.

Вечером дядя Андрей и тетя Женя уложили нас на полу, на свежих простынях, под большим ватным лоскутным одеялом, не переставая извиняться за бедную постель. Им было не понять, и никакими словами их не убедить, какое для путешественников счастье именно эта постель в сибирском доме, на пахнущем тайгою свежeweымытом деревянном полу, и как прекрасно снова чувствовать себя странниками и сладко засыпать под тиканье настенных часов с гирькой на цепи.

Утром Владимир Иванович принес большого хариуса, такие еще водятся в Оке.

– Андрей Иванович, – спросил Мирек хозяина, – это вы поймали такую крупную рыбу?

Андрей Иванович человек честолюбивый, его так распирало подтвердить, что именно он ее поймал, но говорить неправду было свыше сил, и он выпятил грудь:

– Это мы, Дубинины, поймали!

Провожать гостей собралось много зиминцев. Все просят Андрея Ивановича найти предлог задержать гостей. Андрею Ивановичу тоже хотелось показать город, но у путешественников впереди долгий путь. Андрей Иванович спросил Мирослава:

– Вы много ездили по свету. Разных людей повидали. Если по правде – что вы скажете о русском народе?

Мирек обнял его:

– У вас сердце здесь, всегда на ладони.

...В двадцатых числах августа 1968 года, прочитав в газете «Заявление ТАСС» о вводе в Чехословакию союзных войск, Андрей Иванович Дубинин,

родной брат Владимира Ивановича, муж Евгении Иосифовны, отец Эли, дядя Евгения Евтушенко, недели две не захочет никого видеть и не будет показываться на людях. А когда появится у себя на крыльце, на вопросы соседей, не случилось ли чего, опустит голову:

– Эти танки... Стыд-то какой перед людьми.

...Солнце уже в зените, когда «Татры» вкатываются в Тулун. Откуда столько пыли! Как будто бьют пескоструйные аппараты. Сквозь густую пелену едва различима городская больница и школа-интернат. Какую умную голову осенило поставить эти здания у проезжей дороги?

Иржи отчаянно чихает:

– Такой пыльный город вижу второй раз в жизни. Первый был Чако в Аргентине!

– Мы вторая Аргентина, слышали? – обращается к сопровождающим польщенный глава города. В Японии, говорил ему Мирек, тоже много неустроенных дорог. А пыли нет: в пять утра женщины поселка выходят с ведрами и поливают дорогу. Хозяин Тулуна привык слышать от иностранных гостей только тосты за дружбу. Он обескуражен и обещает «начать борьбу».

– Милый товарищ, не надо борьбы! – взмолился Иржи. – Надо завтра выйти на дорогу с ведрами. Поливать лучше не водой, а разбавленным мазутом.

Когда мы садились по машинам, хозяин города долго и со значением тряс руки путешественников. Едва за ними захлопнулись дверцы машины, он повернулся к свите:

– Вот вам демократы, мать их так... Сидят у нас на шее и еще учат!

Несколько часов спустя, когда на селекционной станции, одной из самых старых в Восточной Сибири, директор по обычаю стал рапортовать о достижениях при советской власти, Иржи не выдержал:

– Дорогой товарищ, – заулыбался он, – мы чувствуем здесь себя не как гости, а как друзья. Ваши успехи – наши успехи тоже, а ваши неудачи – тоже и наши неудачи. Мы строим один большой дом.

– Вы меня не поняли, товарищ Ганзелка. Чтобы лучше оценить достигнутое, надо сравнивать с тем, что здесь было до революции, – директор указкой водил по диаграмме на стене. А Иржи продолжал улыбаться.

– Хотите мое мнение? Чтобы идти к цели быстрее, надо больше смотреть, чего не хватает, куда тянуться, сколько еще шагов до уровня самых развитых стран. Мне кажется, что ваши успехи – норма, а если что не так – это отклонение от нормы. Вы согласны? Не сердитесь, пожалуйста...

...Услышать чешскую речь в Нижнеудинске! Чей-то баритон знакомо перекатывает во рту мягкие, округлые, бархатные слова, словно мы где-нибудь в Домажлицах или в Будейовицах. Иржи набрасывает на плечи куртку и торопится по коридору гостиницы, Мирек за ним. У столика дежурной незнакомец в черном костюме, белой рубашке, в руках соломенная шляпа, привычная скорее в Крыму.

– Честь праце, соудруги! Вчера вечером ваши «Татры» шли мимо нашей деревни. Я махал рукой, вы не заметили... Извините, Иосиф Иргл, директор

школы из Шеберты. Для деревни Иосиф Антонович, для всей округи просто «чех из Шеберты».

Сибирь – это Вавилон; прикроешь глаза и видишь, как бредут связанные веревкой девять тысяч пленных солдат и офицеров армии Карла XII, участников Северной войны, разбитых под Полтавой. Многие шведы женились на сибирячках, приняли православие. Когда срок ссылки закончился, не все вернулись на родину. От оставшихся пошли голубоглазые светловолосые русские с нерусскими фамилиями. Гуще других было поляков, участников революционных восстаний. Чехов тоже хватало.

Я знал историю Яна Вельцла, искателя приключений из Забржега (Моравия). В конце XIX века он устроился кочегаром на итальянское грузовое судно, побывал в Австралии, на островах Океании, в Африке, Японии, во Владивостоке сошел на берег, добрался до Байкала, строил с артелью Транссибирский рельсовый путь, а потом с лошадкой, единственной собственностью, пошел к океану. Тридцать лет неугомонный чех провел на Новосибирских островах. Когда я попал на острова в середине шестидесятых, еще ходили о нем рассказы, как он торговал пушниной и рыбой, стал хозяином фактории. Его шхуна «Лаура» потерпела крушение вблизи Америки в 1924 году. Когда Вельцл вернулся в Чехию, с его слов журналисты написали несколько книг.

И вот Иосиф Иргл.

История семьи Ирглов в России началась в царствование Александра III, когда крестьяне из Чехии и Моравии, томясь в империи Габсбургов, приняли приглашение русского императора заселять на льготных условиях пустующие земли на Волынщине. Они выкупили шестьдесят тысяч гектаров земли, построили мельницы, пивоварни, сахарные заводы, дома и школы. В Первую мировую войну волынские чехи в составе чехословацкой воинской части воевали с Австро-Венгрией. Победа большевиков в Петрограде, гражданская война в России, дележ Западной Украины между Россией и Польшей (1921 г.) разбросали волынских чехов; оказавшись на советской территории, отец Иосифа был, как говорили, раскулачен, семью выслали в Восточную Сибирь, в Шеберту под Нижнеудинском. Иосиф Антонович учит детей географии. «Какой я чех? Я чешский сибиряк...»

И все-таки были, были три счастливых года, когда Иосиф Иргл ощущал себя чехом. В 1942 году он попал в чехословацкий корпус Людвика Свободы, в бригаду полковника Пршикрыла, был парашютистом-десантником. Его группу, сорок человек, сбросили в Словакии под Банска-Быстрице; они ввязались в бой, но силы были неравны, парашютисты ушли партизанить в леса. К ним примкнули бежавшие от немцев власовцы и пленные венгры. Три сотни партизан воевали до конца войны, пока не соединились с частями Советской Армии. После победы Иосифа потянуло домой – в Сибирь, обратно в Сибирь.

Мало кто из чехов так чувствует русских, как за многие годы их научился понимать чех из Шеберты. И вот что его поражает: здесь люди легко принимают на веру прочитанное или услышанное, и если обнаружится разлад между чужими словами и их собственными наблюдениями, они усомнятся скорее в возможностях своего понимания, но не в печатном или услышанном слове. Он не знает, идет ли это от времен сплошной безграмотности, от ощущения своей ущербности или от природной доверчивости, особенно к

слову барина (хозяина, чиновника, любого начальника), но удивительно, как просто этими людьми манипулировать. Чех бы сто раз усомнился там, где русский сразу и безоглядно поверит.

На эти мысли его навел 1956-й год, когда Советская армия разгромила венгерское восстание. Йозеф не может сказать, что всею душой с венграми, по истории у него к венграм немало вопросов, но когда там пролилась кровь, он сильно переживал, все время представлял, что было бы, если на месте венгров оказались чехи. Но Шеберта, даже местная интеллигенция, все принимала на веру и возмутителей спокойствия осуждала. Друзья уговорили его эти темы лучше не трогать. Он и не трогает, помнит, что есть семья, двое сыновей.

– Скучаете в Сибири? – спрашиваю.

– Да нет, – отвечает, – прекрасный поселок Шеберта, люди хорошие, добрые... Только по-чешски не поговоришь.

Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд дарят учителю книгу «Между двух океанов». И пишут на титуле: «Дорогому земляку Иосифу Ирглу на память о первом за семь лет разговоре на чешском. Пусть вам эта книга, которую мы возили пять лет по всей Азии, напомнит материнский язык в далекой Сибири. И до встречи в Чехословакии».

До Пражской весны было еще четыре года.

Могу представить, что чувствовал Иосиф Иргл, услышав, что в войска 38-й армии, вошедшей в 1968 году в Чехословакию, попали и новобранцы из Шеберты, его русские ученики. Не знаю, призвали или нет тогда в солдаты его сыновей.

...В Компартию Чехословакии Ганзелка и Зикмунд вступили в 1963 году во время путешествия по Индонезии. Они уже были известны, у них была любимая работа, хорошие семьи; их вера в возможность переустройства мира была чиста и свободна от идеологических догм.

Поездка по СССР впервые поколебала их прежнее приблизительное представление о советском народе. Они запомнят октябрьскую ночь в Москве, когда сместили Хрущева и во главе партии поставили Брежнева. «Мы тогда были страшно замотаны встречами, устали как черти, с трудом добрались до гостиницы и провалились в сон. Вдруг телефонный звонок. Иржи схватил трубку. Наш знакомый кричал: “Срочно приезжайте!” и назвал условленное место. В чем дело? Не могу, говорит, по телефону.

Мы оделись и выехали. Наш приятель стоял на углу улицы с оттиском свежего номера “Правды” с сообщением о смене власти. Мы спросили, когда будет отпечатан тираж. “Через два часа”. А когда появится в киосках? “Часов через пять-шесть”. Какая будет реакция? Ответ нас поразил: “А никакая, все промолчат”.

В семь утра мы на Красной площади. Люди в очереди к газетным киоскам, молча читают и расходятся. Как будто ничего не случилось. Будто в их жизни не было ни доклада Хрущева о культе личности, ни оттепели, и не они вчера встречали его с хлебом и солью на заводах, в театрах и институтах. Не они обращались к нему: “Наш дорогой Никита Сергеевич!” Это нас потрясло»⁴².

Ганзелка и Зикмунд готовили отчет о путешествии по Советскому Сою-

зу, не предназначенный для огласки: наблюдения о слабых местах в экономике, в обществе, партии, государстве. Подобные секретные доклады они писали чехословацкому руководству по Индонезии, по Западному Ирану, по Японии. Но исследовать уязвимые стороны социализма, потом знакомить с этим московских ортодоксов было безумием. Когда же на приеме в Кремле к ним подошел Брежнев и сказал, что читал их прежние отчеты, они смутились; им в голову не приходило, что Антонин Новотный, не спрашивая авторов, пересылает их секретные записки в Кремль. Еще больше они растерялись, когда Брежнев спросил, как продвигается Спецотчет № 4 по Советскому Союзу.

«Мы, конечно, обещали, что Брежнев получит чешский текст доклада в переводе на русский язык. И будет первым, кто познакомится с нашим анализом и предложениями. Они касались концепции развития советского общества, принципиальных структурных вопросов. Мы собирались изложить мысли о том, как освободиться от хронических болезней вашей экономики, планирования, социальной жизни. И предупреждали, что это будет совсем откровенно и откровенно критично. Брежнев одобрил наши намерения. Он только начинал руководить страной и выглядел другим человеком по сравнению с тем, каким мы его узнали позже. “Если впечатление будет положительным, я вам напишу”, – пообещал Брежнев. Мы возразили: нам интересней, если впечатления будут отрицательные. “Ладно, – согласился он, – я вас приглашу в Москву, мы уединимся на даче и обо всем поговорим”»⁴³.

Открытие М.Зикмунда в Иркутск (30 декабря 1964 г.)

Леня дорогой – ты даже не знаешь, как часто я думаю про тебя в эти праздничные дни! С сыном Саввой, которому ты в Красноярске подарил игру «Автоматическое путешествие по СССР», я ежедневно шляюсь по твоей родине и теряю фишки. Шлю тебе горячий привет и поздравляю с Новым годом. Жаль, что нам не удалось встретиться тебя в Москве. Привет Неле и Гале. Мирослав Зикмунд, Готвальдов⁴⁴.

Полтора года путешественники собирали материал, четыре месяца работали над текстом. Это были наблюдения двух внутренне свободных, умных, проницательных экономистов и публицистов. Ясно, пишут авторы, что советское хозяйство опасно кровоточит, если столько машин на новых заводах простаивает, столько людей вокруг них суетятся или же бездействуют. «Каждый капиталист вылетел бы в трубу при таком дилетантстве и безразличии, какие имеют место, например, на заводе «Амуркабель» в Хабаровске... В чем причина этого огромного и играющего резко тормозящую роль экономического кровотечения? Мы видим ее, прежде всего, в принципах и практике планирования». За четверть века до развала Советского Союза, когда государство выглядело вторым мировым центром силы, два чеха, не боясь казаться сумасшедшими, называют главное завоевание системы, ее безумную гордость – практику планирования – барьером, где можно сломать ноги, но его нельзя преодолеть.

Человеческие отношения, продолжают авторы, наиболее глубоко и трагично отмечены сталинским периодом. «Десятилетия террора и всеобщего страха перед непостижимостью органов безопасности, долголетие чувства бесправия и бессилия и какого-то непостижимого, но везде присутствующего “подвоха”, проявляющегося в ежедневном противоречии между словами и

делами “властелинов”, оставили неизгладимые до сих пор следы на этике личной жизни советских людей и личных взаимоотношений между ними... Мы все знаем героизм советских людей, знаем больше в его внешнем проявлении как героизм боевой или трудовой. Но это их вторичный, производный героизм. Советский человек является героем прежде всего в своей безграничной терпеливости...»⁴⁵

Ганзелка и Зикмунд предложили концепцию преобразования общества, предваряющую многими моментами программу горбачевской перестройки. Они выступали против абсолютного контроля за информацией о внешнем мире. Такой контроль сводил до минимума возможность сопоставления, опасного для существующей системы. Плотным был фильтр и для внутренней информации. «Факты засекречивались ссылкой на то, что они могли бы оказать услугу врагу. Главным, кто не знал и не должен был знать этой правды, был советский народ. Это было фактическое сокрытие правды перед собственным народом». Открытием для путешественников были глубокие различия двух наших стран. Чешские демократические традиции уходят корнями в гуситские времена. Стало очевидным, что политически чешский народ был более зрелым, более опытным, более активным, чем советский. «Это не наша заслуга. Это результат различий в столетнем развитии восточных и западных славян, не говоря уже о значительном влиянии ислама и буддизма в азиатских частях СССР».

В СССР народ привык к тому, что притеснения шли сверху, террор приходил из его собственных рядов, в то время, как чехи и словаки впервые подверглись террору внезапно и со стороны оккупантов в годы Второй мировой войны. Но когда чехи тоже почувствовали на себе власть органов безопасности, они обнаружили сходство с тем, что испытывали и с чем смирились советские люди. И хотя разными были подоплека и масштабы репрессий, «страх перед ночным стуком, произвол при толковании законов, методы запугивания, боязнь честных людей высказывать критическую мысль» нанесли большой ущерб морально-политическому состоянию чехословацкого общества.

Я часто представлял, как сидят за письменными столами эти два человека, чьи книги открывали моему поколению окно в недоступный нам тогда мир. В январе 1965 года я был у Мирослава Зикмунда в Готвальдове (Злине), у Иржи Ганзелки и его жены Ганны в Праге, в их милом доме На Мичанце; мы сидели у камина, слушали музыку: Иржи играл на органе любимого Баха; ничто не предвещало беды.

А под конец мая в Иркутск пришел конверт в траурной рамке. Из конверта выпала подписанная Иржи Ганзелкой карточка с печальными строчками:

«Сегодня мне приходится написать до сих пор самые тяжелые слова. Ганночки уже нет в живых. Она ушла от нас на рассвете в майскую неделю так, как прожила свои краткие 37 лет до последней минуты терпеливая, самоотверженная и мужественная. И последние ее мысли принадлежали детям, родителям, самым близким, и она заботилась о нашем будущем. Прощание с ней состоится в Страшницком доме ритуалов в четверг 20 мая 1965 года в 9.30. А потом Ганночка будет жить только в нас. Иржи Ганзелка.

Мы нарушим ужасную традицию говорить речи на прощание и личные соболезнования. Прежде всего, это касается детей, каждое слово делало бы эту тяжелую минуту тяжелее и тяжелее. Поэтому позвольте, чтобы с Ганночкой и Иржицом я ушел, как только дозвучит Пассакалия с-моль Баха».

Иржи, Иржи, Иржи... Я написал в Прагу письмо, пригласил Иржи отдохнуть с детьми на Байкале, на туристической базе в бухте Песчаной, в одном из самых красивых мест на озере.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (22 июля 1965 г.)

Леня, дорогой, хорошо было посидеть с тобою над твоим письмом. О моей Ганночке ни слова – но я понял. Сказать спасибо – это мало. Сто раз я вспоминал тебя, Макина (он меня даже два раза обрадовал звонком!), Макарова, Виктора Демина, Тольку Чмыхало ⁴⁶. Месяцами я думал о вас всех над трудом, который я с Миреком сдал вашим товарищам в конце апреля. И потом начал вспоминать по-другому. Скучал я страшно и до сих пор не знаю, куда деваться.

Дети теперь в южной Чехии при больших прудах и в лесах, под палаткой. Мне пришлось в промежутках отдать свое грешное тело хирургам. Но кажется, что все будет в порядке. Будущую неделю я буду отдыхать с детьми. Могу уже купаться вместе с ними, снимаю их, посмотришь, когда вернешься в свой второй дом в Прагу.

В начале августа у меня есть дела, потом недельку позанимаемся с детьми любительской археологией. С Мацеком ⁴⁷ пойдем на раскопку гуситской крепости. И с 15 августа придется уже сидеть в Праге и работать ⁴⁸.

Леня, милый мой, прекрасное приключение ты с друзьями придумал для Ганички и Юрочки, но ты, наверное, поймешь: мамы нет. Лишь десять недель мы пробуем жить втроем. Как мне прощаться с ними на месяц, и как же прощаться им? Десять дней прошло с нашей последней встречи, и уже 4 письма и две открытки: «Папа, приезжай скорей!». Обнимаю тебя, Леня, за искреннее предложение, но в Союз мы приедем только на будущий год, когда будет чуть полегче на душе.

Леня, прошу тебя, передай иркутским друзьям с большим приветом и мое извинение. Писать не успею, во всех моих планах огромный срыв. Но я не забыл и забыть не могу. Границы нет, дом наш только один! Ленька, приезжай! ПРИЕЗЖАЙ! Твой Юра.

Отчет о поездке по СССР Ганзелка и Зикмунд передали Новотному, уверенные, что он перешлет, как условились, Брежневу. Но прочитав машинописный текст, глава государства заколебался: как бы советское руководство не заподозрило, будто он разделяет их наблюдения, и тянул время. Путешественникам пришла мысль отправить рукопись в Москву через советское посольство в Праге, но кто знает, в какой редакции, с какими комментариями текст попадет по адресу. Ганзелка с пражского почтамта послал телеграмму: «Москва, Кремль, Брежневу. Доклад подготовлен, просим сообщить, когда и каким образом передать...»

На второй день Зикмунд приехал к Ганзелке в Прагу, к ним нагрянул советник-посланник И.И.Удальцов, второй человек в советском посольстве. «Вы что себе позволяете?! Вы должны были прийти к нам в посольство, и мы бы послали шифровку в Москву». «Если бы мы пришли в ваше посольство, Брежнев нашу телеграмму не получил бы никогда», – оба отвечали ему. В посольстве такого не прощают.

Ответа из Москвы не было.

Весной Зикмунд работал у себя в саду в Готвальдове, когда услышал крик сына Саввы: «Папа, быстро, быстро! На проводе дядя Иржи».

Оказывается, Брежнев уже дней пять в Праге, звонили из Дворца съездов: нужно срочно передать ему рукопись, через час он едет в аэропорт. Иржи задыхался: «Даже если бы за тобой прислали вертолет, мы бы все равно не успели! Столько дней в Чехословакии и позвонить в последний час, будто мы его холопы! Ходить на кабана у него есть время! Я не хочу с ним встречаться...»

«Ирко, Ирко, – сказал я, – подожди, не кипятись. Все-таки пойдешь, вручи ему папку, но дай понять, что мы об этом думаем»⁴⁹.

Ганзелка поехал во Дворец съездов. Брежнев принял папку, как ни в чем не бывало, повторив, что непременно прочтет, пригласит для разговора. Возможно, прочитав эту рукопись, подумай он о будущем страны, как его видят два просвещенных чеха, которые много чего на свете повидали и могли сравнивать, перестройка в СССР началась бы раньше, чем к власти пришел М.С.Горбачев. Но читать Леонид Ильич не любил, сто семьдесят три машинописных страницы оказались для него непосильными, да и времени не было. Он передаст папку с рукописью своим помощникам, те будут читать в состоянии шока: такого глубокого, откровенного текста о Советском Союзе у них перед глазами никогда не было. Об этом они могли шептаться между собой как о самой большой государственной тайне, но чтобы журналисты! иностранцы! все это увидели! и им на эти вещи открывали глаза! – это было невыносимо. Путешественники представления не имели, какая суэта началась в Москве вокруг их имен.

Письмо М.Зикмунда в Иркутск (18 февраля 1966 г.)

Дорогой Леня, эта карточка тебе уже давно известна⁵⁰, но мне хочется черкнуть тебе несколько слов, поблагодарить тебя за привет к Новому году и за телеграмму, которая меня очень обрадовала. Лучше было бы поговорить по душам как последний раз, но...

Может быть, что мы скоро полетим на несколько дней в Москву, ждем только сообщения из ЦК КПСС, но из Москвы в Иркутск далеко, далеко – и как нам теперь нужно сидеть, сидеть и писать. Выбросить все из головы, чтобы она была готова воспринимать новые впечатления. Обнимаю тебя. Мирек⁵¹.

При всем своем чутье на людей Ганзелка и Зикмунд бывали наивны, как дети. Им казалось, что читающий эту их рукопись поймет, не может не понять, их доверительный тон как глубокое уважение к собеседнику, как уверенность в его способности понять, что стоит за их откровенностью и бесстрашием. А стояла за этим их искренняя любовь к советским людям, она пришла к ним за два года странствий по необъятной стране, и теперь, они надеялись, навсегда. Это чувство только усиливалось состраданием к тому, что пережил народ, никогда в своем развитии не знавший буржуазной демократии; страшная сталинская диктатура повлияла на этику людей, на их частную жизнь, на их взаимоотношения, но сами люди, другого не видевшие, системой замкнутые в самих себе, ограниченности своих возможностей не замечают. Никогда не видевшим света как понять, что живут в темноте?

Некая же наивность их впечатлений о советских людях объяснялась не столько врожденной деликатностью, сколько их искренней верой в лучшее, что есть в каждом человеке. Нелегко им было установить границу, отделяющую естественное радушие людей от не раз встречавшегося другого «радушия», которое готовили местные партийные органы в специально назначенных семьях, обычно героев труда, куда накануне их приезда завозили продукты и где со старшими в семье репетировали, учили наизусть идейно выдержанные тосты, произносимые «от всей души». Да и зачем им это было знать, когда толпы разных людей любопытствующими и добрыми глазами прямо смотрели им в глаза, пытаясь понять их загадку, их особенность, лежащий на них отблеск Европы.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (5 мая 1966 г.)

Ленька дорогой, уже три раза ты обрадовал меня, не получив ответа. Ты хорошо знаешь нашу рабочую программу. Но никогда у меня не было столь нагрузки до предела, ни столь ответственной работы. А именно в самое критическое время в личной жизни. Но уже можно сказать: все прошло благополучно. Дети себе избрали маму (тетинку с первых дней своей жизни). Она и ее муж профессор Вента были моими самыми близкими друзьями уже 14 лет тому назад. Юра Вента лечил Ганночку до конца – и несколько недель после нее неожиданно скончался. Оба они очень любили наших детей. Даже на шесть лет нашей поездки по Азии хотели взять их к себе (своих детей у них не было), когда мы с Ганночкой еще считали съездить вместе. Вот тебе роман, написать его никто не имел бы отваги. Поверить нельзя. Только жизни разрешено.

Ленька, милый мой, больше писать не надо, все остальное – мелочи.

Основное: на место Ганночки пришла жена и мать, которая вернула душу нашему дому и жизни. Ни Ганночки, ни Юры Венты не забываем, не надо. Они оба с нами, даже сейчас улыбаются на меня с доски моего рабочего стола. Ты хотел снимок детей – вот он, даже вместе с первой матерью. Есть много другого, по делам, о чем хотелось поговорить. Но тут придется дождаться встречи. После нового договора ЧССР и СССР встречи стали более реальными. Ждем! Ленька, милый, привет твоим близким.

И тебя крепко обнимаю. Твой Юра ⁵².

Уловив настроения в московских верхах, советское посольство в Праге теперь тайно отслеживало каждый шаг Ганзелки и Зикмунда, вчитывалось в их строки, что-то искало между строками, из кожи лезло вон, чтобы дискредитировать в глазах руководства в Москве чехословацких путешественников.

«Прага, 6 июня 1968 № 571 экз. № 3... Направляем переводы статей, опубликованных в газете “Млада фронта” и журнале “Свет Совету”, касающихся поездки чехословацких журналистов-путешественников Ганзелки и Зикмунда по Советскому Союзу и их впечатлений об СССР и советском народе.

Как видно из прилагаемых материалов, эти выступления носят недружественный характер в отношении Советского Союза. По мнению посольства, было бы целесообразно подготовить и опубликовать в советской печати аргументированный и обстоятельный ответ на эти выпады против КПСС и советского социалистического строя. Такой ответ можно было бы поместить в газете “Комсомольская правда”.

Приложение: упомянутое на 24 листах.

Посол СССР в ЧССР С.Червоненко. 6.VI.1968».

Стояли теплые июньские дни, в приграничных военных округах торопливо готовили дивизии к переходу границы, вторжение было предreshено, и кремлевские идеологи хватались за любой предлог, чтобы пробудить в народе неприязнь к пражским реформаторам, к чехам и словакам, сторонникам перемен. Тем не менее голову в ЦК КПСС потеряли не все. Критика в адрес известных путешественников может вызвать протесты правозащитников, либеральной интеллигенции, части населения, которое встречало Ганзелку и Зикмунда, прониклось к ним симпатией. Надо ли это? На письме посольства появилась приписка: «Т. Гуськов А.Н. сообщил, что в отделе ЦК КПСС есть мнение пока не реагировать в нашей печати. 24.6.68».

До вторжения оставалось 57 дней.

Ответа Брежнева на «Спецотчет № 4» все не было, вокруг путешественников сгушалась вязкая, неприятная атмосфера. Не понимая, что происходит, Ганзелка и Зикмунд еще в марте написали письмо Брежневу. Позднее Зикмунд передаст мне копию, вот, с его разрешения, текст их письма с небольшими сокращениями.

«Дорогой и уважаемый Леонид Ильич! Приблизительно два года тому назад в последний день XIII съезда КПЧ мы по вашему желанию, высказанному в октябре 1964 г. в Москве, передали вам “Спецотчет № 4”. Вы сказали, что не позже, чем через три месяца либо письменно сообщите свое мнение, либо – если материал окажется интересным – пригласите нас к себе на дачу, чтобы поговорить в спокойной обстановке, вдали от телефонов и каждодневных забот. До настоящего времени мы не получили ни письма, ни приглашения. Наоборот, замечаем явления, для нас совершенно неожиданные.

1. После передачи материала начал исчезать по отношению к нам дружеский тон официальных советских инстанций. Нам весьма искусно не дали возможности участвовать в открытии выставки наших фотографий в Москве. Нас перестали приглашать в советское посольство в Праге, старые друзья из числа должностных лиц прекратили с нами связь. Мы для них стали подозрительными и даже врагами СССР.

2. Работники аппарата ЦК КПСС (например С.И.Колесников и др.) распространяют в Москве и Праге слухи, что мы написали антисоветский памфлет (подразумевается наш Спецотчет, переданный лично вам!). Они признаются, что сами не читали. Следовательно налицо инспирированная и умышленно организованная против нас кампания.

3. Мы понимаем, что люди с ограниченным кругозором и упрощенным мышлением считают своими друзьями лишь льстецов. Однако эти люди распространяют свои извращенные суждения, прикрываясь именем и авторитетом представляемого ими учреждения (в данном случае ЦК КПСС).

4. Тем самым они препятствуют окончанию нашей работы в СССР (у нас запланирована еще шестимесячная поездка по западным областям, после чего мы могли бы приступить к литературной обработке материалов в целом). И те же самые люди упрекают нас – опять же, не в глаза, а за нашей спиной – в том, что мы изменили Советскому Союзу и больше не желаем о нем писать.

Мы уверены, что вы, как Генеральный секретарь ЦК КПСС, найдете

возможность, несмотря на занятость более важными делами, осуществить то, что предложили нам при получении Особого отчета в Праге. Мы просим вас об этом со всею серьезностью.

В СССР нас всегда окружала атмосфера искренней дружбы. Она была основным условием успешной работы. Поскольку вы, уважаемый Леонид Ильич, нашли в нашем отчете доказательства такого отношения и с нашей стороны, вы, несомненно, найдете способ, как выбить клин недоверия и подозрительности, вбитый интриганами между советской общественностью и нами.

Уверены, что у вас нет оснований сомневаться в том, что при составлении отчета, как и при написании этого письма, мы не руководствуемся какими-либо личными соображениями. Если бы нам не были дороги судьбы наших ближайших друзей, мы бы остались только приятными гостями и хвалили бы все и вся, как это обычно делается в застольных тостах.

В течение многих лет чиновники в СССР привыкли принимать гостей, готовых все хвалить и со всем соглашаться. Мы понимаем, тяжело привыкать к друзьям, которые хотят дружбе служить, а не прислуживать. Пора и у вас, и у нас быть осторожнее с друзьями, у которых на устах только приятные слова.

Уважаемый Леонид Ильич, мы просим вас ответить нам прямо, без посредников. Мы верим, что проделанная работа дает нам право на такую просьбу, тем более что мы обращаемся с ней после почти двух нелегких лет ожидания.

Искренне, как всегда, жмем руку и с нетерпением ждем ответа.

Ваши Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд.

Примечание: до конца марта мы в Праге, затем 4-5 недель работаем на Цейлоне. Адрес: посольство ЧССР, Коломбо. Вернуться в Прагу надеемся до середины мая»⁵³.

Подготовить заключение о рукописи Ганзелки и Зикмунда поручили двум отделам ЦК КПСС – отделу пропаганды и отделу по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Полторы страницы текста были готовы только к июлю 1968 года, в самый разгар политической кампании против чехословацких реформаторов, когда в дивизиях стран Варшавского договора уже по картам намечали маршруты предстоящего броска.

Вот фрагменты «Заключения...»:

«Особый отчет № 4, написанный Ганзелкой и Зикмундом в декабре 1964 – марте 1965 г. и направленный в ЦК КПЧ, а также в адрес тов. Л.И.Брежнева в порядке информации, посвящен целиком внутреннему положению СССР и содержит впечатления от их неоднократных поездок по Советскому Союзу... Судя по его содержанию, изложенному на 173 страницах, Ганзелка и Зикмунд явно претендуют на роль беспристрастных исследователей всего периода развития советского государства, его политики и различных сторон современной жизни советского народа. Весь отчет составлен в остро критическом духе, выдержан в поучающих назидательных тонах. В ряде мест он носит открыто недружественный и клеветнический характер по отношению к нашему строю и советским людям. Об этом, в частности,

свидетельствует рассуждение авторов о “навыках сталинского периода, которые весьма упорно продолжают существовать”. Они утверждают, что в СССР до сих пор сохранилось от сталинской эпохи отчуждение руководителей от масс, привилегии, чиновничья иерархия, что область человеческих отношений социалистического общества в СССР “является, очевидно, одной из наиболее глубоко и трагично отмеченной сталинским периодом”. “Народ, – пишут они, – разучился в долгий период сталинского террора под воздействием произвола органов безопасности верить именно этому методу, методу выступлений, деклараций, призывов, кодексов, наставлений и убеждений сверху”.

“Средние и местные руководящие кадры, – подчеркивается в отчете, – руководимые привычкой и показателями выполнения производственных планов, хотя и повторяют весьма часто “все для человека”, но в ежедневной практике рассматривают человека прежде всего как составную часть производственного процесса, причем со старых, нетворческих, антинаучных позиций”. Говоря о состоянии экономики СССР, Ганзелка и Зикмунд пишут: “Советское хозяйство опасно кровоточит”.

Все эти факты преподносятся авторами отчета не как отдельные явления, а как общая система, присущая нашему строю. Характеризуя это как “узкую концепцию социализма”, Ганзелка и Зикмунд призывают перейти к “широкой концепции социализма”, которая дает полную возможность прямого активного участия самых широких слоев народа в решении основных вопросов, фактически передает всю власть широким народным массам, “активизирует все творческие силы народа”.

Недавно Ганзелка выступил в печати еще с одним заявлением (например, беседа в журнале “Свет совету” (1968, № 20)), которое выдержано в таком же тенденциозном недружественном духе»⁵⁴.

Заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран К.Ф.Русаков и заведующий отделом пропаганды ЦК В.И.Степаков сопроводили «Заключение...» своим письмом.

«В указанном отчете Ганзелка и Зикмунд грубо извращают некоторые периоды истории и современного развития Советского Союза, допускают клеветнические измышления в отношении социалистической системы и КПСС. Несмотря на то, что Ганзелка и Зикмунд, передавая свой отчет в ЦК КПЧ и ЦК КПСС, подчеркивали его секретный и доверительный характер, они, как объявила газета “Млада фронта”, дали согласие на публикацию отчета в печати. 18 и 19 мая с. г. этой газетой была почти полностью опубликована 2-я глава отчета (“Два основных периода развития СССР”), в которой наряду со многими другими измышлениями проводится мысль о том, что в Советском Союзе до сих пор не устранены “деформации” сталинского периода из партийной и общественной жизни. Антисоветские измышления содержатся также в беседе с Ганзелкой и другими, опубликованной 14 мая с.г. журналом “Свет совету”.

Бывший посол ЧССР в Советском Союзе т. О.Павловский в беседе с сопослом в ЧССР т. Червоненко (тел. № спец. 695–697 от 6 мая с.г.) поставил вопрос о целесообразности приглашения в СССР в этом году Ганзелки и Зикмунда и о приеме их для беседы в ЦК КПСС. Сами Ганзелка и Зикмунд обратились в ЦК КПСС с письмом, в котором также ставят вопрос о приезде в

Москву и беседе в ЦК КПСС по поводу их отчета.

Считали бы целесообразным внести следующие предложения.

1. Учитывая нынешнюю позицию Ганзелки и Зикмунда, опубликовавших составленный в тенденциозном духе “закрытый” отчет о поездке в Советский Союз, от приглашения их в Москву воздержаться.

2. Поручить МИД СССР через посла ЧССР в СССР т. В.Коуцкого обратить внимание чехословацкой стороны на опубликование в печати отчета Ганзелки и Зикмунда, а также выступлений Ганзелки с тенденциозным недружественным освещением фактов, относящихся к жизни Советского Союза, и клеветническими выпадами против политики КПСС, подчеркнув, что такие выступления противоречат интересам советско-чехословацкой дружбы.

3. Поручить Агентству печати “Новости” (т. Бурков) и редакции “Литературной газеты” (т. Чаковский) подготовить статьи по поводу антисоветских выступлений Ганзелки и представить предложения в ЦК КПСС о их публикации в советской и зарубежной печати»⁵⁵.

До вторжения оставалось 40 дней.

Один из руководителей советской разведки в середине 1960-х годов (далее «полковник госбезопасности Петров», он просил не называть подлинное имя) первые советские беспокойства о чехословацких делах относит к 1965–1966 годам. По времени они совпадают с завершением работы Ганзелки и Зикмунда над рукописью и передачей рукописи Брежневу. Именно тогда стали известны выводы путешественников.

Никогда раньше чехи не позволяли себе такой честный, откровенный диагноз больному советскому обществу. Новые подходы к практике социализма, как она сложилась в стране, доминирующей в Восточной Европе, отражали не замеченные кремлевским руководством ростки нового самосознания дружественных народов.

В шифровках от советской агентурной сети в Чехословакии полковник госбезопасности Петров улавливал момент, казавшийся принципиальным.

«Осмысливая, к чему привели попытки соседних стран выбраться из паутины или хотя бы ослабить ее натяг, чешские и словацкие интеллектуалы в своей программе демократизации социализма исходили из признания исключительно мирной эволюции общества. Процесс, который возглавил Дубчек, в котором блистали Гольдштюккер, Вацулик, Млынарж, Шик, Ганзелка и Зикмунд, члены клуба КАН, другие глубокие люди, виделся плавным течением, строго в берегах ненасильственных преобразований.

Но во всяком большом деле находятся экстремистские силы; они вносят в мирный процесс свою собственную окраску, а она дает повод другой, настороженной, стороне воспринять экстремизм как выражение самой сути происходящего. Когда Андропов привлек меня к анализу обстановки, как она складывалась в Чехословакии, из донесений разведки, довольно исчерпывающих, за два года до событий было ясно, что вызывают конфликтные общественные явления. Откровенно вам говорю, разведка передавала информацию в Политбюро ЦК КПСС, ничего не утаивая.

Но в ЦК часто с опозданием вникали в обстановку и с еще большим опозданием принимали решения. Анализ сводился к оценке, соответствует ли происходящее тому, как это должно быть. Если не соответствует, значит,

это бесспорно плохо. Пражская весна не ложилась в господствующие в те времена представления советского руководства об историческом развитии. Раздражало, что неизбежность перемен понимает все чехословацкое общество. Очевидный мирный характер намерений пражских реформаторов ставил наших теоретиков в трудное положение. Новый и непонятный для них вариант демократизации (“социализм с человеческим лицом”) они приняли за *тихую контрреволюцию*»⁵⁶.

Помощники Брежнева назвали отчет Ганзелки и Зикмунда «антисоветским». Для функционеров средней руки это была команда «ату!». Как вспоминает Иржи Ганзелка, «еще недавно работники ЦК КПСС, (Колесников, Громов, Удальцов), связанные с Чехословакией, относились к нам с очень искренней дружбой. В 1967 мы с моим другом с семьями полетели на отдых в Крым и по пути сделали остановку в Москве. Встретив Колесникова и Удальцова, я не мог поверить глазам. Ледяные лица! На мое приветствие даже не кивнули. Как будто не они когда-то с двух сторон обнимали меня. Я спрашиваю: “Что случилось, скажите!” – “Ничего не случилось”. И снова ледяные лица»⁵⁷. Ганзелке и Зикмунду закрыли въезд в СССР.

Тысячи страниц документов, записей, набросков, битком набитые ящики фото- и киноматериалов из самого важного в их жизни путешествия, в таких масштабах никому до сих пор не удававшегося, похоронены в подвалах их домов в Праге и Готвальдове. Когда войска союзников по Варшавскому договору войдут в Чехословакию, в Москве академик П.А.Капица, друг путешественников, скажет сыну Андрею со свойственной великим людям образностью: «Видишь, большому медведю надо наступать на яйца осторожно...»⁵⁸

Фотографии к главе 2



Город Зима. С семьей сибирского шофера Андрея Дубинина (в центре с внучкой) – дяди Евгения Евтушенко.



Леонид Брежнев чешским путешественником: «Мне известны все разговоры, которые вы вели от Владивостока до Москвы...». 1964



«Мы понимаем, тяжело привыкать к друзьям, которые хотят дружбе служить, а не прислуживать...». Из письма И.Ганзелки и М.Зикмунда Л.И. Брежневу. 1968



Иржи Ганзелка с автором книги в Сибири весной 1964...



...и в Москве четверть века спустя (1989).



Руководители Чехословакии Олдржих Черник, Александр Дубчек, Людвик Свобода, Йозеф Смирковский, Прага, 1960-е годы

Глава третья «А если все не так?»

Брежнев пишет Дубчеку «личные письма». «Выходи из партии или выполни принятое решение». «Мир идет огромными шагами вперед...»

Бовин и Сынек на перроне Чиерны-над-Тисой. Как Шелест получил «Обращение пятерых». Экономист Лисичкин: «Своих друзей предали...»
На иркутском партийном пленуме. Что думали о чехах и словаках в КГБ.
Ночной разговор с директором атомного комбината в Сибири

Психические напряжения и расстройства в разной степени испытали чехи и словаки, когда ночью, в полном неведении, проснувшись от грохота, от телефонных звонков, от стука в стены соседей увидели за окном танки. Есть соблазн собрать кричащие документы эпохи, и это кто-нибудь сделает, но и без них можно представить, что значило для старшего поколения, которое помнило Мюнхен 1938 года, проснуться в 1968-м и снова увидеть вошедшие ночью чужие войска. Неуместно здесь играть словами, но что делать, если для людей, для очень многих, свет танковых фар в той оглушительной ночи был как приход конца света.

Из воспоминаний, мною записанных, для начала приведу рассказ Иржи Ганзелки.

«...Все как в лихорадке. Мы видели, что-то готовится, руководство партии заседает почти непрерывно, стало недоступно, со всех сторон приходят новости, самые противоречивые. Говорят, советские войска уже на границе, готовы войти; волнение в обществе огромное. Никто не думает о работе, все становится второстепенным. Последние дни перед интервенцией как один лихорадочный сон. Я несколько раз был у председателя Госплана Франтишека Власака, к нему стекались новости. Люди собирались и обменивались информацией. Много сообщений, путанных, ненадежных, все смешивалось, никто ничего толком не знал.

Двадцатого августа хуже всего. Непонятно, что делать. Не все верят, но все знают, что войска в полной готовности. Я среди тех, кто исключает возможность военного вмешательства; все-таки есть Варшавский договор, запрещающий что-либо подобное. И когда Брежнев на прямые вопросы в Братиславе отвечал – “ваше дело”, это означало, во всяком случае, что войска к решению проблем привлекаться не будут. Хотя сам он уже прекрасно знает, что предстоит. У нас готовится чрезвычайный 14 съезд КПЧ, прошли выборы делегатов. Большинство – сторонники дубчековских реформ, съезд наверняка поддержит новый курс. Москва торопится опередить, сорвать работу съезда.

День 20 августа я провожу в обществе старого друга. Отто Клички, он заместитель министра иностранных дел, известный у нас человек, опытный дипломат. Мы с женой и Отто приглашены в резиденцию югославского посла. За столом те же разговоры, что повсюду: войска придут, не придут. Оба собеседника реалисты, а я выгляжу наивным, каким, впрочем, бываю часто; хочется верить, что нравственность в политике все же существует, должна существовать.

Думаем, что делать, если войска придут. Югославский посол уверяет,

что в такой ситуации, случись это в Югославии, все здоровые мужчины, натянув тяжелые сапоги, с рюкзаком за плечами ушли бы воевать в горы. Мы с Отто другого мнения. У нас такого не будет, наши люди уважают человеческую жизнь. Если в конфликтной ситуации кровопролитие можно исключить, чехи до последнего стараются договариваться. К тому же мы надеемся, почти уверены, что это только угрозы, а на деле между нашими народами серьезного конфликта быть не может. В 22 часа 30 минут в резиденцию посла по специальному передатчику приходит сообщение из Белграда; войска на пути в Прагу. Это канал связи югославского министерства иностранных дел со своими посольствами по всему миру. Мы были так взволнованы, что вряд ли я вспомню первую реакцию. Реакция у всех одна: они уже здесь!

Мы решаем разойтись по домам. Друзья будут звонить, надо что-то делать, каждый хочет быть у рабочего или домашнего телефона. Быстро прощаемся и пешком идем домой. Было около половины двенадцатого ночи, когда на улице послышался гул. Это шли низко над Прагой тяжелые “Антоновы”. Гул страшный, мы с женой идем молча. Самолетов почти не видно, они летят с погашенными огнями, различить можно темные тени, плывущие по небу, как стая больших рыб в воде.

Дома я звоню друзьям, говорим коротко: знаешь? – не знаешь? Вся Прага висит на телефонах. Я звоню в Готвальдов Миреку, но не застаю; очевидно, он у друзей. Около половины первого или в час звонит старый друг Мирослав Елинек, главный редактор “Млада фронта”. Скоро он подъезжает к нам. Мы знаем, до утра спать не будем, быстренько перекусываем и договариваемся, как поддерживать связь, когда город будет оккупирован, где искать друг друга.

Мы жили На Мичанце, это возвышенность над городом. Стоим на террасе, видим небо и весь город. В домах зажигают огни, и около часа ночи вся Прага освещена. В половине первого от аэропорта по Ленинскому проспекту загромыхали танки. Колонны танков. К рассвету они идут в 300–400 метрах от нашего дома. А когда рассвело, танки оказались совсем близко, один стал шагах в пятидесяти. Орудия у всех направлены в сторону города. А на том, что к нашему дому ближе, башня начала вращаться, и жерло уставилось на террасу, где мы стояли»¹.

Москве все виделось иначе.

Никто не ожидал от чехов такой дерзкой, прямо-таки вызывающей оценки пройденного вместе пути: «Перед экономикой выдвигались нереальные задачи, трудящимся давались иллюзорные обещания. Эта ориентация углубляла неблагоприятную, не отвечающую национальным условиям структуру производства, тормозила развитие услуг, вела к нарушению равновесия на рынке, ухудшала международное положение нашей экономики, особенно условия обмена нашего национального труда с заграницей, и в конце концов должна была валиться в застой...»

Это из апрельской «Программы действий КПЧ».

Как они смеют так писать?

Они кто – югославы? Румыны? Китайцы?

Оставлять такие выпады без ответа Кремль не мог, если так пойдет, другие народы, с нами связанные, всем нам обязанные, тоже начнут реаги-

ровать на трудности болезненно, искать снова смысл существования, переписывать новейшую историю. Пойдет такая во все стороны цепная реакция, что не удержать развал социалистического мира, пока пристегнутого, не смотря ни на что, к российской цивилизации. Такими или примерно такими были умствования Москвы.

На этом отрезке истории наша цивилизация оказалась во власти кучки посредственностей, самих себя назначивших править империей, края которой они едва различали давно не молодыми глазами. Мудрость уступила место воинственности, мы почти не выходим из войн с врагами внешними и внутренними. Воинственности у нас в крови, как гемоглобина. И когда соседний народ вдруг попробовал жить иначе, как живут другие европейцы, как когда-то жил он сам, открыто выражать свои мысли, обходиться без цензуры, придать мироустройству, как бы оно ни называлось, спокойные черты, Москва занервничала настолько, что от нее всего можно было ожидать. Тем более в ситуации путаной: враг вроде бы внутренний, свой, даже «братский», но юридически внешний.

Если власть настораживала каждая строптивая индивидуальность, то можно представить, что она чувствовала, когда вернуть свою индивидуальность захотел целый народ. Чехословацкие реформы ставили под сомнение уверенность кремлевских лидеров в их избранности или, по Л.Зорину, «генетической элитарности».

Лучшие европейские умы присматривались к усилиям пражских романтиков трансформировать одну хозяйственную систему в другую и убеждали Москву, что странам, связанным в общий блок, это ничем не грозит, но может появиться новый опыт, полезный всем. Было очевидно, что дом разваливается, жить в нем опасно, кто-то должен начать реконструкцию, не дожидаясь обвала стен. Реформаторы, принимаясь за дело, гнали из памяти уроки сталинского СССР и готвальдовской ЧССР, старались забыть о пролитой в таких случаях крови и с упованием на успех начинали ломать под домом фундамент, на котором держался не только их дом, но квартал. На языке ортодоксов это было перерождение компартии в социал-демократическую, отход от принципов марксизма-ленинизма, начало движения Чехословакии к буржуазной республике. Как ни относиться к идеологам Кремля сорок лет спустя, их оценка тогдашнего вектора движения была безошибочной.

...Брежнев пишет письмо Александру Дубчеку, или Саше, как по праву старшего обращается к нему. «Сию, сейчас уже поздний час ночи. Видимо, долго еще не удастся уснуть, в голове теснятся впечатления от только что закончившегося Пленума ЦК КПСС и разговоров с секретарями ЦК республик и обкомов партии. Пленум прошел хорошо. Если сказать коротко, на Пленуме речь шла о нынешнем обострении классовой борьбы между двумя мировыми системами, о месте и роли в этой борьбе коммунистических партий, рабочего класса, социалистического лагеря и сил мирового коммунизма...»

На настольном календаре 15 апреля 1968 года.

«...И, как всегда, в таких случаях думаешь не только о своих делах, но и о своих друзьях, братьях, борющихся рядом, в одной линии нашего обширного и сложного фронта. Хотелось бы вот сейчас побеседовать, посоветоваться с тобой, но увы, даже и по телефону звонить сейчас поздно. Хочу положить свои думы на бумагу, не очень заботясь об отшлифовке выражений...»²

Брежнев поднимает голову.

За столом члены Политбюро и секретари ЦК КПСС. Это их идея послать Дубчеку личное письмо, ни к чему не обязывающее, и попытаться расположить к себе, пока события не зашли слишком далеко. Жаркий полдень, солнце бьет в высокие кремовые шторы. Брежнев пишет под диктовку соратников, но своей рукой; у него почерк прилежной курсистки, округлый и четкий. Как это выглядело, мне потом расскажет А.М.Александров-Агентов, помощник Генерального секретаря:

«Хорошо помню то заседание Политбюро. Пятнадцать человек сидят и редактируют письмо Дубчеку. Каждый вносит свои поправки, спорят друг с другом. Бурные события в Чехословакии для нас совершенно неожиданны. Это не то, что восстание в Венгрии. Там все более или менее ясно: под окнами Андропова вешали вниз головой коммунистов. А в Чехословакии идет бескровный политический процесс, очень быстро развивающийся. Это вызвало у наших товарищей оторопь»³.

Раздражала странная лексика реформаторов, у коммунистов не принятая. «Интеллектуалы Европы...», «Идеологи пытаются обезоружить разум...», «Мы за господство терпимости и разнообразия...». Где тут марксизм? На площади хлынул революционный романтизм; коробит и задевает взаимная у чехов симпатия «верхов» и «низов». И сильно раздражает своеволие. «Вы думали, что, поскольку вы были у власти, вы могли делать все, что вам нравится, – скажет потом Брежнев Богумилу Шимону, соратнику Дубчека. – Это была ваша основная ошибка. Даже я не могу делать, что хочу»⁴.

Тут важно вот это – *даже я*.

Брежневу не хочется верить, что Дубчек, воспитанный в СССР, вернувшийся в Чехословакию семнадцатилетним, верный ленинским идеалам, каких у кремлевского руководства давно не было, задумал порвать с социализмом. Как он порвет? Даже реформировать свою страну без советской поддержки он не может и отлично это знает. Потому ищет у Брежнева понимания, почтительно держит себя с ним как со старшим. В брежневских письмах – «Дорогой Саша...», в дубчековских ответах – «Дорогой Леонид Ильич...».

У Дубчека и Брежнева разные СССР.

Для первого – это молодое государство рабочих и крестьян, страна пятилеток, стахановского труда, героических папанинцев, перелета Чкалова через полюс в Америку. «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...» Рабочие Европы и всего мира видят в русской революции начало новой истории человечества. Не только чехи, многие европейские интеллектуалы, в том числе известные, признавали будущее за Советским Союзом.

А для второго – это всегда окруженная врагами, дразнящая мировой империализм, сильная военная держава с ракетно-ядерными установками и с мессианским предназначением. Страна, где на кухнях, убавив громкость радиоприемников, сквозь треск глушилок интеллигенция ловит чужие передачи, переписывает запретные песни Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Галича. Члены и секретари Политбюро, командующие войсками, даже генералы КГБ на подмосковных дачах этим тоже грешат, довольные своей смелостью, иллюзией единения с народом.

Брежнев продолжает письмо.

«...Дорогой Александр Степанович! – он водит ручкой по бумаге, слушая

подсказки. – Я искренне надеюсь, что ты поймешь и извинишь мою откровенность, зная, что она вытекает из добрых чувств. Как своему товарищу, хочу высказать некоторые мысли, которые меня беспокоят... Читая ваши материалы, создается впечатление, что в сложившейся обстановке вы пытаетесь найти немедленное разрешение всех накопившихся вопросов. Такое желание можно понять. Однако скажу откровенно – жизнь и опыт показывают, что нередко поспешность в исправлении недостатков, ошибок, разрешение возникших вопросов, желание решать все разом может повлечь за собой новые, еще более тяжелые ошибки и последствия. Поэтому хочется сказать, не видишь ли ты опасности в том, что одновременное разрешение широкого круга сложных проблем, по которым могут возникнуть разногласия, может затруднить начатый сейчас весьма важный процесс консолидации...»⁵

О том, как коллективно сочинялись брежневские личные письма мне расскажет и посол в Чехословакии С.В.Червоненко. «Мы сидели за столом в один ряд, а Брежнев против нас. Чтобы придать больше, так сказать, доверительности, решили не на машинке печатать письмо Дубчеку, а он садился и своей рукой писал. Мы обсуждали все фразы. И когда писать “Александр”, а когда “Саша”. Он ему обычно говорил – Саша... И на полутора или двух рукописных страницах выражалось беспокойство нашего руководства: ссылка на народ, что люди переживают – участники освобождения. Вы представляете, как следовало писать, чтобы напомнить прошлое и привлечь внимание к настоящему. И такие обороты: “Я с тобою...”, “Ты помнишь...”, “Когда были в Праге, ты сказал...”, “А события вот как...” И все подводится к мысли: ты же сам понимаешь, это может прахом пойти, в общем, подумай обо всем, ты же пользуешься уважением. Раз твое влияние такое, надо прекратить антисоветизм. Это рабочие формулировки, все укладывалось в простые фразы. Письма Брежнева Дубчеку старались отправлять не через меня, как официальное лицо, а через кого-то, посылали специального человека, чтобы подчеркнуть доверительные отношения»⁶.

Письмо от 15 апреля уместилось на пяти страницах. «Письмо это я посылаю тебе неофициально. Поступить с ним ты можешь, как найдешь нужным. По-дружески крепко жму твою руку. Л.Брежнев»⁷.

К концу лета, когда ввод войск был предрешен, письма Брежнева в Прагу будут отличаться от прежних, словно их готовили другие люди. Но сочинители останутся те же, а сами события, набирая обороты, потребуют иной тон.

«После состоявшегося 13 августа продолжительного телефонного разговора с Вами я вынужден вновь обратиться к той же теме. Я делаю это потому, что поводом к этому служат некоторые моменты этого разговора, мимо которых я не имею права и основания пройти... Вы должны понять, что сложность положения КПЧ, организованные атаки правых антисоциалистических и контрреволюционных элементов беспокоят нас. Именно поэтому я решил позвонить вам в надежде получить должные ответы. Хочу быть откровенным и сказать, что по вопросу о мерах воздействия со стороны КПЧ на средства массовой информации и по существу ответа не получил. Какие конкретные меры принимаются на этот счет Президиумом ЦК КПЧ?»⁸

Стиль становится кратким, тон – императивным.

«По кадровым вопросам. В Чиерне-над-Тисой вы твердо заявили нам, что Вами будут освобождены от обязанностей гг. Кригель, Цисарж, Пеликан.

В беседе по телефону по этому вопросу Вы почему-то проявили нервозность. Трудно было понять, чем она вызвана, и тем более я не понял, что предпринимается в этом направлении. Я не хочу давать преждевременной оценки этому, на что это промедление рассчитано, и поэтому решил просить Вас ответить мне через т. Червоненко. Л.Брежнев»⁹.

По наблюдениям психологов, в привязанностях, дружбе, даже в любви, внешне выражающих себя как отношения партнерства, глубоко спрятан заряд воинствующей конфликтности; при разрушении прежних связей, когда в партнере перестают видеть равного себе, скрытая энергия внезапно, совершенно немотивированно, может дать ужасающий выброс ненависти и агрессии. Удержать, подавить в себе разряд можно только страхом за себя и за собственную власть. Похоже, до последнего дня у Брежнева были сомнения, но лидеры дружественных стран, особенно ветераны коммунистического движения Ульбрихт, Гомулка, Живков, помогли ему от страха избавиться.

Любой из брежневского окружения, приученный чувствовать связь между тоном разговора и скрытыми намерениями, прочитал бы между строк последних писем, что притихшие в августовских лесах, замаскированные ветками танковые дивизии в Западной Украине, в ГДР, в Польше, с полными баками горючего, уже в состоянии боевой готовности и только ждут приказ.

Мысль о возможных грядущих сложностях с Чехословакией осенила Брежнева задолго до того, как в Праге к власти пришел Дубчек. В мае 1966 года из Египта вернулся служивший там старшим группы советских военных при генеральном штабе египетской армии генерал А.М.Майоров. Перед назначением на должность командарма 38-й армии генерала пригласили на беседу в ЦК КПСС. Брежнев вспомнил, как эта армия десять лет назад «ходила в Будапешт», и сказал, по словам генерала, доверительным тоном: «Надо посматривать теперь севернее. На Прагу. И, по возможности, иметь больше друзей в чехословацкой армии... *Это нужно для партии*»¹⁰.

Это я выделил курсивом последние слова, хочу задержать на них внимание. Они адресованы не соратнику по партии, а боевому генералу, для которого нет, быть не может, словосочетаний случайных в устах верховного главнокомандующего. Зная о последовавших через два года событиях, можно гадать, не в те ли дни по неведомым нам признакам у Брежнева впервые шевельнулось предчувствие или интуитивная догадка о неизбежном грядущем противостоянии?

Со временем и генерал Майоров изумится предвидению Брежнева, но кто знает, где граница между пронизательностью и простым человеческим страхом после венгерских событий.

Весной и летом 1968 года окружение тянуло Брежнева, как канат, в разные стороны. Это наблюдал помощник Андрей Михайлович Александров-Агентов, один из старейших советских дипломатов, работавший в Швеции при умной и деликатной А.М.Коллонтай. Когда в брежневском кабинете кто-то предлагал с чехами «не цацкаться», когда приносили чехословацкие газеты с карикатурами на Брежнева, укоряли за попустительство и медлительность и подталкивали к действиям, помощник знал, что следом к Леониду Ильичу зайдет, например, посол Червоненко, убеждая, что обстановка для жестких мер не созрела, и если поступать с чехами круто, «будет кровавая бойня»¹¹. Перетягивание каната затягивалось.

Документы по чехословацкой проблематике готовили Отдел по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран (К.Ф.Русаков) и Министерство иностранных дел СССР (А.А.Громыко); у них собственные каналы информации. Но были и общие, вроде шифрованных сообщений из советских посольств, данные разведок (КГБ, Генерального штаба, Объединенной группы войск стран – участниц Варшавского договора), распечатки радиоперехватов Гостелерадио. Они отличались фактурой, но не выводами; выводы были растворены в атмосфере, которой все одинаково дышали, под них искали доказательства, иногда реальные, чаще надуманные или организованные. Как мне потом скажет К.Т.Мазуров, из всех источников информации члены Политбюро предпочитали обзоры ТАСС («для служебного пользования»); они короче, не требуют умственного напряжения, а направленность одна ¹².

За день на столе помощника вырастала гора бумаг, надо прочитать триста-четыре страницы. Брежнев приезжал на работу обычно в десять утра, помощник был на месте в восемь тридцать. На пишущей машинке составлял выжимку неотложного и докладывал сам или через секретаря, как минимум, дважды в день. Если Брежнев был дома на Кутузовском или за городом в Завидове, помощник отправлял ему сводки фельдсвязью ¹³.

Мне рассказывал академик Г.Арбатов:

«О Чехословакии я с Брежневым и Андроповым говорил напрямую. Мои аргументы сводились к тому, что мы ведем себя непоследовательно. У нас был XX съезд партии, осудивший культ личности. А в ряде стран остаются памятники Сталину, улицы и площади носят его имя. И ничего! Теперь: чехи явно идут вперед, опережают нас в темпах демократизации общества. Мы отстаем, чувствуем себя уязвленными. Обидчивость и раздраженность сказываются на наших решениях. Не я один, многие об этом говорили. Брежнев от таких разговоров отмахивался, а Андропов стоял на своем: “А если это выльется в вооруженное восстание?!”» ¹⁴.

Вернувшись из Чехословакии, консультант ЦК КПСС А.Е.Бовин, близкий к Брежневу, пользовавшийся его доверием, 18 января 1968 года передал ему записку «К урокам чехословацких событий». Из анализа вытекала необходимость «разобраться в чрезвычайно сложной, противоречивой, запутанной картине общественной жизни братских стран, отделить здоровые перспективные процессы от наносных, искажающих их явлений, понять, какие социальные группы (и какие лидеры) представляют те или иные тенденции. Если не сделать этого, то мы рискуем поддержать не те силы и тенденции, которым принадлежит будущее» ¹⁵.

Бовин был из той горстки умных, просвещенных, мыслящих людей, близких к вершинам власти, которые надеялись умягчить ее нравы в условиях, когда власть, используя их интеллект, терпела их и позволяла больше, чем другим. В кремлевских коридорах их с усмешкой относили к «вольнодумцам», но интеллектуалы другой судьбы, далекие от власти, гонимые ею, связывали их имена с самой властью. Это тривиальное, из глубины веков, размежевание свойственно было и новейшей российской истории: многие умы, в обществе хорошо известные, оказались разделенными собственными представлениями о том, как в выпавших на их долю обстоятельствах быть, говоря старомодно, полезными Отечеству.

Александр Бовин, его друг Николай Шишлин и не одни они в группе

консультантов обладали познаниями и интеллектом, превосходившим уровень вождей, которым они писали речи и доклады, потом изучавшиеся миллионами людей как новое слово в теории единственно верного учения. Это были светлые головы, нестандартные личности. Задолго до пражских реформаторов им тоже хотелось придать политическому устройству своей страны, ее репутации в мире «человеческое лицо». Мало кто представлял, чего стоило, например, Бовину, этому философу, гуляке, интеллигенту, встроиться в партийный аппарат, жить по его законам. От аппарата зависело, в конечном счете, что будет с его служебными записками по проблемам мировой политики. И когда его тексты попадали на стол к чуждым ему людям и увязали в трясине, исчезали бесследно, от бессилия он страдал, не подавая вида.

После встреч в Чиерне-над-Тисой Бовин написал еще одну записку – «К вопросу о “крайних мерах”». Свободный и раскрепощенный бовинский ум предложил свой анализ ситуации. Он был единственным из сотрудников аппарата ЦК КПСС, кто официально доказывал, что в сложившейся ситуации применение военной силы в Чехословакии «создаст такие трудности, которые вряд ли компенсируются возможным политическим выигрышем».

До возвращения Брежнева из Крыма, 14 августа Бовин показал бумагу Андропову, советуясь, не переслать ли ее, не теряя времени, на юг, чтобы у Леонида Ильича было время вчитаться и подумать. «Не высовывайся!», – посоветовал Андропов. Когда Брежнев вернулся в Москву, он принял Бовина, выслушал его выводы. «Мы с тобой не согласны, – отрезал Брежнев. – Принципиально... А дальше так – или уходи, выходи из партии, или выполняй принятое решение». Как потом напишет Бовин, «выходить из партии я был не готов. Как прыжок в ничто...»¹⁶.

Под конец лета главы дружеских партий Восточной Европы собираются с семьями в Крыму, в окрестностях Нижней Ореанды. Меж сосновых стволов море. Брежнев приглашает гостей, поодиночке или группой, в каменный грот на берегу. Владислав Гомулка, Вальтер Ульбрихт, Тодор Живков, Янош Кадар прогуливаются по аллеям, уже выговорившись друг другу и не зная, что добавить. Ждут от Брежнева решения. Упрекают в затягивании, в слабости духа. Нетерпеливее других Гомулка и Ульбрихт, единственные, позволяющие себе обращаться к Брежневу на «ты» и по имени: «Ты решай, Леня...»

Как у всех не вполне уверенных в себе людей, осознание своей ущербности обостряло обидчивость Брежнева. В письме Дубчеку от 16 августа, когда он еще колебался, принимать ли окончательное решение (он вообще избегал принимать решения), Брежнев настаивает, и это было ему важнее всего, отстранить от должностей Кригеля, Цисаржа, Пеликана. Казалось, для судеб Европы, по Брежневу, нет проблемы актуальнее. Но Дубчек не спешит уступить, а это задевает самолюбие Брежнева болезненнее, чем мифическая угроза социализму. Его иногда притормаживало трезвое понимание своих возможностей. По воспоминаниям Александрова-Агентова, у Брежнева никогда не было убежденности, что он что-то знает лучше других. «Как-то мне говорил, что самая лучшая должность – секретарь обкома: тут по крайней мере можно все своими глазами посмотреть, руками пощупать, на поле побывать и на заводе. Знаешь все, чем руководишь. А теперь на все смотришь через бумагу. Он страдал от этого»¹⁷.

Психиатры будут сравнивать феномен Брежнева и многих из его окружения с поведенческим комплексом евнухоидов; для них болезнен любой намек на их несостоятельность. Они становятся подозрительны, им всюду мерещится обман. Напоминание об ущербности, даже косвенное, вызывает демонстративные истерические вспышки. Но Брежнев позволял их себе только в узком кругу, в отсутствие оппонентов. На переговорах в Чиерненад-Тисой, когда участники смотрели друг другу в глаза, Брежнев держал себя в руках.

Окружение знало о слабости Брежнева; он часто впадал в сентиментальность. Я сам видел, как в Улан-Баторе он вытирал слезы, когда выросшие среди монголов русские люди («местные русские»), участники войны, при нем вспоминали бои под Москвой, как в артдивизионе солдаты грели замерзшие руки в гривах монгольских лошадей. Он слушал, и по его щекам текли слезы.

В середине августа при очередном обсуждении чехословацкой проблемы у Брежнева нарушилась дикция и появилась слабость; он вынужден был прилечь на стол. По свидетельству Косыгина, сидевшего с Брежневым рядом, он видел, как тот постепенно стал утрачивать нить разговора, «язык у него начал заплетаться, и рука, которой он подпирал голову, стала падать». Вызванный в ЦК академик Е.И.Чазов нашел Брежнева лежащим в комнате отдыха. «Он был заторможен и неадекватен... что-то бормотал, как будто бы во сне, пытался встать». По мнению врачей, так он реагировал на снотворное, которое принимал, когда нервничал. «Это был для нас первый сигнал слабости нервной системы Брежнева...» – напишет потом Чазов ¹⁸.

На заседании Политбюро, когда решение о вводе войск было принято, Брежневу доложили, что в чешском детском саду под Прагой по обмену между предприятиями отдыхают дети с Урала. «Всем, кто был тогда в кабинете Генерального секретаря (в дни ввода войск мы практически не выходили из здания ЦК, жили там почти на казарменном положении), стало не по себе. Легко представить, что могло произойти, если чехи, вопреки ожиданиям, окажут сопротивление и в районе детского сада начнутся бои. Брежнев страшно разволновался, изменился в лице. Как же так, через три дня войдут войска, ситуация непредсказуема, а там наши дети. Нервы не выдержали, он стал говорить на высоких тонах, по щекам потекли слезы. Я достал валерьянку, она всегда была при мне, и протянул ему. Успокоившись, Леонид Ильич дал указание любым способом вернуть ребятишек на родину», – вспомнит К.Ф.Катушев, секретарь ЦК КПСС ¹⁹.

И вот последнее письмо Брежнева в Прагу от 17 августа 1968 года, уже от имени Политбюро ЦК КПСС в адрес Президиума ЦК КПЧ : «Политбюро ЦК КПСС хотело бы со всей серьезностью подчеркнуть неотложную необходимость выполнения обязательств... Промедление в этом деле крайне опасно. Направляя это письмо, Политбюро ЦК КПСС выражает уверенность, что Президиум ЦК КПЧ отнесется к нему со всем вниманием, правильно поймет нашу тревогу и озабоченность...» ²⁰

До вторжения оставалось три дня.

Брежнев просил П.Е.Шелеста добиться от чехословацких «здоровых сил» коллективного приглашения союзных войск и создания переходного «рабоче-крестьянского правительства». Задуман был переворот. Существует

свидетельство Василя Биляка, будто бы по поручению Кольдера, члена Президиума ЦК КПЧ, обращение передал в Братиславе Брежневу Радко Каска, его помощник; Биляк тогда попросил Брежнева только об одном – принять Каску. Проверить это было невозможно; Биляк, по его словам, сам письмо не подписывал, а из тех, чьи подписи там оказались, никого нет в живых. Кольдер умер после тяжелой болезни в 1972 году, а Радко Каска, занявший пост министра внутренних дел, через год (1973) погиб в авиакатастрофе в Польше.

Убедительнее версия Шелеста. По его словам, он «встречался, чтобы сколотить такую группу, с Биляком и Ленартом. С Ленартом встречался в Крыму по поручению, а с Биляком два раза в Закарпатье на границе. Там передавали “эстафету дружбы”, под этим прикрытием встречался. И на Балатоне, когда отдыхал там с группой чехов. На Балатон я инкогнито приезжал по поручению Брежнева. “Тебе надо обязательно с Биляком поговорить, узнать, какая там обстановка”. Это уже в преддверии... Был где-то июль месяц»²¹.

С Петром Ефимовичем Шелестом мы говорили 14 марта 1991 года у него дома в Москве, на Большой Бронной. Четыре года спустя вышла его книга «...Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС» (1995). Некоторые детали, мною в свое время записанные, в книге опущены или с устным рассказом расходятся. Я изложу версию, как ее услышал тогда от Шелеста и сохранил в магнитофонной записи.

Итак, 20 июля 1968 года военно-транспортным самолетом ВВС Шелест по поручению Брежнева вылетает из Киева в Будапешт. На аэродроме его встречает помощник Яноша Кадара, не подозревающий, зачем в страну тайно прибыл один из высшего советского руководства. «Я прямо с аэродрома поехал к Кадару, передал ему привет от Леонида Ильича, от всех нас. «С чем ты приехал?» – «Приехал, – говорю, – встретиться с Биляком».

Я спросил Шелеста, сообщил ли он Кадару о цели поездки – сколотить группу чехов для государственного переворота. «Нет, я сказал ему: для переговоров».

Под вечер Шелеста поселили на двухэтажной даче Кадара у озера. По соседству, шагах в пятистах, отдыхал Биляк с семьей. Предусмотрительный Шелест просил все сделать так, чтобы никто о встрече не узнал. С ним прилетели из Москвы два офицера КГБ. Один Шелеста охранял, другой устанавливал на даче потайное устройство для записи разговора с Биляком. С помощью венгерского товарища, прикрепленного к Шелесту, прилетевшие офицеры разыскали Биляка, договорились о времени и месте встречи.

Ночью Шелест и Биляк обнялись на берегу озера.

Биляк предложил тут же поговорить, не откладывая, но Шелест настоял пойти к нему на дачу. Записывающее устройство уже было наготове. Разговор, по словам Шелеста, продолжался с 12 часов ночи до 5 часов утра. «Я говорю: надо организовать группу. Ты можешь дать нам список людей, на которых мы можем ориентироваться? Помялся он, помялся: могу, Петр Ефимович, могу. Это опасно для нас, но я могу. Единственное, это надо Дубчека спихнуть. А если мы этого не сделаем, то надо вводить войска. Это первый мне Биляк сказал»²².

На встрече руководства союзных стран в Братиславе (с 1 по 3 августа 1968 года) Биляк передал Шелесту список чехословацких политических дея-

телей, подписавших обращение к советскому руководству о вводе войск и на кого можно опираться при подготовке переворота. Это было так: утром 3 августа в Братиславе к Шелесту подошел резидент КГБ: «Петр Ефимович, с вами хочет поговорить Биляк наедине и чтобы никто не знал». Шелест попросил резидента устроить встречу в мужском туалете. Во время очередного перерыва, удостоверившись, что в туалете никого нет, резидент подошел к Шелесту: «Петр Ефимович, можно!» «Я туда, и Биляк туда. Это было под вечер, часов в восемнадцать – девятнадцать, уже смеркалось. Ну, говорю, как, Вася? Он вынимает конверт, руки у него дрожат. Я разворачиваю, читаю...»

Это был список чехословацких политических деятелей, подписавших обращение к советскому руководству о вводе войск и на кого можно опираться при подготовке переворота. «...Из туалета мы вышли по одному, я поторопился к себе, у каждого была отдельная комната, еще раз перечитал. Ну что же, надо докладывать нашему главе Брежневу. Захожу к Брежневу, а у него кто-то из наших. “Леонид Ильич, мне надо с вами поговорить...” А он: “Говори!” – “Я с вами хочу поговорить наедине”. Он закончил прерванный моим приходом разговор, и когда третий человек ушел, я говорю: “Леонид Ильич, у меня есть письмо”. Он растерялся: “Какое письмо?” – “То, что я обещал дать, письмо о группе, которая...” Он взял письмо трясущимися руками. Потом обнял меня: “Я тебя не забуду до конца!” Это письмо было оглашено на закрытом заседании глав государств там же, чехов при этом не было...»²³

Сохранились два варианта обращения. Одно в том виде, каким его написали авторы, второе чуть поправлено стилистически, скорее всего, советской стороной.

Приведем подлинник:

«Уважаемый Леонид Ильич, с сознанием полной ответственности за наше решение обращаемся к Вам со следующим нашим заявлением.

Наш по существу здоровый послеянварский демократический процесс, исправление ошибок и недостатков прошлого, и общее политическое руководство обществом постепенно вырывается из рук центрального комитета партии. Печать, радио, телевидение, которые практически находятся в руках правых сил, настолько повлияли на общественное мнение, что в политической жизни страны сейчас без сопротивления общественности начинают принимать участие элементы, враждебные партии. Они развивают волну национализма, вызывают антикоммунистический и антисоветский психоз.

Наш коллектив – руководство партии – совершил ряд ошибок. Мы не смогли правильно защитить и провести в жизнь марксистско-ленинские нормы партийной жизни, и прежде всего принципы демократического централизма, руководство партии уже не способно в дальнейшем успешно защищаться перед атаками на социализм, не способно организовать против правых сил ни идеологического, ни политического отпора. Само существование социализма в нашей стране стоит под угрозой.

Политические средства и средства государственной мощи в нашей стране в настоящее время уже в значительной степени парализованы. Правые силы создали благоприятные условия для контрреволюционного переворота.

В такой тяжелой обстановке обращаемся к вам, советские коммунисты, руководящие представители КПСС и СССР, с просьбой оказать нам действительную поддержку и помощь всеми средствами, которые у вас имеются. Только

с вашей помощью можно вырвать ЧССР из грозящей опасности контрреволюции.

Мы сознаем, что для КПСС и СССР этот последний шаг для защиты социализма в ЧССР не был бы легким. Поэтому мы будем изо всех своих сил бороться собственными средствами. Но в случае, если бы наши силы и возможности были исчерпаны или если бы не принесли положительных результатов, то считайте это наше заявление за настойчивую просьбу и требование ваших действий и всесторонней помощи.

В связи со сложностью и опасностью развития обстановки в нашей стране просим вас о максимальном засекречивании этого нашего заявления, по этой причине пишем его прямо лично для Вас на русском языке. Индра, Кольдер Драгомир, Капек, Швестка, В.Биляк»²⁴.

В своей книге «XX век как жизнь» Бовин напишет: «Засекречивание было обеспечено. Я, например, узнал имена “подписантов”, только прочитав газету “Известия” от 17 июля 1992 года. Расследование производил мой друг Леня Шинкарев»²⁵.

Тремя днями раньше, во время встречи советской и чехословацкой делегаций на железнодорожной станции Чиерна-над-Тисой, когда план военной операции уже витал в воздухе, но чехословаки не принимали его всерьез, считали саму мысль абсурдной и невозможной, на скамейке в ночном пристанционном сквере сидели двое: Александр Бовин – консультант Брежнева и его друг Иван Сынек – помощник Дубчека.

Той ночью в сквере Бовин сказал Сынеку: через две-три недели встречай наши танки в Праге... Он надеялся предупредить Дубчека о серьезности намерений Брежнева и его окружения. Доверительная информация от Бовина, пусть после пары рюмок сливовицы в привокзальном буфете, но сказанная человеком, к которому и Дубчек, и Сынек относились с уважением, могла помочь чехословакам принять решения, способные предотвратить в Праге худшее. А худшим могло быть кровопролитие, как за двенадцать лет до того в Будапеште. Это было бы историческим бедствием равно для народов Чехословакии, для народов Советского Союза, для всей Европы.

Сынек тогда возразил: «Вы не посмеете это сделать...» Бовин вскипел: «Ты что, мальчик?! Не только посмеем, а сделаем, и будь здоров!» Он знал, что ко времени встречи в Чиерне-над-Тисой уже были отобилизованы два военных округа. Об этом предупреждении, рискованном в устах человека, близкого к Брежневу и Андропову, я впервые услышал не от Бовина, а от Ивана Сынека, с которым встречался в Праге за полгода до разговора с Бовиным в Москве. По словам Сынека, до него не сразу дошел смысл их ночной беседы. В дружеских застольях чехи часто пугали друг друга угрозой вторжения, но на самом деле в такую возможность никто не верил. Только позднее Сынек понял, что в шутовском тоне, свойственном тогда чехам, упоенным Пражской весной, его друг Бовин, хорошо знавший психологию Старой площади, хотел их вернуть к реальности.

Не вернул...

Года через полтора-два после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию Бовин оказался в Праге и пошел на квартиру Сынека, где когда-то не раз бывал. Он хотел обнять старого друга и извиниться перед ним

за все, что произошло. Сынек к тому времени был безработным. По воспоминаниям Лены Петровны (ей об этом рассказывал Бовин)²⁶, когда он постучал в дверь, Иван дверь не открыл и попросил гостя уйти. После вторжения это была типичная реакция чехов на встречу с советскими людьми, с недавно близкими друзьями. Пусть они были ни при чем – в глазах чехов и словаков каждый из нас, кто не вышел с протестом на Красную площадь, нес вину за преступления режима.

«Хорошо, – сказал через дверь Бовин, – сейчас десять часов вечера. Я буду сидеть у твоей двери до шести часов утра. Если за это время ты ко мне не выйдешь – я уйду». Он слышал, как за дверью плакала жена Ивана. В пять утра Иван вышел с мокрым от слез лицом, они обнялись.

Однажды Бовин сказал, что за день или за два до ввода войск он тайно летал в Прагу. На мой вопрос – зачем, с какой миссией – отказался говорить. «Есть вещи, о которых я никому не рассказываю. Они ушли на дно...»²⁷

Было бы искаженной картиной представлять Пражскую весну, как внезапный прорыв чехословацких реформаторов; их одних, обогнавших заторможенную российскую экономическую мысль, потому вызвавших нервозность Кремля. Это не вся правда. После XX съезда партии советское общество тоже встряхнулось; в обеих наших странах негласно шли диспуты о том, как выходить из тупика, в который всех завела строгая плановая система хозяйства. Чехи переживали болезненней других. Если мы пожинали плоды своей тоталитарной системы, то чехи разбирались с чужой, им навязанной. Уступая кремлевскому давлению, они вынуждены были отказаться от «плана Маршалла»²⁸, поверили в социалистическую экономику, сильно ее идеализируя, и переняли модель управления хозяйством, самую бюрократическую из возможных. Москва требовала от стран Восточной Европы планировать свое хозяйство, ни на шаг не отступая от советских стандартов. Их вынуждали заполнять даже формы советского образца для отчета о приросте поголовья верблюдов²⁹.

По признанию О.Шика, чехам-реформаторам развязала руки нашумевшая в СССР статья Е.Либермана в «Правде» (сентябрь, 1962). Пусть предложения, в ней изложенные, «существенно отставали»³⁰ от тогдашних пражских разработок, эта публикация легализовала в обеих странах диспуты и зарождала надежды на возможность радикальных реформ. Чехи осознали бессмысленность попыток повышать дисциплину труда без безработицы. Новотный тоже это понимал, но боялся реакции Кремля на слова-раздражители; было спокойнее, когда вместо красной тряпки «безработицы» появлялось «равновесие между спросом и предложением рабочей силы», а вместо «реформ» значилось «совершенствование системы управления народным хозяйством». Это была психотерапия для Брежнева. К чести Новотного, он создал комиссию по экономической реформе, потребовал открытых споров, взаимной критики, строго запретив единственное – вешать друг на друга ярлыки.

Для работы ничего другого не требовалось.

Я бы не касался этой темы, борения страстей внутри одной тоталитарной системы, в ней трудно выделить психологический аспект. Но в дискуссии о реформах оказались вовлечены «Известия» и мой коллега Геннадий Лисичкин, известный московский демократ-шестидесятник, специалист по

чехословацкой истории, один из умнейших российских экономистов. Он был единомышленник и приятель пражских реформаторов из круга Ота Шика. В редакции он всех поражал спокойствием, обширными познаниями и редким в практике газетчиков собственным опытом работы на земле. Окончив элитарный институт международных отношений, Лисичкин мог блистать в столицах разных стран как аналитик мировой политики и экономики, а он, удивляя друзей, подался в российскую глубинку, стал председателем колхоза, одного из самых захудалых, оставался там три года, пока не поставил хозяйство на ноги. Потом был дипломатом в советском посольстве в Белграде, изучал югославский опыт хозяйствования и перечитывал чудом уцелевшие там книги русских эмигрантов. С этим багажом он позволил себе подать голос в диспутах об экономической реформе. Москва многих слушала, но к многим прислушивалась.

К Лисичкину прислушивалась.

В канун 1968 года советских и чехословацких экономистов объединяло общее понимание абсурдной ситуации, когда в угоду идеологическим догмам они вынуждены были строить концепции, которые под конец жизни отвергали сами классики марксизма. Они успели осознать, что призрак коммунизма, бродящего по Европе, оказался иллюзорным, и хоронить капитализм было рановато. В одной из своих работ Лисичкин приведет горькое признание Энгельса: «История показала, что и мы, и все мыслящие подобно нам были не правы. Она ясно показала, что состояние экономического развития Европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства», что капиталистическая основа, на которой происходило его развитие, «обладала еще очень большой способностью к расширению»³¹.

Экономисты обеих стран, прекрасно друг друга понимавшие, устраивали дискуссии, оттачивали формулировки, пугая власти, особенно в Москве, непривычной в казенной партийной атмосфере раскованностью и способностью говорить без оглядки. Они устали держать постоянно в узде свои мысли, повторять навязанные им формулы. Им больше не хотелось видеть в понятии «социализм» звуковую оболочку без конкретного содержания, некий тайный шифр, мало понятный даже тем, кто его повторяет через слово. Они искали в понятии сокровенный, обнадеживающий, человеческий смысл. В большинстве своем это были сильные и эрудированные личности, склонные к дискуссиям, лояльные к другим точкам зрения, готовые к ним прислушаться, если они помогают найти приемлемые решения.

Чешские реформаторы сознавали, что от СССР вряд ли стоит ждать поддержки их экономических поисков. И полной неожиданностью явилась для всех публикация в 1966 году в «Известиях» статьи Лисичкина «Жизнь вносит поправки»³². Это было одно из первых открытых выступлений прессы в защиту рынка, против формального понимания товарно-денежных отношений и закона стоимости при социализме. Неслыханная по тем временам постановка вопроса всполошила официальную экономическую науку. Власти вынудили газету поместить ответ группы ученых «Что регулирует производство? В чем неправ Г.Лисичкин». По заведенному обычаю из всех подворотен на автора стали бросаться другие газеты, соревнуясь, кто из них верноподданнее и кто больнее укусит. Лисичкину пришлось уйти из редакции в один из институтов Академии наук.

Упрямый Лисичкин публикует в Москве книгу «План и рынок»³³. Ее переводят на чешский, словацкий, немецкий, польский, сербский, венгерский, болгарский, румынский... Экономисты Восточной Европы поняли, что и в Союзе мозги поворачиваются в ту же сторону, что их собственные. Главный редактор «Правды» приглашает Лисичкина в экономические обозреватели. И когда в Москву прилетит Ота Шик, он разыщет Лисичкина. «Знаете, хотелось бы поговорить с вашими коллегами в узком кругу...» Лисичкин закажет столик в ресторане «Арагви», пригласит Отто Лациса, Александра Волкова, других друзей-рыночников. Эти люди будут хорошо понимать друг друга. У них общее неприятие старой системы планирования и схожее понимание рыночных отношений. Потом не раз московские реформаторы будут бывать в Праге, а пражские у друзей в Москве, жить у них дома, и в отличие от многих политиков, которых ввод войск разведет в разные стороны, экономисты друг друга не потеряют. Как потом мне скажет Лисичкин о чешских коллегах, «эти люди были настроены промосковски, просоветски, хотели быть вместе с нами, но мы – идиоты! – их оттолкнули и этим погубили себя. Своих друзей предали...»³⁴.

О вводе войск Лисичкин услышал, находясь в командировке в Белгороде. Связался с «Правдой» и от приятелей узнал о звонке в редакцию из ЦК КПСС. «Как там ваш еврей?» – спрашивали. «Какой еврей?» – не понимали в редакции. «Лисичкин». – «Он не еврей...» – «Значит, у него жена еврейка!»

Но это уже не о Лисичкине, а только о ЦК КПСС.

Где-то в конце 1980-х годов Ота Шик, вынужденный эмигрировать в Швейцарию и там преподавать в университете Санкт-Галлена, на свое 70-летие пригласил из Москвы экономистов Рубена Евстигнеева и Геннадия Лисичкина; вопреки всему, зачинатели реформ не теряли друг друга.

20 июля 1968 года аккредитованные в Иркутске корреспонденты центральной прессы были на собрании пленума обкома партии. Речь шла о письме лидеров пяти стран чехословацкому руководству. Такие собрания в те дни проходили по всей стране. У большинства иркутян повышенного интереса к чехословацким событиям не наблюдалось. Они спорили о том, правда ли, что чехам продали или сдали в аренду озеро Байкал. Эти разговоры возникли за четыре года до вторжения, когда растроганные встречами с Иржи Ганзелкой и Мирославом Зикмундом члены рыболовецкого колхоза в поселке Култук на Байкале завязали переписку с чешским сельскохозяйственным кооперативом. Чехи прислали култукцам в подарок четыре бочки пльзенского пива, а култукцы в ответ отправили четыре бочки слабосоленого омуля. И по городу пошло: «Слышали новости? Байкал продали чехам». – «Что за чепуха...» – «Точно, в аренду на двадцать лет!»

События 1968 года иркутян не слишком занимали, были заботы неотложнее. Моя жена по три-четыре часа толкалась на городском рынке в очереди за десятком привозных яблок, чтобы уберечь дочь от авитаминоза, и места себе не находила, читая в газетах советы европейских модных салонов насчет яблочных масок для лица. Многим казалось, что чехи, поляки, венгры, немцы, другие наши европейские братья, как говорится, с жиру бесятся. Попробовали бы жить в сибирской глубинке, научились бы дорожить тем, что имеют. «Мы с ними делимся последним, лишь бы никуда не рыпались, а им все мало!» – говорили на автобусных остановках. А в ответ несло: «Ничего,

был бы хлеб, а мыши найдутся!»

Усталые, затурканные люди, раздраженные своей унижительной жизнью, не слишком интересовались мировыми событиями; по горло хватало хлопот – как устоять в многолетней очереди на жилье, где достать румынскую мебель, польский костюм, чешскую обувь и раздобыть к празднику хотя бы банку латвийских шпротов. А политикой пусть занимаются власти, они знают, что делают.

Только интеллигенция следила за событиями с явным к чехам сочувствием, которое читалось в глазах, даже когда люди оглядывались и молчали. Старания чехов реформировать экономику, возродить институты гражданского общества, критически переосмыслить выбранный путь грели надеждой; мог появиться полигон для эксперимента по переходу от тоталитаризма к демократии. Между собой люди недоумевали: ну зачем требовать от чехов восторга по поводу советского планирования, процессов над инакомыслящими, социалистического реализма в искусстве? Кому это нужно, каждое их сомнение объявлять святотатством? Пражским реформаторам многие желали удачи, надеясь получить толчок хоть к каким-нибудь переменам у нас.

Но на собраниях партийного актива особый народ.

Приглашенный наблюдателем как корреспондент «Известий», я по обыкновению устраиваюсь в задних рядах, рядом с Виктором Федоровичем Новокшеновым. Мы давно дружим семьями, встречаемся в моем доме в Иркутске или в его доме в Ангарске, рады каждой возможности повидаться. В зале восемьсот человек, за их спинами можно тихо разговаривать, никому не мешая. На трибуне из года в год одни и те же лица, мы знаем заранее, что и от кого ждать.

На этот раз, 22 июля 1968 года, все говорят о Чехословакии; я приведу выдержки по протоколу, сохраненному среди архивных бумаг.

Соловьев А.И. (секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ). «Молодежь пьянствует, развратничает, давит друг друга мотоциклами и обрастает бородами, читает двусмысленные стихи и слушает самодельные песенки с гнусавой меланхолией или полублатной псевдоромантикой. Всю эту стряпню в разной обертке оптом и в розницу идеологи буржуазии стремятся протолкнуть не только на благодатную почву Чехословакии, но и в нашу страну, подсунуть молодому человеку. И неважно, где клюнет червь сомнения: в теории, во взглядах на культуру или в морали. Главное “разрыхлить” коммунистическую убежденность, подорвать веру в преимущества социализма».

Жигалина Е.С. (птичница Иркутской птицефабрики). «Когда я поехала на актив, мои подруги наказали мне: “Скажи, Екатерина, от всех нас, что труда и сил мы не пожалеем, чтобы Родина была богаче”. А еще говорили – передай, что верную политику партия и правительство ведут за сохранение мира, укрепление социализма. Полностью и целиком одобряем ее и делом ответим на решения Пленума ЦК нашей родной партии. В этом году за шесть месяцев наша птицефабрика продала государству более 12 млн яиц, план выполнен на 132 процента. Хороших показателей добились мои подруги по работе. Шаньгина Вера за полугодие получила по 130 яиц на курицу-несушку, Кокорина Нина и Борисова Елизавета – по 120 яиц...»

...Пленум постановил: «...Верные интернациональному долгу, коммунисты и все трудящиеся Иркутской области, как и весь советский народ, гото-

вы оказать братскому чехословацкому народу всю необходимую помощь и поддержку в защите социалистических завоеваний»³⁵.

Мало кто из участников иркутского собрания знает в лицо моего друга, но наслышаны все. Он директор электролизнохимического комбината, один из самых «секретных» людей в Союзе, первый руководитель атомного предприятия, не из другой отрасли пришедший, а в отрасли выросший. Начинал под Свердловском, делал первую атомную бомбу. «Мою руку Берия пожимал!» Получил назначение в Сибирь, при нем вбивали первые колышки и под конвоем водили на стройку заключенных. В 1960-е годы комбинат стал в СССР, как напишут лет через сорок, «одним из решающих факторов глобального увеличения производства обогащенного урана» и внес «существенный исторический вклад в достижение ядерного паритета с США и другими ядерными державами»³⁶.

Интерес атомников к Чехословакии ограничивался урановым месторождением Яхимовское в Рудных горах. С этим сырьем работали супруги Кюри. Мария Склодовская-Кюри открыла новые излучающие элементы, названные ею полонием и радием. Перед войной чешские руды привлекали советскую разведку, но горный район оказался под германским протекторатом. При немцах на рудниках работали лагерники, в том числе советские военнопленные. К концу войны здесь скопилось больше ста тысяч тонн необработанной урановой руды. В 1945 году всю эту массу перевезли в СССР, используя для создания первой советской атомной бомбы. И в последующие годы, пятидесятые и шестидесятые, пятая часть советского ядерного оружия производилась с использованием чешских урановых руд.

Знакомством с Виктором Федоровичем я тоже обязан чехам, а точнее – чехословацким хоккеистам. Это был первый в истории закрытого города случай, когда в автобусе с зашторенными окнами иностранцев повезли из Иркутска в Ангарск, в зону расположения секретного комбината. Им предстояла игра с «Ермаком», хоккейной командой атомщиков, одной из лучших в Сибири. Идею предложил В.Ф.Новокшенов, страстный болельщик. В выходные пятидесятилетний директор с хоккеистами носился по льду и настоял на международной встрече, гарантируя властям полную для комбината безопасность. У входа на стадион было полно милиции и сотрудников госбезопасности, билеты давно распродали, мои корреспондентские корочки не вызывали никакого почтения. Я собрался было возвращаться в Иркутск, как мне показали человека, здесь единственного, кто способен пропустить на стадион. Чешской команде он был представлен как руководитель хоккеистов «Ермака». Крупный, круглолицый, близорукий, похожий на Пьера Безухова, в тренировочном костюме, вязаной шапочке и в распахнутой дубленке. Я подошел и назвался. Видимо, он получал «Известия», повернулся к сопровождающим: «Пропустите. А то он и нам в газете накостыляет!»

Так я познакомился с Виктором Федоровичем Новокшеновым. Инженер, ученый, крупная фигура в военно-промышленном комплексе, лишенный права выезжать за рубеж и вступать в контакты с иностранцами, он не имел доступа к информации, кроме официальной, но тянулся к людям творческим, думающим, приглашал на встречи с атомщиками своих друзей и единомышленников. В их числе были академики Виталий Гинзбург и Исаак Кикоин, а еще Герман Титов, Ким Филби, Алиса Фрейндлих, Олег Ефремов,

Евгений Евтушенко...

О директоре-атомщике хочу сказать отдельно, потому что для элиты советской технической интеллигенции чехословацкие события имели особый смысл.

Когда мы сблизились, я спросил, как морально чувствует себя человек, причастный к созданию атомной бомбы. Для меня, отвечал Виктор Федорович, никакой моральной проблемы нет. Когда этим занимаются те, кто угрожает или готов угрожать существованию моей родины, только паритет удерживает другую сторону от соблазна. «Я был бы кретином, если бы сказал, что меня терзают какие-то сомнения. Лети я в 1945 году в бомбардировщике над Берлином, я бы тоже бросал бомбы, даже зная, что внизу ни в чем не повинные люди. Когда на карте судьба моего народа, как думать о чем-то другом?.. Вы первый, кто заговорил со мной на эту тему. Нужно! – этот язык мы понимаем. Тяжело было бы нам без этого. Да и в характере нашего народа показать, что мы тоже не лыком шиты».

Он человек твердых принципов; один из них: не опекай подчиненных, доверяй им во всем, но если обстоятельства рискованны для жизни, иди сам. И когда на заводе случилась авария, пришлось докладывать первым лицам страны, он натянул противогаз и, не успев влезть в пневмокостюм, скрылся в тумане. Как потом расскажет Нина Прокопьевна, жена Виктора Федоровича, на четвертые сутки в четыре утра он позвонил, что едет домой, спросил, есть ли молоко, попросил разостлать в прихожей старую скатерть. Жена поняла, всю одежду предстоит сжечь. Из ванной она вывела мужа за руки, он почти ничего не видел. Зрения было минус пять, стало минус семь, да еще нахватался радиации.

Изречения Виктора Федоровича гуляют по городу как афоризмы: «Есть две угрозы для человечества: атомная бомба и художественная самодеятельность...» Или еще: «Собрания продолжаются больше часа в двух случаях: или руководитель ничего не понимает в вопросе, или собрал некомпетентных людей». Однажды два инженера принесли ему на суд свой сценарий фильма об Иване Грозном. Отзыв Виктора Федоровича был убийственный. А в заключение написал: «Впрочем, если во время пуска завода! два инженера! находят время писать сценарии! – то это, безусловно, талантливые люди».

Виктор Федорович пишет стихи: «Мы жили в неизвестных городах, / в Сибири, Подмосковье, на Урале. / Сюда нас привозили впопыхах, / отсюда выезжать не разрешали. / Не выбирали здесь мы горсовет, / здесь наши письма вежливо читали. / Казалось, здесь советской власти нет, / но здесь-то мы ее и защищали... / Когда откроют эти города, / о них напишут небыли и были, / о нас вы вспомните тогда, / как мы работали, чем жили...»

Интересно, мы и наши семьи столько лет близки, все семейные праздники вместе, а вот не получается перейти на «ты», только «вы, Виктор Федорович», «вы, Леонид Иосифович...». А с иркутской трибуны продолжают по бумажкам разоблачать «разгул антисоциалистических элементов» в Чехословакии, называют имена антисоветчиков Ота Шика, Иржи Пеликана, Честмира Цисаржа, Ивана Свитака, Людвика Вацулика... Кто они, большинство на собрании, люди из дальних районов, слыхом не слыхивало, помалкивало, но самые ретивые, знающие не больше, громко возмущались, взмахивали руками, чтобы их заметили в президиуме.

Голова шла кругом: где-то далеко отсюда, в столице огромной страны,

выживающие из ума старцы, живущие в другом мире, сейчас решают, как наказать непослушный, провинившийся перед ними народ; в угол не поставишь, но можно сбросить на них парашютистов-десантников и пройти по упрямам гусеницами. И как хрупки, бессмысленны наши старания достать на рынке фрукты для ребенка, и ночи над листом бумаги, и мечты об отпуске где-нибудь на море. Что с нами будет, если двойку по поведению Кремль завтра поставит Сибири?

Мы слушаем ораторов. «Во дают!» – изумляется Виктор Федорович, и со стороны не понять, имеет ли он в виду чехословацкую «контрреволюцию» или расходившихся ораторов.

Но когда с трибуны клеймят Иржи Ганзелку и Мирослава Зикмунда, у Виктора Федоровича округляются глаза: «Неужели и эти? – шепчет. – Они же умные ребята?»

Я предчувствовал, что наш разговор о Праге неизбежен, и обрадовался, когда под конец собрания Виктор Федорович шепнул: «Махнем ко мне на дачу? Нина закоптила таких омулей!»

Почему я так подробно пишу о Новокшенове? С этим слоем технической интеллигенции считается власть, к ней прислушиваются массы людей, для которых директор завода или комбината сам по себе олицетворяет власть, и небезынтересно присмотреться к тому, как воспринимали чехословацкие события, говоря языком тех лет, командиры производства.

Деревья подступают к крыльцу, за лесом – корпуса комбината. Мы присаживаемся на ступени, и когда Нина выносит плед, набрасывает на наши плечи, нам совсем хорошо. Мы говорим о чехах: почему они заставили мир прислушаться к себе? Тут нужен хотя бы краткий экскурс в историю. Этот этнос возник в Центральной Европе, в той части гор, лесов, равнин, где неизбежным было взаимное влияние Запада и Востока. В этом культурном пространстве чехи всегда искали собственное место. Они не пустословили о любви к родине, не выворачивали перед другими свою к ней нежность, но постоянно что-то делали, чтобы родине было лучше. Их отношение к соседям точно выразил первый президент Томаш Масарик. В Европе, говорил он Карелу Чапеку, пять держав, пять больших народов, два – средней величины и почти тринадцать малых. «Речь идет о том, чтобы большие не трогали небольших и маленьких!»³⁷

Эту надежду чехи выстрадали трехсотлетним томлением под властью Австро-Венгрии, долгой борьбой за независимость. Поддержка шла от славянских народов, от идеологов их единства. Во второй половине XIX века чешские политики стали прислушиваться к русским идеям славянской общности. И когда Австро-Венгрия, Германия, Италия заключили Тройственный союз (1882) и в Европе возникла новая ситуация, а в российско-австрийских отношениях появились сложности, это обнадеживало чешских общественных деятелей. Можно было ждать преодоления раскола в славянском мире и заняться решением собственных исторических проблем.

В чешском обществе шли постоянные споры, искать ли свою судьбу на путях сближения с германством или с россиянами. Кумиры нации, многие из них, отдавали предпочтение России, в ней видели защитницу малых славянских народностей. Это не мешало им продолжать ощущать себя европейцами. Даже после 1948 года, когда чехи решили ориентироваться на Москву,

они не отказались от западных ценностей.

По складу характера чехи не склонны решать свои задачи силой; история научила малочисленный народ дорожить соплеменниками, жизнь каждого важна необычайно, потому при любых поворотах событий чехи избегают воевать, им предпочтительней договариваться.

Любопытный вопрос, какими виделись чехи в середине XX века окружению Брежнева, его генералам, органам безопасности. Тогда, на ступеньках дачи в приангарской тайге, я не имел об этом представления, а много позже в мои руки попала книга офицера КГБ Н.П.Семенова, вице-консула в Чехословакии в 1968–1972 годах. Перед отъездом в Прагу его познакомили с секретной инструкцией для сотрудников безопасности. Ее составили, похоже, по впечатлениям своих же сотрудников, уже поработавших в стране и уверенных, что раскусили странный народец.

«Быт и нравы» назывался том.

Словаки, пересказывает вице-консул инструкцию, более славянский народ, нежели чехи, они ближе к России и Украине. «Чехи же тяготеют к Западу, считают себя европейцами, кичатся этим. Словаков они недолюбливают, называя их “мужиками”. Словаки, говорится далее, гостеприимны, хлебосольны, бескорыстны, доброжелательны, а вот чехи живут только для себя, их не волнует положение в коллективе. Чех не уважает человека, который не имеет личной автомашины, дачи на селе, сберегательной книжки. У большинства чехов семья состоит из жены и одного ребенка. Мужчины воспитанием детей почти не занимаются, любят посидеть в пивной, поболтать о политике. Легко изменяют своим женам. Женщин-чешек нельзя назвать красивыми, они выглядят крупными и мускулистыми, но в семье они голова. Благодаря их верности мужьям семьи распадаются редко. Чехи очень экономны, если не сказать, скупы, раскошеляются только в том случае, когда им что-то от тебя нужно».

«Даже маленькая победа в любом виде спорта, достигнутая безразлично чехом или словаком, вызывает бурю общих эмоций. Особенно если на эту победу претендовал спортсмен или команда из Советского Союза. Даже в том случае, если команда Чехословакии не занимала первое место, но победила команду СССР, она радовалась, как будто стала чемпионом»³⁸. Начитавшись других подобных инструкций, вице-консул, как он потом напишет просто-душно, «не мог взять в толк: неужели так пронизала народ Чехословакии ненависть к нашей стране?»³⁹.

Не в подворотнях трущоб, а в высших сферах власти создавали мифы о соседних народах, укореняли эти мифы в общественное сознание. Это была идущая от имперских притязаний проповедь разобщения и неуважения к чужакам, к умышленно натянутым на них отталкивающим маскам. Информационный вакуум сопровождался давящим на сознание сеансом гипноза, в который погружали собственный народ, переживший войну, раскулачивание, репрессии, депортацию малочисленных этнических образований. Оцепенение и постоянный внутренний страх компенсировались внушаемым комплексом старшего брата, первого среди равных, вынужденного нести, как тяжкий груз, цивилизаторскую миссию соседям, забывшим, кто их освободил. Зажравшимся и неблагодарным. Эти установки из коридоров власти питали агрессивный шовинизм политических кругов.

Предвзятости о чехах внушали людям, провожая их на работу в Чехо-

словакию, когда на небе не было ни облачка. Составителям «ориентировок» не приходило в голову, что собранные ими наблюдения свидетельствуют не столько о чехах и словаках, сколько о них самих, какими глазами они смотрели на тех, кого называли «друзьями» и за дружбу с которыми много пили.

Может быть, слишком много.

– Но что с Ганзелкой и Зикмундом? – не может понять Виктор Федорович. – Умные, думающие, талантливые люди. Столько народов повидали, рассказали обо всех с тактом, с уважением. Наводят между всеми мосты. А в наших газетах – антисоветчики! Контрреволюционеры! Чему верить?

Я знал, что разговор об этом неизбежен, и собираясь на пленум обкома, надеясь встретить Виктора Федоровича, прихватил с собой пару писем из Чехословакии. И теперь, на ступенях веранды, разворачиваю машинописные странички, прикрывая пледом, чтобы не унес ветер.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (29 ноября 1967 г.)

Леня, милый мой друг, я виноват перед тобою, перед Гавриилом Макиным, перед Виктором Деминым, перед всеми хорошими друзьями в Иркутске. Сколько чудесных писем я получил, сколько раз Гаврилушка звонил, лишь бы послушать старого друга. И я молчу. Извинить трудно, но объяснить можно. Только несколько недель тому назад мы снова начали жить дома, из подвала переселились снова в ремонтируемую квартиру. Два года я работал на ужасных условиях, но работа не остановилась. Все в норме и в срок. Только мое грешное тело пострадало и в конце концов отказало такому сумасшедшему. В июне была небольшая операция, все прошло благополучно, летом я отдыхал в Крыму (Нижняя Ореанда), потом поработал в темпе дома, посетил выставку в Монреале, вернулся – и попал в больницу. Этот раз не шутил. Почковые камни, это неприятные штуки. Три недели побыл в больнице, позавчера пустили домой, лечить будут дома шесть недель, потом, надеюсь, уже только три недели в курорте (будут проливать минеральной водой). Но хватит. Только что я сликвидировал рабочие долги. Снова очутился в них по самое горло. И если буду в феврале будущего года здоров, снова придется подраться с накопленными задачами, и годик пройдет.

Но плакать нельзя, потому что я относился к своей физической части годами очень сурово, и все удивлены, что она отказывается только сейчас. Ничего, все будет хорошо, лишь бы друзья в Иркутске поняли и простили...

Верховой ветер усилился, еловые ветви стали колошматить по черепичной крыше крыльца. Нина предложила перейти в гостиную, но мы упрямымся и на плечи туже натягиваем плед.

...От Виктора Демина я ничего академику Мацеку не передавал ⁴⁰. Просто почувствовал, что очень многим товарищам у вас и у нас не очень приятна возможность, что первый памятник в мире Владимиру Ильичу вышел из рук какого-то чешского легионерского «мятежника». Ничего. Придет время, когда поймут, что народ, простые люди в чешском корпусе, были не офицеры и что даже у вас вдоль сибирской железной дороги можно найти много людей, которые сумели резко и правильно отличать братских солдат от фашистских офицеров типа Гайды. Если памятник создан чешским легионером, то он был не мятежник, но брат русских революционеров, раз он создал такой памятник Владимиру Ильичу даже раньше, чем они. А если это был кто-то другой, надо разыскать его и сказать народу, все равно, если это был чех, венгр, русский или татарин. Но, по-моему, это интерес прежде всего иркутян, знать точно автора своего памятника.

Ленька, милый, крепко тебя обнимаю, спасибо за все приветы и за теплые слова. Не забываю и не забуду ни тебя, ни остальных друзей у вас. А если не пишу, извини и поверь, что просто не успеваю. Искренне твой Юра ⁴¹.

Виктор Федорович нарушает молчание:

– Какое сердечное письмо... Что-то не похожи эти двое на врагов. Что-то тут не так. Но если вокруг них неправда, то...

Он не договаривает, он задумывается.

Я достаю второе письмо.

Письмо М.Зикмунда в Иркутск (3 января 1968 г.)

Дорогой Леня, мне хочется поблагодарить тебя за весточку и хорошее пожелание и извинить себя, что я так долго молчу. Но говорить тебе, как мы заняты – я уверен – не нужно, поскольку ты хорошо знаешь, как дела. С тех пор, как ты сидел здесь на Нивах ⁴² (будет уже три года через несколько дней, ужас!), произошло много событий, но главным образом Юра и я сидим над столом и пишем. В прошлом месяце издана на чешском языке новая наша книга Тысяча и две ночи (выйдет она в Молодой гвардии весной), недавно мы сдали в издательство рукопись следующего тома (Континент под Гималаями – значит, Индия, Пакистан, Кашмир и Непал), а в грубых чертах уже готова книга о Цейлоне. Но чтобы в нее попали самые свежие впечатления, мы перед сдачей в печать вылетим на несколько недель снова на Цейлон (следующий месяц), и сразу начнем работу над новым томом – Индонезией. Как ты видишь, работа над книгами не идет столь вперед как маршрут сам – но так и надо!

Осенью мы были в Канаде, посмотреть, что такое ЭКСПО-67, о котором наша печать постоянно информировала народ, так что Монреаль стал у нас чуть-чуть центром всего мира. Конечно, было это очень интересно, и многие заключения, что касается сравнений нашего и другого мира, были не очень положительные для нас. Мир идет огромными шагами вперед, и у нас очень часто только говорится – а дело не идет! Вот ты меня очень хорошо понимаешь и знаешь, где нам «тесные сапоги».

Я смотрю из окна и представляю себе Байкал – может быть, не очень большая разница: наш сад белый, белый, снег везде, фазаны ходят около дома, но озера или лучше сказать моря, Байкальского моря нету! Хотелось бы попасть на неделю, две, три к вам, но еще не пора.

Чтобы перед началом работы над книгами о Союзе приехать снова и получить самые свежие и новые впечатления, дополнения тех, которые мы увезли в 64-м, нам надо выбросить из головы еще всю Индонезию и Японию. А потом – вперед!

Вот, Леня милый, я надеюсь, что ты поймешь это письмо, я попробовал по-русски, но латинским шрифтом, поскольку у меня букв нету.

Передай привет Неле и Галке, позвони, прошу, и Виктору Демину, скажи ему, что мы не забыли, но времени очень, очень мало, и если писать, то так, чтобы он дождался книги о Сибири, о которой он мне говорил. И всем иркутянам привет, большой привет и много успехов! Твой Мирослав ⁴³.

И еще одно, недавнее.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (20 мая 1968 г.). Леня, милый, обнимаю тебя за телеграмму и поздравления к Первомайскому празднику. В последнее время я очень часто вспоминаю тебя и всех близких и милых друзей – иркутян. И боюсь, что вы не совсем правильно поймете, что у нас делается. В советских газетах пишут мало, редко и не всегда с полным пониманием. Это, конечно, огорчает много честных людей,

коммунистов, беспартийных, но в основном всех тех, которые любят и уважают Советский Союз, и до сих пор думали о нем с полным пониманием и доверием.

Ленька, это действительно положение нехорошее. Ты нас с Миреком знаешь. Мы остались и остаемся такими, какими и были. Я в последние недели на очень бурной публике несколько раз с удовольствием защитил дружбу к советским народам и буду в этом продолжать, потому что дружбу и любовь менять нельзя. Но огорчает меня, когда вижу, как много довольно высоко поставленных советских лиц поворачиваются именно ко мне спиной и ищут дружбу среди тех, которые нанесли такой ущерб и дружбе (действительной), и действительно социалистическому развитию общества у нас.

Ну, ничего, Ленька, правда только одна. Время пройдет, и она проявится. Надо работать и ждать. Хотелось бы уже продолжать работу у вас в СССР, но ответственные москвичи вдруг не знают, кто такой Ганзелка и Зикмунд, адрес потеряли. Ничего, найдут, подождем. А все-таки было бы хорошо поговорить. По душам, как следует. Ленька, обнимаю тебя, Макина и всех хороших друзей в Иркутске. Всегда твой Юра ⁴⁴.

– Ребята, зайдите в дом! – зовет Нина. – Холодно!

Мы сидим и молчим, еще тесней прижимаемся под пледом плечами.

– Интересно, – говорит Виктор Федорович, – они из такой же, как у нас, тоталитарной страны, с таким же аппаратом подавления, с тою же навязанной идеологией. Но вот же выросли из нее, нормальные же люди! А? ⁴⁵

...С Виктором Федоровичем мы встретимся 22 августа, оглушенные сообщением о вводе наших войск. Он будет растерян и подавлен. Закрытость его имени для прессы оберегала его от журналистов, которых в те дни обязали привлечь авторитетных в области людей к публичной поддержке военной акции. Ко многим ученым, директорам заводов, писателям, художникам приходили, но из близкого мне круга иркутян с «одобрением» не выступил ни один. Люди предпочитали об этом не говорить, как о чем-то стыдном, неприличном. У местного начальства, по совести говоря, энтузиазма тоже не наблюдалось; нехотя выполняли то, от чего невозможно было отвертеться.

– Вы знаете, – говорит Виктор Федорович, – я солдат, все делал и буду делать для безопасности нашего государства. Без колебаний! Но та ночь, письма из Праги... Что-то со мной происходит. Уже не могу все принимать на веру. Спрашиваю себя: кому верить? А если все не так? ⁴⁶

Под конец августа мне предстояло лететь в Москву. Перед поездкой еду в Ангарск к Виктору Федоровичу. Мы заговорили о демонстрации семерки на Красной площади. Он смотрит мне в глаза:

– Склоняю перед ними голову. И о нашей власти думаю, как эти ребята. Но спрашиваю себя: а ты пошел бы с ними? Ты бы поднял своих рабочих, вывел бы с плакатами на улицы? И отвечаю себе: нет, не пошел бы. Не вывел бы. И не из трусости. Ребята на Красной площади отвечают за себя. А за мной – город, комбинат, семь тысяч рабочих. И это, елки-палки, какая ни есть, моя родина.

Ему кажется, что я не вполне улавливаю связь.

– Понимаете, я вырос внутри этой системы, стал ее винтиком. Всю жизнь ей служу, надеясь, что этим служу родине. Не будем говорить о разнице между брежневской властью и родиной; я понимаю разницу, но разделить эти два понятия не готов. Не я выбирал эту систему, многое в ней меня не

устраивает, вы знаете. Но оказавшись смолоду внутри, я всеми потрохами ее укрепляю, веруя, что этим укрепляю родину. И буду это делать впредь, чтобы никто не превосходил наш народ в силе и не обращался с нами высокомерно. И какая бы ни была в стране сегодня власть, что бы я ни думал о ней, поперек не встану. Слишком многое пришлось бы ставить на кон. Отвагой ребят, повторяю, восторгаюсь. Военную акцию не одобряю. Чехов понимаю и сочувствую. Но с протестом на Красную площадь не пойду...⁴⁷

Виктора Федоровича не станет 12 мая 1987 года.

За гробом директора атомного комбината будет идти 250-тысячный Ангарск. В городе появится улица имени Новокшенова, лауреата Государственной премии, крупного организатора атомной промышленности, русского интеллигента и патриота. Он верил, должен был верить властям, иначе прожитая жизнь для него теряла бы смысл. И все-таки, даже в нем что-то поколебала Чехословакия 1968 года; тогда в первый раз пришла ему в голову мысль, потом до конца дней не дававшая покоя: *а если все не так?*

Фотографии к главе 3



Министр национальной обороны Чехословакии Мартин Дзур на приеме у министра обороны СССР Андрея Гречко (в центре) с маршалами Иваном Якубовским и Матвеем Захаровым. Москва, 1969



Леонид Брежнев – Александру Бовину: «Или уходи, выходи из партии, или выполняй принятое решение». Бовин: «Выходить из партии я не был готов. Как прыжок в ничто...» Август 1968



Советские офицеры находят «подпольное оружие» на складах Народной милиции или подброшенное сотрудниками советской и чехословацкой госбезопасности



«А если все не так? ... Чехословацкие события заставили задуматься директора Ангарского электролизно-химического комбината, одного из организаторов атомной промышленности в СССР Виктора Новокшенова (Иркутская область, 1968)

Глава четвертая

«Мы чувствовали себя последними дураками...»

Посол Червоненко: «Больше всех не хотел военного решения Андропов...» Косыгин и Зимянин над «Заявлением ТАСС». Три версии разговора с министром Дзуром. Драма семьи Свободы. Полуночная встреча в Граде. «Мы чувствовали себя последними дураками...» «Сделать из Праги Будапешт я не дам!» Как Черник подписался под своей судьбой

В Праге подполковника Камбулова удивила нервозность на территории советского посольства. Дипломаты висят на телефонах, встречаются и уводят в кабинеты испуганных чехов и словаков, своих тайных осведомителей, шущукаются с ними по углам. Снуют журналисты, армейские чины, мужчины в комбинезонах и с военной выправкой – эти «строители» и «туристы» здесь появились за несколько дней до ввода войск; ездят по городу, «обнаруживают» склады оружия, демонстрируют их корреспондентам как свидетельства подготовки контрреволюции к захвату власти. Потом они сменяют комбинезоны на офицерскую форму с орденскими колодками на груди. У некоторых будут медали «За освобождение Праги», хотя по виду в те времена они ходили в детский сад; интендантские службы экипировали их спешно, было не до мелочей.

У здания посольства из фургонов скрытно выгружают ящики с хлебом, мешки с крупами, коробки консервов, железные кровати, постельные принадлежности. Подвалы посольства, будет вспоминать вице-консул Н.П.Семенов, «превращались в столовые, комнаты отдыха, склады военного

имущества»¹. Работы идут при свете автомобильных фар и неярких садовых фонарей. Люди передвигаются бесшумно, усиливая ощущение тревожной ирреальности мира. Из Москвы прилетели человек тридцать в штатском, «семерки», как называли чекисты между собой солдат наружного наблюдения. Новички не вполне понимают, что происходит, зачем они здесь, молча курят, глядя в полутьму и обмениваясь своими бедными предположениями.

Посольство готовится к осаде.

Со Степаном Васильевичем Червоненко мы встретимся в сентябре 1989 года в Москве, в Министерстве иностранных дел на Смоленской площади. Сутулый, усталый, больной человек, с трудом передвигавшийся, будет долго всматриваться в собеседника. По его словам, он до сих пор никому «не открывал душу» и терпел упреки газет, называвших его имя в ряду инициаторов военной акции. Воспоминания были для него болезненны, и я до сих пор не знаю, чем обязан его неожиданному согласию на разговор. Учитель украинской сельской школы, потом местный идеолог, всегда консервативных взглядов, по слухам – родня члена Политбюро Н.В.Подгорного² (говорят, они женаты на сестрах), в худшую пору отношений СССР с Китаем был направлен послом в Пекин. По рассказам моего коллеги Александра Тер-Григоряна, пекинского корреспондента «Известий», когда межпартийные отношения омрачались, посол собирал журналистов: «Снимите, наконец, розовые очки!» А когда тучи рассеивались, упрекал с досадой: «Ну снимите же черные очки!»

За шесть лет его работы в Пекине отношения наших стран стали хуже некуда, но в том не было вины посла; он сообщал центру то, что там хотели слышать. В 1965 году секретарь ЦК КПСС Н.В.Подгорный становится Председателем Президиума Верховного Совета СССР, и Степан Васильевич получает назначение в Прагу. Казалось, испортить отношения с братской славянской страной было бы не под силу самому слабому послу, но Червоненко и тут не повезло. Не успев обзавестись собственными информаторами, посол положился на советника-посланника Ивана Ивановича Удальцова, знатока чешской истории и культуры, прошедшего войну в корпусе Людвика Свободы, старого друга семьи Антонина Новотного. К Удальцову прислушивались в кремлевских коридорах. Второй человек в посольстве, свободно владевший чешским, человек эмоциональный, напористый, не стеснявшийся в выражениях, он с самого начала не принимал Пражскую весну и свое восприятие событий внушал послу.

В один из приездов в Прагу я позвонил Ивану Ивановичу, попросил о встрече. После долгого молчания он сказал: «Мне знакомы ваши публикации. Мы на разных позициях и друг друга не поймем. Смысла встречаться не вижу».

Мужской ответ вызывал уважение.

Степану Васильевичу разговор давался нелегко. Можете со мной не соглашаться, говорили его глаза, но как я думал тогда, думаю и сейчас. Было бы неправильно, считал он, судить о вводе войск, не учитывая предысторию. В отличие от революции в России у чехов с приходом народной власти только крупные собственники покинули страну, а средняя буржуазия оставалась. Часть ее вращалась в новую реальность, хотя по корням и по духу держалась западной ориентации и помнила, что прежде она представляла одну из самых развитых стран Европы; здесь выпускали почти две трети номенклату-

ры мировой промышленности. Смущение пришло в 1960-е годы, когда Запад вырвался вперед, а чехи и словаки оказались на обочине европейской экономики. Новотный был не готов к решению новых задач; «если бы он ушел с поста на два-три года раньше, военного вмешательства не потребовалось бы».

– Брежнев советовался с вами о вводе войск? – спросил я.

– Со мною нет... Был сильный нажим со стороны Ульбрихта, Гомулки, Живкова; под конец и Кадар к этому склонялся под влиянием событий в своей стране; он мог рядом с другими раскачиваться на фонарном столбе, если бы его не вывезли в фургоне с хлебом из Будапешта в Ужгород; там он обратился по радио к народу.

Больше всех не хотел военного решения Андропов. Я с ним разговаривал сотни раз. Представьте, что пережила его семья, когда на будапештских улицах вешали людей; жена до сих пор не может прийти в себя. Это его постоянно мучило: как остановить контрреволюцию в Чехословакии, не пролив крови.

– Я слышал, в Москве на заседании Политбюро в июне 1968 года вы трижды выступали вразрез с большинством.

– Июньским учениям «Шумава» вышел срок, а войска из Чехословакии мы не выводили. Напротив, горячие головы требовали расширить военное присутствие. Это будоражило чехов, задевало национальные чувства; по стране шли митинги. Это нам нужно было? И когда на заседании Политбюро кто-то предложил не сворачивать учения, а придать им еще больший размах, я сказал, что думал. За столом были Гречко, Андропов, Громыко, Сулов, Щербицкий, Устинов... Дискуссия не утихала, мне пришлось подняться второй и третий раз.

– Как реагировал Брежнев?

– Неожиданно для всех он оставил свое кресло за столом и присел рядом со мной (приглашенные сидели на стульях вдоль стены). Чтобы не мешать другим, мы стали говорить шепотом. Брежнев тогда сказал, что если мы потеряем Чехословакию, расстановка сил в Европе резко изменится. Это будет катастрофа.

Я сказал, что было бы разумным встретиться с чехословацким руководством. К власти там пришли новые люди: Смирковский, Кригель, Цисарж, Шпачек... Брежнев ничего не ответил и вернулся на место. Дискуссия продолжалась, а когда стали расходиться, он попросил Андропова и меня задержаться. Мы остались втроем. «Что же делать?» – он переводил глаза с Андропова на меня и обратно. Я повторил: надо работать с чехословацким руководством, в том числе с Дубчеком. «Ну вот что, – сказал Брежнев, – возвращайтесь сегодня же в Прагу и повидайтесь с Дубчеком. Нужно понять, что происходит и чего нам ждать».

Я вышел в соседнюю комнату и по ВЧ позвонил Дубчеку. В Праге мы с ним часто перезванивались, это было нормально. Он мог ко мне домой поздно вечером приехать и я к нему мог. Спрашиваю, нет ли у него на этот вечер планов. «Буду на работе». – «Часов в 11 вечера я прилечу в Прагу, могу зайти?» – «Конечно, сразу же!» Брежнев и Андропов распорядились дать мне спецсамолет Ту-134. Часа через три я был в Праге у Дубчека. Он поделился своим видением ситуации, а я передал беспокойства нашей стороны. Мне ка-

залось, мы понимаем друг друга. В скором времени учение войск было завершено, а на конец июля назначили встречу руководства обеих партий в Чиерне-над-Тисой.

– Стало быть, переговоры в Чиерне – ваша идея?

– Может быть, эта мысль кому-то пришла в голову раньше, но на заседании Политбюро я изложил ее Брежневу, когда мы сидели рядом и шептались³.

...В 1965 году, беседуя с Червоненко перед его отлетом в качестве посла в Прагу, Брежнев посочувствовал трудностям работы в Китае: «Ну, в Праге вы отдохнете!» Червоненко так и не понял: Брежнев был хорошим шутником или плохим пророком?

Если бы кремлевское руководство понимало, что за люди чехи, оно бы узнало немало интересного от предыдущего посла М.В.Зимянина, человека из своего близкого окружения. Он мог рассказать, как после несчастной для чехов битвы с Габсбургами у Белой горы в 1620 году три последующих столетия, не имея своей государственности, «чешские бабы рожали детей, передавая им национальное сознание и родную речь как форму культурной самозащиты против агрессора. Можете представить моральную стойкость этого народа, внешне плохо просматриваемую, но внутренне очень сильно пронизывающую сознание чехов и словаков их национальную гордость»⁴.

Мы встретились с Зимяниным в подмосковном Доме отдыха «Усово», куда мне было разрешено приехать. «Чем не Крконоше?» – Зимянин вскидывал глаза на верхушки старых сосен. Известный партийный функционер, опытный дипломат (до Чехословакии был послом во Вьетнаме), главный редактор «Правды», он вспоминает о Пражской весне без раздражения, а с желанием объяснить затмение, тогда нашедшее на власть в СССР, от которой он, как честный человек, отделять себя считает неприличным.

«На первых порах топорного вмешательства в чехословацкую жизнь с нашей стороны не было. Это появилось позднее, когда обнаружилось, что социальная структура страны, национальные отношения внутри очень непросты, а компартия не особенно сильна, крупных личностей, кроме Готвальда и Запотоцкого, раз-два, и обчелся. У нас, говорил мне Новотный, 14 миллионов народа, из них 13 миллионов это наши люди, а триста-четырееста тысяч – буржуазия, чиновничество, националистически настроенная интеллигенция. Их меньшинство, но это самая образованная часть населения, владеющая мыслями народа, его духовным развитием. Мы всегда чувствовали напряженность между чешской частью и словацкой частью населения; несмотря на декларированное равноправие, страной все же руководили чехи. Была разделена и интеллигенция.

У нас думали: мы большие, сильные, а они маленькие, будут послушны. И когда волны репрессий, накрывшие нашу страну, хлынули в Восточную Европу, достигли Чехословакии, казалось, мы чехов окончательно приручили.

Хотя у меня темперамент не флегматичный, скорее живой, если не холерический, я старался с ними работать спокойно, с открытой душой, честно высказывал свое мнение. Конечно, я шел в русле политики своей партии, должен был укреплять то, что называлось диктатурой рабочего класса. В

действительности это была диктатура чиновников: партийных и околопартийных, всех, кто старался в этой сложной ситуации занять место под солнцем. Много, увы, мы стали понимать запоздало».

Мы с Зимяниным говорим о чешском характере.

Заблуждается тот, кто думает, будто накануне военной экспансии все чехи жили в тревожных предчувствиях и панически гадали, как защитить отечество. Приписывать им в те дни утилитарные заботы означало бы не представлять психологию народа. Будучи благодарным сильному соседу за освобождение, испытывая к нему искренние чувства, сознавая собственную уязвимость рядом с ним, он мог демонстрировать, иногда вызывая, свою от него независимость. Политические игры «верхов» будоражили интеллигенцию, молодежь, отчасти образованных рабочих. Это дразнило, кружило голову, но эйфорию осаживало предчувствие, что расслабленность не может продолжаться долго, что-то должно случиться. Между тем, в лесах Шумавы, в рыбном Тршебоньском краю или на виноградниках Южной Моравии разговор через ограду с соседом про привес поросят был важнее, чем перебранка политиков в Праге или в Москве. Вряд ли кто мог подумать, что сильный славянский брат однажды может двинуть сюда свои танки.

В середине июня 1968 года Брежнев просит Зимянина, тогда главного редактора «Правды», полететь на неделю в Прагу, присмотреться, что все же происходит. Зимянин был у Дубчека. «Начали обмен мнениями. Он свое, я свое, он мне излагал то, что писали чехословацкие газеты. А тут как раз вышли «Две тысячи слов» в «Млада фронта». «Слушай, Саша, – говорю ему, – то, что печатает «Млада фронта», это же непозволительно! Вы должны понимать, что все из Праги в Москве читают через лупу». А он мне: «Но я не могу это запретить». – «Почему нельзя сказать газете, чтобы не хулиганила?» – «Это может только прокурор...» Несколько раз ему при мне звонил Черник. Была явно раздраженная реакция на мой визит: «Чего он у тебя сидит?» Я это слышал. Беседа затянулась до двух часов ночи. Прощаясь, говорю: «Простите, товарищ Дубчек, я вас не узнаю и считаю наш разговор оконченным. Сожалею, что он не привел к доброму согласию. Нужно отдавать себе отчет, что ваша линия угрожает серьезными осложнениями в наших отношениях». Он искренне изумлялся: «Что вы, как вы можете так думать!»

На другой день Зимянин вылетел в Москву и рассказал Брежневу о беседах в Праге. «Я не призывал к вторжению, а только доложил: обстановка напряженная. Я сам тогда не думал, что дойдет до трагедии».

Он не думал об этом и в суматошном июле и августе, когда поздними вечерами при свете настольной лампы подписывал в печать полосы «Правды» с разгромными статьями штатных политических обозревателей, раздраженных чехословацкими реформами. Умный человек, он знал цену матерым газетным волкам, они были своими людьми в коридорах власти. У него не было ни возможности, ни желания, ни даже мысли унять их прыть.

Мне рассказывали про неприятный инцидент, случившийся в те дни в кафе-столовой «Правды», тогда расположенной на другой стороне улицы. Известный политический обозреватель Юрий Жуков, яростнее других нападавший на пражских реформаторов, обедал за столом, когда к нему обратился неизвестный человек. Жуков был уверен, что это один из поклонников его острого пера, и с улыбкой поднял на него лицо. А человек с размаху нанес ему две пощечины: «Вот тебе за Чехию, а вот за Словакию!» Никто не успел

сообразить, что произошло, как незнакомец исчез. Будь это в здании редакции, его бы задержала охрана на выходе, но столовая выходила на улицу, человек затерялся среди прохожих.

В ночь с 20 на 21 августа в Москве светилось окон больше обычного; бодрствовали партийные чиновники, армейские штабные офицеры, сотрудники службы безопасности, руководители транспорта... Два человека в разных районах города подолгу говорят меж собой, не давая отдохнуть аппаратам правительственной связи. Одна трубка у Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета министров СССР, другая у Михаила Васильевича Зимянина, главного редактора «Правды». Оба одной рукой держат у уха трубку, другой черкают текст и вслух перечитывают. Это называлось – согласовывают. Экстренное сообщение в пятьдесят строк, триста слов на первой полосе, задерживает выпуск номера. Конца их разговора ждут ротационные машины, автомобили у подъезда, самолеты в аэропорту.

Утренний выпуск «Правды» № 234 (18281) взбудоражит мир. «ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами... Советские воинские подразделения... 21 августа вступили на территорию Чехословакии...»

До полудня 20 августа Зимянин не имел представления, в каком виде текст будет обнародован. Верстали номер как обычно, и только после обеда, часа в четыре, когда работа над полосами была почти завершена, позвонили из ЦК: ждите важное сообщение. Видимо, в Кремле что-то еще вызывало сомнения, и в последние минуты, как не раз бывало, мог последовать отбой.

«Ближе к вечеру позвонил Косыгин: “Михаил Васильевич, имейте в виду, мы вводим войска. Это ответ на обращение чехословацких товарищей. Акция будет мирная, никакого огня мы открывать не намерены. Сейчас заявление еще формулируется. Когда работу закончим, дадим знать. Так что ночной выпуск попридержите”».

Обычный вечерний выпуск закончили по графику, к шести вечера, пленки полос передали по фототелеграфу на периферию, а с ночным происходило невероятное. В типографии не помнили такой задержки. На минуты – бывало, но чтобы на часы! Ночная смена линотипистов, верстальщиков, печатников в шапочках-«корабликах», сложенных из газет, нервно курила в коридоре. Они не подозревали, что им предстоит печатать.

Было далеко за полночь, когда Косыгин продиктовал Зимянину текст.

«На протяжении оставшейся ночи мы согласовывали, я вносил свои правки. Хотелось избежать задиристости, придать строкам спокойный, уравновешенный тон, отвечающий серьезности события и нашим добрым намерениям. “Пока не выпускайте номер, – повторял Косыгин, – я дам команду”. Не знаю, звонил ли Косыгин из своего кабинета или из Генерального штаба, где в эту ночь находилось руководство страны. Команда печатать поступила, когда за окнами было уже светло».

По обыкновению официальные материалы готовились в отделах ЦК КПСС, поступали в Телеграфное Агентство Советского Союза (ТАСС) и по ка-

налам связи моментально передавались в редакции советских газет, журналов, радио, телевидения, на ленты мировых информационных агентств. На этот раз источником предпочли сделать первую газету страны. Видимо, хотели максимально ограничить круг людей, причастных к подготовке. Два предыдущих месяца на закрытых партийных собраниях в стране нагнетали безотчетный страх, готовили к восприятию подобной новости. По законам политического жанра внезапность официального сообщения усиливает в обществе мобилизующее агрессивное начало.

На следующий день, работая над номером от 22 августа, редакция получила из ЦК для обнародования «Обращение...» чехословацкой стороны «за помощью к Советскому Союзу и к другим братским социалистическим странам», с призывом ко всем гражданам «предоставить всяческую поддержку военным частям наших союзников». Подпись под Обращением была туманна и в серьезных публикациях весьма редка: «Группа членов ЦК КПЧ, правительства и Национального собрания, которые обратились за помощью к правительствам и коммунистическим партиям братских стран». До сих пор в газетах так подписывали разве что некрологи: «группа товарищей».

Осведомленные в пропагандистских технологиях увидели в публикации документ, подготовленный цековцами, мидовцами, сотрудниками госбезопасности; возможно, с участием советского посольства в Праге. Укреплял в этой догадке стиль. Хотя чехословацкие марксисты, многие из них, получали московское образование и в своих работах часто подражали кремлевским идеологам, все же нюансы лексики, стилевые обороты, тональность письма у них была чуть иной.

Подлинник подписанного Обращения видел Зимянин.

«Группа подписавших была довольно солидная, в ней оказались серьезные люди. Но меня твердо предупредили: Политбюро просит тебя, даже если многие имена тебе знакомы, будут ли эти люди живы или мертвы, никогда никому ни звука. И я остаюсь верным своему слову. Редактор “Правды” был рабочей лошадью в буквальном смысле этого слова, только двуногой, а не четвероногой, в отличие от обычной лошади. И при всем уважении к вам, я никого из подписавших Обращение не назову. С этим и уйду...»

Утром 22 августа, когда Брежнев закончит просматривать свежий номер «Правды» с публикацией «Обращения...», в его кабинете окажется Бовин. «Что-то Брежнева сильно удивило: “Мы не об этом договаривались!” – сказал Брежнев и полез во внутренний карман пиджака. Он вынул письмо-приглашение. Его подписали восемнадцать человек. Должно было быть девятнадцать, но Штроугал отказался»⁵.

...В подмосковном Доме отдыха 77-летний Зимянин стоял под соснами в строгом темном костюме, всегда наготове, вдруг снова пригласят в высокий кабинет. Но он давно не у дел, никто его не зовет. Мысли о временах, когда он был властью востребован, исполнял ее волю, теперь утешали надеждой, что лично он плохого чехам не делал или делал не больше других.

В Иркутске с особой брезгливостью смотрели «Правду» от 22 августа. В редакционной установочной статье «Защита социализма – высший интернациональный долг», занимавшей полосу, среди «врагов чехословацкого народа» снова назывался Иржи Ганзелка. Они с Мирославом Зикмундом оставались любимцами сибиряков, почти всех, кто с ними встречался, симпатию ничто не могло поколебать, и если их участие в Пражской весне не одобряла

власть, был повод задуматься о том, что происходит с властью. Для меня врачующей прививкой против кремлевских домыслов оставалась наша переписка.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (5 июня 1968 г.)

Леня, дорогой, спасибо тебе за очень милую книжку и за все, что тебя заставило написать ее и даже прислать со всеми чувствами и воспоминаниями и надеждами и уверенностью, со всем, что ты написал над своим автографом ⁶.

Я уже писал тебе два раза, что я перед тобой виноват. Не успел прочесть рукопись. Я передал ее Миреку, но у него получилось, как у меня. Ленька, дорогой, ради бога пойми, что это не из-за неуважения или недостаточного интереса. Кое-что ты читал в газетах, но поверь мне, это не труд последних нескольких месяцев. Причем труд не легкий.

Леня, я понимаю, что народ в СССР заботится и что заботы лежат на душе и у тебя, и у всех друзей. Одинаково получается и у нас, потому что, судя по советской печати, в СССР очень даже опасно, мало информации о том, что происходит у нас. Могу тебе сказать только то, что я тот же самый Юра как всегда, что я люблю советский народ как всегда, и именно поэтому, в интересах настоящей дружбы и настоящего социализма все коммунисты и все хорошие, умные и честные люди у нас помогают, поддерживают и защищают это нужное движение. Не беспокойся, все будет в порядке. У нас не только большие шишки, но народ во всех своих решающих слоях за социализм. Это снова показалось на условиях абсолютной свободы слова на публике, в печати, по радио и на ТВ (цензуры нет!).

И лучше всего: приезжай, Леня. По возможности осенью. Мы с Миреком отказались от пути на Цейлон весной, отложили его, я даже в отпуск не еду. Вчера я просил товарищей не выбирать меня в ЦК на съезде, который готовит партия на сентябрь. Но работы будет очень много, и интересной. Лучшим временем считаю октябрь. Но если тебя не устраивает, решай по-своему, лишь бы мы встретились. Обнимаю тебя и всех друзей в Иркутске, и твоих любимых дома. И помни: я не забыл и никогда не забуду! Твой Юра ⁷.

День 20 августа 1968 года у посла Червоненко был расписан по минутам. До вечерней поездки с подполковником Камбуловым к президенту Людвигу Свободе предстоял разговор с Мартином Дзуром, министром обороны Чехословакии. Москва подготовила министра к предстоящим событиям, говорила с ним, но будет уважительней, если о вступлении войск военный министр официально услышит от посла и подтвердит гарантии невмешательства армии. Санкции центра на разговор с министром не было, времени для согласований тоже, посол взял решение на себя. Генерал Дзур возглавил министерство два месяца назад. Он был боевым другом Свободы, с ним вместе прошел войну. Чехословацкие военные, большинство их, сочувствовали реформаторам, но один момент делал для министра ситуацию пикантной: он был предан Дубчеку, братиславскому земляку, и при этом считался «своим» у советского руководства. Случись во власти раздрай – чьи команды он будет выполнять? Это беспокоило Москву.

Как мне расскажет Шелест, доклад Гречко на заседании Политбюро 18 августа продолжался минут сорок. «Маршала спросили, существует ли хотя бы малейшая возможность сопротивления союзным армиям со стороны чехословацких войск. “Разрешите мне прямо сейчас переговорить с Дзуром”, – сказал маршал. На вопрос, а что он чехословацкому министру скажет, маршал ответил: “Я буду говорить как военный с военным. Вот, скажу, товарищ

министр, я вас информирую: такого-то числа будет выброшен на Прагу десант. Если хоть один выстрел последует со стороны чехословацких войск, вы будете висеть на телеграфном столбе». Гречко вышел в соседнюю комнату и по телефону говорил с Дзуром. Не знаю, в каком тоне он разговаривал, но вернулся довольный: «Все в порядке, министр нас понял»⁸.

Существуют еще две версии о том, как подготовили Дзура.

Генерал А.М.Ямщиков, представитель главнокомандующего Объединенных войск стран Варшавского договора в Праге, настаивает, что Дзур ничего не знал до второй половины дня 20 августа, и уверенности, как он будет реагировать, ни у кого не было. Откуда взяться уверенности, когда в рядах чехословацкой армии, говорил Ямщиков, «даю голову на отсечение – был сильно развит антисоветизм. Эти настроения наблюдались в Праге в стенах Военно-политической академии, у начальника разведки генерального штаба, среди персонала военного госпиталя и т.д.»⁹.

Аппарат представителя Объединенных войск в Праге – пять генералов и девушка-секретарь. Ямщиков и его заместитель генерал авиации Антонов жили с семьями на вилле неподалеку от посольства. Ямщикову о предстоящем сообщили по военным каналам, а 20 августа в середине дня позвонил Дзур: «Могу после рабочего дня к вам заехать?» Из пограничных частей Дзур поступали сигналы: союзные войска приближаются к государственной границе, в ряде мест ее перешли. Ямщиков позвонил послу и передал разговор с военным министром.

«Я тоже к вам заеду», – сказал посол.

Дзур появился на вилле Ямщикова «встревоженный, бледный, руки трясутся, губы дрожат. Моя жена вынесла коньяк на подносе, но я ей сделал знак, и она исчезла. Одну минутку, говорю я Дзур, сейчас приедет Червоненко. Стоим у окна, ждем посла. Он приехал в семь вечера. Степан Васильевич, говорю, я должен сделать заявление. И повернулся к Дзур: в целях спасения социализма в Чехословакии принято решение... И сказал, что требовалось, добавив: прошу созвать Военный совет министерства обороны у вас в кабинете или в генштабе. Вы сами понимаете, необходим приказ, чтобы не нашелся кто-то... Что армия не выступит, я не сомневался, но могли найтись авантюристические группировки. А в напряженный момент что стоило кому-то одному открыть огонь... Дзур тут же подошел к телефону и позвонил начальнику генерального штаба: «Я выезжаю в штаб, соберите всех». Было около 9 часов вечера, когда мы распрощались с послом, я сел в машину Дзура и с ним поехал в штаб.

Только приехали, Дзур попросил у меня разрешения доложить президенту. Я говорю – докладывайте. Он при мне известил президента. Говорил по-чешски, но я понимал: войска Варшавского договора перешли границу... Свобода ответил: «Я знаю». В штабе было десять заместителей министра обороны. «Товарищ министр, – говорю я, – товарищи члены военного совета. Прошу по своим линиям принять меры, чтобы не случилось недоразумений». Настроение у всех тяжелое. Дзур по телефону отдает приказ, чтобы никакого сопротивления входящим войскам. Один чехословацкий генерал опустил голову и заплакал».

Я спрашивал Ямщикова, кто информировал президента Свободу.

«Политические деятели, они разговаривали, согласовывали. Мы же не нахалами туда вошли, по их же просьбе. Президент – глава государства, что

вы думаете, с ним не разговаривали? Я не знаю, но думаю, что разговаривали. И товарищ Брежнев, видимо, с ним разговаривал, и еще кто-то. Это же глава государства! Он, может быть, только не знал, что все начинается именно сейчас, в эти минуты. А при мне ему доложил Дзур, все генералы слышали, я свидетель. Доложил сразу же, как только мы вошли в генштаб».

Иная версия исходит от Червоненко. По его словам, собираясь у Ямщикова встречаться с Дзуром, он позвонил в Москву, в ЦК партии. То ли не дозвонился, то ли на каком-то уровне, не самом высоком, идею не поддержали, он поступил, как сам считал нужным. «Вы представляете, какого характера ответственность. В такое время посол едет к чехословацкому министру обороны, не согласовав это ни с Генеральным секретарем ЦК, ни с министром обороны СССР. Это был для меня колоссальный риск. Если бы Дзур повел себя по-предательски, можно было потерять и партбилет, и голову. Встречу решили устроить в резиденции, где жили с семьями два наших военных советника, оба генералы. Это исключало какую-либо провокацию. Мужской чай назначили часов на семь вечера на квартире у генерала Ямщикова. Свобода тогда еще ничего не знал, в этом особенность ситуации. Мы прикинули: если сразу поедем к Свободе, неизвестно, как он, президент и главнокомандующий, прореагирует. Может дать приказ, а может не дать. Уверенность была на 90 процентов. А в Дзуре не сомневались. Близость наших с ним отношений навела на мысль сначала предупредить министра обороны, а потом президента».

– Когда вы ехали к Ямщикову на встречу с Дзуром, вы уже знали о предстоящем вводе войск? – спрашивал я Червоненко.

– Сообщение из Москвы пришло ночью с 19 на 20 августа. Утром мы незаметно, чтобы не вызвать подозрений, отправили в город машины, в разные места, закупать запас продуктов. На случай, если ситуация осложнится и посольство окажется заблокированным. Тогда я попросил Ямщикова ближе к вечеру пригласить к себе домой Дзура, устроить ужин, а я заеду минут на тридцать. Никто не знал, что в этот вечер мы собираемся к Свободе с прилетевшим в Прагу подполковником Камбуловым.

Когда я вошел к Ямщикову, там уже были генерал Антонов и министр Дзур. Я коротко рассказал, что ожидается этой ночью. Дзур побелел как стена. Министром внутренних дел был Йозеф Павел, сторонник Дубчека, потому для Дзура ситуация была непростой. Пришлось его успокаивать. Я все понимаю, сказал он, но выполнять буду только волю главнокомандующего, то есть Свободы. Я всех оставил за столом и поехал в посольство за Камбуловым.

Из посольства позвонил Брежневу. Доложил о встрече с Дзуром: хотите, ругайте или как сочтете нужным, говорил я, но ситуация так складывалась, оставался небольшой лимит времени, и если бы после встречи с президентом на месте не оказалось министра обороны, если бы мы его не нашли, упреждающий приказ чехословацким войскам мог запоздать. И поскольку указание было только о встрече с президентом, разговор с министром мы были вынуждены взять на себя. А сейчас едем с Камбуловым к президенту. Слышу, Брежнев пересказывает наш разговор стоявшим рядом. Судя по голосам, там были Гречко и, видимо, другие члены Политбюро. Брежнев сказал, что я поступил правильно. Долго разговаривать не было времени.

– Когда вы ехали в Град, Дзур уже успел предупредить президента?

– Дзур не мог этого сделать. Мы договорились, что первым поговорю с президентом я. Вдруг президент отказался бы дать ему указание не выпускать войска из казарм...¹⁰

Расхождения в воспоминаниях Червоненко и Ямщикова объяснимы, если принять во внимание, что они записаны после событий через два десятка лет. Занимает вопрос не о том, у кого крепче память, а почему столько времени спустя, когда другими стали Чехия и Россия, и вторжение союзных войск осуждено цивилизованным миром, и участие в нем вряд ли ставит себе в заслугу совестливый человек, две видные фигуры советской элиты 1960-х годов (дипломатической и военной) стараются, может быть, неосознанно, укрупнить в них свою роль. Возможны разные толкования. При всей неприглядности экспансии у многих военных, дипломатов, разведчиков не было в жизни события значительнее. Их современники могли сказать: «Я строил Братскую ГЭС!», «Я дрейфовал на полярной станции “Северный полюс!”», «Я искал в Сибири нефть и газ!» А что у этих, кроме танков в Праге? Складная или нескладная, но такой была их единственная, бесценная, востребованная родиной жизнь.

Людвик Свобода и его жена Ирэна жили на территории Пражского Града. Там в IX веке над Влтавой построили укрепленную крепость Пршемысла, вокруг селились люди, возникал город с узкими мощеными улочками, до сих пор хранящими на домах древние гербы. Свободу не привлекали роскошные апартаменты королевского дворца, в двух шагах от Кафедрального собора Святого Витта. Уютнее здесь, в саду, в двухэтажном домике, построенном в 1930-х годах для Эдуарда Бенеша. Внизу гостиная: покрытый зеленой скатертью столик с цветами, пианино, полки с книгами, мягкие кресла, красивые французские окна и стеклянная дверь в сад. Президент здесь просматривал газеты и играл с внучкой Лодей, дочерью Зое и Милана Клусаковых; молодые часто оставляли девочку у стариков. Сын Людвика и Ирэны Мирослав во времена протектората был казнен оккупантами.

Потом Зое мне расскажет:

«Осенью 1941 года в моравские леса сбросили подготовленных в СССР парашютистов. Четверо приземлились недалеко от города, а их радиопередатчик упал в парк, в двух шагах от отделения гестапо. Передатчик нужно было найти и унести. Мама тогда участвовала в антифашистском движении, выполняла работу, порученную отцом перед тем, как он ушел через Польшу в СССР. Ночью в сопровождении полицейского врача, тоже подпольщика, мама отправилась в парк. Они нашли передатчик; мама обернула парашют вокруг тела под пальто, аппарат потащили с собой, и первый сеанс связи с центром был из нашего дома. Мама втянула в подпольную работу всех родственников. Скоро начались провалы и аресты. Стали хватать мамину родню – ее мать, отца, двух братьев, много других людей. Маме, моему брату Мирославу и мне удалось бежать. Но Мирек вернулся предупредить оставшихся. Немцы его схватили, пытали, хотели узнать, где мама: все арестованные показывали на маму как на организатора группы. Брат молчал. Тогда многих казнили, а мамину маму, мою бабушку Анешку, в концлагере Равенсбрюк утервили в газовой камере»¹¹.

Когда Зимянин в 1960 году прибыл в Прагу, генерала Свободу, неугодного чехословацкому руководству, держали в тени, собирались направить

бухгалтером в сельский кооператив. Причину видели в независимости его взглядов. При возвращении Зимянина из Праги в Москву Хрущев спросил, почему власти смотрят на генерала как на врага. Потому, отвечал посол, что сегодня чехословацкая власть – это те, кто во время войны были в подполье или сидели в концлагерях, а он единственный в их среде национальный герой, как бельмо на глазу. «Слушай, – говорит Хрущев, – на ближайшем приеме ты посади его в президиум рядом с Новотным и посмотри, что из этого выйдет». Я так и сделал на приеме в честь очередной годовщины Октября. Когда Свобода приехал в посольство, я пригласил его в небольшую комнату, где до начала торжеств собираются те, кому сидеть в президиуме собрания. И говорю Новотному: «Вы не будете возражать, если я посажу генерала Свободу рядом с вами?» – «Ну что вы...» – смутился Новотный. А потом сказал мне: «Все-таки ты должен был меня предупредить!»¹²

Даже став президентом республики (30 марта 1968 года)¹³, Свобода не чувствовал себя фигурой, равной с другими лидерами страны. Он не так переживал бы отчужденность, если бы с давних пор не ощущал сдержанность высших советских чинов. Вряд ли у них был повод усомниться в его надежности, но им, видимо, мешало что-то мутное, до конца не проясненное. «Даже Удальцов, в чехословацком корпусе офицер связи между армией и органами безопасности, сам из этих органов, до избрания отца президентом всегда находил дорогу к чехословацким деятелям, но не к отцу. Когда возникли проблемы с Новотным, отец хотел встретиться с послом Червоненко, изложить свое видение ситуации. Никто не находил времени его выслушать. Отец расценивал это не как отношение лично к нему, а как их недостаточный профессионализм»¹⁴.

Если кто-то и понимал подоплеку настороженности к Свободе, то это мог быть только Камбулов. Доверенное лицо госбезопасности, специально приставленное к Свободе, неотвязный спутник его предвоенных и военных лет, знакомый с его секретным досье, возможно, неизвестным самому генералу, он мог владеть информацией, действительной или мнимой, генералу неприятной, как мина замедленного действия, когда не знаешь, кому и в какой момент понадобится, чтобы она взорвалась.

Ирэна не вмешивалась в дела мужа, а неистовой его защитницей была Зое, дочь генерала, профессор Высшей экономической школы. Ей хотелось, чтобы люди видели в отце не только главу государства, стоящего над политической борьбой символом общественного единства, но знали бы о его демократическом настрое и сочувствии реформаторам. Президент был ровен с представителями разных сил в партии, ничем не выдавал пристрастий.

Как рассказывает Ладислав Новак, начальник канцелярии президента, «как-то в начале июля 1968 года в Град пришел Червоненко, в те дни он часто посещал Свободу. Не помню, по какому поводу он появился на этот раз, но пока мы с ним ждали президента, посол сказал: “Товарищ Новак, хочу проинформировать, что в Москве очень довольны выступлениями Свободы. Он всегда говорит о чехословацко-советском сотрудничестве. Мы знаем, как выступления готовятся, и мы очень благодарны администрации президента”. А за пару дней до этого мы с президентом и его дочерью были на моравско-словацкой границе, у горы Яворина, там проходили дружеские встречи соседей. Свобода выступал с речью. И когда возвращались из Тренчина в Прагу, в самолете мы с Зое оказались рядом, она упрекала меня: “Почему вы готовите деду такие беззубые выступления? Посмотрите на речи Дубчека,

Черника, Смрковского. Почему они выглядят прогрессивнее президента республики?” Я говорю: мы проводим линию ЦК партии и Дубчека – президент должен быть фигурой общенационального масштаба, способной объединять народ. И если, говорю, гипотетически допустить разрыв наших отношений с СССР по партийной или государственной линии, то президент остается единственным, кто мог бы предложить приемлемые для обеих сторон решения. Свобода сидел рядом у иллюминатора, делая вид, что не слышит»¹⁵.

Свобода был скуп на слова, говорил почти бесстрастно, от него не слышали крепких выражений, и если он повысит голос или слегка стукнет ладонью по столу, это выдавало крайнее волнение. Иногда он играл, умышленно нажимая на важные для него слова, заставляя к себе прислушаться. Удивляться можно было не его обыкновению оставаться в тени, а скорее, тому, как при общественном противостоянии иногда, неожиданно для всех, он вдруг являл твердый генеральский характер. «Слыша от своих в Чиерне, в кулуарах встречи, о возможном применении силы, папа пресекал эти разговоры. Армии стран Варшавского договора, говорил он, созданы для обороны против внешней агрессии. Они не могут и никогда не будут брошены на решение внутренних политических задач»¹⁶.

Президент скорее пустит пулю в лоб, нежели усомнится в порядочности Кремля.

Между тем, заслуженный боевой генерал, герой двух братских стран ощущал – или это ему казалось? – постоянную к нему настороженность в высших партийных кругах. Словно тянулся за ним легкий шлейф недоверия, пусть уже никто не мог вспомнить, откуда. Он страдал, когда в коридорах власти его как президента не замечали, не вовлекали в важные дела. Как расскажет потом Зое Клусакова, «ни наши товарищи, ни советские папу (мы его звали дедой, дедушкой) всерьез не принимали. Всех устраивало, что на посту государства теперь человек, который никому не создает проблем и можно не считаться с ним как с партнером, способным участвовать в решении политических задач»¹⁷.

Нельзя поручиться, все ли знали Брежнев и Ивашутин о прошлом Свободы, но несомненно, что его привязанность к сотруднику КГБ Камбулову им была известна, и с проницательностью опытных психологов, все просчитав, они послали своего человека находиться рядом с чехословацким президентом в роковую ночь, подстраховать изоляцию в казармах подвластной ему армии, которая могла наделать беды.

Вечером 20 августа посол Червоненко и подполковник Камбулов на посольской машине ехали в Град. По воспоминаниям Зое, в тот вечер она, ее дочь Лодя и муж Милан ужинали с отцом и матерью в резиденции; гостей не было, ужин прошел спокойно. Часов в восемь вечера они попрощались и, оставив дочь у родителей, пошли к себе домой на улицу Ковпакову, от Града четверть часа ходьбы. По дороге говорили о погоде в Татрах; в горах отдыхал с приятелем их сын (на семь лет младше Лоди). Не пришли бы ранние заморозки. Других предчувствий не было, только еще обеспокоенность внезапным исчезновением Дубчека: два дня его ищут повсюду. Как окажется, снимая нервные перегрузки, Дубчек бродил в словацких лесах с ружьем. Накануне к президенту приезжал Червоненко, знакомил с адресованным Дубчеку последним письмом Брежнева (от 17 августа). Братиславские договоренно-

сти, напоминала Москва, до сих пор не выполнены; письмо было короче и сдержаннее предыдущих, но ничего чрезвычайного не содержало.

Дома Зое успела раздеться, приготовить на кухне чай. Зазвонил телефон. На проводе мама: «Сейчас же возвращайтесь». Мама говорила по-русски. Зое поняла: что-то случилось. «Поторопитесь, – добавила мама, – через несколько минут у нас будут гости». Переход на русский подсказывал, какие гости подразумеваются. Что-то серьезное. Зое и Милан быстро одеваются и идут обратно. Было часов десять вечера. Они миновали Прашный мост, подошли к ажурным чугунным воротам Града. В первом внутреннем дворе темно. По словам охранника, недавно вырубился свет, причина неизвестна, но включен резервный агрегат, домик президента освещается. У входа в домик машина типа «Мерседес», на таких ездили по Праге советские дипломаты. Клусаки поднялись по внутренней лестнице наверх. «Внизу Червоненко, – сказала мама. – Наверно, что-то случилось». Милан спустился вниз, Зое задержалась с мамой. Вдруг снизу звонит отец: «Зое, спустись тоже».

Червоненко бывал у Свободы чаще других иностранных послов, но в первый раз приехал в столь поздний час, и не один. Советского посла знала охрана Града, помощники президента, в любое время пропускали беспрепятственно. «Людвик Иванович, – улыбался с порога Червоненко, пожимая руку Свободы, – со мной московский гость, ваш старый знакомый...»

Он пропустил вперед Камбулова.

Друзья обнялись.

Когда Зое спустилась, в гостиной стояли отец, посол и человек в гражданском. На столе, против обыкновения, ничего не было. Даже стакана воды. Президент не предлагал сесть. Он, как всегда, был в строгом костюме и при галстукке. Без галстука отец не выходил из дома. Зое поняла, у них серьезное дело. «Опустив глаза, я ахнула: на ногах отца домашние тапочки! Галстук и тапочки! Но было не до смеха: отец, видимо, торопился встретить посла, забыл сменить тапочки на туфли. Эти тапочки при галстукке остались в моей памяти как знак абсурда, в который мы в эту ночь погрузились. “Войска стран Варшавского договора сейчас вступают в Чехословакию”, – говорил отец, кивая на гостей и расчесывая пятерней седину. Мне знаком был этот жест, он выдавал крайнюю степень волнения. Я поздоровалась с послом и вопросительно посмотрела на другого гостя. Его лицо показалось знакомым. “А это Петр Иванович Камбулов”, – сказал Червоненко. Я тут же вспомнила: советский офицер безопасности. Он и его напарник Мишин во время войны были прикреплены к отцу и не отходили от него. Я привыкла видеть Камбулова и Мишина вместе. “Здравствуйте, – повернулась я к нему. – Вы здесь один?” Камбулов удивился: “Что значит, один?” – “Вы всегда ходили вдвоем, Камбулов и Мишин” – “Вы помните?” – обрадовался он. “Как не помнить 1945-й год, наше освобождение. Это не забывается”».

Оставался час до момента, когда небо над Прагой разорвет гул военнотранспортных самолетов с десантниками на борту, и с пограничных застав в эфир полетят сообщения о чужих армиях, перешедших чехословацкую границу. Посол сказал официальные слова и ждал реакцию. Президент переводил взгляд с Камбулова на посла. «Василий Степанович, – произнес президент, – я предполагал, что этим кончится».

Свобода лучше других понимал, с кем имеет дело, и при натянутости отношений в те дни между Москвой и Прагой, томимый предчувствиями,

просил по своим каналам, почти умолял советское руководство: «ни при каких условиях не вводить в дело войска; что угодно, только не войска; интервенция перечеркнет симпатии нашего народа к России»¹⁸.

Его не слышали.

Время задержаться на ошибке, допущенной автором при подготовке русского (2008) издания этой книги. Смущала давняя непонятная робость Людвика Свободы перед Камбуловым. Была ли у Свободы причина чего-то опасаться? В разговорах Камбулов прямо об этом не говорил – кто я ему? – как умалчивал, очевидно, и о других ему известных тайнах, но давал понять, что его уже «ничем не удивишь». Оставалась надежда разговорить его со временем. Последующие наши встречи по разным причинам откладывались, а 9 декабря 1989 Петр Иванович Камбулов умер.

Какую тайну о Людвике Свободе восьмидесятилетний чекист унес с собой? Догадка забрезжила, когда в книге «Генерал Дитерихс» (Москва, издательство «Посев», 2004) бросилось в глаза имя поручика Свободы, в 1919 году он три месяца был адъютантом генерала-монархиста М. Дитерихса, потомка древнего чешского рода, ярого врага русской революции. Московский историк В.Ж.Цветков (составитель и автор книги) разыскал выросшего в семье Дитерихсов их приемного сына Андрея Анатольевича Васильева; наследник и хранитель семейного архива Дитерихсов, скитаясь после их смерти по свету, обосновался на одном из островов у берегов Дании. Завязалась переписка, Васильев прислал историку в Москву часть архивных документов, с ними и фотографию времен гражданской войны: в штабе Западного фронта командующий фронтом чешский генерал Я. Сыровы, начальник его штаба генерал М. Дитерихс и его адъютант поручик Свобода (без инициалов). «Нынешний президент Чехословакии», – комментировал в письме приемный сын Дитерихса.

Слегка возбужденное воображение историка, а с ним и мое, когда мы встретились в «Посеве», помогало находить на старом отпечатке узнаваемые черты. С согласия историка я использовал фото в московском издании этих своих очерков. И послал книгу в Прагу Зое Клусаковой. Ответ привел меня в замешательство. «Прошу Вас, сравните внимательно отца, его орлиный нос, ноздри шире, чем у адъютанта, лицевые кости шире посажены, узкие губы, уши не прилеплены к голове. У отца были темные густые волосы, другая форма черепа, посадка головы...» – писала пани Зое. Ошибиться может экспертиза, но не глаза любящей дочери.

Потом выяснилось: у 672-х легионеров была фамилия Свобода, трое из них – Людвики, к тому же двое из Южной Моравии. По словам пани Зое, в телефонном справочнике Праги более двух тысяч абонентов по фамилии Свобода: «Когда отец стал президентом, разные люди присылали семейные фотографии, уверенные, что на снимках будущий президент».

Оставался вопрос о Свободе, адъютанте Дитерихса. Приблизиться к разгадке помог Александр Александрович Муратов, в прошлом доцент Киевского медицинского института, теперь живущий в Праге, историк киевских и волынских чехов. В февральском номере газеты «Čechoslovan» (1918) ему попались имена редакторов издания, один из трех – Виктор Свобода. Вполне вероятно, что после ликвидации газеты в 1918 году, писал мне Муратов, именно этот Свобода, политически активный и пишущий, был в штабе гене-

рала Дитерихса.

Выходит, у президента Людвика Свободы, не было этой причины опастаться когда-то приставленного к нему советского офицера госбезопасности. И если в августе 1968-го Брежнев с Ивашутиным именно Камбулову, прошедшему со Свободой дорогами войны, приказали быть в роковую ночь рядом с президентом, то в уме они держали, можно думать, их обнадеживающую мысль: иностранцев, ощущавших хотя бы призрачную вину перед Советами, тем паче когда-то боровшихся против Советов с оружием в руках, не покидал страх оказаться рано или поздно в карательных жерновах Кремля. Само присутствие в Чехословакии, в резиденции главы государства в ночь ввода войск подполковника КГБ Камбулова, давно близкого к Людвику Свободы, задумывалось, можно полагать, на случай хотя бы минутных колебаний президента.

Время (пражское) шло к полуночи, когда президент в присутствии Червоненко и Камбулова позвонил министру Дзуру и начальнику генерального штаба Русову, обоим приказал обеспечить полную лояльность войск к происходящему. Старый воин, не утративший память, он понимал, какая сила вторгается, и делал единственное, что был должен. Этим он спасал двести тысяч солдатских жизней, молодую и сильную кровь нации. Потом найдутся гордецы, которые примут его дальновидность за предательство, подобное решению Гахи в 1939 году уступить немцам без выстрелов Чехословакию, что от нее оставалось. Неразумные станут бросать в него камни, но президент принял на себя и этот крест. Как будет вспоминать Зое, отец «не желал ввергать народ в сопротивление – народу нужно жить»¹⁹.

Доверие к советскому государству, которое помогло ему высоко подняться, и без того подсказало бы президенту единственно мудрое в ту ночь решение. А офицер советской разведки своим присутствием только выдавал еще тлеющие в кремлевских головах на его счет сомнения. Как потом мне скажет Камбулов, президент долго смотрел ему в глаза. Была минута, когда показалось, что он колеблется, и Камбулов напрягся. Президент переводил взгляд с посла на подполковника и обратно. «Я только сомневаюсь, Петр Иванович, необходимо ли участие в этом деле немецких войск...» – сказал Свобода. У Камбулова отлегло от сердца. А президент продолжал: «Думаю, наши люди не совсем правильно это поймут. У всех в памяти период оккупации Чехословакии». Камбулов удивился: «Да ведь это, Людвик Иванович, уже другие немцы!» «Я понимаю, – ответил Свобода, – но вот как народу это объяснить?» Червоненко был очень доволен нашим разговором»²⁰.

Свобода решил тут же связаться с руководством партии.

«Насколько мне известно, – заметил Червоненко, – сейчас идет заседание президиума ЦК, первые лица там». Президент сказал, что отправится туда незамедлительно, выскажет свои соображения, «чтобы глупостей не наделали»²¹.

Гости попрощались.

У Камбулова было отличное настроение. До конца дней у него оставалась уверенность, что той ночью в Граде он отвел от Европы войну.

Вернувшись в посольство, Червоненко прошел к себе в кабинет и по ВЧ снова позвонил в Москву, в ЦК КПСС. Брежнева на месте не оказалось. По

словам помощника Брежнева, все руководство в Генеральном штабе. Посол набрал номер Генштаба. Трубку снял министр обороны Гречко. Видимо, он не отходил от аппарата. Услышав Прагу, маршал тут же передал трубку Брежневу. Посол доложил о встрече со Свободой в присутствии Камбулова, пересказал ночные приказы президента Дзуру и Русову. И добавил в духе царившей в те дни в посольстве военной атмосферы: «Задание выполнено, Леонид Ильич!» Брежнев поблагодарил. Как потом расскажет послу маршал Гречко, после телефонного разговора Брежнев ему скажет: «За одно это Червоненко надо дать два ордена Ленина!»²²

Когда гости уйдут, Ирэна вздохнет: «Ну, если был Камбулов, пора собирать вещи». НКВД она боялась. Людвик Иванович будет долго, очень долго зашнуровывать туфли. А потом ответит: «Не спеши, там видно будет».

И у порога обернется: «Сделать из Праги Будапешт я им не дам!»²³

Около полуночи в зал заседания президиума ЦК КПЧ вошел президент Свобода, всем кивнул и сел рядом с Дубчеком. Обстановка была тягостная. «Может, это ты пригласил войска?» – повернулся к президенту Франтишек Кригель, председатель Национального фронта. Кригель только что вышел из оцепенения, в котором пребывали все за длинным столом. Свобода вскинул обе руки над седой головой: «Нет, у меня руки чистые!»

Прошла вечность, раскололся мир, надвое разломилась история. Новая эра началась несколько минут назад, когда Олдржиха Черника, председателя правительства, попросили к аппарату правительственной связи. На проводе был Дзур:

«Войска Советского Союза, Венгрии, Польши, Болгарии, ГДР переходят границу и движутся в глубь страны».

Из воспоминаний Олдржиха Черника:

«Я был в состоянии шока, отказывался верить. Просто потерял дар речи. Становилось бессмысленным дело всей моей жизни. Как я потом узнал, два летних месяца 1968 года в генштабе министерства обороны Чехословакии тайно находился генерал Огарков, один из разработчиков плана ввода войск. Никто не имел права открывать дверь в его кабинет, даже советские офицеры. Возможно, только у Дзура была привилегия заходить к нему. Попросив министра оставаться на связи, я вернулся в зал, сообщил об услышанном Дубчеку и, получив согласие на ответ, вернулся к телефону. “Передайте по армии приказ, сказал я Дзуру, – никакого сопротивления!”»²⁴.

В зале все пришло в движение, люди вскакивали с мест, что-то выкрикивали друг другу. Члены высшего руководства, привыкшие повелевать, видеть свои портреты над головами, вдруг ощутили эфемерность недавнего собственного величия. «Всего за несколько минут мир стал неузнаваемым», – напишет потом З.Млынарж²⁵.

Черник обратил внимание на лица Биляка, Индры, Кольдера. Они смотрели на него выжидательно, словно по известному им сценарию он должен был что-то добавить. Ему в голову пришел разговор с Брежневым в мае 1968 года в Москве. «“Олдржих, – сказал тогда Брежнев, – если так пойдут дела, вы можете очень скоро потерять пост премьер-министра”. “Знаете, – отвечал на это Черник, – я вступал в партию не для того, чтобы возглавлять правительство. А главное, я убежден, что чехословацкий народ действительно заслу-

живает лучшего премьер-министра, чем я". Брежнев обиделся и отошел. Видимо, принял эти слова на свой счет»²⁶.

Это было три с половиной месяца назад – в другую эпоху. А в эту ночь «все стояли, переходили с места на место, никто не сидел за столом. Дубчек держался за голову: “Что они наделали! Почему так поступили с нами, со мной! Они же знают нашу верность социализму!” Мы кричали друг на друга, не понимая, как это могло случиться и кто их пригласил. Никто в этом не сознавался. Дубчек дал указание чтобы на заседание немедленно пригласили президента Свободу».

Тем временем Млынаржу, Шпачеку, Цисаржу поручили подготовить обращение руководства партии к чехословацкому народу. По наблюдениям Черника, Биляк, Индра, их сторонники постоянно заходили в расположенные рядом комнаты звонить. Им надо было удостовериться в переходе города, первым делом средств массовой информации, под контроль советских войск и сотрудничающей с ними группы чешских функционеров. В зале шли споры вокруг текста обращения. В разгар споров и появился президент Свобода.

Перед тем, как обсуждать обращение, Дубчек попросил каждого ответить, не по его ли инициативе в стране чужие армии. Ни один не признался. После этого в текст обращения вписали фразу о том, что войска вошли без согласия законных органов власти. Разгорелся спор вокруг того, чтобы случившееся признать актом, «попирающим фундаментальные нормы международного права». И хотя промосковская группа настаивала считать ввод армий формой братской помощи, большинство (7:4) согласилось с первой формулировкой. Обращение поддержал и Свобода, формально права голоса не имевший. Шла первая проба сил в обстановке фактической оккупации, до конца еще не осознанной. Противниками оказались когда-то личные друзья (Дубчек и Биляк, например), за которыми теперь стояли одна против другой бессилие и сила: 15-миллионный чехословацкий народ и Советская армия.

Потом Олдржих Черник мне расскажет:

«В первом часу ночи мы стали расходиться по рабочим местам: собирать правительство, парламент, членов ЦК партии. Когда я направлялся к зданию правительства, на улицах были толпы людей, возбужденных нашим обращением, уже прозвучавшим по радио. К зданию правительства подъезжали министры и работники аппарата. Минут через сорок сотрудники чехословацкой службы безопасности начали регулярно передавать в мой кабинет и в ЦК партии информацию о продвижении танковых колонн. На такой-то улице... на такой-то... движутся к зданию правительства.

В домах зажигались огни, люди смотрели в окна, не понимая, что происходит, лихорадочно набирали номера телефонов органов власти. На улицах танки! Со второго этажа из окна кабинета я видел, как группа танков и бронетранспортеров разворачивалась у подъезда нашего здания. Минут двадцать было тихо. Видимо, командир части ждал указаний. Звоню Дубчеку: что происходит? Наконец, в мою приемную поднялся советский полковник в сопровождении майора и лейтенанта, все в полевой форме. Не поздоровались, не представились, не предъявили документов. Как будто пришли к врагу: “Мы представители Советской армии!” В приемной были мой заместитель Штроугал, министр внешней торговли Гамоуз, министр планирования Гула, министр образования Кадлец, другие сотрудники. Их увели в подвал, а меня попросили задержаться. “Мы пришли помочь вам покончить с контрре-

волюцией”, – сказал полковник. “Я должен поговорить с президентом республики”, – ответил я и потянулся к телефону. Лейтенант резко выдернул шнур. Телефонные шнуры оказались выдернуты у всех телефонных аппаратов в приемной. В том числе у аппарата ВЧ, по которому мы связывались с Москвой.

Меня тоже препроводили в подвал. Там сорок-пятьдесят человек. “Зачем нас сюда привели?”, По какому праву?” Женщины плачут. Наверху советские солдаты с автоматами. Штроугал резко повернулся к офицерам: “Вы хотя бы знаете, кого вы взяли в плен? Это премьер-министр Чехословацкой Республики и член президиума ЦК КПЧ!” Офицеры поднялись наверх, минут десять их не было. На меня сыпятся вопросы. “Что случилось?”, “Вы знали об этом?”, “Кто их пригласил?” Я пересказываю обращение руководства к народу и уверяю: это большое недоразумение.

Скоро офицеры возвращаются и ведут меня обратно в мой кабинет. В течение часа туда приводят из подвала всех членов правительства. И секретаря приемной. Часы показывают около трех часов ночи. Военные исчезают, мы сидим в кабинете, отгороженные от внешнего мира. Ничего не остается, как строить догадки. Тем временем у здания собираются другие министры, но солдаты никого не пропускают, хотя у всех документы.

Часа в три ночи разрешают пройти делегации парламента. Ее привела вице-председатель Национального собрания Мария Микова. Требуется ответить ей, что происходит: здание парламента тоже занято советскими военными, связи нет, депутаты шли по городу пешком. Направились было к ЦК КПЧ, но туда солдаты их не пустили, и вот они здесь. Мы говорим часов до четырех. Не успевают они уйти, как в кабинет входит знакомый мне генерал Козлов, советник чехословацкого министерства внутренних дел, приятный человек с европейским складом мышления, неплохо знающий чехословацкие проблемы. Приглашает в коридор для разговора наедине. Мы садимся за маленький столик. Он протягивает записку от Драгомира Кольдера, члена президиума ЦК КПЧ, моего земляка из Остравы. Когда-то мы оба были там секретарями обкома партии. Кольдер просит немедленно явиться в советское посольство для важного разговора. Написано рукою Кольдера, а подписи две – Кольдер и Биляк. Отвечаю на обратной стороне записки: “Я не намерен присутствовать ни на каких переговорах в советском посольстве без участия первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека”. И протягиваю Козлову. Он пробегает глазами и в упор смотрит на меня: “Вы подписались под своей судьбой”. “Что поделаешь, – отвечаю, – это мое убеждение”.

Попрощавшись с Козловым, возвращаюсь в кабинет и рассказываю всем, кто там был, что произошло. Мое решение поддерживают. “Ты вел себя честно”, – говорит Штроугал.

За окнами светает.

Мы сидим в кабинете, ждем свою судьбу».

Некоторое время спустя к зданию правительства подъехал бронетранспортер, появились военные. По мнению Черника, сотрудники советской безопасности. Им надлежало взять премьер-министра. К нему вошли два подполковника и капитан, предложили следовать за ними.

«Когда они вошли в мой кабинет, у меня сидели сотрудники аппарата.

Офицеры никого не трогали, они пришли за мной. Попросили не противиться: “Было бы недостойным председателя правительства, если бы вокруг его отъезда в городе возникла какая-либо суматоха”. Мне позволили со всеми проститься. Я молча обнялся с каждым, у людей на глазах были слезы. У входа в здание бронетранспортер. Я забрался внутрь, за мной офицеры, и машина тронулась. Люк был приоткрыт, но определить местонахождение можно было в узкое окошко перед водителем. Мы кружили по городу, я ориентировался с трудом и понял, где находимся, когда бронетранспортер въехал на площадь с памятником Ленину. Это район Дейвице, мы несемся в сторону аэродрома. В городе уже светло. Люди с балконов смотрят вниз. “Мне душно, я задыхаюсь”, – говорю подполковнику и прошу чуть приоткрыть люк. Вдруг люди узнают меня и сообщают другим, кого и где видели.

Бронетранспортер громыхает по улице Ленина. Я приподнимаюсь, делаю вид, что хочу подышать, и приблизив голову к проему в люке, высунувшись, насколько можно, кричу: “Это я!” и слышу, как на балконе голоса: “Это Черник! Везут Черника!” Военные стаскивают меня вниз. Я доволен, было бы обидно исчезнуть бесследно.

Бронетранспортер прошел ворота аэродрома и, сбавив скорость, покатил к концу летного поля. Было около семи или восьми часов утра. Погода пасмурная, накрапывает дождь. Мне разрешают выйти, я прогуливаюсь вокруг бронетранспортера. Это продолжается весь день, до семи вечера. Есть и пить не предлагают, я и не прошу. Под наблюдением двух офицеров, майора и лейтенанта, хожу взад-вперед. Пытаюсь с офицерами заговорить: “Зачем вы к нам пришли? Зачем меня сюда привезли? Вы даже не знаете, кто я”. Отвечают, что это не их дело и просят об этом с ними не говорить. Некоторое время спустя все же разговор завязывается. Им интересно, так кто же я, есть ли у меня семья, где учился. Пока мы прогуливаемся, на другом конце поля садятся и взлетают военные самолеты. У одного из ангаров замечаю группу офицеров в форме восточногерманской армии. В Москве я скажу об этом Брежневу и Гречко, упрекая их, как они позволили, чтобы в Праге оказались немецкие военные. Брежнев будет уверять, что это неправда, немецких военных там быть не могло. Потом станет известно, что немецкие воинские части будут остановлены на границе, в страну войдут штабные офицеры и обслуживающий их персонал.

Наконец, стемнело. К нам подъехала черная “Волга”, в ней тоже советские офицеры. Меня посадили на заднее сиденье между ними. Впереди рядом с водителем устроился майор. Машина понеслась по летному полю и остановилась под крылом самолета. Это был военный Ил-18. Меня попросили выйти из машины и по дюралевой лестнице, довольно крутой, подняться на борт. Тут произошла заминка. Я все время думал, как вырваться из этого плена. Нельзя было исключить любого поворота событий, но что бы ни случилось, пусть происходит на чешской земле. И когда, ничего не объясняя, мне предложили войти в самолет, я представил, что больше не увижу свою родину. Мысль об этом приходила еще на краю поля, когда прогуливался у бронетранспортера. Там были предположения, совсем не те чувства, какие приходят, когда наступает момент действия. Я отказался подниматься в самолет.

Офицеры не ожидали сопротивления.

Меня стали поднимать силой, заламывали руки, боролись со мной ми-

нут десять. Я пришел в неистовство и кричал, что я пока на земле Чехословакии, председатель правительства страны, а они пришли, как враги, как оккупанты, оскорбили наш народ. “Тише, тише, не кричите, пожалуйста...” В этот момент из самолета спустился по трапу советский генерал; судя по знакам отличия, генерал авиации. Офицеры отпустили меня. Генерал сказал: “Никто не собирается вывозить вас в Советский Союз как в тюрьму. Вы будете доставлены на переговоры. Вы должны в них участвовать вместе с вашими друзьями, которые уже на борту. Не надо осложнять ситуацию”.

Если это так, сказал я, пусть мои друзья выйдут из самолета, я хочу их видеть и спросить, куда их собираются увозить, и если они меня убедят, что я должен быть с ними, я поднимусь. “Мы не можем это сделать, – сказал генерал, – вы зря драматизируете ситуацию”. Тогда я ответил, что это они, советские военные, осложняют ситуацию: пришли на нашу землю и предлагают мне оставить родину. “Вы едете на переговоры с Брежневым, Косыгиным, Подгорным. Я генерал Советской армии и гарантирую, что ни один волос не упадет с вашей головы”. Вокруг нас уже толпились военные. Силы оставляли меня, сказавшись, видимо, что ночь не спал и весь день не ел. Поверив генералу, я сам, без чужой помощи, поднялся на борт. Когда вошел, увидел Дубчека, Шпачека, Смрковского, Шимона... У всех были слезы на глазах. Рядом с каждым, по обе стороны, сидели советские офицеры... Разговаривать между собой не разрешалось. Когда я вошел, Дубчек не удержался: “И ты здесь!”

Со мной тоже сели рядом капитан и лейтенант. Весь полет прошел молча. Я оказался в хвостовой части самолета, мимо меня другие проходили в туалет.

Через полчаса самолет совершил посадку в Легнице, на польской территории, где советская военная база, штаб армий Варшавского договора. Нам разрешили спуститься на летное поле. Рядом аэродромные службы. В сопровождении солдат можно было прогуляться до туалета. Там я встретился с Дубчеком, с ним двое солдат. Мы перебросились парой слов о том, что с нашей страной происходит что-то страшное. “Я думаю, это конец”, – сказал Дубчек. Он ощущал происходящее острее других, поскольку жил в Советском Союзе и ему понятнее было, с чем мы имеем дело. Тем не менее я не верил, не хотелось верить, что это конец.

Теперь нас никто не принуждал, мы сами вошли в самолет и полетели дальше. Не помню, сколько времени были в воздухе, но когда приземлились и вышли, оказались снова на летном поле, нас поджидали легковые машины. Стали рассаживать по местам, снова возникла суматоха. Я не хотел быть отдельно от Дубчека, мы шли вместе, а военные попытались оторвать нас друг от друга, увести в разные стороны. Это были офицеры не армии, а безопасности, все в штатском, при галстуках. На вид от тридцати до сорока лет. Они не решались применять силу. Возможно, на них произвел впечатление крик Дубчека: “Что вы делаете, я первый секретарь ЦК партии Чехословакии, со мной рядом премьер-министр правительства. Что вы себе позволяете!” Чекистам непонятно было, как себя вести. Похоже, им в первый раз приходится обращаться с руководителями партии и правительства другой страны. Ждали делегацию, которую надо куда-то сопровождать, а из самолета сошли люди, практически арестованные. Чекисты не хотели драки. Напротив, проявляли к нам почтение и просили сесть в указанные каждому машины; они выполняли приказ.

Мы смирились. В каждой машине был шофер, с ним рядом офицер, а два других офицера устраивались на заднем сиденье по обе стороны от "гостя". Была ночь; по пути я спросил, куда мы едем. Ответили: недалеко. Мы проехали Мукачево и стали подниматься в карпатские горы. Густой лес, ограда, дачный поселок. Машина остановилась. Меня проводили в один из небольших двухэтажных домиков. На первом этаже гостиная и спальня. Я отправился отдыхать, закрыл за собой дверь, но офицер предупредил, что дверь должна оставаться открытой. По обе стороны от двери сидели офицеры, тоже в штатском, но с автоматами. Так безопасно мне не приходилось спать никогда в жизни.

Где мои товарищи, я не знал.

Утром был неожиданно учтивый завтрак: бутылка грузинского вина, шпроты, колбаса, масло, черный хлеб, чай. Не знаю, чему мы были обязаны, но положение наше явно улучшалось. После завтрака я вышел прогуляться и на асфальтовой дорожке встретил Смрковского. Мы обнялись. Он достал свежий номер "Руде право", в нем ночное обращение президиума ЦК к народу. Мы поговорили четыре-пять минут, пока офицеры не попросили нас вернуться в свои домики. Я сидел там снова один, ничего не делая, не представляя, что происходит с другими. В середине дня зазвонил телефон. Я услышал голос Дубчека. Он сказал, что скоро за мной заедут и нас отправят в Москву. "Это я тебе сообщаю, чтобы ты больше не сопротивлялся".

В Москву нас отправляли в разных самолетах.

Я летел на военном грузовом Ил-18. Как потом оказалось, на таком же увозили Дубчека. Сопровождение было все то же, штатское. В аэропорту Внуково ожидала "Чайка". Никого из встречающих не было. Машина неслась в город. Я оказался в каком-то здании, то ли это был Кремль, то ли ЦК на Старой площади. Скорее всего, это здание ЦК, поскольку Брежнев потом заметил, что здесь заседает Политбюро. Меня ввели в комнату, там за большим столом сидел Дубчек, напротив Брежнев, Косыгин, Подгорный, Воронов... Мы пожали друг другу руки. Ни я, ни они не пытались обняться, как в прежние времена, с моей стороны это было невозможно. Мы с Дубчеком оба были сдержанны и холодны. Зрелище малоприятное: они все в белых рубашках и при галстуках, а мы небритые, грязные, в костюмах, давно не бывших под утюгом. Я не знаю, о чем шел разговор до моего прихода, но при мне первым заговорил Брежнев. Не будем, сказал он, упрекать друг друга, отметем прошлое. Положение у нас с вами трудное, его можно повернуть и в одну, и в другую сторону...»

Письмо М.Зикмунда в Иркутск (6 декабря 1990 г.)

...Отвечаю на твой вопрос. Весь 1968 год мы с Иржи очень много работали – я в Злине, он в Праге. Заканчивали новую книгу «Цейлон. Рай без ангелов», писали статьи, выступали на радио, шли на митингах в поддержку Пражской весны. Мы были убеждены в способности власти исправить деформации прошлого, опираться, в первую очередь, на возможности самого чехословацкого общества, а не стран советского блока.

Мысль о реальности военного вторжения никогда не приходила в голову. Мы с женой, сыном, мамой жены две недели отдыхали под Сплитом, на берегу моря. Летели туда туристической компанией «Чедок», 60–70 чехов и словаков. Прекрасно купались, загорали, а в последний день, 19 августа, был торжественный ужин. Меня

там все знали, спрашивали о разном, в том числе о том, возможен ли в нашу страну ввод советских войск. Я отвечал без тени сомнения: с точки зрения международного права и ситуации, как она складывается, военное решение бессмысленно и невозможно. Утром 20 августа я отправил тебе почтовую открытку; в этот день с группой мы возвращались в Прагу. Домой добрались к вечеру.

А между часом и двумя ночи раздался звонок. Звонил мой друг Карел Павлиштик, доктор философии, заместитель директора областного музея: «Мирек, включи радио!» И бросил трубку. Ничего не понимая, включаю радио и слышу заявление наших властей в связи с вводом в Чехословакию войск стран Варшавского договора. А скоро послышался гул, он до сих пор у меня в ушах, страшный гул сотен самолетов. Где-то в девять утра диктор сказал, что советские танки уже окружили пражскую радиостудию, и если начнется исполнение чехословацкого гимна, это будет означать конец передачи.

Я не находил себе места. Было чувство, что меня оскорбили. Несколько часов назад я убеждал своих земляков, что мы знаем Советский Союз и военное вторжение в нашу страну невозможно, нет причин, нет логики... И вот над нами гул самолетов. И в Праге танки! Мы с Иржи чувствовали себя последними дураками...²⁷

Танки давно были в Праге, когда в Иркутске я получил почтовую открытку с красивой глянцевой фотографией: Далмация, подножие зеленой горы, синева Адриатического моря и на берегу белоснежный отель «Лагуна». В этом отеле отдыхал с семьей Мирослав Зикмунд. В день возвращения из Сплита домой, на родину, он отправил в Сибирь открытку с югославским штемпелем, не догадываясь, что до перехода войсками чехословацких границ оставались часы.

Открытка М.Зикмунда в Иркутск (20 августа 1968 г.)

Леня, дорогой, очень много думал о наших сибирских разговорах и о настоящей дружбе. Большое тебе спасибо за отличную книгу²⁸. Жму тебе руку и надеюсь, что мы скоро увидимся. Твой Мирек (Зикмунд)²⁹.

Дата на открытке его рукой: 20 августа 1968 года.

«Скоро увидимся...» Мы были плохими провидцами.

Увидеться с Миреком нам теперь удастся через двадцать два года. Это будет у него дома в Злине, в феврале 1990-го. «Скоро» по меркам вечности, но не короткой человеческой жизни.

Фотографии к главе 4



Прага, май 1945



...и 23 года спустя



Прага, 21 августа 1968



*Президент Чехословацкой республики,
Верховный главнокомандующий ее
вооруженными силами генерал
Людвик Свобода, 1960-е гг*



*Людвик Свобода, Леонид Брежнев, Алексей
Косыгин, Николай Подгорный на улицах Моск-
вы. Август 1968*



*Встреча президента Людвика Свободы с
маршалом Андреем Гречко. Август, 1968*

Глава пятая

«Прости нас, Прага...»

Исповедь десантника Нефедова. «Приказы не обсуждаются». «Прости нас, Прага...» «Я не говорю, что сошли с ума, но какой-то сдвиг произошел». Над кем смеялась площадь. «Морально нам было тяжело...» Капитан Шлапак спасает честь армии. Приматор Черный в плену у капитана Медведева. «Он был слишком молод, чтобы понять грустную улыбку Гуса»

20 августа 1968 года в лесу под Каунасом полковник Соколов, командир 108-го полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии объявил приказ: в четыре утра взлет. Ротные разбежались по палаткам. Как мне потом расскажет ефрейтор 2-й роты Валерий Нефедов, у десантников «страха не было, только легкий мандраж, как при первом прыжке с парашютом, когда падаешь в неизвестность» ¹.

После ужина, часов в восемь вечера, всех отправили спать, но уснуть мешало возбуждение. Лежали с открытыми глазами, в голову лезли разные мысли. К тому же испортилась погода, пошел дождь. Часов в десять вечера в палатку влетает вестовой от командира полка: получасовой сбор! Ликвидировать лагерь! По машинам!

Что случилось?!

По словам Нефедова, такой посадки в самолет он никогда не видел. На тренировках перед посадкой командиры трижды проверяли у каждого парашют, автомат. Всегда десантник брал парашют, который сам складывал, а здесь торопят, он схватил первый попавшийся, неизвестно чей, и бегом к самолету. Ночь, дождь, аэродром, светят прожектора... Вылет, оказывается, перенесен на два часа раньше. По донесениям разведки, говорили десанникам на ходу, в четыре утра в Чехословакию будут вторгаться войска ФРГ. Нужно их опередить.

Нефедов – один из 13 тысяч десантников, назначенных к высадке в Чехословакии в ночь с 20 на 21 августа. В полку было человек двадцать земляков из подмосковного Одинцова, остальные из Прибалтики, Поволжья, Сибири. С весны их стали гонять до седьмого пота: с утра до вечера кувыркались на тренажерах, бегали, рыли окопы, стреляли из автоматов и пистолетов, метали ножи, кидали гранаты, разбирали взрывные устройства, водили бронетранспортеры, авиадесантные самоходные установки, танки, грузовики, мотоциклы. По утрам на тренировочном Ан-12 поднимались над латвийскими сосняками, прыгали с парашютом, с ходу «захватывали» спрятанную на опушке ракетную установку и указанный на карте плацдарм.

Еще в апреле командование воздушно-десантных войск получило секретную директиву Генерального штаба, подписанную маршалом А.А.Гречко (министр обороны) и маршалом М.В.Захаровым (начальник Генерального штаба) готовить 7-ю и 103-ю гвардейские воздушно-десантные дивизии к высадке в Чехословакии для «оказания помощи органам народной власти в подавлении сил контрреволюции и восстановления порядка в стране путем взятия под контроль важнейших государственных учреждений, радиостан-

ций, телевидения, почты, телеграфа, аэродромов...» Если чехословацкая армия отнесется к этой операции с пониманием, поставленную задачу предписывалось выполнять во взаимодействии с ней. При враждебном отношении к десантникам, если чехословацкие части примут сторону контрреволюции, «необходимо принять меры к их локализации, а при невозможности этого – разоружать»².

В переводе на житейский язык – пойти войной.

В мае роту проверяла медицинская комиссия. Ребята волновались: после прыжков у многих было нервное напряжение. И долго не проходило странное чувство, когда сидишь в окопе, а на тебя движется громада танка, ты пропускаешь его над собой, а после, когда чудовище перевалило через тебя, ты поражаешь его гранатой, брошенной танку вслед. Но больше всего тревожило, не укладывалось в голове, что эти навыки могут понадобиться в войне против своих же, чехов и словаков. Если правые силы будут провоцировать «волосатиков» на свержение народной власти, говорили десантникам на политзанятиях, придется вмешаться. Каждый день они слушали об армии ФРГ, готовой к реваншу за провал Второй мировой, и об армиях НАТО, намеряющих захват Чехословакии. Кто же мы будем, если не опередим их и не протянем нашим братьям-славянам руку помощи?

С мая-июня полк усиленно тренировался, ожидая вылета в Прагу.

О советских воздушно-десантных войсках заговорили в 1935 году, когда при маневрах под Киевом в групповом прыжке участвовали две с половиной тысячи парашютистов. К началу Второй мировой войны у Красной армии были три воздушно-десантных бригады, зимой 1939 года их сбрасывали на Финляндию. А в войне с Германией не повезло; на них надеялись в двух операциях, но обе провалились, и десантников передали пехоте как элитную часть. Только в 1950-х годах военная доктрина предусмотрела возрождение воздушно-десантных войск; для десантирования с воздуха их посадили на боевые машины десанта (БМД) с новым вооружением. На первом этапе вхождения в Чехословакию штабисты возложили на десантников внезапный ночной захват аэродромов, стремительный бросок в города и до восхода солнца – полный контроль над важными центрами. Десантироваться в Праге предстояло 7-й воздушно-десантной дивизии (командир генерал-майор Л.Горелов), в Брно – 103-й воздушно-десантной дивизии (командир генерал-майор А.Яценко).

Десантник в самолете, когда он полностью экипирован, готов к прыжку, с тяжелым рюкзаком ниже спины, с основным и запасным парашютами, с автоматом на груди, похож на неуклюжего тюленя, и каждый борт с десантниками – как лежбище ластоногих. Картина мгновенно меняется, когда десантники один за другим совершают прыжки или выскакивают из самолета, уже приземлившись, но еще продолжающего бежать по взлетной полосе; теперь нет в мире существа энергичнее, проворнее. Такими они уже показали себя миру, когда в 1956 году брали Будапешт.

Мало кто знал, что параллельно с десантниками на спрятанных в лесах полигонах готовятся и другие отборные части, объединенные понятием «спецназ», впоследствии наводивший страх в разных горячих точках. Подразделения особого назначения были созданы органами государственной безопасности для диверсий, в случае войны, в тылах войск НАТО, для неожиданных ударов по ключевым пунктам противника, быстрой изоляции поли-

тических и военных руководителей. Такие мобильные подразделения были при каждой армейской дивизии, они несли самые большие потери, но обеспечивали успех шедших за ними воинских масс. В ночь с 20 на 21 августа спецназовцам приказали первыми, на гражданских самолетах Ан-24, приземлиться на аэродроме Рузине под Прагой, взять под контроль летное поле, все аэродромные службы, блокировать самолеты и местную охрану, удерживать все это до прибытия десантников. В палаточном лагере в каунасском лесу ефрейтор 2-й роты Нефедов и его друзья-десантники не сразу поняли масштабы предстоящего события. Ребят, из многих новобранцев выбранных, физически крепких, смысленных, пограмотнее других, объединяло чувство родины. Она была для них самой справедливой, доброй, всем помогающей, и они готовились ей верно служить.

Шестнадцатого и семнадцатого августа по ротам выдавали боеприпасы, по шесть рожков к автомату, в каждом по тридцать патронов. Из сумок вынимали противогазы, набивали их патронами доверху, сколько удержат за плечные лямки. Брали гранаты – наступательные, ручные осколочные, противотанковые. Так вооружаются, когда предстоит участие в боях. Неясно было только, против кого: армии натовской или, не исключено, чехословацкой? Чешских солдат представляли вроде бравого придурковатого солдата, героя смешной книги; в таких и стрелять-то рука не поднимется, разве что по приказу. Командующий воздушно-десантными войсками генерал В.Ф.Маргелов сказал: «Запасаться боеприпасами, остальное добудете на месте».

В политике человек может быть фанатиком, патологическим игроком, с явными для всех психическими отклонениями и при этом оставаться лидером партии, за которым послушно, часто бескорыстно, идут массы. Но в воздушно-десантных войсках психическое здоровье командиров и внутреннее самоощущение вверенных им элитных войск определяет не просто успех военной операции, но часто судьбу крупномасштабного государственного замысла. У профессиональных кадровых десантников обостренное, как будто из восточной ментальности, чувство принадлежности к этому братству, предмету общей возвышающей гордости, и для них это выше сохранения собственной индивидуальности.

В состав 7-й воздушно-десантной дивизии входила рота десантника Нефедова. Вряд ли в ротах знали, что командир дивизии генерал Горелов, участник Отечественной войны, родом из-под Козельска, городка под Калугой, потомок пращуров, которые в XIII веке оказали сопротивление войску хана Батыея, но и не представляя его родословную, десантники чувствовали в командире носителя лучших традиций русского воинства.

Только одно дело сопротивляться вторжению и другое – вторгаться.

Для решения задач нужно было, по крайней мере, представлять, где находятся «объекты», которые предстояло десантникам захватить, взять под охрану, кратчайшие пути к ним. Переброска десанта и войск в общем была понятна: на эти цели выделялось 440 военно-транспортных самолетов Ан-12, в канун операции в Прагу и Брно прилетят штабные офицеры воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации в форме гражданских летчиков, они выдадут себя за группу сопровождения грузов для Чехословакии, определят условия высадки или выброски десанта на аэродромы

и, в случае отказа служащих аэродромов принимать советские самолеты, возьмут управление всеми службами на себя, а с прибытием первых воинских частей будут их проводниками.

Безопасность военно-транспортных самолетов с десантниками и грузом 7-й воздушно-десантной дивизии должны были обеспечивать два полка истребителей и два полка истребителей-бомбардировщиков 4-й воздушной армии, которые будут сопровождать боевые порядки и кружить на высоте от восьмисот до двух тысяч метров над местом высадки десанта. От четырех до восьми истребителей будут висеть над местом высадки одновременно. В случае необходимости самолеты-бомбардировщики должны будут нанести бомбовые удары по позициям зенитно-ракетных дивизий чехословацкой народной армии³.

Но где в городе сами «объекты», предназначенные для захвата десантниками?

Никогда прежде Горелов в Праге не бывал.

Командующий Маргелов разрешил Горелову вылететь с командирами полков в Прагу на один день, чтобы иметь представление, как «объекты» выглядят, как к ним добираться. Это называлось «рекогносцировкой». Горелов и четыре командира полков переоделись в гражданские одежды и в конце мая ранним утром прилетели на аэродром Рузине. Обслуживающему персоналу аэродрома сообщили о внезапной неисправности самолета; придется, видимо, «ремонттировать» машину до позднего вечера. Пусть не убирают самолет. И со встречавшими их работниками советского посольства поехали в Прагу.

Из воспоминаний Горелова:

«Я не видел города и людей, мысли были только о разбросанных по обоим берегам реки «объектах», подъездных путях к ним. Я видел не улочки старого города, а досадно узкие коридоры, по которым трудно будет продвигаться танкам, бронетранспортерам, артиллерийским установкам, и почти физически ощущал, как где-то при повороте, впопыхах, тяжелые боевые машины сносят угол здания или торговый лоток. У десантников не было опыта действовать в условиях средневекового города, подобного Праге», – будет мне рассказывать генерал⁴.

Вернувшись в Москву, Горелов откровенно поделился опасениями с министром обороны А.А.Гречко. А что было делать Гречко? Идти с этим к Брежневу? Говорить об архитектуре Праги?

«Ну вот что, генерал, – сказал Гречко. – Приказы не обсуждаются. Сами думайте над этим, находите решения».

Попробуй находить решения в условиях строжайшей засекреченности, когда никто из девяти тысяч десантников дивизии, вовлеченных в операцию, с которыми предстояло отрабатывать варианты подходов к указанным на карте «объектам», не должен был знать ничего конкретно и принимать изнурительные тренировки крепления в самолетах военной техники и грузов и потом быстрого их освобождения от креплений и выката из самолета на летное поле за очередные учения. Офицеры молчали, ощущая себя хранителями страшной тайны, а солдаты делали вид, что не понимают, почему после напряженных, физически очень тяжелых дней, вечерами на политзанятиях им говорят о чехословацкой контрреволюции, готовности НАТО дви-

нуться к Праге, повторяя, что в случае чего «наших братьев мы не оставим в беде».

Игрой в секретность были отмечены все весенне-летние месяцы, когда подготовка к операции шла полным ходом, и даже командир 7-й военно-воздушной дивизии, летевший на Прагу в ночь с 20 на 21 августа первым самолетом с разведчиками, о некоторых важных моментах узнал, находясь уже в воздухе. О том, например, что высадку войск надо производить не парашютным, а только посадочным способом. Видимо, Политбюро ЦК КПСС приняло этот вариант ночью, в последний момент, когда дивизия неслась к цели высоко над землей. Мы не знаем, кого в последние мгновения осенила эта мысль, но, по мнению военных, она была единственно правильной; в случае парашютного десантирования на Прагу последствия могли быть непредсказуемыми. «Как только я получил в воздухе указание, тут же приказал десантникам сбросить парашюты и передал приказ на все борта, уже летевшие за нами», – вспомнит генерал Горелов.

Продолжу рассказ десантника Нефедова:

Роту подняли в воздух в два часа ночи по местному времени. Где-то на час раньше на Прагу вылетела разведрота полка, человек восемьдесят. У роты Нефедова, ударной группы, с собой на борту не было транспортных средств (танкеток), рассчитывать приходилось только на то, что при себе. Через два часа самолет приземлился в пражском аэропорту Рузине. Едва открылся люк, десантники один за другим спрыгивали на полосу и сразу в сторону, не мешая самолету вырваться и подняться, уступая полосу другим самолетам, летевшим вслед. Ротный Дорохин поставил задачу: занять огневой рубеж вдоль шоссе от аэродрома к центру Праги. Полк стал рыть окопчики по обе стороны дороги, занимая оборону. Окоп от окопа в трех шагах. В окопах установили СПГ (станковые противотанковые гранатометы), их уже доставили очередными воздушными рейсами. В каждом взводе был ручной гранатомет. Нефедов приготовил противотанковую гранату. Предупредили: работать бесшумно. Недавно чехословацкая танковая армия здесь прошла на учения, и если десантников засекут, придется повернуть обратно. А в это время к Праге приближалась советская танковая армия, вышедшая из ГДР. «Честно говоря, мы чуть своих не перестреляли. Хотя перед вылетом нам сказали, что свои с белыми полосами на броне и на башнях, но в темноте попробуй разглядеть. Колонна наших танков появилась в четыре утра. Я лежал и подсчитывал: примерно сотня танков и бронетранспортеров. Они шли с включенными фарами».

Часов в пять утра, когда рассвело, ротный передал приказ: любыми средствами добираться до центра Праги к Вацлавской площади, присоединиться к десантникам, уже занявшим Генеральный штаб чехословацкой армии. «Они вошли в город, пока наш лежал в оцеплении. Десантники выходили на дорогу, запрыгивали в проходящие мимо чешские грузовые машины. Офицер садился рядом с шофером, и вперед. Если шофер не соглашался, мы отбирали ключи от машины и неслись сами. Чаще всего, чехи отдавали ключи добровольно. Одна машина попыталась проскочить мимо, не останавливаясь. Десантники открыли огонь по баллонам. Другие машины стали останавливаться безоговорочно, шоферы сами протягивали ключи».

В десять утра у здания Генерального штаба десантников окружили мо-

лодые чехи, пытались передать листовки. Кричали: «Зачем вы нас оккупируете? Что мы вам сделали? Вас обманывают, у нас все в порядке. Мы никого не звали на помощь. Не позорьте свою страну, возвращайтесь домой!» Нефедова поразил их прекрасный русский, почти без акцента. «Я испугался мысли: вдруг они правы? Но по пути, когда мы добирались до города, к нам подходили чехи пожилого возраста. “Спасибо, ребята, что прилетели. Иначе не было бы больше свободной Чехословакии”, – это мы тоже слышали, врать не буду».

Как же все должно было смешаться в голове советского ефрейтора, если в самом чехословацком обществе не было единого понимания событий.

Весь день 21 августа десантники провели в Генштабе.

Чехословацких генералов и офицеров держали как под домашним арестом. Они затевали с солдатами разговор: зачем прилетели, вас обманывают и т.д. Десантники отвечали, как учили на политзанятиях: у вас хотят ликвидировать народную власть, установить буржуазные порядки, это приведет к гражданской войне. И культурно просили разойтись по кабинетам. Был приказ вести себя сдержанно, оружие без нужды не применять. Они так и держались, не в пример немцам и венграм. Те проведут черту мелом по площади: не переходить, стреляем без предупреждения! Через неделю их части вывели за город.

А десантники с людьми говорили, шутили, Один из роты, младший сержант с Украины, влюбился в чешскую девушку. Хорошенькая, с короткой челкой на лбу. Она и ее друзья приходили в расположение части. Младший сержант был лет двадцати, она года на полтора младше. В роте любовались ими, красивая веселая пара. Парень отпросился у командования и отправился с девушкой в советское посольство просить разрешение на брак. Они уже не могли друг без друга. Солдаты, его ровесники, приглашенные на свадьбу, скидывались на подарки. А из посольства позвонили командиру полка: младшего сержанта срочно выслать на родину, в часть, где служил. Узнав о приказе, парень ночью ушел в лес и выстрелил из автомата в грудь. По счастью, пуля не задела легкие; врачи вернули десантника к жизни, под охраной отправили домой.

Полк Нефедова возвращался из Праги на родину 21 октября. До границы ехали в чехословацких мягких вагонах. А в Чопе десантников распихали по советским товарнякам, шестьдесят человек в каждый вагон, как телят. Но самым большим для них потрясением было проезжать по улицам Каунаса, к месту дислокации дивизии. «Мы возвращались как герои, а нас встречали плакаты с осуждением. Люди с балконов кричали нам: “Оккупанты!”»

С Валерием Нефедовым мы разговаривали в Москве в августе 1989 года. Бывший десантник при воспоминании о Праге становится растерянным, пришибленным, мешковатым в движениях. За два месяца до вторжения, 23 июня, парашютно-десантной роте 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й воздушно-десантной дивизии предстоял перелет из Каунаса в Рязань для участия в показательных выступлениях на БМД перед министром обороны. Десантников разместили на трех самолетах Ан-12. На высоте четырех тысяч метров один из самолетов столкнулся с пассажирским ИЛ-14. Погибли пять членов экипажа и 91 десантник. Среди них были друзья Нефедова. Десантники всегда казались крепче духом, таких смерть не берет, а вот они – прах в лесах под Калугой. Потом это покажется каким-то преду-

преждением, на которое не обратили внимание.

Спустя двадцать лет после событий мне пришла мысль поместить в газете рядом три беседы: с членом Политбюро ЦК КПСС, с военачальником Советской армии и с десантником-первоэшелонцем. Дальше я расскажу о других, но из трех собеседников только у десантника, простого солдата, безо всяких наводящих вопросов сами вырвались слова, до той поры применительно к вводу войск никем в советской печати не сказанные. Все записав, я переспросил, могу ли их опубликовать, не будет ли у него проблем. «Я все понимаю, – сказал десантник Нефедов, – готов их повторить и под ними расписаться». И наклонился к диктофону: «Прости нас, Прага...»⁵

Не меня прости, сказал ефрейтор, прости всех нас, кто вторгся.

Армия, в которой служил ефрейтор Нефедов, при всех обычных тяготах, суровости быта была готова выполнять любые приказы, не задумываясь; войска еще не успели разложиться, как это случится после – в Афганистане, в Чечне.

Среди сослуживцев нашего десантника еще были солдаты, носители традиционных семейных ценностей. Мучительно было танкистам и десантникам наблюдать на пражских улицах воззвания к населению не давать советским солдатам ни куска хлеба, ни глотка воды. Изнуренные, не зная, кого винить, несчастные солдаты извлекали из памяти живучий образ «последней рубахи», которую отдаст соседу русский человек.

Однажды я заговорил об этом с Франтишеком Кубичеком, крестьянином из деревушки на берегу Моравы под Оломоуцем. Мы сидели у него дома, пили из кружек пиво «Праздрой» и ели кнедлики, приготовленные его женой Боженной. Не помню, сколько кружек опустошили, когда я отважился спросить, готов ли Франта отдать соседу последнюю рубаху. «Не понял, повтори!» – требовал Франта. Как я ни старался, называл, к примеру, погорельца Томаша, его соседа, Франтишек не мог взять в толк, зачем соседу Томашу чужая рубаха. Наконец, до него дошел смысл вопроса. «Нет, конечно! Такого не будет, не может быть, чтобы я отдал соседу последнюю рубаху». – «Тебе не жалко бедного соседа, Франта?» – растерялся я.

Он смотрел на меня как на идиота.

«Ну подумай, как у меня может быть последняя рубаха? Землю за окном пахали мой отец, дед, прадед... Наш род здесь со времен короля Матвея Корвина. Никто землю не пропивал, не проигрывал в карты, все работали. Как у меня, их потомка, их наследника, может оказаться последняя рубаха?» Когда мы прощались, Франта успокаивал: «Ну, если настаиваешь, я готов отдать соседу последнюю лошадь. Даже последнюю телегу. Последний мешок цемента. Но последней рубахи у нас не бывает... Извини!»

Вспомнился другой случай. Чешская журналистка прилетела на Байкал, меня попросили ее сопровождать. Вечером в гостиницу Листвянки ввалились рыбаки, охотники за нерпами, моряки с катеров, геологи – с водкой и гитарой. Парни из кожи лезли, чтобы обратить на себя внимание блондинки с серыми глазами и дивным западнославянским акцентом. Все говорили, перебивали друг друга, травили анекдоты, горланили песни, стояли на коленях, объяснялись в любви. Был прекрасный кавардак, русский кураж, когда можно умереть от счастья.

А под утро, когда гости разошлись, с моей коллегой случилась истерика, и я уже собрался вызвать врача, но она успокоилась: «Знаешь, я хочу пригласить тебя в Чехию, но я боюсь, мне будет стыдно, потому что у тебя там никогда не будет такого фантастического вечера. Будут умные и милые разговоры, но не будет этих хулиганских тостов, дерзких песен, от которых разрывается душа, и никто не покажет, как пить водку по-гусарски, из граненого стакана с тыльной стороны ладони, и не ползет целоваться к человеку, которого видит первый раз. Ты у нас умрешь от скуки!»

Не берусь сравнивать национальные характеры; моих наблюдений для выводов маловато, а воображение имеет пределы. Но из бесед с нашими солдатами, как они чувствовали себя на площадях Праги с автоматами на груди, свесив с брони ноги в сапогах, в окружении молчаливой толпы, их презирующей, можно представить разницу национальных психотипов. Пражане не вспомнят, какая в их истории угроза так сплотила бы нацию единым чувством, дала бы ощутить кровное родство, как это сделали события 1968 года. Мне рассказывал Мирослав Зикмунд, как он был изумлен, когда вернулся из Праги в Злин и не узнал каменную тумбу у ворот дома. На ней были имена Мирослава и его жены; кто-то замазал имена цементом. Потом сосед оправдывался: «Пан Зикмунд, это я сделал на случай, если вас будут искать русские солдаты».

А что же наши солдаты?

Я перечитываю письмо Алексея Курилова, сержанта артиллерийского полка мотострелковой дивизии Одесского военного округа. Полк подняли по тревоге в июле 1968 года, погрузили в «набитые до отказа» товарные вагоны, «правда, не на голом полу, а на соломе, везли, как овец, ничего не объясняя», а орудия (гаубицы образца 1938 года) укрепили на платформах. Эшелоны шли без остановки; задача, говорили командиры, «воспрепятствовать войскам ФРГ использовать Чехословакию как плацдарм для нападения на СССР», и надо торопиться, потому что этот плацдарм будет вот-вот захвачен германскими войсками. У всех было ощущение близости войны. Солдаты «возмущались действиями правительства Чехословакии, которое не может у себя дома навести порядок. Чувство смятения охватило нас. Мы же еще детьми переписывались с чешскими школьниками, и вот нам приходится идти к ним с оружием в руках»⁶.

Из письма сержанта Курилова:

«В Ужгороде нас сгрузили и с первых чисел августа шли своим ходом. Наша часть продвигалась на грузовых машинах Урал-375Д повышенной проходимости (все колеса ведущие). К автомобилям были прицеплены орудия. А весь оружейный расчет, бочки с бензином и снаряды помещались в кузове. На машинах мы были везде и всегда. После непрерывной езды по венгерским дорогам мы приехали в город Комарно на берегу Дуная. На левом берегу находился город Комарно. Был прекрасный августовский вечер. На улицах празднично одетые толпы. Сквозь большие стеклянные стены ресторанов было видно, как там веселятся люди, ничего не подозревая. Венгры нас встречали дружелюбно, махали руками. И без остановки мы переехали через мост на другой берег. Внизу катил мутные воды Дунай. Берег поразил нас своей мрачностью. Было отключено электричество. И вот первое замешательство: посреди дороги два мотоциклиста развернули огромного размера чехословацкий флаг. Мы не знали, что делать. Кто-то посоветовал оттащить

мотоциклистов в сторону, и мы поехали дальше. Ехали долго, водители на коротких остановках вываливались из кабины и от переутомления падали на землю. Наконец, приехали в Западно-Чешскую область, в лесу жили в палатках до зимы, а зимой нас разместили в Восточно-Чешской области, в бывшем чешском военном гарнизоне.

Настроение у солдат было неважное. Чехословацкая армия прохлаждается, а мы тут вместо нее должны наводить порядок. Однажды к нам в часть приехал генерал-лейтенант из Центральной группы войск. Было построение полка. Он рассказал нам, что один солдат из мотострелковой части изнасиловал шестидесятилетнюю женщину и девочку тринадцати лет. Военный трибунал приговорил его к расстрелу. Командование решило оповестить нас о приговоре, чтобы никому неповадно было. Мы не знали, правда ли это или командование придумало для профилактики»⁷.

В разговорах с пражанами, даже которых давно знаешь, неспособными что-либо зря говорить, все же затрудняешься установить границу, отделяющую имевшее место событие от не выдуманного, но в деталях, возможно, выдуманного, чуть гиперболизированного, каким по прошествии времени оно осталось в возбужденных головах. Неподалеку от Малостранской площади с церковью Святого Микулаша, где когда-то Моцарт играл на органе, есть небольшой внутренний сад с белыми статуями и замком. От замка идет дорожка к обрамленному розами пруду, а в пруду играли золотые рыбки, как они там играют две сотни лет. От нескольких чешских приятелей я слышал, как в августовские дни 1968 года в парк заехал советский танк. Возможно, сбился с дороги. Солдаты смотрели на рыбок с восторгом: «Ну, братцы, красота!» А после, не снимая сапог, гурьбой полезли в пруд, сгребли рыбок в подолы гимнастерок и вечером в котле походной кухни варили уху для батальона.

Сколько бы ни повторяли на политзанятиях слова об «интернациональном долге», многие солдаты ощущали неискренность и чувствовали себя неловко. Одно дело, когда идет война, ты защищаешь родную хату, и совсем другое, когда ты в кузове грузовой машины, на прицепе гаубица, в чужой стране, в окружении людей; тебе никто не угрожает, и у тебя нет повода открывать огонь. И для чего ты здесь, не может внятно объяснить политическая тарабарщина командиров. Да ты и не спрашиваешь, чтобы не создавать себе проблем. Но еще мучительней, унижительней чувство стыда, когда над тобой, над твоей славной армией, в которой воевали твои отцы, победившие гитлеровскую Германию, – улица смеется!

Я переписываюсь с Николаем Успенским, рядовым гвардейского 40-го танкового Чертковского полка (командир полковник Мещеряков) 11-й гвардейской танковой Приберлино-Карпатской дивизии 1-й гвардейской танковой армии. В ответ на публикацию «Это было в Праге» он прислал сохраненные «благодарственные письма» командования войсковой части № 47518 «за образцовое выполнение воинского и интернационального долга при защите социализма в Чехословакии». Смысленый сельский техник-электрик двадцати лет служил в группе советских войск в ГДР мастером по ремонту электрооборудования танков и бронетехники. В полку три танковых батальона, в каждом 9 танковых рот по 8–9 танков (Т-55) в каждой, взвод плавающих танков (ПТ-76), зенитный взвод (4 зенитных самоходных установки ЗСУ), до полутора сотен колесных машин, а также рота связи, комендантский

взвод, хозяйственный взвод, саперный взвод, взвод разведки, пехотная рота на гусеничных бронетранспортерах и т.д. Часть бросали на подавление волнений в Польше и Венгрии; за ней закрепилось название «Черные крылья».

В апреле 1968 года начали возникать слухи о каких-то беспорядках в Чехословакии. Солдат это особо не касалось бы, но от германо-чехословацкой границы, вблизи которой они стояли, до Праги 165 километров, четыре часа танкового перехода. Поговаривали, что отсюда будет главный удар. К нему уже готовились; разведвзвод разворачивали в разведроту, саперный взвод – в саперную роту; получили новый мостоукладчик, выдали хлопчатобумажное обмундирование, совсем новое, хотя до истечения срока старого было далеко. Что-то неуловимое сдвинулось с места, нарушался ход вещей, но тревожили не сами симптомы, а бессилие понять, что последует.

В первой половине мая в гарнизоне случился пожар, сгорела отдельная рота химической защиты, тушили всей частью; из двадцати машин дотла сгорели девятнадцать; пожар был виден за двадцать километров. А потом налетел ураган, повалил деревья, гарнизон остался без света. На одной из вечерних проверок при свечах в полку объявили «готовность номер один». Отменили демобилизацию, отпуска, увольнения; запретили покидать казарму, можно только рядом посидеть на газоне. Учебную роту направили на полигон менять изношенные гусеницы на новые, загружать боеприпасы, стать боевой ротой.

Из письма рядового Успенского:

Восьмого июня часть построили на плацу. Командир полка сказал: «Сынки, впереди тяжелые времена, и надо потерпеть месяца три-четыре». Несколько полковых бензовозов ЗИЛ-157 подготовили как на парад: на дверях кабин нарисовали гвардейские значки, колеса окантовали белой краской и послали на командно-штабные учения войск Варшавского договора в Чехословакии. Учения смахивали скорее на показательные, чем на необходимые. Это, объясняли офицеры, – предупреждение чехам, пусть знают, происходящую у них неразбериху можно прекратить в любое время. Вернулись машины через месяц. Пока шли учения, говорили солдаты, их встречали с цветами, а когда все закончилось, а части не уходили, тянули время, отношение изменилось. Чехи подбрасывали записки с требованием убираться. Подразделения отводили в леса, приказывали занять круговую оборону. В конце концов, части пришлось вывести. На политзанятиях вернувшимся говорили: «Ничего, скоро все туда пойдём»⁸.

В воскресенье 28 июля в полку снова зашла речь об «учениях». Когда часть поднимали по тревоге, танки обычно выходили на четвертой минуте (зимой с чуть большим интервалом), готовые вступить в бой. На этот раз собирались основательно; нам даже разрешили погрузить с собой в машины матрацы. Колонны начали движение в темноте. Пройдя через Дрезден и Пирну, остановились у городка Кенигштайн, оттуда двинулись в горы, ближе к чехословацкой границе. «Нам говорили: у чехов тайники с оружием, честных коммунистов преследуют, готовится государственный переворот. Приезжают бывшие немецкие и чешские хозяева, расхаживают по своим прежним поместьям. Чехи открыли границы для безвизовых поездок: плати деньги и езжай, куда хочешь. Это было дико; граница социализма, учили нас, должна быть на замке, иначе мы пропали».

Еще из писем Николая Успенского:

«...Мы слышали об оборонительной миссии наших войск в ГДР, но у нас в батальонах висели “Перспективные карты”. Нашей дивизии, например, в случае чего, предстоит выступить против 5-й танковой дивизии бундесвера, и через восемь дней после начала движения мы должны пройти по ФРГ и Франции и выйти к Ла-Маншу.

Пойти в рейд по чужой стране всегда интересно, мы же нигде не бывали. А тут интернациональный долг. Офицеры говорили в своем кругу: не хотелось бы на чехов идти. Один младший лейтенант, не запомнил фамилию, в этой обстановке стал пить, писал рапорты об увольнении. Несколько молодых командиров танковых взводов, недавно окончивших училища (к вечеру 20 августа их взводы стояли на границе с Чехословакией), после зачитки приказа сильно напились и кричали: “Идем открывать Третью мировую войну!”».

«В августе из нашей дивизии сбежал с оружием солдат кавказской национальности. Тогда было легко уйти в ЧССР и оттуда в ФРГ. Окруженный в горах группой захвата, он застрелился. После этого проверку личного состава стали проводить 24 раза в сутки. Самовольных уходов из части с оружием и попыток уйти в ФРГ за время службы было немало. Я считал это безрассудным; в чужой стране далеко не уйдешь»⁹.

18 августа под деревушкой Кота Успенский и три солдата принимали с танков на зарядку аккумуляторы. В роту вернулись утром следующего дня. А 20 августа в 9 часов утра роте зачитали приказ: после получения сигнала любой ценой через четыре часа выйти к юго-западной окраине Праги. На провокации не поддаваться, но на выстрел отвечать выстрелом. Эта часть приказа вызывала недоумение. Как разобраться, где провокация, а где нет? Даже случайный выстрел требовал ответных действий. Нас инструктировали, как себя вести при нападении на колонну, выдали индивидуальные медицинские пакеты, по сухому пайку (предупредив, чтобы без приказа не ели). После обеда раздавали по сто двадцать боевых патронов.

«...Расскажу о психологической обстановке в роте. Был у нас старшина Бердов из-под Пскова. Солдаты его терпеть не могли; после оглашения приказа он понял, что дела плохи: обиженных им много, в боевой обстановке можно “нечаянно” получить пулю в затылок. Через немецких ребятишек, бродивших вокруг нашего лагеря, он достал спиртного и пригласил особо им недовольных в машину-“летучку”, крытый фургон. Я в число приглашенных не попал. Скоро половина роты была пьяной. И начался “концерт” до вечера. Стоит в карауле мой земляк Якубовский из-под Новочеркаска, еле держится на ногах. Подхожу к нему. “Хочешь, – спрашивает, – с одного выстрела попаду в зеркало вон той “летучки”?” Вскидывает автомат, нажимает спуск – выстрел! А из “летучки” выходит заместитель командира полка, подполковник. Пуля проходит рядом с ним. Что тут началось! Потом земляк размазывал слезы по лицу. Успокаиваю: впереди, говорю, у нас такое, что все забудется.

Около трех часов дня дали команду получить патроны. В одном из фургонов – оружейная комната. Нашли старшину, ключ у него. Он пытается открыть дверцу фургона; подползет на четвереньках, кое-как вскарабкается, а рукой до замка не дотягивается. И смех, и грех. После трех-четырех заходов командир роты забирает у него ключи, и мы получаем патроны. А старшину запираем в фургоне. Он очухается на следующий день уже под Прагой. Вылезет опухший, мокрый, растрепанный. Если бы отменили бросок на Прагу, я

думаю, на следующий день половина роты пошла бы под трибунал».

11-ю гвардейскую дивизию вводили в Чехословакию полностью.

Из полка «Черные крылья» в гарнизоне оставался только музыкальный взвод для охраны складов, казарм, семей офицеров и сверхсрочников. К половине двенадцатого ночи полк приблизился к чехословацкой границе, остановились в метрах пятидесяти от шлагбаума. Справа здание погранохраны, там двое чешских пограничников. Успенский и еще ребята вылезли из машин, подошли к ним. Показывают на пустые кобуры, повторяя: «Пистоль... пистоль...» Оказалось, когда танки подошли к границе, немцы свой шлагбаум подняли, а чехи, ничего не понимая, не имея приказа, отказались свой поднимать. Армейские разведчики чехов разоружили и обрезали линию связи: не дать им сообщить о переходе границы. Головной танк снес чехословацкий шлагбаум. До сих пор колонна двигалась во тьме на подфарниках, чтобы не тревожить немецкое население, а с пересечением границы пришел приказ дать полный свет – и вперед!

На дороги, по которым шли танковые колонны, выходили толпы людей, впереди женщины и дети; под их прикрытием часто велась по солдатам стрельба. Когда появлялись женщины и дети, а машину на скорости не остановишь, механику-водителю приходилось зажимать один тормоз, машина переворачивалась, сваливалась в кювет. Экипаж по двое-трое суток ждал, пока свои разыщут. Голодные, солдаты ждали однополчан. Чехи из близлежащих сел тайком их подкармливали. Бывало, едет мимо чешская машина, из нее летит на дорогу сверток с продуктами. Это при том, что за помощь солдатам людей могли наголо остричь, избить.

«Но вот едем и видим на дороге чеха и с ним мальчишку в пионерском галстуке. Остановились. Они подошли. Чех начал рассказывать – он коммунист, его сын тоже коммунист, а это внук, пионер. Честных коммунистов, говорит, у нас изгоняют, спасибо, что пришли на выручку. Но это был, пожалуй, единственный случай в нашу поддержку, который я сам видел. Больше было протестов, да еще в невероятных формах. В Праге под колеса нашей машины бросилась женщина с ребенком. Хорошо, что ехали не быстро, водитель успел затормозить. Женщина не пострадала, но как она плакала, как кричала, когда ее оттащивали от машины! Можно отнести это к психозу, а можно – к отчаянной, бессильной любви к родине.

Гибли люди – кто попадал под гусеницы и колеса, кто сам бросался, как эта женщина с ребенком. Морально нам было тяжело. После возвращения в Германию из нашего полка несколько человек отправили в госпиталь. Я подозревал, и слух был такой, что от увиденного в августе в Чехословакии у некоторых солдат и офицеров случилось расстройство нервной системы. Я не говорю, что сошли с ума, но какой-то сдвиг произошел».

Николай Успенский вспомнил, как на пути от Кладно до Праги колонна растянулась, машина от машины шла в трехстах-четырехстах метрах. На одном участке стояла толпа. Пропустив первую машину, толпа сомкнулась, преградив путь остальным. Когда подъехали ближе, в руках людей увидели бульжники. Николай не успел испугаться, как машина вошла в толпу и с трех сторон посыпался град камней. Была слепая, безудержная ярость людей, готовых все разметать, разнести в клочья. «Не вздумай останавливаться!» – он крикнул водителю, прикрыв открытое окно сумкой с противогололедом. Наконец, удалось прорваться и только за городом остановиться, перевести

дух. Подошли другие бронемшины, солдаты выскакивали потные, возбужденные. Двое в роте оказались ранены в голову, несколько машин побиты. Как выяснилось, по вине головной машины колонна промахнула поворот, предстояло возвращаться к месту побоища. Разгоряченные солдаты настаивали: око за око! Возник стихийный митинг. «Ну, мы им сейчас дадим!» – неслись голоса. И уже начали разворачивать машины.

Казалось, случится непоправимое. Куда-то исчез командир роты, командование принял на себя инженер-электрик полка капитан Шлапак. «Он выскочил из машины в каске, с пистолетом в руке, всех построил: “Ребята, надо успокоиться! Представьте, мы дома проснулись, а под окнами чужие танки. Разве людей не понять? Все по машинам! Объедем городок стороной...” Он был прекрасный человек, мы ему верили, и все обошлось. С тех пор, когда я думаю о совести русской армии, у меня перед глазами посреди дороги, в каске и с пистолетом в руке, весь в танковой гари капитан Шлапак, который не дал случиться непоправимому».

Капитан Шлапак... Шлапак... Когда я перечитывал это письмо Успенского, показалось, что я встречался с капитаном, с этой фамилией. Да что там показалось, я был уверен, что полузабытым капитаном мог быть только он, когда-то встреченный мною капитан – характер тот же!

Это случилось в верховьях Лены, когда летом 1967 года мы с друзьями сплавились на карбасе «Микешкин» до Ледовитого океана. Оставалось совсем немного до цели, когда ветры с гор понесли карбас на прибрежные пески. Наша посудина села на мель. Никаких сил не хватило бы нам, пятерым членам команды, вытолкать карбас против ветра к большой воде. Мы уже отчаялись, как слышим откуда-то с берега хриплый голос: «Эй, гвардейцы, подать трап капитану!» Утопая сапогами в мокром песке, по-медвежьи переваливаясь, к нам приближался армейский офицер в звании капитана. Откуда он в этом краю? Приехал на побывку к родным в рыбацкий колхоз? Мы спустили трап на песок. Капитан поднялся, каждому протянул руку, заглядывая в лицо: «Иван Иванович. Простой, как говорится, Иван!»

К тому времени на берегу собирались из окрестных мест рыбаки в резиновых сапогах и с длинными баграми. Мы спустились на мокрый песок, убрали трап и плечами навалились на борт. «Раз, два, взяли!» – командовал капитан, упираясь в бортовые доски руками и лбом. «И еще раз, взяли!» – капитан расстегнул ворот гимнастерки, засучил рукава кителя. Карбас чуть шевельнулся, и, не давая ему опомниться, мы впечатались в борта плечами. Вода поднялась до верха резиновых сапог рыбаков, они вернулись на берег. С нами в воде остался Иван Иванович. Он упрямо, шаг за шагом, продвигался вперед, напрягая короткую сильную шею, наваливаясь на карбас всем туловищем. Его сапоги и галифе были под водой, уже достававшей ему до пояса, он уже скорее плыл, чем шел. «Еще раз, взяли!» – хрипел он, багровея.

Обессилев, он вернулся к берегу, снял китель, стянул сапоги, вылил из сапог воду, сбросил галифе, выжал их, разделся до трусов. И раскинув руки, снова вошел в воду. Никогда не забуду эту картину. Сжавшись от холода, капитан то ли шел, то ли плыл по воде и с криком «Россия не подведет!» наваливался рядом с нами на корму. «Давай, ребята, не жалея спины! Москва за нами!» Карбас полз и полз по мелкому дну; когда мы совсем выбились из сил, и вода подступила почти к подбородку, и зуб на зуб не попадал, карбас качнул бортами. Он был на большой воде!

Кто мы были капитану, мы – случайные люди на Севере?

Просто свои, свои люди.

«Вот такие капитаны снимают с мели всю Россию...» – заметил, выжимая джинсы, Евгений Евтушенко, один из нашей команды.

Шлапак... Шлапак на забитой бронемашинами дороге от Кладно к Праге... Снова перечитав письмо Успенского, я зарылся в свой архив и в бортжурнале карбаса «Микешкин» нашел имя нашего спасителя в низовьях Лены. Увы, очень похоже, но не Шлапак. Наш был Шейпак. Капитан Советской армии Иван Иванович Шейпак.

Два эти человека, один из чехословацких писем солдата, другой, встреченный мною на Севере, остаются в моей подкорке навсегда совмещенными в одном служивом человеке России, верным долгу, совести, чести. Не знаю, как лицами, но натурой оба в прадеда, капитана Тушина из 1812 года, артиллериста на поле Бородина.

Сейчас, когда я пишу эти строки в другом, сильно изменившемся мире, занозой сидит в подсознании обращенный к себе вопрос: зачем вспоминать о временах, уплывших в небытие, вряд ли способных послать сквозь толщу лет прагматический, о чем-то предупреждающий, небесполезный сигнал? Эпоха ушла в прошлое, но не исчезла из генетической памяти, живет в наших предрассудках, в стереотипах восприятия, в мифах о народах и странах. И все-таки устная история, передаваясь, от чего-то может уберечь.

Расскажу об исповеди генерал-майора Александра Антоновича Ляховского, участника войн и локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Прибалтике, Анголе, Эфиопии, автора серьезных книг и главного редактора известного журнала. Он почти забыл, никогда не вспоминал, как двадцатидвухлетним лейтенантом, окончив в 1968 году военное общевоинское училище, получил назначение в Прикарпатский военный округ, принял под свою руку мотострелковый взвод (27 солдат) и, не успев к ним присмотреться, 20 августа со своим взводом двинулся на Чехословакию. От места дислокации в Мукачево взвод на трех бронетранспортерах шел в составе 149-го полка 128-й дивизии через Чоп и Кошице в Южную Чехию, в район Ческе-Будеёвице. Всю дорогу лейтенант следил, чтобы у солдат не было соблазна сделать выстрел. Хотя с собой везли боеприпасы в немалом количестве, был строжайший приказ не стрелять.

Через несколько дней колонна подошла к австрийской границе в Южной Чехии, неподалеку от городка Ческе-Будеёвице, когда-то известного торговлей солью и серебром, вошедшего в историю первой в Европе (1832) железной дорогой на конной тяге, связавшей чешский город с австрийским Линцем. Полк разбил палатки в лесу, взвод в составе полка четыре месяца наблюдал за австрийской границей и нес охрану командного пункта полка.

То ли по молодости, когда жизнь только начинается и все вокруг прекрасно, то ли по той причине, что со школьных лет чехи вошли в сознание как очень близкий славянский народ, но уже в начале перехода, оказавшись в Кошице, лейтенант был удивлен тем, с какой раздраженностью чехи и словаки встречали советских солдат, которые ничего плохого им не сделали. Мало ли что происходит между политиками, между властями, но причем тут солдаты, выполняющие приказ? А люди вытаскивают из брусчатки камни, швыряют в машины с солдатами, разбивают стекла, шлют ругательства, вымещая свою ненависть к политикам на безответных солдатах, вчерашних

школьниках и молодых рабочих, растерянно смотревших вокруг.

Сегодня генерал понимает, откуда была болезненная ненависть чехов и словаков к вошедшей к ним армии, но это не помогает освободиться от возникшего тогда в молодой душе психологического надлома. Последующие встречи надолго вытеснили былую к этому народу симпатию. Будь они враги, не так было бы обидно, но это же «наши» чехи и словаки.

Этнонациональная картина мира многим представлялась в виде пирамиды, на вершине которой «старший брат», а место остальных зависит от близости к «старшему». Братья-славяне ближе многих, но вот мы пришли, пусть в танках, но ведь не стреляем, с добром шли, с освободительной миссией, помочь хотели, а они в одну ночь забыли русский язык.

«Знаете, что всего больше задело? Говоришь с человеком, а он смотрит на тебя как на ничтожество, ты для него, цивилизованного, не существуешь. Ты существо даже не третьего, а десятого сорта. Никто!

Говорят, во времена протектората, когда немец входил в помещение, люди вскакивали с места, не дай Бог было вызвать его неудовольствие. А тут заходишь в магазин, продавщица тебя в упор не видит, тебя не существует. И ведет себя так, потому что ты ей не опасен. Знай она, что я могу выхватить из кобуры пистолет, а продолжала бы презирать “оккупанта”, я бы ее даже зауважал. А вот так, когда ей ничего не грозит, и она об этом знает, и демонстрирует свое высокомерие, свое презрение, это вызывало ярость; у меня, молодого, нервы были на пределе, и если бы не запрет стрелять, я не знаю, вряд ли бы удержался...»¹⁰ Генерал долго не может успокоиться.

«Я бывал в разных странах, но только к чехам возник психологический барьер. У меня в доме нет ни одной вещи чешского производства, не хочу напоминаний. Умом понимаю, отрицательный личный опыт надо забыть. Не получается!»¹¹

Советские офицеры и солдаты выполняли приказ добросовестно, но без энтузиазма. Это не Отечественная война; воевать без подъема, без «Вставай, страна огромная...» можно, но радости победно обнимать однополчан и с гордо поднятой головой возвращаться на родину, – от вторжения в Чехословакию такого счастья не было.

Не было радости и в душе капитана Эдуарда Александровича Медведева, когда в числе первых он со своей частью ворвался на улицы Праги, захватил ратушу, взял под арест мэра (приматора) города, всех его сотрудников.

Начальник штаба дивизиона, он нес службу в Северной группе войск, его часть стояла под Берлином. В июле всех вывезли на мариенбургский полигон для боевых учений с применением ракет. Не успел дивизион вернуться на места свои восемнадцать 122-миллиметровых гаубиц, капитана вызвали в штаб армии. Там оказалось еще пять офицеров из других частей. Начальник штаба 20-й армии генерал-майор Радзиевский назначил над ними старшим подполковника Иванова и приказал шестерым офицерам срочно выехать в район Дрездена. Они попали в палаточный лагерь советских и немецких дивизий. Там прибывших объявили направленцами; каждому дали подразделение для быстрого захвата и охраны особых объектов в Праге.

«В дрезденском лагере не понимали, кто мы и откуда, полагая, что мы группа крупных чекистов из Москвы. Сами мы, как нам было приказано,

молчали. Отправляться на задание мы должны были по сигналу: “Желтые листья”»¹².

Сигнал «Желтые листья» прозвучал по войсковому радио 17 августа.

Частям предстояло блокировать в Праге важные стратегические объекты, а направленцам надо было прибыть к месту заранее, стремительно, первыми, и удерживать объекты до подхода главных сил. Каждому офицеру-направленцу вручили лист крупномасштабной карты на русском языке. На карте Медведева красным кружком была обведена ратуша – там мэрия города. У других в кружках оказались резиденция Дубчека, Вацлавская площадь, телецентр, предместье Праги (там стоял чехословацкий танковый полк)... «Все это с ходу надо было взять под охрану. Мне дали танковую роту, стрелковый батальон, потом подключили взвод десантников. При нас был также противотанковый взвод и зенитный взвод... У кого, например, Вацлавская площадь, тому войск давали побольше. Все командиры частей были в нашем распоряжении, у направленных. Мы спрашивали, можно ли применять оружие. “По усмотрению”, – отвечали нам».

Направленцы с командирами частей обошли колонны, проверили готовность – запас продуктов, воды, походные кухни и т.д.

20 августа 1968 года между 17 и 18 часами поступил приказ: по машинам!

Перед границей с Чехословакией колонны остановились. Было часов 10-11 вечера. В чем дело? Бежит подполковник Иванов: «Давайте выгружайте своих солдат, командуйте – к бою готовь!» Прошел слух: будто чешская танковая дивизия под Прагой вышла на боевые порядки, у нее 350 танков. Солдаты стали выскакивать, готовиться к бою. Медведев обходил подразделения. У пехотинцев дрожали руки, не получалось вставить в гранату запал. Гранатами в армии редко пользуются, даже на учениях. Для большинства это было трудно и опасно. Многим Медведев сам помогал. Почти час готовились к бою, но тревога оказалась напрасной. У полосатого шлагбаума стояли чешский пограничник и советский солдат. Они вдвоем подняли шлагбаум, и колонны пошли. Был час ночи. Медведев осмотрелся; слева, справа, впереди – сплошной дым, назад повернешь голову – колоннам не видно конца. На всех дорогах танки, бронетранспортеры, крытые бортовые машины с пехотой. Горький воздух забивает ноздри. Сквозь ночь, дым, грохот отовсюду слепят прожекторные лучи. Низко над головами шли самолеты. Это прибывали и прибывали десантники. На дороге от аэропорта Рузине к Праге десантники «выкидывали чехов из легковых машин, автобусов, грузовиков. Захватывали все подряд транспортные средства, даже с иностранными номерами. Просили выйти, сами садились за руль, а при сопротивлении отбирали ключи. Потом беспризорные машины долго собирали по всему городу».

Было пять утра, когда подошли к Праге.

«Дорога поблескивала булыжником. Чуть пережмешь скорость, машина на булыжниках вращается, как юла. Для танкистов, привыкших ездить по полям, по грязи, по рытвинам такая дорога оказалась испытанием. Сколько танков сползло в кювет. Их потом вытаскивали шедшие в арьергарде специальные части. Когда пришли на место, свою танковую роту я не мог собрать; ее разбросало по кюветам. То неисправности в двигателе, то оплошность водителя. Один танкист не сумел справиться с машиной и на дороге задавил девочку. Колонны шли, не останавливаясь».

Танки поднялись на возвышенность.

Виднелись улицы старого города, красные черепичные крыши, готические шпили костелов. Часов в шесть утра рабочий класс шел на работу, не обращая внимания на танковые колонны. Некоторые смеялись и, глядя на танки, крутили пальцем у виска. Но скоро прохожие становились другими; выходили на дорогу, окружали танки, мешали следованию, а в руках плакаты: «Возвращайтесь домой! Вам здесь нечего делать!», «Убирайтесь вон! Долой из Праги!».

Людей становилось все больше, трудно продвигаться. Медведев приказывает выстроить БТРы в три ряда, уступами, по ширине улицы, и идти на первой скорости поочередно. Когда прохожие одну машину держат, две другие продвигаются, потом подходит третья. У Медведева на БТРе люк открыт, он наблюдает за происходящим, высунувшись из машины. Кто-то схватил рукой его погоны. Прикрыв люк, он по радиации дает команду быть осторожными, ни в какие контакты не входить. У каждого задача скорее выйти к объекту, указанному кружком на карте. «Мы движемся к своему. Наконец, выходим в нужный район. Кругом толпы народа, полно наших войск. Я останавливаю бронетранспортер, спрыгиваю на площадь, зову к себе автоматчиков и десантников. Появляются человек десять. Я обвешан гранатами, рукава закатаны; со стороны, видимо, выгляжу, как фашист. Куда ни посмотрю, моей мэрии нет. Люди проходят мимо, смеются. А я смотрю карту: где же мой объект? Останавливаю прохожих, спрашиваю – молчат.

Наконец, из толпы выходит, идет мне навстречу старушка с интеллигентным лицом, в белом берете. «Вы ищете мэра? – говорит с акцентом по-русски. – Идите за мной, только на расстоянии, чтобы люди не подумали, что я вас веду. А то разорвут на части. Я вам рукой покажу». Мы проходим мимо Исторической библиотеки, памятника Яну Гусу, пересекаем Староместскую площадь, оказываемся у ратуши. Старушка незаметно делает мне знак рукой и исчезает в толпе».

Потом Медведев скажет, как трудно ему давалось понять ту седую чешку, когда на глазах охваченной ненавистью толпы, рискуя репутацией, а возможно и жизнью, она отважилась помочь советскому офицеру. Вряд ли ей нравились непрошенные войска, но над разными чувствами, ее охватившими, верх брало, видимо, ощущение стыда за внезапную дикость отношений между людьми, которые до этой проклятой ночи были братьями. Женщина страдала от людской озлобленности, независимо от того, на чьей стороне была правда.

«Я представитель Советской армии, мне приказано блокировать мэрию Праги», – сказал капитан Медведев приматору Людвигу Черному. Приматор сочувственно улыбался: капитан годился ему в сыновья. «Ну что же, малыш, пойдем ко мне!» Капитан взял с собой двух автоматчиков, остальных оставил у входа, приказав проверить и заблокировать все входы в здание. Поднялись на второй этаж. В кабинете приматор достал из буфета бутылку недопитого коньяка. «Мне нечем вас угостить, вы так рано пришли, обед подвезят позднее, но сегодня вряд ли будет обед, вы перекрыли все дороги». Капитан послал своего солдата принести поесть из полевой кухни. Солдат вернулся с буханкой черного хлеба, мясными консервами и флягой спирта. «Мы с приматором выпили и перекусили. Я говорю: пожалуйста, скажите своим служащим, чтобы никто из здания не выходил. У всех дверей мои часовые.

Давайте договоримся: мы будем здесь стоять, а вы будете выполнять свою работу».

Приматор продолжал улыбаться. «Вы же победители, малыш. Как у русских говорят: “Против силы не попрешь?” Спросил, сколько времени все это может продолжаться. А мы только пришли, сами ничего не знаем. Я поставил двух часовых у входа в кабинет и разрешил часовым выпускать мэра только в туалет напротив».

Медведев обошел ратушу, поднял с солдатами на крышу пулемет. Со всех соседних зданий свисали полотнища и содранные со стен бумажные обои с лозунгами, для российских глаз очень неприятными. «Загадили Прагу, теперь возвращайтесь загадить свою Москву!»

Капитан Медведев вышел на Староместскую площадь.

Потом газета «Праце» напишет, как в восемь утра у памятника Яну Гусу соберутся сотни пражан. «Чехословацкий солдат и человек в гражданской одежде подняли на памятнике чехословацкий государственный флаг. Прямо под башней Староместской ратуши заслуженная артистка Власта Храмостова говорит советскому капитану:

– Зачем вы пришли? Ведь вы наши друзья. А друзья не приходят в гости с оружием...

Проход на Староместскую площадь со стороны Целетной улицы закрыт советскими солдатами. Над головой величественного памятника Гусу развеваются знамена. На одном углу площади граждане поют национальный гимн. Дискуссия с советским капитаном продолжается. Он говорит:

– Все будет в порядке.

Люди возражают:

– Но когда? Только когда вы уйдете домой»¹³.

Рассказывает капитан Медведев:

«Мы сидим сутки, двое... На площади полно народу. Спим, кто где. Я на диванчике в кабинете мэра, он тоже в кабинете пристроился. Все в таком напряжении, что даже не помню, спали ли мы.

Однажды, это было на второй или третий день, я беседовал на площади с молодежью – что творится в Чехословакии и почему мы вошли. Беседы были до хрипоты, но мирно, никто ничего. Школьницы поднимались на броню к солдатам, разговаривали. А в нескольких шагах группа девушек лет семнадцати-восемнадцати, на глазах наших молоденьких солдат с неподражаемыми эротичными ужимками раздевалась до трусов, весело кричала и подпрыгивала. На солдат было невыносимо смотреть. Особенно на ребят из Средней Азии. Они угрюмо отворачивались, но плоть брала свое, и минуту спустя украдкой посматривали на грешное представление, пока не спохватывались. В это время из здания напротив ратуши раздался выстрел. Пуля задела ногу солдата, но не нашей, а соседней части. Подъехала машина, увезла раненого, но что тут началось! Со всех сторон солдаты мои и другие начали палить кто куда, вверх и вдоль площади поверх голов. Не знаю, как я уцелел, не попал под эти шальные пули. А тут еще танкисты заряжают орудие. Ну, думаю, не дай Бог. Это же ужас! Чехи стали прятаться под машины, на площади паника, стрельба идет сплошная. Рядом со мной солдат; диск один кончился, вытаскивает из сапога второй. Я ему: подожди! Стоп! Прекрати стрелять! Смотрю,

а пушка уже разворачивается. Бегу к ней... Кое-как все утихомирилось. Просто счастливая случайность, что никого не убили».

Три дня спустя в части капитана Медведева кончился паек. Приматор Черный отвел капитана в сторонку: «Что дальше будем делать, малыш? Хорошо, я посижу голодный, вы будете сидеть голодные. Но в мэрии есть женщины, у них дома дети». Медведев не знал, что делать, никакой связи с руководством армии. «Ну вот что, – предложил приматор, – давайте что-то предпринимать; я вас назначаю комендантом Праги».

Капитан тогда не знал, что командование группой войск назначило комендантом столицы и области генерала И.Л.Величко, командарма 20-й танковой армии. Забытый своим начальством, не имея представления, что вокруг происходит, Медведев стал строить планы, как навести в городе порядок. Чехословацкое руководство, по слухам, в полном составе вывезли в Москву. Управления частями фактически нет. «Не дай Бог, если бы чехи в те дни сплотились, как в свое время венгры, они перебили бы нас, и масса крови была бы», – будет вспоминать Медведев. А приматор повторяет: «Малыш, надо что-то делать. Я больше не могу держать здесь людей».

Медведев попросил связать его с советским посольством в Праге.

Трубку снял посол Червоненко. Так и так, говорит Медведев, я капитан, нахожусь у мэра города, здание блокировал, прошло три дня. Здесь много женщин – машинистки, уборщицы... Что делать дальше? Их выпускать? Держать? Ко мне обращается мэр: город остался без питания, машины не пропускают. Я мэру объяснил причину: бывают случаи, когда на продовольственных и санитарных машинах перевозят оружие, листовки. Но мэр спрашивает, что делать.

«Я не в курсе, что вы там находитесь, – отвечает посол. – Вы обращаетесь не по адресу». Медведев спрашивает: к кому же обращаться? Посол повесил трубку.

Приматор помог Медведеву еще раз позвонить в посольство, военному атташе. «Знаешь что, капитан, – сказал военный атташе, – я ничего тебе приказать не могу. Сам видишь, что происходит. Действуй по обстоятельствам». Капитан стоял перед приматором в растерянности, не зная, что делать со свалившейся на него властью. То, что он три дня слышал на площади от чехов, взбудораженных приходом войск, не испытывающих страха, а смеющихся ему в лицо, унижало его. Как хорошо, думал он, что все это не видят близкие люди на родине.

Медведев попросил у приматора список руководства мэрии. Принесли листок с семнадцатью именами. «Ну вот что, – сказал капитан, – я отпущу по домам ваших сотрудников на свой страх и риск, кроме этих семнадцати. Лично буду у дверей проверять пропуска».

Капитан уже был на грани нервного срыва, когда на четвертый день в мэрии появились трое советских чекистов. Они выслушали капитана и дали пачку чешских крон – купить в буфете продукты для подразделения.

«Чекисты расспрашивали, не проходит ли в ратуше четырнадцатый съезд КПЧ. Мы обошли ратушу, соседние здания, вместе искали место съезда и подпольные радиостанции, но ничего не обнаружили. Перед уходом чекисты потянулись к книге на моем столе. Я взял ее в Исторической библиотеке на площади. Это был красиво оформленный альбом эротических рисунков.

Один чекист сунул книгу под куртку. Куда, говорю, забираете, я обещал вернуть на место. «Капитан, – смеются, – ты молодой, обойдешься!»».

На седьмой день появился подполковник Иванов. Медведев к нему: «Что же вы нас забыли?» Да я сам, говорит, мотаюсь без еды.

Наконец, стали подвозить продукты. Солдатам и офицерам выдавали папиросы «Беломорканал», по куску хорошей колбасы.

Настроение сразу поднялось, но не успели солдаты насладиться жизнью, как их послали на бронетранспортерах блокировать Высшую партийную школу.

«Тут что-то не так, товарищ, сказал мне директор ВПШ. – Я коммунист с подпольным стажем, с фашистами воевал, но такого нигде не видел!» – «Да что случилось?» – «Пойдемте...» Мы пошли по общежитию. Кошмар какой-то. Столы сломаны, у стульев ножки и спинки перебиты, художественные полотна покорежены, валяются пустые бутылки, подушки порваны, по комнатам летают перья. Столовая посуда разбита, ложки, ножи, вилки забили канализацию. Погром! Конец света!

«Чья работа?» – спрашиваю. Директор опустил глаза. «Чья работа, спрашиваю?!» – «Отдыхали ваши десантники...»

На десятый день подполковник Иванов приехал, собрал всю нашу команду – пять офицеров: «А теперь домой. В Германию...» Нашли своего водителя и двинулись, откуда пришли. На дорогах не разберешь направления, мы долго плутали, пока не вышли на Карловы Вары. А там рукой подать до Германии, до нашей Северной группы войск».

...Эдуарда Александровича Медведева, служащего из Одессы, прилетевшего на пару дней в Москву, я увидел в октябре 1989 года в редакции «Известий». Подполковник запаса, он десять лет как уволился из армии. После возвращения на родину в его переживаниях еще долго доминировали пражские видения: раздавленная под Прагой девочка, учиненный десантниками погром в гостинице ВПШ, стрельба на Староместской площади, смеющиеся глаза Людвика Черного, хороводы обнаженных чешек, смущавших солдат. Воспоминания, говорит, нарушают душевный покой, не дают спать. Смутная тревога распирает грудь, когда он слышит звук идущего на посадку самолета или лязг гусениц по бетонной дороге.

Психологи говорят, что легко отличают солдат Отечественной войны от солдат, вернувшихся из Афганистана: когда заходит речь о войне, у них разные глаза.

Я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, какие глаза у солдат, успешно выполнивших свой долг в Чехословакии.

Они глаза опускают.

В навязчивых видениях, приходивших к Медведеву, загадочной оставалась улыбка приматора Людвика Черного. Почему хозяин миллионного города, одной из самых красивых столиц Европы, был с ним так спокоен и деликатен, и молодой оккупант, как на площади кричали капитану в лицо, для приматора был только малыш, чьи проказы вызывают не страх, а жалость?

В манерах приматора не было растерянности перед грубой силой; напротив, он светился спокойным и потому еще более очевидным превосходством, объяснить которое капитан себе не мог. Только много лет спустя, когда в СССР все переменялось, стали доступны запретные прежде книги,

свободнее стали поездки за рубеж, перебирая в памяти чехословацкие события, капитан стал думать о том, что в пражской ратуше с ним рядом был человек, выросший в другой культуре. Даже на площади огромная толпа, возмущаясь, протестуя, ненавидя чужих солдат, почему-то не рвала на груди рубахи, не хваталась за дреколья, но смотрела вокруг с таким спокойным презрением, будто каждый с молоком матери усвоил стоящую перед малочисленным народом историческую сверхзадачу: самосохранение нации.

Но как понять постоянную улыбку приматора?

Не прошло двух лет после моих встреч с Медведевым в Москве, как в мае 1991 года по журналистским делам я снова оказался в Праге и, пользуясь случаем, пытался что-нибудь разузнать о приматоре Людвике Черном. Это было нетрудно, тут помнят старого человека, как в свое время ему доставалось за неудобные маршруты трамвая, снос старых домов, очереди на получение новых квартир, за массу других неотвратимостей в бережно хранимом древнем городе. Большинство говорило о приматоре с почтением: новые квартиры при нем получали каждый год сорок пять – пятьдесят тысяч семей, а в 1968 году при советской поддержке город стал строить метрополитен. И у всех в памяти, как утром 21 августа, когда мэрию контролировали солдаты капитана Медведева, приматор и его сотрудники нашли способ передать через газету призыв к городу сохранять порядок, и призыв был услышан.

В первые часы после вхождения войск были уничтожены или повреждены с десятков трамвайных составов и почти два десятка маршрутных автобусов, остановилось движение городского транспорта; национальное предприятие «Бензина» оказалось под началом вошедших войск, и на заправочные станции перестало поступать топливо. Самое обидное было, говорили мне, получить это от большого славянского брата. Но Прага все пережила, встряхнулась, старается забыть.

Мои друзья без труда отыскали в городе Людвика Черного, теперь главу чехословацкой торгово-промышленной палаты, и мы поехали к нему.

Сидим в большом кабинете.

Улыбка не сходит с лица Людвика Черного.

Он помнит появление капитана Медведева. «Приказом командования ратуша берется под охрану», – сказал капитан. Я ответил, – пожалуйста, но что это значит? Капитан объяснил: никто не может выходить из ратуши или входить в нее. Я изумился: здесь городской национальный комитет, работает много людей, еще больше приходят в ратушу по неотложным делам. Капитан сказал, что должен выполнять приказ. Но были женщины, у них дома дети. Он был великодушным, разрешил женщинам разойтись по домам. Я тогда подумал, что капитан все-таки рос в хорошей семье и у него была мама».

На второй или третий день в ратушу поднялись советские генералы, их сопровождали автоматчики. Надо было обсудить ситуацию в городе. Предприятия не работают, транспорт стоит, пекарни без муки, все перекрестки забиты танками. Сели обсуждать, как наладить подачу электроэнергии, развоз продуктов по магазинам, пропуск машин «скорой помощи»... Один из генералов (приматор не запомнил имя) потребовал устроить на Староместской площади митинг чехословацко-советской дружбы с участием московского ансамбля песни и пляски. Приматор долго подбирал слова поделикатнее, объясняя соудругу генералу, что сейчас не лучшее время для концерта. Генерал удивился: «Это зря, отличный ансамбль!» Потом спохватился: «Ну,

да! Я не сказал главное. Это будет шефский концерт. Бесплатно!»

Появился генерал-лейтенант И.Л.Величко, просит помочь солдатам помыться, постирать белье. «И хотя молодежь на улицах скандировала: “Ни один волос не упадет с головы оккупантов, но они не получают и глотка воды!”, было бы недостойным унижать обманутых молодых солдат, часто выходцев из деревни, не вполне понимающих, зачем их сюда привезли. Они тоже были заложниками, даже в большей мере, чем чехи, мы же у себя дома. Я дал городским баням указание по ночам принимать советских солдат». На это решение, с которым не все в городе были согласны, повлиял один момент. Генерал Величко воевал за освобождение Словакии. Я не знаю, что с ним стало, говорит приматор, но что бы ни произошло, «нельзя потерять память и стать неблагодарным».

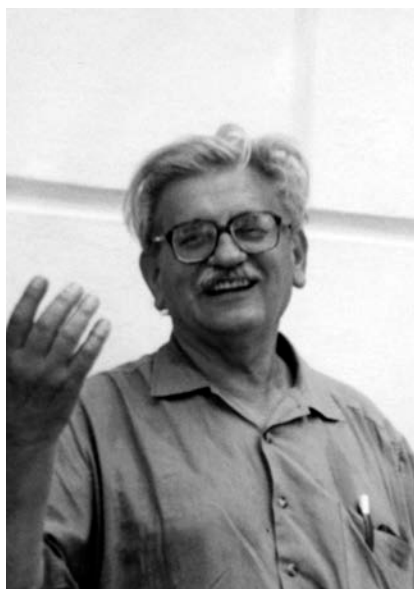
Я спрашиваю, каким в его памяти остался капитан Медведев. «Что я могу испытывать к молодому человеку, вполне простодушному. Он плохо представлял, в игру каких политических сил был вовлечен. И если поступал не лучшим образом, то не от злобы, а от доверчивой натуры. Он видел мир глазами политработников и советских газет. Держа нас под арестом в мэрии и колеблясь, отпускать или нет женщин к детям, он твердо знал, что защищает великое дело Ленина и мировой коммунизм. Я не мог ему помочь, оставалось жалеть, как ребенка.

Однажды на Староместской площади у памятника Яну Гусу я рассказал капитану известную легенду о том, как нашего национального героя сжигали на костре. Когда занялся огонь, одна добрая старушка, желая сделать богоугодное дело, подбросила в костер и свою вязанку дров. Ян Гус ей улыбнулся: “О, святая простота...” Капитан Медведев, я думаю, тогда был слишком молод, чтобы понять грустную улыбку Яна Гуса»¹⁴.

Фотографии к главе 5



Десантник Валерий Нефедов (7-я воздушно-десантная дивизия), первый из участников вторжения, кто в августе 1989 года публично, через газету «Известия», произнес слова, на которые не решались руководители СССР: «Прости нас, Прага...»



Людвик Вацулик в 1968 м в 1998-м: «Дубчек и его окружение не были обмануты, они все знали заранее. Они были изнасилованы...»

Глава шестая

«Свои взгляды как перчатки не меняю...»

Член Политбюро Мазуров: «Самое главное не то, что я вернулся, а то, что ни одного чеха не похоронил». Стычки в окружении Брежнева. Генерал Павловский взгляды не меняет. «Кого бояться? Силу!» Чего стыдился под конец жизни командарм Майоров. Комендант Брно Иванов не хотел бы снова начинать от Сталинграда. Причина бессонницы генерала Левченко

В полдень 20 августа на заседании Политбюро Брежнев сказал: «Надо послать в Прагу одного из нас. Военные там могут натворить такое...» Взгляд пошел по лицам; соратники втянули головы в плечи. Глаза остановились на Мазурове. «Пусть полетит Мазуров». Все поддержали дружно и поспешно. Как потом мне скажет Мазуров, «были страшно довольны, что не они» ¹. В день ввода войск члены руководства едва стояли на ногах, почти неделю никто не спал. Решение о начале военной операции вызвало вздох облегчения: наконец-то! Все сомнения позади, стало ясно, что делать.

Никто не знает, чем руководствовался Брежнев, предложив отправить в Прагу Кирилла Трофимовича Мазурова, члена Политбюро, первого заместителя председателя Совета министров СССР. Возможно, держал в памяти его военное прошлое, близкие связи с армией, уравновешенность характера, спокойствие. Был поздний вечер, когда Мазуров приехал домой, позвонил на аэродром, в авиаотряд, который обслуживал высшее руководство, чтобы готовили вылет, разбудил Янину Стефановну. «Срочная командировка... в Киргизию». Ни к чему жену волновать. Узкий круг посвященных будет держать язык за зубами двадцать один год. О том, куда отправлялся муж в августе 1968-го, Янина Стефановна узнает незадолго до его смерти.

Полет Мазурова в Прагу был государственной тайной; самолет взял

курс на запад в три часа ночи. В послевоенной Европе ни на один аэродром не было столько приземлений на единицу времени, как в ту ночь на Прагу. Военные самолеты с десантниками несло, как тучи хвойных игл. Самолет с Мазуровым и его помощником Михайловым долго кружил над аэродромом Рузине, ожидая, пока спрыгнувшие советские и болгарские десантники из приземлявшихся и сразу взлетающих военных самолетов на пару минут освободят полосу.

Когда машина везла Мазурова и его сопровождающих с аэродрома в Прагу, в посольство, они увидели на дорогах танковые части. Город еще спал... Скрежет гусениц, запах танковой гари... «Я же в войну был танкист, и теперь вернулось ощущение, что я среди своих. Война! А это для меня дом родной».

Это я услышал от Мазурова в первых числах августа 1989 года, когда мне позволено было навестить его в одной из московских больниц. От внешнего мира его строго оберегали кремлевские врачи и Янина Стефановна, безотлучно находившаяся при муже. Почти четверть века этот человек работал рядом с Брежневым, был уважаемым политическим деятелем. Из белорусской глубинки, из гомельской крестьянской семьи, он прошел войну от политрука роты до инструктора политотдела армии, был дважды ранен, после излечения стал организатором партизанского движения в родных лесах, потом руководил коммунистами Белоруссии.

Теперь на двух больничных подушках, чтобы повыше было, лежал сидящий человек, сохранивший в свои семьдесят пять хорошую память. Я благодарен Кириллу Трофимовичу и Янине Стефановне, позволивших мне в наброшенном на плечи белом халате присесть на табурет рядом с его белой кроватью. Мазуров впервые согласился рассказать о том, как в форме армейского полковника, под придуманным им именем Трофимова (в Праге его звали генерал Трофимов) член высшего советского руководства, тайно прилетев в Чехословакию, первую неделю после ввода войск держал в своих руках всю полноту власти, в том числе над посольством и армиями. Впервые в истории советского государства (и в последний раз) деятель Кремля, чьи портреты народ носил на демонстрациях, скрытно прибыл в другую страну, чтобы под чужим именем руководить военно-политическими событиями, в которые были вовлечены шесть стран Европы.

Мазурова не смущал мой диктофон, но с присущей ему основательностью он хотел, опережая вопросы, чтобы собеседник представлял общую ситуацию, как она складывалась или, по крайней мере, какой виделась членам Политбюро, когда они решали, вводить или не вводить войска. Все думали, настаивал он, не столько об интересах своей страны, сколько о судьбах мировой системы социализма; за нее была ответственность перед историей.

За больничными стенами лежала перестроечная Москва, начинавшая отвыкать от партийной риторики застойного времени; многие вчерашние партийные боссы торопливо открещивались от прошлого, надеясь удержаться в настоящем, но человек на больничной кровати, не страшась показаться консервативным, сразу сказал: «Вы хотите спросить: согласился бы я сегодня руководить подобной операцией? Нет! Но в конкретной обстановке августа 1968 года я поступал согласно убеждениям, и если бы сегодня та ситуация повторилась, вел бы себя так же». Попытаюсь с максимальным приближением к услышанному представить обстановку в Европе ко времени

вторжения в Чехословакию. Не как ее оценивали в уже перестроечные времена, когда выводились войска из Афганистана и уходили в небытие противники Пражской весны, а в интерпретации Мазурова, как она виделась окружению Брежнева, когда качались чаши весов: вводить или не вводить.

Шестидесятые годы, говорит Мазуров, высший накал «холодной войны». Мир социализма походил на растревоженный улей: западные немцы давят на восточных, идет перекачка умов из ГДР в ФРГ, под угрозой экономика Восточной Германии. Межгерманскую границу решили сделать непроницаемой, подняли берлинскую стену. Тем временем советские ракеты везут морем на Кубу, возникает карибский кризис, страшнейший накал страстей. Появилась надежда на встречу советского руководства с американским президентом, но полет Пауэрса над сибирскими лесами ломает расчеты. Тут еще арабо-израильская война, горечь от поражения поддерживаемых Москвою арабов, позорящих в своих песках советские танки и оружие. А разведка сообщает о планах американского ядерного нападения на Советский Союз, на страны Варшавского пакта. Одно к одному!

Мировой империализм берет курс на разложение социалистических государств изнутри. Начинают с Чехословакии – центр Европы, экономически развитая страна, с большими демократическими и культурными традициями. Сами чехи дали Западу повод для надежд; во власти много социал-демократов, представителей других партий, им не нравится, что страна бездумно копирует советский опыт в управлении, культуре, образовании. Коммунисты признали несостоятельность Новотного, выдвинули в руководство новых людей. В частности, молодого Дубчека; он казался «своим», воспитывался в СССР. Но на вершине чехословацкой власти еще оставались Кригель, Смирковский, Цисарж и другие, люди старшего поколения, резкие в суждениях, часто упрямые, кремлевским идеологам неприятные.

«Под флагом критики деформаций прошлого в Чехословакии шло внедрение антисоциалистических лозунгов. Газеты писали не все, но из закрытых источников мы представляли, что чехи думают. Верх брали силы, утверждавшие, что советский опыт ошибочен и надо ориентироваться на Запад. Это при том, что мы еще при Хрущеве признали право каждой партии, каждой страны на собственный путь. Об этом знали югославы, мы никому и ничего не хотели навязывать. В этой обстановке, когда со всех сторон давят, единственное наше желание было – сплотиться, выдержать, не допустить войну, всем уцелеть. А если потребуется, дать совместный отпор.

Именно в это время в Чехословакии поднимается активная антисоветская кампания, руководство партии выпускает из рук средства массовой информации. Дубчек 1968 года, в силу своего характера, как человек бесхребетный, превращается в чехословацкого Керенского, каким тот был в февральскую революцию 1917 года в России. Мы должны были что-то делать...»

Мазуров напряженно смотрит на Янину Стефановну, сидящую на краю постели, словно впервые объясняет ей и самому себе, как он оказался в эпицентре событий, которые на склоне лет можно понимать, но не приходится гордиться.

«Я не люблю сослагательного наклонения, но предположим, что в Чехословакии возникает буржуазная республика, она выходит из Варшавского договора, допускает к себе немцев, а ФРГ, вопреки Потсдамским соглашениям, уже вооружена до зубов. За ними двинутся американцы, и наши армии

будут стоять друг против друга не у Карловых Вар, а под Львовом. Это было для нас недопустимо. Опасная обстановка, честно вам скажу. Мы уже знали, куда и сколько бомб на нас предполагают бросить, у нас для ответа столько не было. Мы могли устрашать, кое-что сбросить на них, но разве столько? Надо было все это пресечь и наглухо закрыть границы стран Варшавского договора»².

Взглянув на часы, Янина Стефановна принесла мужу таблетки, он принял, отдышался, заговорил снова. Брежнев ему рассказывал о встрече с чехословацкой делегацией в Дрездене. «Когда Дубчеку напоминали об обязательствах проводить согласованную политику, в ответ слышали: “Да вы что, у нас все в порядке, мало ли о чем пишет молодежь...” Чехословацкие дипломаты поговаривали о выходе из Варшавского договора, на беспокойства из Москвы – никакого внимания. В июле началась чехарда в правительстве. Из 39 членов правительства заменили 29 человек; приходят новые люди, среди них социал-демократы. Открываются границы с Австрией и ФРГ, оттуда судетские немцы устремляются в Чехословакию. В июле в Карловых Варах отдыхает Косыгин. Видит, там вакханалия. Буквально фашисты по улицам расхаживают, горланят: “Это не Карловы Вары. Это Карлсбад! Пусть русские уйдут!”. Косыгин прекращает отпуск и возвращается в Москву. Товарищи, говорит, это не журналисты, не дипломаты пишут, я своими глазами это видел. Надо что-то делать!»

Решили собраться еще раз в Варшаве. Лидеры блока согласились, чехословаки отказались. На варшавской встрече выработали совместное письмо, указали на действия чехословацких контрреволюционных организаций. Дубчек письмо скрыл, никому не показал. Наши снова ему предложили: может, вам неудобно встречаться с делегациями всех братских партий, проведем двустороннюю встречу – Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ. Где хотите, можно на вашей территории. Согласились на Чиерну-над-Тисой».

Мазуров любил Чехословакию, много раз бывал там, начиная с 1947 года, когда участвовал в Конгрессе федерации демократической молодежи. «Мы просили о приеме у президента Э.Бенеша, он не принял, а Готвальд, тогда председатель правительства, демонстративно пригласил к себе. Потом я ездил часто, и лечился, и к друзьям. И вот, когда мы прибыли в Чиерну-над-Тисой, наши четыре вагона с руководством, помощниками, стенографистками, машинистками, охраной и т.д. несколько часов стояли на станции, никто поезд не встречал. Нам говорили, не успели подготовить помещение. Ничего, отвечаем, проведем переговоры в вагоне поезда. Чехи возражают: в вашем вагоне неудобно, в нашем тоже. Ну, говорим, давайте на улице поговорим. Наконец, нашли помещение. Среди чехов было несколько человек, которые все прекрасно понимали. Они шептали нам: если бы мы вам все рассказали, чего вы не знаете, нам было бы невозможно возвращаться домой.

А Дубчек свое: “Ну что вы, товарищи, ничего опасного не происходит. Мы строим социализм с человеческим лицом”. Все-таки договорились о принципиальных позициях: они берут под свой контроль средства массовой информации, прекращают выпады против Советского Союза и Варшавского договора. В общем, холодная была встреча. Наши друзья держались отдельной кучкой – Биляк, Индра, Кольдер, Швестка... Мы уезжали побитые, измазанные грязью, никто не спал до самой Москвы. Нас же принимали за дурач-

ков: “Ну что вы, товарищи, возможно, где-то есть у нас подполье, а где его нет...” Мы говорим: у нас, если есть контрреволюция, мы сразу вскрываем, а вы даете ей трибуну!»

Мазуров отдышался.

«Говорят – “доктрина Брежнева”. Такой доктрины не было и быть не могло. Если начистоту, более острую позицию, чем Брежнев, занимали Ульбрихт, Гомулка, Живков. Кадар был человек принципиальный, и он в этой ситуации колебался. Даже Тито колебался, хотя ему импонировало, что Чехословакия держит курс на Запад. Он сначала с нами спорил, телеграммы посылал, потом признал, что дело, конечно, дошло до недопустимого. Брежнев, Косыгин, Подгорный постоянно звонили главам братских стран, всех информировали о происходящем. Те настаивали: надо вмешиваться».

Спрашиваю Мазурова, кому первому пришла мысль о военном вмешательстве.

«Не знаю, точно могу сказать: не мне. Но если бы у меня возникла такая идея, я все же не играл в Политбюро ведущей роли, чтобы ее озвучивать. Доверенными лицами у нас были четверо: Брежнев, Косыгин, Громыко, Гречко. Чекистов, я точно помню, никуда не приглашали. Они свое дело делали и общались, что нужно было. Позиция Андропова не отличалась от моей; после венгерских событий он чувствовал ситуацию острее многих».

Гомулка и Ульбрихт постоянно звонили по ВЧ, бились в истерике: надо скорее что-то делать! Я больше чем уверен: идею ввода войск подал кто-то из них. Но если бы в той ситуации спросили меня, надо ли вводить войска, я бы тоже ответил: надо! Но меня никто не спрашивал. Я просто поддерживал эту идею».

Мазуров вспомнил Людвика Свободу. Советское руководство постоянно к нему обращалось, находило у него поддержку, а он повторял: чехословаки приемлют только демократические методы решения политических вопросов, это старая традиция, и он ничего иного позволить не может. «Но армия, – говорил он, – пока я жив, не будет выступать против Советов, против Варшавского договора».

Неделю перед вводом войск, продолжает Мазуров, почти никто не спал, расходились по кабинетам, с минуты на минуту ждали в Праге контрреволюционный переворот. «Там все для этого созрело, но, может быть, струсили».

В последние часы перед отлетом из Москвы Мазуров разговаривал с Брежневым, Косыгиным, Гречко. Министр обороны улыбался: «Ну, ты в этих делах понимаешь больше, чем я. Давай сам действуй». Моя главная задача была – уберечь наших солдат от стрельбы. Мы делали все, что могли. Политработники с ног сбивались. У меня был джип, я в форме полковника носился по городу. На площадях солдат оплевывали, писали на броне черт знает что, бросали в них помидоры. Я вам скажу: солдаты, которые все это выдержали, – герои. В Праге я сказал генералу Павловскому, поставленному во главе союзных армий: «Если хоть один наш солдат выстрелит, ты будешь первый расстрелян». Это, как говорится, не для печати.

В Праге мне дали в адъютанты старшего лейтенанта, фамилию не вспомню. Он со мной на джипе все время ездил. Когда мне исполнилось 60 лет и в печати появился указ о моем награждении, он мне прислал трога-

тельное письмо, а подписался так: «адъютант, который вас сопровождал в Праге».

Янина Стефановна повернулась ко мне: «Адъютант еще написал, что никогда не думал, что такие люди, как Кирилл Трофимович, бывают на свете, и если бы сказали отдать за него жизнь, он бы это сделал, не задумываясь».

Кирилл Трофимович стал тяжело дышать, глаза наполнились слезами. Янина Стефановна успокоила мужа и полотенцем вытерла ему лицо.

От событий 1968 года нас отделяли два десятка лет, срок достаточный, чтобы осмыслить, что произошло с нами и со страной. Мы проиграли «холодную войну», армия ушла из Афганистана, приближался распад великой империи. Мазуров был не глупее других и прощался, не скрывая слез, с мифом о непобедимости родной страны, дорогих ему коммунистических идей, с мыслью о нашем мессианском предназначении. Прага первой поколебала эту систему мышления.

Некоторое время спустя Мазуров продолжал:

«Разве можно сравнивать Чехословакию и Афганистан? Не буду вам говорить свое мнение об Афганистане. Я был ошарашен, когда там произошла революция, мы все были ошарашены. И кто ее сделал, до сих пор не понимаю. Мне неизвестно, кто вводил туда войска, но честно скажу: на мой взгляд, это была ошибка. Я раза три был в Афганистане. У меня были хорошие отношения с королем Мухаммедом Захир Шахом, мы с ним одногодки, я очень уважал его и он меня. И когда по радио сообщили, что мы ввели туда войска, я жене сказал: “Большей глупости мы пока не делали”».

Вторжение в Чехословакию Мазуров («генерал Трофимов») подобной глупостью не считает. «У наших офицеров никакого упадничества, никакого сомнения, что мы неправильно что-то делаем, не было. А солдаты, видя отношение к ним, просто дрожали, у всех же автоматы, а отвечать нельзя. Солдаты стояли у танков, стояли у входа в музей, где хранились ценности. Стояли как часовые. На них плевали, над ними издевались. “Рязанская рожа, чего сюда приехал, кто тебя звал?” Много отпрысков из белогвардейских семей, они тоже измывались над нашими солдатами. Но не было ни одного случая, мне все докладывали, чтобы кто-то из солдат не выдержал. Тогда другие были солдаты и дисциплина другая была.

Я выехал на своем “газике” на Вацлавскую площадь. Вся площадь запружена людьми. Меня окружили “волосатики”, тогда молодежь бороды носила, модно это было, подошли к машине вплотную и не отпускали. Плюют на машину, что-то кричат. Машина закрыта. Я им пальцем показывал: мол, чудаки вы! Не знаю, что было бы, если бы на помощь не подоспел танк, не освободил проезд».

– У вас при себе было оружие? – спрашиваю я.

– На всякий случай. У адъютанта автомат, у меня пистолет.

Но что бы мы могли сделать, если бы на нас напали?

– Был только адъютант?

– Чем меньше в машине людей, тем безопаснее. А потом: я в жизни ничего не боялся.

Мазуров и с президентом Свободой встретился, как генерал Трофимов. Предложил ему свой самолет для полета в Москву. Президент говорил: «Дубчек себя полностью скомпрометировал, надо его менять». И предложил Черника. «Но наши прикинули: Черник – председатель правительства, пусть останется, а на место Дубчека есть другая кандидатура – Густав Гусак. Я его плохо знал, его имя назвал Червоненко. Организатор компартии Словакии, руководитель словацкого национального восстания 1944 года. Десять лет отсидел при Сталине, после выхода из тюрьмы был преподавателем. Уважаемый человек. Когда мы назвали его, сомнение было только у Свободы. На пост первого секретаря ЦК партии, говорил он, все же желательно избрать чеха. Но потом согласился. Я распорядился: найти Гусака. За ним послали в Братиславу самолет, наши военные его нашли и доставили в Прагу. Мы с ним познакомились, а 23 августа вместе со Свободой отправили в Москву. Он летел на переговоры, фактически на смотрины. Всем понравился, скромный такой человек».

В Праге Мазуров жил в посольстве.

Червоненко предложил ему остановиться у себя в резиденции, во дворе посольства, тем более что жену отправил в Москву, оставался в большой квартире один. Мазуров предпочел маленькую комнату в посольстве рядом с кабинетом посла, здесь было больше возможностей для оперативной связи. Поставили раскладушку. Рядом был штаб войск и штаб чехословацкого руководства – тех, кто выбрал посольство местом своего временного убежища.

Возбужденный происходящим, Мазуров особенно остро переживал развал в городе, нарушение нормального хода вещей. Замерла работа учреждений, закрылись многие магазины и кафе, на улицах люди выстраивались в длинные очереди за хлебом, сахаром, консервами. Такого Прага не видела со времен войны. Мазуров приказал генерал-лейтенанту И.Величко, назначенному военным комендантом столицы и Среднечешской области: «Что угодно делай, с помощью чехословацких товарищей вытаскивай завмагов из квартир, но заставь прекратить саботаж, открыть магазины, чтобы люди не голодали!»

Он спал в сутки, может быть, часа полтора. По ночам стрельба стояла невероятная. По несколько раз в день по ВЧ Мазуров информировал Москву об обстановке. Шифровки шли от него и через него. Если по государственным делам, они подписывали вдвоем с Червоненко, если по военным – подписывал он один. В Чехословакию вошли две-три танковые дивизии, около сотни танков. Прежде всего их поставили вдоль германской и австрийской границы.

«Генералам Ямщикову и Величко я дал указание увести танки с городских улиц и площадей. Уничтожить танки в городе плевое дело, только сбросить с крыш зажигательные бомбы. А их поставили вдоль тротуаров!»

Мазуров сообщил Москве о «происках контрреволюции» и попросил прислать в Прагу группу журналистов с типографским оборудованием для издания листовок и газет на чешском языке. Группу возглавил А.Н.Яковлев, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.

Чтобы дать мужу отдохнуть, прикрыть глаза, Янина Стефановна вмешалась в разговор: «Почему никто не напишет, как нам непросто было отдать Чехословакию, мы столько в нее вложили. Освобождали от фашизма, а у самих столько было бед, столько жертв. И в индустриализации, и в коллек-

тивизации, и тридцать седьмой год. И война! Наши люди еще не видели настоящей жизни. Семьдесят лет столько мучаемся. И все было напрасно, все теперь отдать?»

Мазуров снова открыл глаза:

«Да и теперь на нашего брата косятся, на мозоли наступают. Вы, наверно, слышали, я на съезде говорил: это же позорище, когда наших людей, ветеранов, которые прошли через такие лишения, подвергались репрессиям, на них давили кто как хотел, они жили впроголодь, воевали, кровь проливали, но выжили, отстроили Советский Союз, а их теперь даже в очередь не пускают лишний кусок мыла купить. Что это за порядки?»

...Мазуров вернулся из Праги в Москву во вторник 27 августа. Спал, не просыпаясь, целые сутки. В четверг докладывал о положении членам Политбюро. «Брежнев был в эйфории: подписали с чехословаками московский протокол, и слава Богу, все кончилось. Хотя я понимал, что кончилось далеко не все. Но Брежнев имел в виду, что все-таки предотвратили гражданскую войну». Я спросил Кирилла Трофимовича, мог ли он отказаться от полета в Прагу. Он ответил: «Не мог. Я человек убеждений, и свои взгляды как перчатки не меняю».

А жене скажет: «Самое главное не то, что я тогда вернулся, а то, что вернулся чистым, без крови, ни одного чеха не похоронил».

Пора было прощаться.

«Вот я с вами поговорил, теперь придется несколько часов лежать, отлеживаться... Но мне надо было когда-то выговориться. Я вам первому все это рассказываю. Никому и никогда об этом не говорил».

Кирилла Трофимовича Мазурова не стало четыре месяца спустя, 19 декабря 1989 года, на 76-м году жизни. Его похоронили со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

В коридорах ЦК КПСС на Старой площади в международных отделах (заместители заведующих, руководители секторов, консультанты, референты, инструкторы) работали люди, в большинстве хорошо подготовленные, разные по характеру и темпераменту, иногда не терпевшие друг друга, но решение о вводе войск в Чехословакию ошеломило почти всех. Приветствовали незыблемые ортодоксы, но остальные, кто мог близко наблюдать Брежнева, видели в этом решении не столько внешнеполитический аспект, сколько настораживающий внутривластный. Акция по обузданию одной из старейших братских партий и народа, поддерживающего реформаторов, в случае успеха укрепила бы авторитет Брежнева как лидера мирового коммунистического движения.

В майские дни 1968 года в подмосковном охотничьем хозяйстве Завидово, где готовились важнейшие партийные документы, помощник генерального секретаря А.М. Александров-Агентов вдруг сказал консультанту международного отдела А.С.Черняеву: «А что... может, и войска придется вводить!» И когда опешивший Черняев назвал идею кошмаром, помощник Брежнева вскипел: «Вы предлагаете отдать Чехословакию империализму?! Чтобы пошло-поехало: домино?! И вас устраивает, как там всякие подлецы поносят Советский Союз и социализм?! Вы это предлагаете терпеть и утираться?! Я удивляюсь, что такие люди находятся здесь, среди нас, возле ге-

нерального секретаря...»³

С Анатолием Сергеевичем Черняевым мы познакомились на похоронах близкого нам обоим Александра Бовина. Они вместе работали в международных отделах ЦК КПСС, ценили порядочность и философский склад ума друг друга. В те печальные дни прощания он вспомнил, как во времена чехословацкого кризиса, когда его охватило отчаяние и он собирался бросить партбилет, шагнуть в бездну, его остановил Бовин: «Что ты можешь? Что все мы можем? Если хочешь что-то делать, давай подключайся...» Бовин тогда пытался подготовить для «верха» бумагу, хоть в какой-то мере содержащую здравый смысл, правду о событиях в Чехословакии.

Стычки в окружении Брежнева между людьми, с ним завтракающими и проводящими время в бильярдной, занятыми подготовкой его докладов и выступлений, выдавали разные, иногда непримиримые мировосприятия, но всем надо было демонстрировать перед лицом взбудораженных братских партий непоколебимое единство. Как признается Черняев, в шифровках послам, в беседах с нахлынувшими в Москву встревоженными делегациями приходилось основательно изворачиваться и врать. Это было трудное испытание, когда честным и порядочным людям, в том числе прошедшим войну, приходилось делать страшный выбор между чувством правды и чувством самосохранения. Все бросить и уйти – куда? На что жить и содержать семью? Ответственные сотрудники партийного аппарата, имеющие кое-какой вес и влияние, оказались в ситуации, когда бессилие что-либо предотвратить оставляло им единственную возможность сохранить самоуважение – прямо в подготовке вторжения не участвовать. Свое неучастие, иногда невольное, многими потом воспринималось как форма протеста. Объективная роль самых совестливых из партийных функционеров среднего звена определялась двумя моментами.

Во-первых, имея широкие связи с коммунистическим и рабочим движением, даже изворачиваясь, они так или иначе демонстрировали отсутствие энтузиазма и свое пассивное сопротивление постыдной для них акции.

Во-вторых, вхожие в круги московской творческой и научной демократической интеллигенции, имея там друзей, которым доверяли и которые к ним прислушивались, своим скептическим отношением к акции они через интеллигенцию хоть как-то влияли на умонастроение масс; во всяком случае, разрушали миф о единстве партии и мудрости ее политики.

Тогда Черняев сказал дочери-школьнице: «Запомни, мы совершили страшное преступление. Нам не простят этого и за сто лет. Оно ляжет позором на русских, на нашу страну, на нашу историю. И что бы потом мы ни делали, проказа от этого преступления будет разъедать все»⁴.

«Хорошо, – согласится генерал Павловский, – я расскажу, как вводились войска, но хотел бы, чтобы вы начинали не с меня. Я был исполнитель, назначенный за три дня до операции. А начинать надо с маршала И.И.Якубовского: под его руководством велась подготовка, он должен был вводить, но 16 или 17 августа меня, главкома сухопутных войск, вызывает маршал Гречко: «Отправляйся в Польшу, в Легнице, в Северную группу войск. Осуществишь интернациональную помощь Чехословакии». Я слышал об этом городке в юго-западной части Польши, когда-то поляки и немцы там преградили путь коннице хана Батыя. Но я, говорю, даже не знаю, где и

сколько войск. «В Легнице маршал Якубовский, это ему поручалось. А видишь, какое дело, он главнокомандующий армиями стран Варшавского договора, ему не совсем удобно, если он будет вводить к чехам войска союзников. Мы сами дадим команду на ввод, все двинется, твое дело следить за выполнением»⁵.

Мы говорим с генералом армии Иваном Григорьевичем Павловским.

В Легнице генерал и маршал встретились. Якубовский показал на карте расположение дивизий, с какого направления выходят, какие позиции занимают, но в голосе была обида. «Слушай, а зачем ты прилетел? Мне не доверяют, что ли?» Павловский пожал плечами: «Ты поговори с министром или с кем повыше, кто решил в эту историю тебя не впутывать». Разговор не задел Павловского, каких-либо угрызений он не испытывал. Когда начальник поставил задачу, нечего задавать вопросы, нужно выполнять. «Никаких других ощущений у меня не было. Якубовский сидел в кабинете командующего группой войск, а я занял соседний кабинет – начальника штаба. И всю ночь принимал доклады командиров частей о готовности».

К 1960-м годам в армейской среде сложился особый тип военачальника: маршал или генерал, в возрасте между сорока и сорока пятью, молодым прошел войну, закончил военную академию; приближен к власти, имеет связи в армейской среде, свою машину и дачу. Он причислен к советской элите, может наедине возразить первым лицам страны, но когда решение принято, будет выполнять истово. Военным приходится поражать ракетой самолет-шпион, залповым огнем отбрасывать соседние пограничные части со спорного речного островка, в другой стране (или в своей) подавлять народное восстание. Все надо делать своими руками, предоставляя штатским людям спорить и судить о последствиях. И выломиться из этой системы мало желающих⁶.

После подавления венгерского восстания Советская армия восемь лет ждала повода снова громко напомнить обществу о себе. На Хрущева надежды не было; в последние годы правления своим крепким мужицким умом он задумал чуть притормозить непомерные армейские траты, уменьшить военную составляющую экономики. Кадровым офицерам снижали пенсии по старости и выслуге лет. Известие о смене власти в стране в октябре 1964 года военные восприняли с облегчением и надеждами. С Брежневым к руководству пришли соратники, близкие к военно-промышленному комплексу и к органам безопасности. Наряду с другими вариантами они вынашивали план военного вторжения в Чехословакию. Во времена Пражской весны разработки штабистов использовались военными как один из инструментов психического давления на политическое руководство страны.

Высшему военному командованию были чужды идеи чехословацких реформаторов. Это были разные люди, в том числе прославленные военачальники, доказавшие мужество в боях, и даже самые сдержанные, с кем я в разное время разговаривал, поддерживали вторжение в Чехословакию убежденно, искренне, с гордостью за успешную операцию.

В полночь с 20 на 21 августа войска пошли.

Около часа ночи в кабинет Павловского в Легнице позвонил министр Гречко: «Как дела?» Генерал доложил, где какие дивизии находятся. Темпы движения, к сожалению, отстают от намеченных. Чехи валят деревья и перекрывают дороги. Войска препятствия обходят, строго выполняя приказ: ни-

каких стрельб!

«Слушай, – сказал министр, – я сейчас говорил с Дзуром, снова предупредил: не дай Бог, если чехи где-нибудь откроют огонь по нашим войскам. Это может кончиться плохо! С нашей стороны не будет никакого насилия, никаких боевых действий, если нам не будут оказывать сопротивления».

Часов в пять утра Гречко звонит Павловскому снова: «Ты где находишься?!» «В Легнице, на командном пункте», – отвечает генерал, памятуя приказ министра находиться на месте до особого распоряжения. «Ты почему еще там?! – удивляется министр. – Немедленно в Прагу! Туда уже вылетел Мазуров...» – «Если он вылетел давно, – отвечает генерал, – я все равно не успею встретить». – «Не надо, лети прямо к Дзуру, в Генеральный штаб». Павловский звонит в Прагу генералу Ямщикову, просит встретить на аэродроме. Самолет с Павловским, его адъютантом и группой радистов поднялся в небо. Подлетая к Праге, сделал над аэродромом два круга. «Товарищ генерал, – докладывает командир экипажа, – на аэродроме ни одного самолета, ни одного человека, что делать будем?» – «Садись!» – «А если препятствия будут?» – «Обходи!» – «Как я обойду, если уже сели?!» – «С Божьей помощью садись, да и все!»

На аэродроме Павловского встречает Ямщиков.

Танков на пражских улицах еще нет, они с войсками где-то на подступах обходят препятствия. Только бронетранспортеры и танкетки с десанниками высвечивают прожекторами дорогу. Разбуженные люди выходят на улицы, цепenea от зрелища проходящих с грохотом и лязгом колонн. Как будто еще не верят, что это наяву. Десантники в Праге для Павловского тоже новость. «Я даже не знал, будут они или нет».

В Праге, в генеральном штабе чехословацкой армии, обстановка нервная.

По всем телефонам требуют Павловского. Войска еще не подошли, чехи на окраинах перекрывают дороги. Никто ни в кого не стреляет, непонятно, что делать дальше. Дивизией, которая шла вместе с войсковым штабом со стороны Германии, командует генерал-полковник Шкадов, она тоже где-то задерживается. Павловский звонит послу Червоненко, трубку берет уже прилетевший Мазуров: «Раз ты в генеральном штабе, выясняй, кто где находится». С востока идут дивизии 38-й армии генерал-лейтенанта Майорова; дивизии выходят в назначенные районы. Уже укрепляются на указанных им рубежах венгерские и польские части. «В Праге к концу дня десантники арестовали, ну не арестовали, а я не знаю, как сказать: просто пришли в Президиум ЦК КПЧ, всех забрали, держали в помещении. Этим занималась не армия, другие лица, я с ними не встречался. На следующий день, когда членов Президиума ЦК отправили самолетом в Советский Союз, мне позвонил Гречко. Приказал дать мой самолет Свободе для полета в Москву. Насколько я знаю, Свобода никаких препятствий не чинил, сопротивления не оказывал: лететь так лететь. Попросил только сесть в Братиславе, забрать Гусака. Я сказал: берите, кого хотите».

У шестидесятилетнего генерала Павловского, крестьянского сына из-под Каменец-Подольска, оставалась бесхитростная, глубокая вера в свое Отечество. Это единственное оправдание всего им пережитого на дорогах войны, долгой и честной службы. Что бы в стране ни происходило, куда бы она ни посылала войска, сомневаться в справедливости ее замыслов было

все равно, что сомневаться в любви и мудрости матери. Два десятка лет спустя после чехословацких событий он их оценивает по-прежнему: что бы ни случилось в мире потом, но тогда армия не позволила контрреволюции оторвать Чехословакию от Советского Союза. Другого варианта не было. Это он готов повторить где угодно. «Вы меня извините, но я человек убеждений, мои взгляды не меняются. Чего я вдруг должен менять свои взгляды?»

В 1970–1980-е годы Иван Григорьевич часто отдыхал в Чехословакии. У него холецистит, у жены язва желудка: «вместе пьем карловарскую минеральную водичку». Все-таки легче. Огорчает только сдержанное, холодное, неблагодарное отношение чехов к нему и к россиянам вообще. Нет прежнего почтения к генеральскому кителю и колодкам воинских наград, достающим до пояса. «Приходишь в магазин, ведешь разговор, а тебя как будто не видят, не слышат».

Причина обидна, но понятна: «Вы что думаете, чехи сами придумывают в наш адрес неприятности? Тут, не побоюсь этого слова, ЦРУ работает!»

ЦРУ – Центральное разведывательное управление США ⁷.

Генерал-лейтенант С.И.Радзиевский, 74-х лет, с которым когда-то мы встретились в его доме в Москве, был участником Отечественной войны, выпускником двух военных академий, младшим братом известного в СССР генерала армии А.И.Радзиевского. Младший из поколения военачальников, начинавших службу в 1930-е годы.

Сын сельского почтальона, он рос в голодающей Украине, в нищей семье; подростком работал на кирпичном заводе, возил на тачке песок. «Все шмотье домашнее продали, чтобы кое-какую лачугу построить. Старший брат Арсений, уже кавалерист, взводный командир, приехал домой, а у нас шаром покати. Все опухшие. Говорит отцу и матери: “Сережу заберу с собой, у вас одним ртом меньше будет”. Я спал у брата, а все время проводил в его 49-м полку 9-й крымской кавалерийской дивизии, жил армейской жизнью. Утром школа, а днем на плац, на стрельбище. К выпускному вечеру в школе-семилетке директор школы чуть ли не сам сшил и подарил мне брюки. Первые настоящие брюки. Мы все тогда ходили оборванные и голодные. В тот вечер у меня эти брюки сперли, прямо на сцене. Брат вскочил на коня, припугнул всех, и брюки вернули» ⁸.

Начальнику штаба 20-й армии генералу Сергею Ивановичу Радзиевскому вручили секретный пакет за пятью печатями в Вюнсдорфе, в оперативном управлении Северной группы войск в феврале 1968 года. Предписывалось хранить пакет в особом сейфе и вскрывать по сигналу. Генерал догадывался, что там могло быть. Прежнее главное внимание на Западную Германию переключалось на новое, на предстоящий какой-то крупный ввод войск.

Когда по команде вскрыли пакет, там был указан район юго-западнее Дрездена, куда следовало срочно передислоцировать штаб, полк связи, артиллерийскую бригаду, ракетную часть и затем дивизии в полной готовности. Уже в конце февраля армия начала перемещение. Под Дрезденом пять месяцев до августа каждый день ждали приказ: вот-вот, сегодня-завтра... К этому времени были точно очерчены объекты, больше сотни, которые с вводом войск надлежало взять под контроль: учреждения военно-политического профиля, средства массовой информации, здания партии и общественных движений, вроде «Клуба-231» и «Клуба беспартийных акти-

вистов» (КАН).

Общую идею и варианты чехословацкой операции разрабатывали лучшие умы оперативного управления Генерального штаба в Москве под руководством маршала М.В.Захарова. А конкретные схемы ввода войск намечали на картах армейские штабы по секторам. С юга – штаб Южной группы войск (Венгрия), с запада – штаб Прикарпатского военного округа, с севера – штаб 20-й армии, руководимый Радзиевским; ему же выпали разработки по Праге. Вплотную этим стали заниматься в конце апреля – начале мая 1968 года. И параллельно разрабатывали вариант ответных действий на случай, если чехи окажут сопротивление или войска ФРГ перейдут чехословацкую границу. Оборону возложили на Первую танковую армию генерал-лейтенанта К.Г.Кожанова: не допустить прорыва немцами границы и вхождения в глубь территории Чехословакии.

«Вышли мы достаточно организованно, заняли указанные точки. Шесть дивизий стояли в центре Праги на крупных площадях, как Вацлавская и Староместская, две – на подъездах к городу. И тут начались осложнения хозяйственного порядка. Худо-бедно, семь тысяч мужиков, каждому хотя бы по разу в день надо сходить куда-нибудь. А куда? – чехи в квартиры не пускают. Меня поразило, каким предприимчивым, умеющим найти выход в любой обстановке оказался наш солдат. Я приехал в полк недалеко от Староместской площади. Три танковых взвода стоят, девять машин, почти на каждой флажки с крестиком. Что такое? – спрашиваю командира дивизии. Оказалось – туалеты. Танки поставили над люками городской канализации, чугунные крышки сняли, а в танках люки-лазы... Весь полк знал, куда направляться, в случае чего».

Однажды ночью Радзиевского вызывает по ВЧ маршал Захаров. «До каких пор у тебя, голубчик, там будут работать радиостанции и телевидение? Найти и закрыть! Каким хочешь способом. Хоть динамитом!» Начали искать телецентр, узнали адрес. «Я на вечерок послал туда командира 35-й танковой дивизии: “Надо бы из пушки ухнуть, сделать так, чтобы люди ушли со службы, и ухнуть!” Он подвел танк, поставил на прямую наводку... Поставил, хорошенько прицелился, и по окнам, где надежней... Осколочным – жжух! Это было вечером, в здании ни единого человека, никто не пострадал. Но сама стрельба ночью из пушки по зданию – было слишком. Это я считаю единственной глупостью, которую мы себе позволили. Вернее, я позволил этот выстрел. Но нас просто вывели из себя.

Я обращался к чешским военным: разберитесь с телевидением, а они мне: это дело гражданских. Звоню гражданским властям: прошу вас, примите меры, чтобы не несли всякое по телевидению. Там выступали с антисоветскими речами, причем наговаривали, ввали безжалостно. А передачи смотрели в Москве, и звонят, и звонят мне. Наконец, по железной дороге нам отправили полевой вариант телевизионной станции, станции помех – забивать передачи других станций. Мы ее за сутки смонтировали и расположили в лесу на территории полка связи, в четырех длинных палатках. И чехи забегали: что ни дадут, а на экранах все серое. Но пока я нашел, что надо прикрывать, помехи чему ставить, времени прошло достаточно. Они давали точные адреса, но посылаю разведотряды – ничего нет. И вдруг случайно – смотрите, антенны стоят! Наш разведчик их обнаружил километрах в тридцати западнее Праги. Колоссальное антенное поле на железобетонных опорах, на металлических столбах. А в подвалах, в скальной породе вся начинка. Подошли наши

связисты: “Жаль рвать, товарищ генерал. Такое хорошее, вечное устройство”. Я говорю: давай убирай их, чтобы завтра ничего не было! Снова звонит Захаров: “Ну как?” А у нас уже все в порядке».

Заезжая в советское посольство, Радзиевский недоумевал, почему здесь цыганский табор: на первом и втором этажах человек триста, по преимуществу чекисты; едят и спят на полу. Прибыли 21 августа из Москвы, все в военной форме, готовились возглавить власть в каждой чехословацкой области. Руководит офицер КГБ Санава. Поскольку Радзиевский как начальник штаба являлся также начальником командного пункта, на него свалилось много забот: всех надо кормить, мыть, обстирывать. А у него ни одной прачки. Идет к послу Червоненко. «Есть полевой вариант: всех, кто не имеет отношения к оперативному управлению войсками, отправим в лес, там разместим в палатках». Послу идея понравилась, начались переговоры с Санавой. А тот заартачился: ущемление чекистов. Посол и Санава заспорили. «Пойдем искать хозяина», – сказал Червоненко и пошел к Мазурову. Мазуров, в высшей степени уравновешенный человек, никакого комиссарствующего элемента, никогда не повысит голос. Червоненко все ему выложил. Мазуров пригласил Санаву и сказал: у меня был разговор с Москвой, ваш вариант не пройдет, чекистам сутки на сборы. И связался с Павловским: «Группу товарища Санавы отправить в Москву». Через два-три дня всех чекистов вернули на родину, кроме десятка работников резидентуры.

Проблемы были со связью. В Пражском Граде у президента Свободы постоянная линия ВЧ, но неизвестно, кто ее вырубил. Видимо, чехи. Радзиевскому звонят по разным каналам, почему нет связи у Москвы с нашим консульским управлением и другими ведомствами. Звонит главком группы войск в Германии генерал армии П.К.Кошевой: «Если связи не будет, я тебя расстреляю!» «Он дядька хороший, но дурной. Раз пять меня к стенке ставил, расстреливал... Проблема была в том, что у меня аварийная воинская связь, она только прямая, если где-то связь уходит вниз, она уже не берет с соседнего луча. Получалось, что связь есть, а с дивизией соединиться нельзя, если она не выходит из ямы. Мы делали все, что могли».

Или вот приказали арестовать Смрковского.

«Мы приехали к нему в кабинет, я и полковник Дологов, начальник особого отдела. На подхвате с нами были солдаты. Пришли и сказали: “Товарищ Смрковский, есть решение руководства привезти вас на срочные переговоры”. Куда? – спрашивает. “Мы точно назвать не можем”. Пусть думает: то ли мы на самом деле не знаем, то ли не хотим сказать. Мы с ним спустились и сели в машину. Впереди полковник, сзади я со Смрковским и одним нашим офицером. Приехали в аэропорт, прямо к самолету. Он вдруг заявил, что у него живот заболел. А при сопровождении арестованного это опасный симптом. И запретить нельзя, и отпустить рискованно. Под таким предлогом часто совершают побег. Но с ним действительно было не все в порядке. Наконец, он поднялся на борт, мы посадили его в кресло, сами спустились по трапу и дали самолету команду на взлет. По-моему, его отправили в Ужгород. Всех отправляли по указанию Мазурова. Арестованным сообщали, что везем на срочные переговоры, и ничего больше. Смрковский ни о чем не спрашивал. Может быть, потому, что у него болел живот».

Из всех чехословацких руководителей генералу Радзиевскому неприятнее других был Александр Дубчек. Он казался генералу вечно обиженным.

Однажды, уже после августовских событий, когда в Чехословакии оставили Центральную группу войск под командованием Майорова, а начальником штаба поставили Радзиевского, командующий просит начальника штаба подъехать к Дубчеку и пригласить на организованную группой войск встречу с чехословацким руководством. Видимо, командующий через кого-то посылал приглашение, но что-то не срабатывало, он хотел получить подтверждение. «Дубчек меня принял довольно вежливо, но приехать на встречу отказался. Проходит некоторое время, и во главе партии становится Густав Гусак. В этот же день новый лидер партии со своей свитой едет к нам, в Центральную группу войск, а вечером в Граде устраивает прием по случаю рабочей встречи советских военачальников и чехословацких руководителей. Стоим с бокалами в руках: генерал Майоров, генерал Золотов (начальник Политотдела), генерал Заболотный (начальник Особого отдела) и я, начальник штаба. Вдруг подходят Дубчек с женой Анной Ивановной, русской женщиной из Ульяновска. У него на глазах слезы: «Что же вы меня не пригласили на первую встречу с руководством?» Майоров на меня с удивлением. Тут я не выдержал: «А вы не помните, Александр Степанович, как я к вам приезжал и вы по существу выставили меня из кабинета, сославшись на занятость?» Дубчек замялся, я с ужасом смотрю, как Анна Ивановна, нервничая, зубами откусывает краешек бокала и продолжает грызть стекло. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не подоспел советский корреспондент Таратута и не сунул ей в рот три пальца, извлекая стекляшки. Видимо, она хотела скандала, но выходку замяли, все обошлось».

В чехословацких событиях, уверен Радзиевский, немалую роль сыграли бывшие чехословацкие собственники, крупные и средние. «Батя ходил и смотрел свои фабрики и заводы, подсчитывал, сколько капиталов сможет вернуть. Так что Брежнев не сдуру послал войска. Я не думаю, что сдуру. Когда прошло время и ничего не случилось, можно рассуждать, а надо ли было. А если бы мы этого не сделали, что было бы? Валить на всех нас, кто там был, что ничего не понимали, я бы не советовал. Допустим, проанализировав ситуацию, я бы пришел тогда к выводу, что вводить войска не стоит. Но, во-первых, меня об этом никто не спрашивал. А задай мне такой вопрос, что я мог ответить?»

Прощаясь, генерал сказал: «Говорят, мы в братской стране задавили хорошую революционную идею. Ничего мы не задавили, а просто не дали быть беспорядкам».

С этой мыслью жить ему легче.

Анастасия Карповна, жена генерала, тихо сидела в углу, кутаясь в вязаный платок, а тут всплеснула руками: «Ничего не могу понять! В 1961 году мы с Сережей отдыхали в санатории в Карловых Варах. У меня большая коса была, до пояса, все заглядывались. А когда в те дни взлетел в космос Герман Титов, чехи нам вообще проходу не давали, все поздравляли, звали в гости. Может мне кто-нибудь объяснить, куда теперь все подевалось? Что с ними случилось в 1968 году?»

Она искренне думает, что это случилось не с нами – с ними.

У генерала А.М.Майорова, командующего 38-й армией, первый интерес к Чехословакии появился в 1966 году. Он вернулся в Москву после службы советником в Египте, перед новым назначением его вызвали в ЦК КПСС к

Л.И.Брежневу. От Брежнева генерал и услышал уже знакомые нам слова, которые потом долго смущали генерала: «А теперь надо посмотреть севернее Будапешта – на Прагу... И иметь больше друзей в чехословацкой армии». Просить командарма присмотреться к Праге за два года до ввода войск мог только человек, у которого были на то причины.

Жизнь полна случайных совпадений, и не будем привязывать этот разговор к возникшему именно в то время раздражению Брежнева против Ганзелки и Зикмунда. Он знал о заключении партаппаратчиков, которым поручил разобраться со «Спецотчетом № 4». Из заключения следовало, что ни один враг не приходил к таким беспощадным выводам о советской политике, экономике, социальной ситуации, о моральном состоянии общества, как эти двое чехов. Напрашивался вопрос: что они за люди, эти чехи? Чего от них ждать?

Но, может быть, от раздражения чем-то совсем другим, или чем-то другим тоже, у Брежнева после Будапешта шевельнулась мысль присмотреться к Праге.

Майоров использовал все каналы армейских структур, в том числе военной разведки, чтобы составить представление о стране, насторожившей Кремль. «Волей-неволей я становился источником информации, которая ложилась на стол министру обороны, членам Политбюро, Генеральному секретарю и служила основой для предварительных, а то и окончательных решений. Сегодня мне было бы удобнее умолчать об этом, но я человек своей эпохи, генерал российской армии, и не могу, не буду кривить душой. Для меня решения военного и политического руководства всегда были законом, который я обязан выполнять с наименьшими потерями для своих солдат и офицеров», – скажет мне Майоров у себя на даче в подмосковном Красногорске в 1998 году ⁹.

Из воспоминаний Майорова:

«В воскресенье 11 августа я докладывал ситуацию Гречко и в тот же день был вызван к Брежневу. В кабинете находился также Суслов. Брежнев спросил, как я оцениваю боеготовность чехословацкой армии. Я говорил, что видел: полки и дивизии боеспособны ограниченно, армию разлагают работники политорганов, до 30–40 процентов личного состава ежедневно в самовольной отлучке, полигоны и стрельбища заросли травой... На вопрос, как вижу развитие событий в Чехословакии, я сказал: «В одно прекрасное утро под Чопом, Мукачево, Ужгородом могут быть выброшены 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии НАТО. К ним на соединение через Чехию и Словакию пойдут 5-й и 7-й корпуса США (9–11 дивизий), первый и второй армейские корпуса ФРГ. Нам известно, что маневры войск НАТО намечены на начало сентября... В ночь перед выброской воздушного десанта будет сформировано марионеточное правительство Чехословакии, оно объявит о выходе из Варшавского договора, обратится с просьбой к НАТО защитить страну от советского вторжения. Чехословакия может быть потеряна – или большая война».

Гречко информировал Брежнева точно так же.

Неделю спустя, утром 18 августа, Гречко созвал главнокомандующих всех родов войск, командующих группами советских войск в ГДР, Венгрии, Польше, трех командармов... Министр только что вернулся с заседания Политбюро, где окончательно договорились о начале военной операции. «Ре-

шение будет осуществлено, даже если оно приведет к третьей мировой войне», – сказал Гречко. Каждый из присутствовавших в течение двух-трех минут доложил о готовности войск к выполнению задачи. Маршал Н.Крылов сообщил, что дежурные силы и средства Ракетных войск стратегического назначения находятся в четырехминутной готовности. Гречко назвал время перехода границы ЧССР – 23 часа 20 августа по сигналу «Влтава-666». Никаких совещаний и приказов больше не будет. Огонь открывать только с разрешения министра обороны. Командиры вопросов не задавали, но поняли по-своему: начнись стрельба, придется действовать по обстоятельствам.

До полуночи 21 августа 38-я армия Майорова овладела назначенной ей зоной ответственности (Северная Моравия, Южная Моравия, Словакия).

«Три дня спустя мне позвонили из штаба группы “Север”: “Надо расстрелять трех злостных чехословацких контрреволюционеров...” И назвали их имена. Как я потом узнал, идея имитировать расстрел “контры”, чтобы держать в страхе остальных, принадлежала Суслову. На бронетранспортере ко мне привезли “контру” – секретаря Остравского обкома партии Немцову, главного редактора “Остравских новин” Кубичека, фельетониста Налепку. Войдя в мой кабинет, все трое по привычке протянули руки поздороваться, но я уже вошел в не свойственную мне роль и, не подавая им руки, жестом приказал отойти на несколько шагов назад. “Мне приказано вас расстрелять или повесить – объявил я. – Но если вы не будете ни устно, ни письменно заниматься пропагандой контрреволюции и возбуждать ненависть к нам, может быть, я вас помилую”. Арестованные стояли белые, как полотно. “Теперь я поняла, что такое социализм... Вы нам хорошо объяснили”, – вымолвила Немцова. Двое других пообещали ничего “такого” не печатать. Всех троих отпустили домой.

Теперь мне трудно поверить, что все это происходило в кабинете командарма Советской армии. Если вы еще живы, пани Немцова, пан Кубичек, пан Нелепка, пусть через тридцать лет, я, старый человек, прошу у вас прощения за ту душевную травму, которую нанес. В тот день я пал так низко, как не следовало уважающему себя генералу, да и вообще человеку. Простите меня»¹⁰.

Генерал Майоров – один из немногих военачальников, кому под конец жизни при воспоминаниях о вторжении было стыдно.

Танковую дивизию из Венгрии в Чехословакию вел генерал-лейтенант Борис Петрович Иванов, заместитель командующего и член Военного совета Прикарпатского военного округа. Когда сутки назад генерал срочно покинул черноморское побережье, оставив там семью, и вылетел из Львова в Будапешт, он только в пути узнал, что назначен первым заместителем генерал-полковника К.И.Провалова, командующего Южной группой войск. О чехословацких разработках генерального штаба он не имел представления.

Когда мы встретились в Москве в сентябре 1990 года, самым ужасным в жизни генерал назвал не один из дней войны, а 14 сентября 1954 года: тогда впервые (и, насколько известно, единственный раз) власти решились провести под руководством маршала Г.К.Жукова общевойсковое учение с участием сорока пяти тысяч солдат и командиров, массы самолетов, танков, самоходно-артиллерийских установок, орудий, минометов, бронетранспортеров, автомашин, тягачей в условиях взрыва от сброшенной с самолета над голо-

вами военнослужащих атомной бомбы, по мощности вдвое превосходящей бомбу над Хиросимой.

Участниками ядерного эксперимента на лесостепной равнине между Самарой и Оренбургом, севернее поселка Тоцкое, оказались Иванов и его танковая часть. Им вместе с другими предстояло на себе удостовериться, какова поражающая сила взрыва – ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности. Для наблюдения на полигон прибыли руководители страны, высшие военачальники, военные делегации социалистических государств. До начала учений по переднему краю ходили Н.С.Хрущев, Н.А.Булганин, академик И.В.Курчатов. Были приняты невиданные меры безопасности для войск; тысячи жителей деревень с равнины эвакуировали.

И когда солнечным утром в 9 часов 33 минуты утра самолет-носитель с большой высоты (8000 метров), со второго захода на цель сбросил бомбу и она взорвалась на заданной высоте, над равниной потемнел приземный слой воздуха, стало всплывать облако взрыва, вытягиваясь вместе с пылевым облаком в белый гриб. Армия в противогазах с затемненными стеклами по приказу пошла в наступление. Люди и техника выдержали испытание, но в памяти навсегда осталась картина оставленных в сравнительной близости от места взрыва горящих деревенских домов с соломенными крышами, выгоревший лес, обгорелые трупы домашних животных, покореженные взрывом бронемшины, обугленные траншеи, выжженная дотла земля. Генерал избегает этих воспоминаний, он вместе со всеми давал в особом отделе подписку о 25-летней немоте, но застывшее с тех пор в зрачках изумление было свидетельством, что он ничего не забыл.

Иванов ленинградец, из рабочей семьи; сестра была майором госбезопасности (в петлицах три шпалы), ее муж командовал дивизией (в петлицах два ромба, генеральское звание), в 1930-е годы его расстреляли как германского шпиона, а сестре пришлось оставить службу в органах безопасности, она жила случайными заработками на Сахалине. Отец умер во время блокады, упал где-то на невском льду. Подростком Иванов ходил в «Анна-Шуле», была такая школа на Кирочной улице, основанная в середине XVIII века для немецких детей при императрице Елизавете. По слухам, в ее стенах учились Молотов и Риббентроп. В годы войны молодой танкист Иванов дошел до Берлина командиром танкового батальона, Героем Советского Союза.

Иванов был едва ли не единственным генералом из вводивших войска в Чехословакию, кто сам пережил атомный взрыв и лучше других представлял, как может выглядеть новая война. В июле 1968 года с женой и дочерью он отдыхал под Гурзуфом, особо не вникая в сообщаемые газетами распри политиков, больше волнуясь, когда дочка, заплыв за буй, пропадала из вида. Утром 12 июля его разыскала на пляже медицинская сестра: «Звонили из Львова, просили срочно прибыть». В тот же день, явившись в штаб округа во Львове, он получил неожиданное назначение в Венгрию. «На аэродроме вас ждет Ли-2» – сказали ему. Генерал попросил штабистов сообщить в Гурзуф, успокоить семью.

В Будапеште ускоренно готовили войска к выступлению.

В глубине души генерал надеялся, что политики просто нагнетают страсти. Пражских реформаторов припугнут, все успокоится. Но события набирали обороты. Две советские дивизии (танковая и мотострелковая) и

венгерская мотострелковая получили приказ начать движение из Будапешта на Комарно, речной порт на Дунае. Танковую вел Иванов, мотострелковую – генерал Провалов. У подходов к мосту скопилось 670 танков.

Посреди пограничного разводного моста Иванов вышел из машины проследить, все ли экипажи соблюдают указанную им дистанцию в сто пятьдесят метров. Если на одном пролете моста сойдутся два-три сорокатонных танка, мост рухнет. И другая мысль пришла в голову: а если чехословацкая обслуга моста, трое-четверо рабочих, решат остановить армию? Им сейчас достаточно просто развести мост. От предчувствия потемнело в глазах. «Я вызвал командира полка и разведчиков: братцы, немедленно в транспортеры – и вперед! Оператора и обслугу моста под контроль! Вздохнул через пару минут, когда управление мостом перешло к моим разведчикам»¹¹.

Уже перекрыли прилегающие венгерские улицы, никто не должен мешать движению танковых колонн. При Иванове аппарат ВЧ, прямая связь с Москвой. Он только ждет сигнала перейти границу.

Иванов вспоминает:

«Оставалось минут пять до начала броска, вдруг с улицы прет здоровущий венгерский рефрижератор, не сворачивая, прямо на мост. Ничем не остановишь, бросайся под колеса, все равно переедет. Видимо, шофер с кем-то из наших военных выпил, и наши машину пропустили... Нервы напряглись до предела. А если он станет посреди моста, поперек? Конечно, помешай он движению, кто бы с ним возился, танки тут же его скинут с моста. Не лезь под горячую руку! Не знаю, что на нас нашло, но мы, чертыхаясь, позволили чудаку последним пролететь мост.

В ноль-ноль часов поступил сигнал, и через пару минут наши танки, пройдя мост, загрохотали по улицам спящих словацких городов. От Комарно до Брно двести восемьдесят километров; на полпути на шоссе перед колонной оказался ребенок. В свете фар с головного танка его с трудом разглядели. Никто не знает, как малыш оказался на проезжей части. Босоногий, в коротких штанишках, с картузом на голове, он возник, когда остановить головной танк было невозможно. Водитель резко свернул в сторону, танк свалился в обрыв. Мальчишка остался жив, а танк мы потом вытащили».

На марше Иванов получил новый приказ: не теряя времени на переход, с ближайшего аэродрома вылететь в Брно. На аэродроме ждал военный Ли-2. «Отработали с летчиками маршрут, высоту самую малую, не выше ста метров, чтобы не сбили. На командном пункте смотрю локаторы: мама родная! С запада заходит на посадку в Брно туча, густая туча самолетов. Так закрывает полнеба стая птиц, спугнутых в озерных камышах. Что такое! Еще заходят, еще... Наконец, связались с Москвой, выяснили: это наш десант идет на Брно. Все топливо не сгорает, они кружат, сбрасывают, все вокруг в керосиновом дыму. Мы с трудом сели. А за нами приземлился тяжелый Ми-6 с бронетранспортером и специальной станцией для связи с Москвой, генеральным штабом, группой войск».

Иванова назначили комендантом Брно.

«Наши десантные самоходки на центральной площади и у Военной академии. Мне докладывают: народ там шумит, выходит на улицы, свастики рисует. Может, команду дали, я не знаю, самоходки не наши – десантников. В город вошла десантная дивизия. Все взяли под контроль, из здания академии никого не выпускают. Ко мне на аэродром приехал заместитель началь-

ника академии. Звоню в Прагу, ловлю Ямщикова: тут чешских офицеров за-крыли, не выпускают. По сути, арестовали. Там самоходки стоят, а тут их се-мьи пришли, встревоженные, протестующие. А у меня шифровка: ни во что не вмешиваться. Ямщиков молчит. Не хочет принимать решения. Говорю – ладно, разберемся. Сажусь в машину, еду к командиру десантников. Зачем здесь самоходки? “Не знаю, Маргелов приказал”.

Маргелов – командующий воздушно-десантными войсками. Но мне он не указ. Здесь я отвечаю. В своей генеральской форме, как положено, подхо-жу к академии, народ шумит, но расступается. Захожу в здание, оттуда свя-зываюсь с Прагой. На проводе опять Ямщиков. Говорит: как хочешь, так и действуй. Я приказываю: убрать самоходки к чертовой бабушке. Немедлен-но! Вызываю командира батареи: заводить, и марш отсюда! “Слушаюсь!” Са-моходки ушли, народ начал расходиться.

На площадь выехал, а там 6 самоходов. Никто не стреляет, ничего, но зачем? Я говорю – убрать их! В общем, из города все войска сразу же вывели. 22 августа все было чисто. Доложил по телефону командующему Провалову в Братиславе. Он мне – правильно сделал».

Наблюдения Иванова подтвердит автор секретной записки, обнару-женной в рабочем столе Брежнева: «...вряд ли было оправданным развешивать бронетанковое ожерелье на улицах Праги, Брно, Братиславы и других городов. Фактически улицы и площади этих городов были забиты танками, бронетранспортерами, артиллерией. Это было невыгодно во всех отношени-ях: во-первых, это нарушало нормальный ритм жизни; во-вторых, такая де-монстрация силы отрицательно действовала на патриотические чувства граждан (одно дело, когда население видит войска с утра до ночи, а другое, когда оно только о них слышит); в-третьих, боевая техника, располагаясь на улицах, оказалась уязвимой в диверсионном отношении; если бы дело дошло до открытого вооруженного сопротивления, то при таком варианте распо-ложения войск мы понесли бы огромные потери...»¹²

У десантников своя суматоха. Сообщили на радостях центру об изъятии у контрреволюции почти сотни стволов. Центр приказал отправить трофеи в Москву. А у них ничего нет. Тогда ночью по приказу командира десантной дивизии солдаты разоружили рабочие отряды, отобрали автоматы, пулемет-ты. На каком-то заводе были охотничьи ружья, десантники бросились и туда, взломали ящики. Утром я приказал вернуть отрядам их оружие и вместе с рабочими завода, пришедшими с протестом, еду на завод, захожу к директо-ру. Сидит заводское руководство, кто-то шумит: «Вы оккупанты!» Свои же его вытолкнули. Я попросил собрать рабочих, бригадиров, мастеров. Они го-ворили прямо: «Вы нас обидели! Мы работяги».

Услышав, что по улицам носятся чешские ребята-мотоциклисты и заля-пали краской памятник советским воинам, Иванов и другие офицеры едут в обком партии. В машине включают радиоприемник, в эфире голоса: «Гене-рал Иванов, вы оккупанты...» В обкоме встречаются второго секретаря Черного и секретаря по идеологии Маноушека. Знакомятся. «Зачем вы пришли?» – спрашивают оба. Ответа у меня не было. «Сами подумайте, вам виднее».

По словам генерала, от отчаяния «хотелось напомнить им 1918 год, ко-гда чешские войска устроили в измученной войною России известную ку-терью. Но я ответил, как думал: «Мы решили, что лучше нам прийти сюда, чем потом снова начинать от Сталинграда!»

А тут из городского совета Брно принесли письмо:

«1. Вы не выполнили данное нам обещание принять делегацию, в составе которой была сестра застреленного гражданина, партизанка СССР тов. Коуделкова.

2. Просим дать возможность начать работу чехословацкого телевидения и радио в г. Брно и освободить все редакции брненских газет, занятые вашими войсками. Дать возможность работать радиотрансляционной станции на Гадах и станции на ул. Барвичача.

3. Прекратить езду боевой техники по городу Брно, особенно вечером и ночью. Это волнует и провоцирует население города.

4. Убрать запасы бензина, находящиеся на складах аэродрома Туржани.

5. Дать возможность нормальной работы военной прокуратуры в г. Брно на ул. Готвальда, помещения которой заняты советскими войсками.

6. Согласно нашей последней договоренности, вы должны были освободить помещения на ул. Шпильберке. Обещание, данное советским командованием, не выполняется, солдаты занимают эти помещения и не дают возможности работать соответствующим инстанциям.

7. Просим принять меры, чтобы не нарушалась работа Нижнего вокзала, особенно вечерней и ночной смены. Чтобы дежурным не приходилось покидать свои посты под угрозой советских солдат открыть стрельбу из автоматов. Такое случилось 24.08 в 0.50 час, когда сообщил дежурный работник Йозеф Лоренц, что в районе смены № 17 при несении службы вблизи него раздалась очередь из автомата. Это подтверждает также заместитель начальника тов. Буличек.

8. По сообщениям, на территории гор. Брно был застрелен советский солдат. Медицинскими специалистами в больнице на Жлутем копци установлено, что многостороннее ранение было произведено из скорострельного оружия. По мнению медицинских специалистов, выстрелы были произведены с небольшого расстояния.

При переговорах вы сообщили нашим представителям, что один ваш солдат пропал без вести. Наши органы проверили все больницы, но солдата с указанной фамилией не обнаружили. В военной больнице находятся три советских солдата: Николай Сергеевич Плинов, Олег Дмитриевич Беляев, Михаил Гуз. У всех ранение от дверей своих машин во время езды...»¹³

Нервы генерал-лейтенанта были на пределе. Он делал, что мог, посылал офицеров разбираться, отвечал местным властям, старался навести порядок, но что он мог в обстоятельствах, на него свалившихся, ему не вполне понятных, когда оказался втянутым в большую политическую игру. Полагаться генерал Иванов мог только на свое разумение. В городе Брно им руководил выстраданный страшный военный опыт России в XX столетии, а еще точнее – живущий в нем с 14 сентября 1954 года, застывший в зрачках ужас, когда на общевойсковых учениях между Самарой и Оренбургом он видел то, что, слава Богу, не пришлось и, будем верить, никогда не придется видеть нигде: как к верхним слоям атмосферы поднимается атомный гриб.

Все относительно; этого пока избежали, и слава Богу...

...Танки дивизии генерала Иванова громыхали близ Брно под Славковым, мимо скрытого в ночи Аустерлица. Это название танкисты помнили со школьных лет, с уроков литературы, когда читали роман Толстого «Война и

мир». Здесь на поле с древком знамени лежал раненый князь Андрей Болконский, и сквозь плывущие облака смотрел на небо. Он думал о том, как ничтожна вокруг суета по сравнению с тем, что происходило в те минуты между его душой и этим вечным небом, и изумлялся тому, как он прежде не видел этой высокой бесконечной синевы. «Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него...»

Танки с белыми полосами грохотали, не замедляя хода, мимо Аустерлица, мимо размытых в ночи Праценских высот, по дорогам чужих разбуженных городов. Где-то в этих местах князь Андрей тогда сказал Борису Друбецкому, указывая на министра иностранных дел князя Адама Чарторижского и думая обо всех, кто послал сюда русскую армию, обрек на поражение: «Вот эти-то люди решают судьбы народов».

Князь Андрей у Толстого сказал это «со вздохом, который не мог подавить». Глядя на свою армию в августе шестьдесят восьмого, генерал Иванов мог бы повторить то же самое.

Два десятка лет спустя генералы, собравшись, перебирая в памяти детали военной операции 1968 года, признанной одной из самых подготовленных, будут удивленно спрашивать друг друга, отчего так много оказалось непредвиденного. Генерал-лейтенант Левченко помнит, как руководство чехословацких железных дорог саботировало советские военные перевозки. «Я звоню в Прагу министру транспорта, прошу принять меня. “Сегодня не могу”. Звоню на следующий день. “Занят...” На третий день встретились. У министра три начальника отделений дороги. Министр начал: вот, пришла оккупационная армия, нарушила наши графики, срывает перевозки... Я молча выслушал и встал: “Чтобы я в первый и последний раз слышал об оккупационной армии. Если бы мы были в такой роли, не я бы к вам приехал, а вызвал бы вас к себе и заставил на нас работать. Но мы этого не делаем. Мы пришли вам помочь навести в стране порядок. Если сегодня в ноль-ноль часов вы не начнете возить наши грузы, я железную дорогу возьму в свои руки. У меня одна железнодорожная бригада в Либавке, другая в Оломоуце”. Министр занервничал: “Товарищ генерал, только не ставьте свои железнодорожные войска!” – “Хорошо, сказал я, но точно в полночь вы начинаете наши перевозки из Дрездена, Броцлава, со стороны Мукачева через Братиславу...”»¹⁴.

Левченко все тут знакомо; в районе Миловиц под Прагой 12 мая 1945 года для него закончилась Отечественная война. По лесам бродили недобитые германские группировки, но тогда он не был так напряжен, как в первые дни ввода войск в Чехословакию. Стрессовые состояния переживали не столько в продвигавшихся частях, как в службах тылового обеспечения. Попробуй накормить 500 тысяч военных (население среднего европейского города), ничего не требуя от местных властей, никого не грабя, рассчитывая на собственные ресурсы, и за сотни километров круглые сутки безостановочно возить продовольствие, боеприпасы, горючее, строительные материалы. Надо сводить графики воздушного, железнодорожного, наземного транспорта, а как сводить, если чехи с тобой говорят сквозь зубы и смотрят с ненавистью?

Он помнит, как в ноябре 1944 года под Ужгородом немцы взорвали на реке мосты и угнали лодки, а в горах шли дожди, карпатские речки выходили из берегов, особенно Ондава; ширина поймы достигала десяти километ-

ров, и под рукой ничего не было для переправы. Словаки сами разбирали свои постройки, тащили на спинах доски и бревна, помогали солдатам сбивать плоты. Они оставались такими родными двадцать три года, но стали другими в одну ночь.

Что с вами случилось, братья?

Генерал Левченко – заместитель главнокомандующего по тылу Южной группы войск.

Назначение на должность Левченко получил в первых числах июля, когда подготовка к операции шла полным ходом. Обдумывал, сколько и чего требуется для обеспечения войск. Если принимать войска не за фронт, а хотя бы за армию, нужно пару госпиталей, десять автобатов для подвоза продовольствия, рефрижератор... Август, жара! А командующий Якубовский: «Не буду подписывать. Пусть обеспечивают командующие округов». – «Но один округ в Белоруссии, другой в Прикарпатье, – возражал Левченко, – а мы с вами здесь!» – «Не буду!» Через три дня в Легнице прилетел министр Гречко, собрал военачальников. «У кого есть вопросы?» Поднялся Левченко: «Если начнется бой какой-нибудь, я ничем не смогу помочь». – «А что тебе надо?» Левченко перечислил. «Надо дать», – распорядился министр. Все стало поступать на десятый день, когда войска уже вошли в Чехословакию.

Колонны военных грузовых машин двигались по всем дорогам.

Как мне рассказывал генерал М.Я.Сухарев, начальник военных сообщений Северной группы войск, чешские подростки лет пятнадцати-шестнадцати, выскакивали на дорогу, макали ветки в банку с известкой и выводили на бетоне: «Дубчек – Свобода», «Дубчек – Свобода»... Имена ложились под колеса, раздражая (особенно имя Дубчека) наших офицеров, сидевших в кабинах. А вдоль дорог тянулись холмы с густыми лесами; в древние времена эти леса были естественной защитой чешского королевства от беспокойных соседей. Теперь, столетия спустя, молодые люди, как призраки возникали на опушках лесов, пускали в ход мотопилы и торопливо валили деревья поперек дороги. Колонны танков и бронетехники останавливались. А что делать? У каждой машины при себе пила-ножовка, топор, лопата. Чаще всего они оказывались не точены. Совсем тупые! Хотели по рации бульдозер вызвать, но дороги узкие, бульдозеру не развернуться. Генералы распорядились использовать взрывчатку. Поваленное дерево на дороге обматывали бикфордовым шнуром и взрывали – до следующего такого же препятствия. Юные партизаны были неуловимы, и наши колонны сильно отставали от графика...¹⁵

Генерал Левченко договорился с директором автозавода выделить для войск десять новых автобусов. Директор согласился при условии: никто из советских военных не будет их получать, он сам их доставит к указанному месту, пригонит ночью, чтобы не видела молодежь. «Я не встречал, чтобы чешские рабочие или крестьяне что-то имели против нас. Но молодые! Все беспорядки от них. Наши солдаты, как было приказано, вели себя культурно; стоит, к примеру, группа хулиганов, что-то кричат, плакатами машут. Наши им: разойдитесь! Не расходятся. Тогда солдаты берут первого, кто подвернулся, стригут под машинку, моют голову, и на все четыре стороны – иди, гуляй! С тех пор, как услышат “разойдись!”, мигом кидаются в стороны»¹⁶.

Снабженцам доставалось больше всех.

Советское руководство решило компенсировать войскам в Чехослова-

кии их стрессовое состояние увеличенным продовольственным пайком. Суточная норма масла стала на 20 граммов больше, сахара на 20 граммов больше. «В течение двух-трех дней мне нашвыряли самолетами сливочное масло на три месяца вперед. Пришла рота рефрижераторов (25 машин), я стал развозить продукты по холодильникам в Дрездене и Вроцлаве, оттуда по мере надобности – в войска. Autobatalьоны были сформированы из грузовых машин, раньше срока отозванных с уборки хлеба в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, центральных районах России. Обычно военные бортовые и наливные автомашины покидают поля в сентябре-ноябре, их долго ремонтируют, готовят к следующей страде, а тут ждать было некогда. По приказу министра все уборочные машины выкрасили в одинаковый зеленый цвет, но они только выглядели как новенькие...»

Причиной бессонниц генерала было топливо для танков.

По счастью, никто не знал, что танки на улицах чехословацких городов два-три дня не могли сдвинуться с места. «Звонит Якубовский: “Ну, как дела?” “Плохо, – отвечаю, – танки пришли на место сухие!” – “А ты держись!” “Я, – говорю, – держусь, послал машины за горючим: кого в Дрезден, кого во Вроцлав.” Если бы разгорелся бой, тяжело было бы войскам, танки и бронетранспортеры стояли без горючего, но никто, кроме нас, об этом не знал»¹⁷.

Почти весь запас горючего танки израсходовали в пути. Для одной заправки всей передвижной войсковой техники требовалось 12 тысяч тонн. У дивизий наготове autobatalьоны с цистернами; пустые цистерны следовало немедленно отправлять за горючим во второй и третий рейс. Но упустили из виду, что дороги будут забиты войсками, а сворачивать на поля и опушки лесов запрещено. Попробуй пройти в обратном направлении! «На дорогах стояли наши регулировщики, но быстро разрулить столпотворение не удавалось. И власти такую подготовку признавали образцовой, позор! Я почти десять дней не спал, пока не заправил армию. А как заправил, уснул и проспал двое суток».

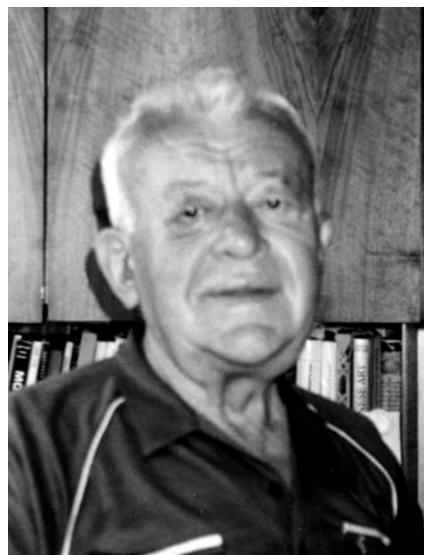
И все же генерал Левченко задет публикациями, признающими чехословацкую операцию ошибкой. Может быть, это надо будет когда-нибудь признать, «но не в такой форме», говорит он, не очень представляя, какая форма военных устроила бы.

Живет генерал в Москве, на улице Мосфильмовской, в одном из домов Министерства обороны. Мы встретились осенью 1989 года, когда за окнами кружили желтые листья, и было видно, как по асфальтовым дорожкам, опираясь на палки, прогуливаются, молча кивая друг другу, отставные генералы. Если бы они с похвальной для их возраста старательностью так прямо не держали спину, трудно было бы поверить, что этих людей в 1945 году боялась Европа.

Фотографии к главе 6



Кирилл Мазуров («генерал Трофимов»): «Если бы сегодня повторилась ситуация, я вел бы себя точно так же...». 1989



Богумил Шимон в 1968 и в 1998: «Мы испытали шоковое состояние и не знали, что сказать друг другу...».



Командующий 38-й армией, генерал Александр Майоров в 1968...и в 1998-м: «Если вы еще жи-

Глава седьмая

«Я прошу вас, не молчите!»

Иржи Гаек против Якова Малика. Москвич Цукерман защищает честь чехословацкого министра. «Всегда оставаться людьми». Что считал своей ошибкой подполковник безопасности Зденек Форманек. Совесть нации на XIV съезде КПЧ в Высочанах. Зикмунд обращается по радио к друзьям в СССР. «Давно пора Брежневу хвост укоротить»

В тот день в здание ООН в Нью-Йорке поднялся корреспондент «Известий» Мэлор Стуруа, известный публицист. В коридоре ему встретился заведующий отделением Чехословацкого телеграфного агентства (ЧТК).

– Что вы с нами сделали! – коллега качал головой.

Стуруа посмотрел ему в глаза:

– Что мы сами с собой сделали...¹⁸

Совет безопасности ООН обсуждал чехословацкую ситуацию. В Нью-Йорк летел министр иностранных дел Чехословакии Иржи Гаек. Он прервал отдых в Югославии и весь полет переживал за Якова Александровича Малика, советского представителя при ООН и Совете Безопасности. Они были дружны, могли друг на друга положиться, а теперь невероятная глупость («глупство», скажет мне министр) разводила их в разные углы, как боксеров на ринге. Малик уже огласил позицию Кремля, сослался на «приглашение войск», и Гаек страдал, понимая друга, вынужденного с международной трибуны нести вздор.

Но сначала о Гаеке.

Юный чешский антифашист, изучавший право в Париже, он впервые увидел советских людей в 1933 году; во дворце Мютюалите проходил мировой антивоенный конгресс, устроенный кумирами европейской молодежи – Анри Барбюсом, Роменом Ролланом, Теодором Драйзером, Раймоном Гюйо. Делегаты восторженно принимали посланцев разных стран, но ветром подняло с мест ликующий зал, когда вошла делегация страны Советов. Ее глава Александр Косарев казался человеком из будущего: с мужественным лицом, спортивного сложения, глубоко мыслящий.

А когда в 1939 году Гаека арестуют за участие в антифашистских акциях, он не будет знать, что почти в те же дни в Москве вожака советской молодежи, его кумира, расстреляют как «врага народа». Он услышит об этом в тюремной камере в Южной Саксонии. «Это меня потрясло» – вспомнит Гаек, перебирая в памяти годы, когда святое для европейских социал-демократов понятие СССР стало вызывать тревогу.

Чувство опасности, когда-то этим словом вызванное, вернулось к нему утром 21 августа. Еще три дня назад с разрешения Дубчека и Черника он принял приглашение югославских коллег отдохнуть с семьей у моря. Военное вторжение было неожиданно и так абсурдно, что когда в одну ночь он оказался министром иностранных дел оккупированной страны, не сразу пришло в голову, что делать. Из Белграда он пытался связаться с руководством в Праге, но страна молчала, как необитаемый остров.

В Белграде отдыхали с семьями еще три члена правительства: Ота Шик, Франтишек Власак, Штефан Гашпарик. Обеспокоенные, бессильные поговорить с лидерами страны, они предложили послать Гаека на заседание Совета Безопасности. Никто не отстранял министра иностранных дел от обязанностей, и в этой обстановке он просто обязан донести до мирового сообщества позицию законной власти.

А тут еще сотрудники чехословацкой миссии в Нью-Йорке постоянно ему звонят, сообщают, как на них давят из Праги консерваторы во власти, и умоляют министра прилететь. По слухам, противники Дубчека и Черника («здоровые силы») при поддержке чужих войск создают на родине «рабоче-крестьянское правительство». ООН оставалась последней трибуной, где законная власть может себя защищать. Узнав об аресте Дубчека, Черника, Смарковского, оглушенный другими пражскими новостями, Ота Шик, заместитель председателя правительства, в Белграде принимает решение послать Гаека в Нью-Йорк.

Из записи моих бесед с Иржи Гаеком:

«Перед отъездом в аэропорт мне удалось, наконец, связаться с Прагой, с моим заместителем Плескотом. “Слушай, – сказал он, – я только что говорил со Свободой, ему не нравится, что ты собираешься в Нью-Йорк”. Я спросил: это распоряжение или не распоряжение? “Это мнение Свободы”. Тогда я сказал: передай, пожалуйста, Свободе, что мне тоже не нравится туда лететь, но я обязан, потому что ООН – единственное место, где мы можем отстаивать независимость. Если возможность не используем, потеряем все»¹⁹.

Когда в Вене Гаек пересаживался на самолет в Нью-Йорк, его разыскал сотрудник чехословацкого посольства: был звонок из Праги, кто-то из правительства срочно просит министра к телефону. «Поздно!» – ответил Гаек и вошел в самолет. «Позже министр Владимир Кадлец мне расскажет, что это на него наседали «здоровые силы»: «Гаек твой друг, звони ему, чтобы не летел». «Знаешь, я был рад, что не смог тогда связаться с тобой», – скажет ему Кадлец.

Тайный советник Брежнева потом напишет:

«Необходимо было принять меры к тому, чтобы исключить постановку вопроса о событиях в Чехословакии на заседании Совета Безопасности... Это можно было бы сделать только в том случае, если бы министр иностранных дел Чехословакии Гаек дал соответствующую директиву представителю Чехословакии в ООН. Следовательно, необходимо было предусмотреть немедленное занятие Министерства иностранных дел и принудительное отправление соответствующей директивы не только представителю Чехословакии в ООН, но и всем посольствам Чехословакии за границей. Если бы посольства за границей с первых же часов правильно информировали соответствующие правительства о событиях в Чехословакии, можно было бы предотвратить значительное число антисоветских выступлений и заявлений буржуазных государственных деятелей в связи с событиями в Чехословакии.

Нельзя было допустить, чтобы министр иностранных дел Гаек к моменту ввода наших войск в Чехословакию находился вне пределов страны. Имелась полная возможность сделать так, чтобы все члены правительства Чехословакии к этому моменту находились в Праге. Это лишило бы контрреволюцию возможности создавать эмиграционное правительство»²⁰.

В Нью-Йорке Гаек всю ночь обдумывал выступление. Надо говорить

корректно, дистанцируясь как от чехословацких антисоветских сил, так и от американских политиков. «Я хотел сказать советским товарищам, что не мы, а они нарушают Варшавский договор, основу нашего содружества, что когда-нибудь они поймут свою ошибку, и мы снова будем вместе. Мы помним, чем обязаны Советскому Союзу во времена Мюнхена, в годы Второй мировой войны; но теперь мы остро переживаем унижение, оно пришло, откуда мы меньше всего ждали. Мы говорим это с грустью, но без вражды. Хотим надеяться, что эти роковые действия вызваны неправильным пониманием хода вещей.

Перед моим выступлением подошел сотрудник нашего посольства: «Малик хотел бы с вами поговорить». С удовольствием. Но встретиться было бы предпочтительней на территории чехословацкой миссии. Ехать к советским товарищам казалось двусмысленным, все могло случиться. Но Малика встреча в другом месте не устраивала.

Я выступил на заседании Совета Безопасности».

Во время выступления Иржи Гаек не выдержал напряжения; на трибуне он плакал и с трудом брал себя в руки, чтобы закончить речь.

«После моей речи поднялся Малик; не глядя в мою сторону, стал читать заготовленный текст снова о «братской помощи». На галерее для гостей и журналистов громко смеялись. Мне было за него неловко. После заседания Совета Безопасности встречаться со мной Малику расхотелось.

В Нью-Йорк пришла телефонограмма: Свобода и другие члены чехословацкой делегации в Москве не одобряют мое выступление; мне предписано возвращаться в Прагу».

Иржи Гаек знал, на что шел, но не предвидел масштаба последствий. При массовых чистках в партии в марте 1970 года его, ветерана антифашистской борьбы, исключают из КПЧ, лишают звания члена-корреспондента Академии наук; он станет на родине изгоем. Ему назначат небольшую пенсию как узнику гитлеровских застенков, он будет кое-как перебиваться с женой Марией и сыном. Абсурд, придуманный проклятой жизнью: выходит, спасибо фашистам, когда-то бросившим в тюрьму, иначе теперь пропал бы. Иногда ему удавалось переводить чужие работы, анонимно их публиковать. «За моим домом велось наблюдение, по пятам ходили сотрудники госбезопасности. Мария не выдержала, в 1989 году мы с сыном похоронили ее».

Мария совсем немного не дожила до новых времен, когда Гаеку вернули ученые степени и звания, в том числе профессора Карлова университета (1990). Но силы у него уже были не те. Одинокий, он ходит по улицам ссутулившись, не поднимая головы, глядя под ноги, чтобы не оступиться в очередной раз.

Осенью 1989 года, перебирая на редакционном столе читательскую почту, отклики на опубликованные в газете беседы с политиком Мазуровым, генералом Павловским, десантником Нефедовым, вскрыв очередной конверт, я не поверил глазам: пишет Иржи Гаек из Праги. «...Хотел бы не только от себя, но и от имени многих своих товарищей высказать признательность за беседу с ефрейтором В.Нефедовым, из которой ясно, что честные советские люди, даже участвуя по приказу в военном вторжении в Чехословакию, сумели сохранить как здоровое осознание реальности, так и человеческое

отношение к народу оккупированной страны, уважение к его достоинству. Бывший солдат нашел мужество сказать правду о том трагическом событии, которое вызвало самое глубокое отчуждение между народами наших стран за все столетия...»²¹

Поводом для письма было несогласие бывшего министра Гаека с Мазуровым в трактовке отдельных моментов истории. Причиной ввода войск, настаивал автор письма, «была не наша внешняя политика или международная ситуация; целью было – сорвать реформы, которые в своей концепции и отдельных чертах во многом напоминали то, что у вас сейчас осуществляется как перестройка». На оценке тех событий, продолжал он, лежит тяжелая тень 21 августа, она теперь мешает чехам говорить правду. «Эту тень бросил не чехословацкий народ. И озарить ее светом истины могут лишь те, чьи предшественники бросили тогда эту тень. Солдат В.Нефедов, и это ваша заслуга, показал, что возможны и необходимы дальнейшие шаги»²².

Пять месяцев спустя я оказался в Праге.

На этот раз моим спутником был Ян Петранек, неистовый чешский репортер. В шестидесятых годах он представлял в Москве чехословацкое радио, исколесил Советский Союз и был одним из очень немногих журналистов, кто предсказывал вторжение. «Пять лет жизни в СССР достаточно для понимания, что можно ожидать» – объяснит он потом. А 21 августа, передавая в эфир экстренное сообщение, репортер взял гитару и запел известную в свое время песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» – крик души советского заключенного откуда-то из северной тайги. Горечь и ирония песни были близки чехословацкому восприятию внезапных событий. Пропев последнюю строку: «Вчера похоронили двух марксистов, которые тут были ни при чем», Ян прокричал в микрофон: «Я тоже со своей страной ни при чем!»²³

В годы «нормализации» весельчака и балагура Яна, любимца радиослушателей, выставят из редакции; он нигде не найдет работы. Придет на кладбище, будет готов копать могилы, но и этого ему не доверят. С трудом возьмут кочегаром в котельную на шинный завод «Мишлен». На это вредное производство работать никто не шел, принимали даже преступников. В котельной Петранек проведет восемнадцать лет; с ним рядом будут бросать в топку уголь выгнанные со службы профессора философии, социологии, истории – все из чехословацкой Академии наук. В XX столетии в мире не будет другой такой просвещенной котельной.

Февральским утром 1990 года мы с Яном шагаем в чехословацкий Институт государства и права; там нас ждет Иржи Гаек, уже с возвращенными титулами, но еще не у дел. У меня было что рассказать Гаеку. В архиве редакции нашлись четыре письма от неизвестного читателя, отклики на помещенный в газете «памфлет» некоего В.Коржева «Иржи Гаек мотается по свету». Публикация появилась 3 сентября 1968 года, кто этот В.Коржев, я не имел представления, никто из моих друзей в редакции, кому я звонил из Иркутска, тоже не знал ни автора, ни каким образом это появилось в газете. Подобным псевдонимом обычно подписывались материалы, направленные для публикации из отделов ЦК КПСС или управлений КГБ. Этот опус был особенно разнуздан: «...Говорят, что в период оккупации немцами Чехословакии И.Гаек, чтобы уцелеть, сочинял угоднические письма в гестапо. И именно гестапо спасло жизнь И.Гаеку, которому пришлось крепко порабо-

тать на нацистов. Может быть, поэтому он в свое время сменил фамилию Карпелеса на Гаека. Вот уже две недели Гаек-Карпелес болтается по разным городам и весям»²⁴.

Это про *действующего* тогда министра Чехословакии!

Морально растоптать единомышленника, вчерашнего друга, попавшего в немилость к руководству, было обычным в советской идеологической практике. Но мне хотелось рассказать Гаеку не об этом, не столько об этом, а об обнаруженной много лет спустя и ошеломительной реакции никому не известного читателя Б.И.Цукермана на выпад Кремля против чехословацкого министра.

Письмо пришло на имя главного редактора «Известий» 26 сентября 1968 года: «...В Вашей газете был опубликован “памфлет” В.Коржева под названием “Иржи Гаек мотается по свету”. Я вспомнил об этом на днях, когда в коммунистической печати стали появляться заметки о том, что Чехословакия направила ноты протеста правительствам СССР, Германии, Польши, Венгрии и Болгарии, в которых отводила обвинения, высказанные в печати этих стран в адрес некоторых государственных деятелей Чехословакии и, в частности, в адрес министра иностранных дел ЧССР И.Гаека. Затем до меня дошел слух, будто советский представитель принес извинения в связи с публикациями в советской печати относительно И.Гаека. Будучи чрезвычайно встревожен такими сообщениями, я прошу Вас как можно скорее информировать меня (через Вашу газету или лично), по-прежнему ли Вы не сомневаетесь в достоверности обнародованных Вашей газетой обстоятельств, уличающих И.Гаека. Особенно важными представляются мне утверждения, что И.Гаеку пришлось крепко “поработать” на нацистов и что он сменил фамилию Карпелеса на Гаека (последнее обвинение в контексте “памфлета” и в свете некоторых других публикаций приобретает специфическую остроту и актуальность). Б.И.Цукерман»²⁵.

Главным редактором «Известий» тогда был Лев Николаевич Толкунов. Фронтовик, крепкий журналист, порядочный человек. В дни чехословацких событий, рискуя своим положением, он спас от расправы двух известинских корреспондентов, но рассказ об этом впереди.

Что он мог ответить читателю Б.И.Цукерману?

Что не по своей воле газета печатает чушь?

Три недели спустя в «Известия» приходит второе письмо: «Придавая исключительно важное значение вопросу, содержащемуся в моем письме от 26 сентября с.г. (оно получено Вами 27 сентября), убедительнейшим образом прошу Вас не откладывать ни на один день ответа. Составление ответа не может отнять у Вас много времени, так как я вполне готов довольствоваться односложным “Да” или “Нет”. Б.И.Цукерман»²⁶.

Редакция молчит. Цукерман пишет прокурору Свердловского района Москвы, требуя привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших клеветническую публикацию об Иржи Гаеке. Первый раз в истории газеты читатель требует суда в защиту чести иностранного государственного деятеля, оскорбленного, по его мнению, несправедливо.

Прокурор района отмалчивается. Неугомонный Цукерман пишет прокурору города Москвы, обвиняя районного прокурора, который своим молчанием нарушает статью уголовного кодекса. «Впрочем, должен признаться,

что какой-то намек на ответ я все же получил. А именно, 18.XII меня посетил милиционер, который сообщил, что в связи с поданным мной заявлением прокурор велел установить место моей работы. Конечно, этот визит не является ответом, предусмотренным Процессуальным кодексом, но он вполне может оказаться провозвестником такового. Однако не исключено, что милиционер мог прийти не по адресу: ведь кто-нибудь из помощников прокурора, не разобравшись в спешке, мог по ошибке отправить милиционера к заявителю, вместо того, чтобы послать его к тем лицам, чье преступление заявителем разоблачено»²⁷.

Кто он, этот Цукерман? Розыски тогда ни к чему не привели, но хотелось воспользоваться поездкой в Прагу, чтобы Иржи Гаек узнал о человеке, который защищал его честь.

Как писал об одном своем герое Иосиф Уткин, у него «все, что большое, так это только нос» – точный портрет Иржи Гаека. Маленького роста, щуплый, лет под восемьдесят, с несоразмерным туловищу сократовским лбом; меж слезящихся глаз картофелина крестьянского носа.

Иржи Гаек слушает, грустно улыбаясь. Видимо, у «товарища Коржева» были стесненные обстоятельства, вынудившие писать о незнакомом человеке непристойности. Это, конечно, не очень хорошо, но автор наверняка страдал. Гаеку жалко бедного Коржева.

Что-то мне мешает спросить относительно той части публикации «Коржева», где речь о якобы «нацистском прошлом» и смене фамилии Карпелес на фамилию Гаек, но собеседник уловил невысказанный вопрос. «Органы безопасности, ваши и наши, передавая для автора материалы, хорошо знали, что фамилия Карпелес была у Бедржиха Гаека, моего однофамильца, коммуниста с довоенным стажем. Мы знали друг друга; во времена протектората Бедржих с группой антифашистов эмигрировал в Англию, а после войны, желая вернуться в Прагу с чувством полной принадлежности к чешскому народу, взял себе фамилию Гаек, у нас распространенную, как у русских Степанов или Петров»²⁸.

В 1950-е годы в Чехословакии по советскому образцу и при участии московских чекистов началась борьба с «космополитизмом» и с «международным сионизмом»; Гаека-Карпелеса арестовали. Как сложилась его судьба, видимо, было известно органам безопасности, и они передали автору публикации факт чужой жизни для компрометации чехословацкого министра.

О Цукермане я знал мало; защита Гаека была не единственным его добрым делом. Подобные письма он слал в газеты, суды, прокуратуру, вступаясь за людей, не имевших возможности постоять за себя. Он затеял с властями игру, ставя их в тупик глубоким знанием законов, практики их применения, легким ироничным слогом; он издевался над скудоумием властей. В ноябре 1970 года усилиями А.Сахарова, А.Твердохлебова, В.Чалидзе в Москве создали Комитет прав человека; корреспондентами комитета стали А.Солженицын и А.Галич, экспертами – А.Есенин-Вольпин и Б.Цукерман. Я надеялся услышать о нем что-либо в доме, где Цукерман жил (адрес указан на его конвертах), но люди в той квартире ничего сказать не могли; по слухам, в 1970-х годах прежние жильцы покинули СССР.

Тут уместно забежать вперед.

В 2007 году международная организация «Мемориал» (Москва) вместе с Центром «Карта» (Варшава) будет готовить к изданию Словарь диссидентов Центральной и Восточной Европы. В словаре впервые окажется справка о Борисе Исааковиче Цукермане (14.04.1927 – 23.04.2002), математике и физике, авторе правозащитного Самиздата. Мать преподавала музыку, отец был репрессирован в 1933 году и погиб в лагерях. Борис окончил механико-математический факультет МГУ, занимался физикой магнитного резонанса, работал в лаборатории математических методов в биологии. В 1968–1971 годах вошел в правозащитное движение, подписывал письма в защиту А.Гинзбурга, Ю.Галанскова, А.Солженицына, П.Григоренко, консультировал родственников арестованных по политическим обвинениям. Изучив советское законодательство, международные пакты о правах человека, он стал едва ли не единственным в стране практикующим неофициальным юристом. В истории диссидентского движения его относят к зачинателям жанра «правовой беллетристики» и правового просветительства в СССР. В начале 1971-го он выехал в Израиль, был профессором физики Еврейского университета в Иерусалиме ²⁹.

– Можно письма Цукермана подержать в руках? – спрашивает Гаек в Праге в 1990 году.

– Конечно, я вам их покажу, – отвечаю, – когда увидимся в Москве.

В последний раз Гаек был в Москве во главе чехословацкой делегации, прилетавшей на полдня подписать договор о нераспространении ядерного оружия. Это было за три месяца до ввода войск. Министра возили в черном лимузине в сопровождении милицейских машин. В дипломатическом мире уважали его образованность, способность переходить с одного языка на другой (он свободно говорит на девяти). Тогда, в мае 1968-го, на переговорах в МИД СССР он почувствовал натянутость отношений, когда убеждал коллегу А.А.Громыко ³⁰ в напрасных тревогах; никакой чехословацкой контрреволюции нет. Министр Громыко часа полтора слушал, согласно кивал головой, а на прощанье сказал: «Благодарю вас, товарищ Гаек, за информацию, только не забывайте – контрреволюция у вас поднимает голову!» Видимо, полтора часа советский министр думал о своем.

В Москве Гаек появился снова во второй половине мая 1991 года. Его пригласили на международный конгресс памяти Андрея Сахарова – «Мир, прогресс, права человека». Он с трудом передвигался по московским улицам на больных ногах, опираясь на трость, часто останавливался перевести дыхание. На Пушкинской площади мы зашли в редакцию «Известий». Надев очки, он вчитывался в напечатанные на пишущей машинке и подписанные Б.Цукерманом письма 1968 года. «Знаете, он рисковал без свидетелей, не искал популярности, не нащупывал заранее на голове нимб героя. Это особенно ценно... Удивительные письма; тогда они защищали мою честь, а теперь, сохраненные, продлевают мою жизнь».

Мы снова гуляем по Москве.

В магазинах очереди за продуктами, люди говорят о референдуме, быть или не быть союзному государству. Политиков занимают не столько отношения СССР с Западом, как симптомы напряженности в отношениях между суверенными республиками. Лето скучным не назовешь: вокруг все шумное, приподнятое, слегка крикливое, отчасти напоминающее Пражскую весну.

Ельцин, второй человек в стране, выступал в Праге перед депутатами Федерального собрания. Интеллектуалы гадали: извинится за ввод войск или нет.

– Надо очиститься, – говорили одни.

– Нам не в чем каяться! – возражали другие.

Ельцин вернулся, не извинившись.

Присаживаемся на скамейку у фонтана перед Большим театром.

Иржи Гаек чему-то улыбается.

– Хорошо? – спрашиваю я.

– Не скажу «хорошо», скажу – интересно!

Я взял у Иржи Гаека интервью для «Известий». В название вынесли его слова: «Всегда оставаться людьми»³¹. Это так просто понять, но как же трудно этим постоянно руководствоваться. Газета вспомнила об оскорбительной для гостя и его страны публикации 1968 года, и, ломая традицию, первый раз в своей истории предварила публикацию крупно набранным признанием своей вины за когда-то напечатанную несправедливость:

«23 ГОДА СПУСТЯ “ИЗВЕСТИЯ” ПРИНОСЯТ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ БЫВШЕ-МУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ (1968 г.)».

После слов десантника Валерия Нефедова «Прости нас, Прага...» это было второе в России публичное извинение за драму 1968 года.

Никого так не унизило вторжение войск, как офицеров чехословацкой службы безопасности. Столько лет охотились за своими, разоблачали, судили, сажали, а обезопасить границы, предупредить нападение на страну не смогли. Полный провал!

Слушаю Зденека Форманека:

«Знаете, какую самую большую ошибку я допустил как профессионал? Не прислушался к совету молодых офицеров разработать систему защиты государственной безопасности от стран Варшавского договора. Это казалось фантазмагорией: разведка и контрразведка – против братьев по классу. Особенно в Советском Союзе. Стыдной казалась сама идея; мы долго не понимали, с кем имеем дело. А утром 21 августа десантники ворвались в здание чехословацкой безопасности, нас, офицеров, поставили к стенке, руки за голову... Это было, как если бы в окно влетела шаровая молния и все внутри выжгла дотла. Я задыхался от обиды и вины»³².

Ночь ввода войск поставила подполковника Зденека Форманека, заместителя начальника Главного управления национальной безопасности чехословацкого МВД, и десять тысяч других офицеров перед выбором: оставаться чекистами или почувствовать себя гражданами своей республики. Совместить не получалось. Тем, кто учился когда-то в школах КГБ в Москве и потом тайно работал на советские спецслужбы, перестраиваться не приходилось. Муки испытывали другие, молодые чекисты из выпускников Карлова университета, воспитанные на чешской философии, истории, литературе, на национальных традициях. Чаще всего это по натуре не циники, а романтики; их реже удавалось советским резидентам вербовать, использовать, но отношение к СССР у тех и других оставалось одинаково почтительным.

Мысль о том, не слишком ли он доверчив, пришла в голову, когда Форманек служил в секретариате министра национальной безопасности Карола

Бацилека, старого коммуниста, до войны возвращенного с территории СССР на родину для подпольной работы. Молодой Форманек разбирался с письмами; исповеди репрессированных делали его больным. Но совершенно доконала осень 1952 года, когда надо было присутствовать в числе «публики» на процессе по делу Рудольфа Сланского. В небольшое помещение тюрьмы Панкрац пропускали по спискам журналистов, партийных чиновников, перешедших сотрудников безопасности и молодежь, к которой присматривались, чтобы затем привлечь для работы в органах. Они представляли «публику». Не было нормального суда с прениями сторон; на обвинения подсудимые отвечали торопливым согласием, а некоторые, волнуясь, давали ответы прежде, чем обвинители успевали задать вопрос. Даже Андре Симон, бесстрашный журналист, ничего не боявшийся, на суде умолял: «Я хочу, чтобы меня казнили...»

Приговоренные к смерти писали письма на имя К.Готвальда, их передавали министру Бацилеку, но по назначению они попадали после казни осужденных. «Хотя известно было, что работу чешских следователей, прокуроров, судей направляют советники из СССР, некоторые в чине генералов госбезопасности, я не позволял себе в чем-либо усомниться. Это у меня, только у меня, думал я, по неопытности моей что-то не укладывается в голове».

Ах, как пыталась открыть Зденеку глаза юная подруга Ада Беккер, студентка медицинского института, сестра известного деятеля польского рабочего движения врача Яна Беккера (Поланского). «Когда мы говорили о процессе и я с юношеским максимализмом защищал революционную бдительность, Ада вскидывала на меня глаза, полные ужаса: «Как ты можешь им верить?! Почему из четырнадцати обвиняемых одиннадцать – евреи? Почему все кричат о “сионистском заговоре”? Ты не чувствуешь чудовищную ложь?»

Я изумлялся: как Ада смеет так думать, да еще вслух! Человеку невозможно жить без веры в справедливость. Моя душа разрывалась. Я искренне выступал в министерстве на собрании с одобрением процесса. Кому и зачем, я доказывал Аде, могла бы понадобиться неправда? Но любимая не давала мне говорить: «Уже запутали даже тебя, а завтра сведут с ума всю Европу!»

Форманек в 1964 году возглавлял новый отдел; здесь собрали самых толковых, ожидая от них предложений по реформированию органов³³. К ним поступала секретная информация о методах дознания, статистика «неблагонадежных», «заговорщиков», «иностранных агентов», «шпионов», численность репрессированных и расстрелянных... Он чувствовал себя пусть небольшим, но одним из зубьев стальной челюсти, которая дробит, жует, отправляет в небытие. При нем затевалось дело против «антипартийной группы», будто бы готовившей покушение на А.Новотного. В подозреваемые попали четверо: два офицера госбезопасности, сотрудник министерства культуры, корреспондент чехословацкого радио. К ним подослали провокатора. «Следователем был мой приятель. «Франтишек, – спросил я. – Ты можешь мне сказать, что там на самом деле?» «Чепуха, – ответил он, – за это не сажать надо, а надрать уши, чтобы не болтали».

Я кинулся к начальнику управления. Наши товарищи, стал я доказывать, видно, заскучали без скандалов, нельзя сажать невинных, компрометировать органы! Начальник поднялся: «Ты, Форманек, видно не созрел до понимания дел государственной важности. С такими взглядами мы не обеспечим национальную безопасность».

Форманека уволили; три года он перебивался случайными заработками, никакой работой не гнушаясь, только бы прокормить семью. Он часто вспоминал подругу Аду, недоумевая, как получилось, что девушка, далекая от политики, прозрела раньше, чем он?

С началом Пражской весны безработного разыскали, предложили вернуться в органы. «Видишь, теперь другие времена, нужны честные люди. У тебя французский, немецкий, русский, немножко английский... Хочешь в разведку? Или продолжишь работу над концепцией?»

В июле возвращенный подполковник стал заместителем Иржи Грубого, начальника управления чехословацкой национальной безопасности. Сам по себе хороший человек, начальник пришел из министерства внутренних дел, в специфике органов не очень разбирался, и профессионал Форманек тянул воз. В своем кругу чекисты откровенно говорили о ситуации, огорчались натянутым отношениям с СССР, но возможность ввода чужих войск никто не допускал. Форманек по-прежнему отвергал советы коллег начать продумывать систему защиты от стран Варшавского договора.

Все бы шло своим чередом, когда бы в конце июля у себя на даче он не сломал ногу. Две недели провалялся в госпитале, и хотя опирался на костыли, все-таки можно было передвигаться. В августе работа над концепцией продолжалась; думали, как без ущерба для безопасности наполовину сократить штат сотрудников, вывести школы, редакции газет, учреждения культуры, спортивные клубы из сферы повышенного внимания органов, свести там к минимуму агентурную сеть.

Всем мешало чрезмерное присутствие в чехословацких органах советских спецслужб. Офицеры КГБ работали с чехами в одних кабинетах, со своими секретарями и переводчиками; это многих задевало. Сотрудники чехословацкой безопасности передавали секретную информацию советским офицерам, минуя свое руководство, а советские офицеры давали указания чехословацким сами, напрямую. Говорят, со времен Готвальда повелось сообщать представителям КГБ информацию раньше, чем собственному руководству. Форманек и его сотрудники вынашивали предложение, казавшееся разумным и не обременительным для советской стороны: вывести офицеров КГБ из-под крыши чехословацкого управления, разместить их на территории посольства или других советских организаций. В середине августа об этом заговорили с советскими товарищами. Понимали, что это не понравится, но не представляли, до какой степени.

В органы теперь чаще приходили молодые, из чехословацких учебных заведений. Только один из заместителей начальника управления, Йозеф Риппл, учился в Москве и чувствовал себя скорее офицером КГБ, нежели чехословацкого управления.

Вспоминает Зденек Форманек:

«Двадцатого августа я задержался на работе до позднего вечера. Мы, трое офицеров, вносили последние поправки в концепцию. Теперь это вспоминается как сумасшествие: сотрудники национальной безопасности ломают голову над тем, как перестраивать работу, не догадываясь, что в эти самые часы чужие войска переходят государственную границу. В 11 часов вечера в кабинет врывается Йозеф Риппл. Лицо бледное, в дрожащей руке пистолет, голос срывается: “На территорию Чехословакии вступили советские войска. По приказу Шалговича я всех вас беру под охрану!”».

Полковник Вильям Шалгович, заместитель министра внутренних дел, руководил службами безопасности. Как потом выяснится, в августовские дни он работал на советское посольство и КГБ. Полковник и его люди, в том числе Риппл (об этом напишут газеты), заранее подготовили «мероприятия по безопасности», чтобы вторжение прошло без помех; предусматривались изоляция или ликвидация руководящих деятелей страны, аресты потенциальных противников ввода войск ³⁴.

«Мне показалось, бедный Йозеф пьян или сошел с ума. Мы тоже были вооружены, но пистолеты хранили в сейфе, в портфеле, в ящике стола. Что делать? У меня к тому же нога в гипсе. Риппл не унимается: “Все остаются на своих местах. Не двигаться. Я запираю вашу дверь на ключ!” Мы слышим щелчок дверного замка. Бросаюсь к телефону, звоню в канцелярию Шалговича. Его секретарь лейтенант Йилек ничего не понимает: “Это какая-то ошибка, сейчас открою вашу дверь, а вы разберитесь у Шалговича”. Когда мы приближались к кабинету Шалговича, от него вышли начальник чехословацкой контрразведки (кажется, по фамилии Ставинога) и два советских товарища в штатском; похоже, советники КГБ.

Шалгович возбужден. “Садитесь, друзья. Президиум ЦК КПЧ пригласил советские войска, и они пришли!” Я усомнился: “Неужели Президиум? И Дубчек?” “Да, сам Саша пригласил!” Он называл Дубчека по имени, намекая на их близость. Я ничего не понимал. Он повернулся к моим сотрудникам: “Вы еще не очень опытные, а товарищ Форманек пока с больной ногой, так что в эти дни вам лучше не работать, вы можете оставаться с нами, но ни во что не будете вмешиваться. Я приказал Рипплу делать все, что надо”. И снова ко мне: “Вы все же будьте на месте, я вас прошу”.

В голове все смешалось. Как мог Президиум ЦК партии так поступить? Совсем недавно нас уверяли, что мы суверенное государство, с советской стороны решаем вопросы вместе. И что же?

У Шалговича мы были вчетвером: мой заместитель майор Ярослав Янкерле, капитан Станислав Прокоп и юрист Вратный, в звании капитана, имя не помню. Мы вернулись в кабинет, кто-то принес бутылку вина, после полуночи включили радио. В час ночи слышим: “Ждите важное сообщение... Важное сообщение!”

И тревожный голос диктора: “Передаем обращение Президиума ЦК КПЧ ко всему народу Чехословацкой социалистической республики...”

Мы хотели выключить, все уже знали от Шалговича, но диктор вдруг говорит что-то другое, противоположное тому, что мы слышали от Шалговича: “...Президиум ЦК КПЧ считает этот акт не только противоречащим основным принципам отношений между социалистическими государствами, но и попирающим основные нормы международного права...” Значит, никто их не приглашал?

Они нарушили наши границы?!

Набираю телефон Шалговича. Трубку снова снимает лейтенант Йилек. “Товарищ Шалгович говорить с вами не хочет” – и вешает трубку. Я понял: полковник Шалгович предатель. Звоню домой министру Йозефу Павелу. Домашние отвечают, что он в правительстве. Звоню туда. Ни Павела, ни Черника на месте нет.

Дозваниваюсь до заместителя председателя правительства Любомира

Штроугала. Говорю, что слышал от Шалговича и что сказали по радио: кому верить? Спрашивает, какое радио мы слушали. Говорю, которое включено в сеть. «И что там передали?» Я повторил. Подумав минутку, Штроугал сказал: «Шалгович врет, верьте радио!»».

К чему здесь и дальше подробности, когда суть событий можно передать в двух словах, не задерживая внимания на деталях, тормозящих повествование? Да ведь часто в деталях и проявляется суть – деформация психического здоровья людей и общества в критические моменты их истории, их судьбы.

«Рано утром в здание безопасности вошли советские десантники. Их было много в коридорах, на лестницах, у входа. В руках автоматы и ручные пулеметы. А мы сидим в своих кабинетах, выполняя прозвучавшую по радио просьбу Президиума ЦК: не оказывать сопротивления. Переходим из кабинета в кабинет, совещаемся, что делать. Самое разумное – не провоцировать открытие огня. Так прошел день.

Вечером 22 августа, оставаясь за старшего (Грубый еще был в отпуске), я подписываю приказ по управлению: подчиняемся только президенту, правительству, съезду партии, проходившему в этот день на Высочанах; мы не исполняем приказы оккупационных войск: будем стараться уберечь от провала свою мировую агентурную сеть. Это самое важное, что есть у национальной безопасности. Нет гарантии, что секретные документы не похитят Риппл и его приятели. По телефону, телексу, открытым текстом передаю приказ во все службы безопасности страны».

В кабинете снова появляется Риппл, кладет на стол пистолет. «Я знаю, что выгляжу предателем и меня надо отдать под трибунал...» «Не валяй дурака, – сказал Форманек, – возьми свой пистолет, придет время, разберемся». Риппл исчез, больше его не видели.

«Тем же вечером сотрудники управления собираются в кинозале. Четыре сотни человек. Зал битком набит. Я зачитываю приказ. Люди подходят к микрофону и рассказывают, как их вынуждали сопровождать советские танки к зданиям ЦК партии, правительства, редакциям радио и газет. Некоторым это поручали в полдень 20-го, за двенадцать часов до ввода войск. Люди каются, повторяя, что их обязывали Шалгович и Риппл.

Одной группе, человек пятнадцать, еще в десять вечера приказали быть в аэропорту Рузине, занять контрольные службы, наблюдать, чтобы не было помех при посадке первого самолета. Так бывало при встречах особо важных персон; группа не знала, кто летит на этот раз. Из первого самолета выпрыгнули десантники, заняли службы управления полетами, стали выталкивать автоматами их самих, чехословацких чекистов: «Пошли вон!» Чекисты, владевшие русским не слишком хорошо, переспрашивали, куда советские соудруги просят переместиться».

Форманек оставался в своем кабинете двое суток.

В ночь с 22 на 23 августа в кабинет вошел советский полковник, с ним лейтенант и солдаты. Форманека вывели из здания, посадили в бронетранспортер, повезли на Летну. Там под конвоем сопровождали в главное здание министерства внутренних дел, оставили в пустой комнате, поручив охрану у дверей советскому солдату с ручным пулеметом.

Так Форманек провел еще два дня.

26 августа в 3.30 утра советский офицер и солдаты снова посадили Форманека в бронетранспортер. Там уже сидел майор Янкерле. Форманеку показалось, что их везут в тюрьму Рузине, расположенную в том же районе, что и аэропорт. Он хотел было заговорить с Янкерле, но офицер прикрикнул: «Ни слова!» Форманек будет вспоминать это утро, как самое кошмарное в жизни: брезжил рассвет, город в клубах сырого тумана, пришла мысль, что их везут на расстрел.

Когда пленников вывели из бронетранспортера, они увидели над собой крыло военно-транспортного самолета. Их подняли по трапу. Вдоль фюзеляжа, спинами к стенке, сидели заместитель министра Станислав Падрунек, помощник министра Ладислав Пешек, начальник отдела контрразведки Милан Хошек... Появился знакомый советский полковник, с ним молоденький лейтенант с хорошим чешским языком; потом оказалось, лейтенант учился на философском факультете Карлова университета. Когда Форманек собрался поприветствовать коллег привычным «Агой!», полковник оборвал: «Только по-русски!»

В шесть или семь утра самолет оторвался от земли. Увидев в иллюминатор ландшафт с угольными бассейнами, Форманек спросил полковника, на сколько часов перевести стрелки. «Не надо переводить, – успокоил полковник, – вы летите не в СССР».

Самолет приземлился под Дрезденом.

Их повезли на окраину города, разместили, судя по всему, в явочной квартире КГБ. Некоторое время спустя перевезли в гостиницу советского военного гарнизона. Развели по комнатам, подходить к окнам запрещалось. У каждой двери и у окон дежурили солдаты.

Во второй половине дня знакомый полковник привел напарника, тоже полковника. «Это ваш следователь». Форманек вспыхнул: «Я не арестант, вы не смеете обращаться со мной, как с преступником!» Следователь смотрел на Форманека с усмешкой. «Вам бы лучше помолчать. У вас в стране контрреволюция, а вы здесь. Нужны ли юридические формальности?» Из вопросов было ясно, что следователь осведомлен о каждом. Видимо, советским следователям помогали чехословацкие чекисты из провинции. Следователь был хамоват, относился к так называемому типу «злодеев», и по законам жанра его должен сменить другой следователь, из «интеллектуалов»; подследственный, доведенный первым до отчаяния, теперь скажет, что требуется.

«Интеллектуал» не заставил себя ждать.

Нового следователя занимала не контрреволюция, не связи чехов с Западом, а сама личность Форманека. Почему человек с его образованием и опытом сам не может разобраться, что в стране происходит; интересовало не что чекисты делали, а почему так думали. К пленным не применяли насилия, не повышали голос, не вытягивали признаний, как бывало при политических процессах в Восточной Европе пятидесятых годов и как можно было ожидать теперь, а допрашивали вяло, словно тянули время. Ждали указаний из Москвы, а их, видимо, не было; Центр выжидал, подпишет ли дубчековское руководство «московский протокол». Группа Форманека была заложником кремлевских переговоров.

Форманеку пришла пора снимать гипс. Солдат повел в советский военный госпиталь. В рентгенкабинете русская медсестра предложила конвоиру выйти за дверь: здесь возможно облучение. Когда солдат скрылся, женщина

зашептала: «Кто вы? Почему здесь? Что у вас происходит?» Форманеку, давно не встречавшему интереса к себе, так хотелось поговорить, рассказать, расспросить. Но никому из русских он больше не верил.

Было 9 сентября, когда за чехословацкими чекистами снова пришел советский полковник: «Собирайтесь в Прагу!» «Переводят в чешскую тюрьму?» – спросил Форманек. «Ну что вы, товарищи, – сказал полковник. – Вы возвращаетесь к работе, на свои посты. Будем и дальше крепить дружбу наших органов...»

Советский полковник вряд ли знал, что в те дни на столе Брежнева будут «Некоторые замечания по вопросу подготовки военно-политической акции...», а в них программа взаимодействия советских и чехословацких спецслужб на период «нормализации». Важнейшая задача видится в «установлении действенного контроля над органами МВД. Устранение Павела лишь в незначительной степени ослабило позиции правых в МВД. Этот важнейший государственный орган до сих пор остается важнейшим рычагом контрреволюции. Цель не будет достигнута, если органы МВД будут просто нейтрализованы. Их необходимо заставить работать над укреплением основ социализма, вести решительную борьбу как с происками иностранных разведок, так и с внутренней контрреволюцией. Без кардинальной чистки невозможно стабилизировать положение в стране, но эту чистку мы должны проводить руками чехов, т.е. руками органов МВД...

В органах МВД должна быть проведена кардинальная чистка, и эту работу нельзя откладывать»³⁵. Не знал советский полковник, что эти пятеро чехов, офицеров безопасности, в дни «нормализации», при чистке партии будут уволены из органов на том основании, что считали ввод союзных войск интервенцией. Заместитель министра Подрунек, по образованию историк, пойдет на стройку каменщиком. Начальник отдела контрразведки Пешек будет торговать на улице овощами. Помощник министра Хошек устроится в магазине кладовщиком. Форманеку повезет больше: его возьмут юристом в управление метрополитеном. Его заместитель Янкерле будет искать работу, пока не умрет от рака.

Мы встретимся с Форманеком после «бархатной революции», во времена правления Вацлава Гавела, в мае 1991 года в его пражском доме на Ёнишовской. В успешном предпринимателе с монашеской бородой непросто будет узнать одну из ключевых фигур органов безопасности Чехословакии реформаторских времен. Он вспомнит и устыдится своего молчания в ответ на порыв русской медсестры что-то понять про его страну, умягчить его душу состраданием. «Я прихожу в ужас, когда думаю, что моя настороженность при встрече с этой женщиной могла оставить у нее впечатление, будто все чехи закрыты, раздражены, озлоблены, каким был я, подполковник с гипсовой ногой. Но скажите, мог ли я, офицер чехословацкой безопасности, после всего пережитого верить хоть одному русскому?»

– А сегодня? – спросил я. – Сегодня верите?

– Поживем – увидим.

На второй день оккупации на Высочанах тайно собрался XIV съезд партии. Кружа переулками, заматавая следы, делегаты пробирались к назначенному месту. В истории большевизма известны случаи, когда при идейном расхождении братья по классу бывали друг к другу нетерпимее, чем к закля-

тым врагам. И когда Венек Шилган, профессор экономики, член горкома партии, ехал на пражском трамвае по сообщенному ему адресу, не подозревая, что придется пять дней замещать Дубчека, увезенного в Москву, он затруднялся объяснить себе, от кого у себя в стране должна прятаться правящая партия и почему на чехословацкий «социализм с человеческим лицом» у Кремля аллергия острее, чем на откровенный европейский антикоммунизм.

Какое надо иметь воображение, чтобы представить, как в разделенном мире, висящем на волоске от войны, у одной из двух сверхдержав, обладательницы ядерного оружия, двое суток не было в Европе задачи важнее, чем в оккупированной ею социалистической стране поставить на уши свою армию, посольство, органы безопасности с единственной целью: найти и разогнать подпольный съезд коммунистов, своих *единомышленников*.

Над Прагой плыла тень Франца Кафки.

Пару дней назад Шилган был по делам в моравском городке Пршерове. Утром вышел из гостиницы в киоск за газетой. Толпились люди; старая женщина причитала, схватившись за голову: «Будет война! Русы пришли!» Шилган не понимал, каким странным образом в голове женщины сплелись два слова: русы и война. Понял, когда развернул свежую «Праце». «...Президиум ЦК КПЧ считает этот акт не только противоречащим основным принципам отношений между социалистическими государствами, но и попирающим основные нормы международного права...»³⁶

Под конец лета Шилгану иногда приходило в голову, что теоретически это может случиться, но мысль была невероятная, он ее гнал, как наваждение. Намеки на недовольство Брежнева чехословацкой политикой стали появляться в феврале; Кремлю казалось, что чехи не договаривают, что-то делают за спиной. Под конец весны Шилган был в Москве в правительственной делегации по вопросам СЭВа, встречался с советскими товарищами, среди них была дочь Серго Орджоникидзе, человека из окружения Сталина. Она врач, стажировалась в Праге; от нее и друзей в ее доме он услышал, что из ЦК КПСС систематически рассылают «закрытые» письма о Чехословакии, по тону все более жесткие. Его это удивило, об этом вряд ли догадывалось руководство чехословацкой партии. Они знали, Кремлю не нравится кое-кто в пражском руководстве (Смрковский, Кригель, Пеликан и т.д.), они объясняли это себе предвзятой информацией, не думая, что кому-то придет мысль кадровые вопросы, внутреннее дело любой партии, только ее одной, решать военной силой. Нет, говорил Шилган себе, надо совсем потерять разум, чтобы на это пойти.

Идея сдвинуть открытие съезда с 26 сентября на 22 августа, собраться немедленно, пришла в голову многим и спонтанно; делегаты связывались друг с другом. Вечером двадцать первого, когда Шилган поездом вернулся в Прагу и добрался до дома, жена Люба на пороге сообщила о звонках делегатов из Праги и Средней Чехии: «Тебя ждут, ты должен идти!» Записала адрес: Высшая экономическая школа на Жижкове. Он обнял детей, у них трое, обещал скоро вернуться. Не знал, что уходит на неделю.

На улицах стояли танки, люди тащили первых убитых.

«Когда добрался до Жижкова, было шесть вечера. В школе семьдесят-восемьдесят человек. Все знакомы, обращались друг к другу по имени; никого из руководства не было. Член горкома партии, я оказался как бы главным. Все уже знали, что Дубчека увезли неизвестно куда. Надо было действовать;

решили предложить делегатам собраться в Праге и обсудить положение. О проведении съезда тогда не думали, искали только, где разместить почти тысячу человек. Дворец съездов не подходил из-за ситуации. На площадях армейские части. Безопасней казалось на заводской территории под охраной рабочих. К ночи окончательно остановились на Высочанах, на заводе ЧКД. Связываться с генеральным директором Антонином Капекем не стали, он мог помешать. Предпочли заводских партийцев; все бросились к телефонам, нашли иносказательные формы, и скоро делегаты по всей стране (около 1500 человек) знали: сбор утром на Высочанах»³⁷.

Дата ввода войск (в ночь с 20 на 21 августа) не была случайна. Через пять дней (26-го) должен был состояться съезд словацких коммунистов; если его не опередить, позволить избрать новый состав словацкого партийного руководства, а большинство в нем оставалось бы за сторонниками реформ, создание послушного Москве «рабоче-крестьянского правительства» было бы еще затруднительней. А если допустить XIV съезд и избрание нового ЦК, тоже бесспорно дубчековского, упреки Праге в разгуле контрреволюции утратят смысл. Тогда вряд ли нашелся бы сумасшедший, готовый пригласить в страну чужую армию.

В Москве намечали варианты, как пойдут события после ввода войск, но не учли способность малой нации к мгновенной сплоченности. Когда больше нечего ждать, люди шутят над собою и над врагом. Этот характер тысячу лет обеспечивал этносу выживание, моральную победу.

С утра 22 августа трамваи в сторону Высочан шли переполненные. Некоторые делегаты добирались на грузовых машинах; из дома уходили, как на фронт: «Давай рубашку, я поехал!» У проходной завода следовало представиться (списки делегатов были у секретарей низовых организаций, стоявших рядом с охранниками), каждому показывали, как пройти к рабочей столовой. Прибывали делегаты Пльзня, Карловых Вар, Южной Моравии, Северной Моравии... Некоторые успели добраться из Словакии, но поезд из Братиславы идет в Прагу десять-пятнадцать часов, причем нерегулярно; словацкие делегаты продолжали прибывать вечером и на следующий день.

На всех дорогах к Праге войска проверяли документы, выявляя делегатов; перешедшие на сторону консервативных сил сотрудники чехословацкой безопасности и офицеры КГБ группами по три-четыре человека сновали по городу в поисках района, где мог открыться съезд. Впервые так явно обнаружился страх кремлевских идеологов перед чехословацкими партийцами, тогда одним из самых сильных коммунистических отрядов в Европе.

Зал столовой был Шилгану знаком; там проходила высочанская партконференция, он был на ней как гость весной, в апреле. «Мы тогда оказались рядом с Дубчеком. “Знаешь, – я говорил ему, – кажется, у нас не все в порядке, противники реформ слишком суетятся, и мне это не нравится”. – “Что же ты хочешь? – отвечал Дубчек. – До съезда надо выдержать, потом они уйдут. А если попытаются устроить в партии путч, мы их уберем, не дожидаясь съезда”. Он имел в виду Биляка, Индру, Ленарта. Мы стояли рядом и говорили, глядя в глаза друг другу».

К десяти утра в столовой собралось больше 800 делегатов. По обыкновению, из представителей областей выбрали президиум. Делегаты рассказывали, как в городе за ними охотятся, ищут место сбора; на территорию завода в любую минуту могут войти войска. «Нас большинство, у всех на руках

мандаты, этого достаточно, чтобы провозгласить наше собрание съездом партии». «Прежний ЦК по уставу уже не действует, сегодня нет другого политического центра, готового взять на себя ответственность», – слышались голоса. Шилган поддержал: «Мы имеем право объявить себя съездом и избрать новый состав Центрального Комитета». К одиннадцати часам был избран президиум и рабочие комиссии, вести съезд поручили Венеку Шилгану. Зал принял обращение к народу, потом к коммунистическим, социал-демократическим, рабочим партиям мира.

В зале сидели известные в стране люди, в их числе Зденек Гейзлар, Мирослав Галушка, Эдуард Гольдштюккер, Иржи Пеликан, Ян Прохазка, Франтишек Водслонь, Божена Махачова, Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд... Давали выступить каждому, кто хотел, но не более двух минут; никакой истерии, только по делу. Выходившим за регламент с мест кричали: «Долго говоришь!» Обсуждали предложения, возвращали тексты на доработку комиссиям, возникавшим тут же. Угроза появления чужих войск требовала самодисциплины; все были, как скалолазы, связанные одной страховочной веревкой, и надо карабкаться выше, поддерживая друг друга.

Опыта справляться с таким перенапряжением чувств, с таким объемом страстей, быстро меняющихся, перетекающих одна в другую, ни у кого не было. Появлялись делегаты, добравшиеся издалека; на улицах, говорят, полно танков, бронетранспортеров, на площадях горят костры. Не поспевают только словаки, многих задержали на границе Словакии и Моравии; они ищут обходы, но военные повсюду. В городе ожидалось массовые обыски и преследование сторонников реформ. Шли разговоры о планах советского посольства создать «рабоче-крестьянское правительство» и «революционный трибунал». Участники съезда – сотрудники чехословацкой безопасности – советовали звонить домашним: уничтожать записи, нежелательные для чужих глаз. Ганзелка дозвонился до дома, попросил жену и бабушку (ее маму) спуститься в подвал, найти в шкафах кое-какие письма, сжечь их.

«Нужна была связь с миром; на соседнем заводе радиопередающих устройств рабочие помогли быстро собрать аппаратуру. Пришли люди с чешского радио Камила Моучкова и Гонзович (не помню имени), стало возможным слать телеграммы, общаться с другими странами. Потом офицеры КГБ будут недоумевать, как нам удавалось говорить, с кем хотели, когда они перекрыли все линии связи. Они просто не знали: железнодорожники предоставили съезду ведомственную связь; обычно по ней передают транспортную информацию, но для нас сделали исключение, и наши сообщения пошли в Германию, и Францию. Со Словакией я говорил по линии связи энергосистемы. Через пару фраз я спрашивал: “Ты меня понял?” – “Понял”. – “Могу продолжать?” – “Продолжай...” Я ничего в технике не понимал, но вокруг были рабочие, и все получалось. Скоро в столовой оборудовали настоящую радиостудию, и можно было выходить в эфир прямо из зала заседаний. Рабочие нам приносили хлеб, сосиски, чай, кофе, сахар...»

При выборах ЦК первыми назвали Дубчека, Черника, Смрковского, Шпачека, Шимона, Кригеля, вывезенных в Советский Союз. Никто не знал, что с ними, представляли занесенные снегами сибирские лагеря. Делегаты, люди неверующие, как многие потом признавались, молили Бога, чтобы дал их товарищам в Москве все выдержать и сохранить достоинство.

В ЦК избирали совесть нации, хотя именно этих людей советская пресса

относила к вождям «контрреволюции»: Иржи Гаека, Ота Шика, Иржи Пеликана, Эдуарда Гольдштюккера... Теперь от высочанских избранников будет зависеть, сохранит ли партия решающее влияние в обществе. Как ни мало было времени и как ни хорошо все знали друг друга, каждую кандидатуру обсуждали. Спор разгорелся вокруг имени Иржи Ганзелки. Все зачитывались книгами путешественников, теперь работающих с ними рядом на съезде, но смущал партийный стаж, по сравнению с другими небольшой. И все же Ганзелку избрали членом ЦК, а Мирослав Зикмунд предложил вместо себя Карела Павлиштика, доктора философии; с ним согласились.

«Работу съезда, – будет вспоминать Шилган, – закончили в двенадцатом часу ночи. Утром люди должны вернуться к рабочим местам. «Документы знаете?» – спрашивал я. «Знаем!» – «Разъезжайтесь, и пусть предприятия работают, дети ходят в школу, жизнь продолжается. Мы должны себя вести как нормальные граждане. Это наша страна, и мы отвечаем за то, чтобы все шло обычным путем. А с войсками не будем иметь никакого дела, для нас они не существуют. Ну, расходимся, друзья. Всего доброго!»

Во время перерыва к Иржи Ганзелке подошла сотрудница Министерства внутренних дел, протянула написанный от руки список: двенадцать фамилий. Первым значился Ганзелка, за ним Эдуард Гольдштюккер, всех не запомнил. В министерстве, говорила девушка, шло совещание консервативных сил, они утвердили этот список, указанных в нем лиц предписывалось арестовать в любом месте, где бы ни находились. Рядом с Ганзелкой стоял Мирослав Зикмунд, но вчитаться не удавалось, девушка торопилась передать листок в президиум. Шилган огласил список и предложил названным в нем делегатам пока не выходить в город, оставаться на заводской территории; здесь охрану несла народная милиция и рабочие отряды, а руководил ими полковник Генерального штаба чехословацкой армии, известный военный теоретик, участник съезда, избранный членом ЦК. Для Ганзелки и Зикмунда в этом было что-то ирреальное: находиться под защитой вооруженных охранников в родной Праге, где в 1947 году ликующий город провожал обоих в первое путешествие по Африке... Приехали!

Ночевали в конструкторском бюро, в кабинетах инженеров, технологов, конструкторов. Появились железные кровати, кто-то устраивался на полу, положив под голову папки с бумагами. С утра 23 августа Ганзелка и несколько других членов нового ЦК сели работать над документами съезда. Все мысли были о том, где сейчас Дубчек, Черник, Смрковский, другие товарищи. Пока не вернулся Дубчек, руководить всей работой поручили Шилгану.

На следующий день в Прагу пришла московская «Правда». Высочанский съезд был назван «незаконным контрреволюционным сборищем». Кремль требовал от чехословацкого руководства все решения съезда аннулировать. Делегаты читали о себе несусветные вещи. Их не задевала грубая работа – насмотрелись! – все желали только быстрее возвращения лидеров партии, а дома как-нибудь разберемся.

Иржи Ганзелка с другими членами ЦК работал над письмом Людвигу Свободе. Президенту советовали, пока он в СССР, не принимать окончательных решений, а быстрее вернуться, почувствовать ситуацию. Но передать письмо президенту станет возможным только по возвращении в Прагу.

Мирослав Зикмунд и его семья (жена, мать жены, сын) вечером 20 августа вернулись, напомним, после отдыха на Адриатике в Готвальдов (Злин), в свой дом с садом и выходящей на улицу каменной тумбой. Ночью он услышал о вторжении войск, увидел в темном небе самолеты, а утром позвонили друзья, тоже избранные делегатами съезда, и сообщили, что съезд будет чрезвычайным и надо выезжать; он рассовал по карманам нужные бумаги, а партийный билет спрятал в носок, чтобы не нашли при обыске.

В ночь с 21 на 22 августа Зикмунд и его спутники неслись на машинах в Прагу. Всю дорогу молчали. Оказаться в оккупированной стране было невыносимо. Добравшись до Высочан, оставили машины на окраинной улице и пешком пошли к заводской проходной. На улицы вышли рабочие патрули, готовые сопровождать делегатов к месту. Зикмунда поразила четкая организация: у проходной дежурили машины Красного креста и люди в белых халатах – это были участники съезда, – под видом медицинских работников они развозили по нужным адресам принятые документы. Их озвучивали по радио и передавали в редакции газет.

Утром 23 августа перед возвращением домой Зикмунд пошел пешком к зданию пражского радио. «На Виноградах кошмар: везде танки, перевернутые трамваи, полыхает огонь. Фасад Национального музея на Вацлавской площади изрешечен пулями. Похоже, стреляли из автоматов очередями. Почему? Зачем? Чтобы лишний раз задеть наши национальные чувства? У меня, как у всех чехов, огромное уважение к этому историческому зданию, построенному сто лет назад, гордости европейской архитектуры. Памятники нашего прошлого чем провинились? На танках советские солдаты. “Зачем вы пришли?” – спрашиваю. Солдат держит у бедра автомат, рука на спусковом крючке. Если ему что-то не понравится, он может нажать на крючок.

Солдаты просят у прохожих воды. На площади жарко, а тут еще танковая гарь. Никто не двигается с места. Жалко несчастных солдат, но это форма сопротивления, одна из немногих, доступная людям. Потом переводчик наших книг на русский, хорошо нас знавший, скажет мне с укоризной: что же вы были такие безжалостные, не дали солдатам попить. Я отвечу ему: “Это ваши генералы должны были дать им воду”. Мы понимали, что не отзываться на просьбы попить безжалостно. Танки стояли без горючего, солдаты были без хлеба и без воды, сердце болело на них смотреть. Но как иначе чехи могли выразить свою к интервентам ненависть?

Стою на Вацлавке, слышу странные звуки: то ли стук, то ли звон. Люди достают из карманов ключи, связки железных ключей, бьют ключами о ключи, и над площадью, над головами стоит тупое громыхание. Солдаты переглядываются, не зная, как реагировать. То была старая католическая традиция: когда кто-то умирал, прихожане в костелах били ключами о ключ, напоминая об отошедшей душе. На занятой танками площади одновременное перезвякивание ключей имело свой смысл: уйдите!»³⁸

Всю обратную дорогу домой, в Южную Моравию, Мирослав Зикмунд обдумывал, что предпринять. В Готвальдове стояли танки; жерла орудий смотрели на гостиницу «Москва», на здание телеграфа, на корпуса знаменитых обувных фабрик Томаша Бати, переименованных в предприятие «Свит». Дома он написал обращение к советским друзьям, а утром следующего дня приятели повели в оперный театр, в оборудованную там нелегальную ра-

диостудию. Когда пробрались через декорации к закутку со студийной техникой, радисты включили передатчик. Зикмунд достал текст, стал торопливо читать по-русски. Это была последняя передача свободного радио Южной Моравии. Привожу выступление по магнитофонной записи, переданной мне Мирославом Зикмундом в Злине в 1990 году.

Радиообращение М.Зикмунда 25 августа 1968 года

Дорогие советские друзья!

Говорит с вами один из старых людей, которых вы так часто называли по имени и отчеству – Юрий Федорович и Мирослав Антонович. Или чаще просто по имени, Юрий и Мирослав. Мирек и Юра. Или, как читатели, просто Ганзелка и Зикмунд. Путешественники, чехословацкие писатели, журналисты, кинооператоры, которые в течение многих лет шлялись по 80 странам Африки, Америки, Европы, Азии и в заключение своих кругосветных путешествий посетили вашу страну.

Вы, естественно, помните, сколько раз мы с вами выпивали по рюмке за здоровье, за дружбу, за новые встречи. Сколько раз мы ночами говорили о наших впечатлениях, о нашем совместном будущем – в бесчисленных беседах в сибирской тайге, на вечной мерзлоте Якутии, вблизи вулканов и гейзеров прекрасной Камчатки, на вершинах Памира. На заводах в Норильске, Кемерово, Новокузнецке, Челябинске, Свердловске. На встречах с рыбаками и моряками в Петропавловске, Тикси, Владивостоке, с геологами в Удокане, Чите, Талнахе, в Алдане и в Мирном. С нефтяниками в Марково и Сосново, с молодыми журналистами в Барнауле, с художниками в Красноярске, со строителями гидростанций в Братске, Дивногорске, в Чернышевском на Вилюе. С научными работниками в Академгородке в Новосибирске, Москве, Алма-Ате, Ташкенте и Хабаровске, в Иркутске и Листвянке, на вашей жемчужине Байкале, и в Душанбе...

И вы очень хорошо знаете, дорогие наши друзья, что мы увезли от вас не только чувства человеческой теплоты и дружбы, но и убеждение, что все недостатки, которые вы перед нами не скрывали, надо устранять у вас и у нас, устранять терпеливо, упорно, но деликатно, проявляя взаимное уважение. Когда в январе этого года у нас началось устранение этих недостатков, огромных недостатков, которые накопились в течение последних лет и грозили парализовать всю общественную жизнь, когда под руководством компартии Чехословакии началось это возрождение, политическая весна, к нам приехал товарищ Брежнев и сказал: «Это ваше дело!»

С тех пор у нас началось всенародное движение за демократизацию всей жизни. Учредительное Национальное собрание Чехословакии приняло закон об устранении цензуры. Со страниц печати народ узнал о страшных деформациях режима Антонина Новотного, бывшего президента и первого секретаря ЦК партии, узнал о катастрофическом положении, к которому довел Новотный и его окружение нашу экономику. Узнал, сколько тысяч честных и невинных людей в течение прошлых лет сидело в тюрьме.

Но ваши представители сделали все для того, чтобы советские люди ничего об этих фактах, обнародованных у нас, не узнали. Наоборот, процесс демократизации стали называть контрреволюцией, увидели в нем намерение Чехословакии перейти к капитализму, хорошо зная, что если мы с успехом завершим начатое и покажем миру, что социализм можно строить без концлагерей, без смертных приговоров, без цензуры, то это стремление не ограничится только пределами Чехословакии. <...>

Что случилось с той поры, когда Брежнев подписал Братиславскую декларацию? На улицах наших городов появились десятки и сотни тысяч советских «путешественников», но не туристов, которые к нам до сих пор приезжали с улыбками, с теплыми словами, с традиционными фотоальбомами и бутылочками грузинского коньяка – подарками друзьям.

Улицы наших городов на этот раз заполнили советские люди, которые явились без приглашения, в военных самолетах, в танках и броневиках. Они захватили здания ЦК Коммунистической партии Чехословакии, насильственно прекратили заседание президиума и на броневике увезли первого секретаря ЦК Александра Дубчека. Они захватили здание правительства и арестовали премьер-министра Олдржиха Черника, захватили министерство иностранных дел, чехословацкую Академию наук и один из самых старых университетов мира – Университет Карла IV, Союзы чехословацких писателей и чехословацких журналистов, редакции, полиграфические предприятия, вокзалы, стратегические пункты...

Народ Чехословакии ошеломлен этими трагическими событиями.

Шесть лет во Второй мировой войне наш народ в оккупации воевал против фашистских захватчиков и дождался помощи советских воинов. Более 20 лет он был уверен в настоящей дружбе между нашими народами. И вдруг за одну ночь чувствует себя вероломно преданным.

До сих пор он встречал советских людей словами – «С Советским Союзом на вечные времена!» Через четыре дня насильственной оккупации весь народ пишет на асфальте, на домах, автобусах, железнодорожных вагонах и витринах другие слова: «Отцы – освободители, сыновья – захватчики», «Ваша сила – танки, наша сила – идея», «Позор советским захватчикам!» «Идите домой!».

Что вы скажете своим детям?

Что значит «дружба»? – мы встречаем вас с презрением.

В эти трагические минуты моей родины я, Мирослав Антонович, обращаюсь к вам, дорогие друзья – Володя, Толя, Таня, Женя, Валя, Виктор, Гаврила, Лидочка, Леня – все вы, бесчисленные наши друзья, которые нас встречали как родных и которым вы верили. Я обращаюсь к вам с вопросом: вы верите, что мы, Мирослав Зикмунд и Юрий Ганзелка, что 14 миллионов чехов и словаков, которых вы все называли самыми верными из всего социалистического лагеря, вы верите, что мы – контрреволюционеры?

Я настойчиво прошу вас – требуйте от своих руководителей, от Леонида Брежнева, от Косыгина, от Суслова и других членов Политбюро, требуйте от своих руководителей на заводах, в научных учреждениях, в редакциях, чтобы оккупация моей родины была сию же минуту прекращена.

Требуйте объяснения этому беспримерному вероломству у ваших государственных деятелей, которые принесли идею социализма в жертву великодержавным интересам, внесли раскол в интернациональное коммунистическое движение и оплевали честь советских людей.

Требуйте, чтобы в ваших газетах была высказана чистая правда и чтобы с их страниц исчезла ложь, страшная ложь, которая недостойна культурного и талантливое советского народа.

Я прошу вас, академик Келдыш, академик Лаврентьев, академик Капица – заявите протест против этой агрессии от имени всех ученых Советского Союза.

Я прошу тебя, мой хороший друг Женя Евтушенко, не молчи!

Если я вам сегодня это говорю один, без Юрия Федоровича, то есть без Юрия Ганзелки, это не значит, что он другого мнения. Наоборот. Дело в том, что агенты КГБ разъезжают по всей нашей стране, как у вас во времена сталинского террора, чтобы арестовать тысячи наших людей, которые виноваты в том, что стремились к настоящему социализму, социализму с человеческим гуманным лицом, к свободе, независимости и суверенитету народов всего мира, включая Чехословакию.

Я прошу вас – не молчите об этой страшной агрессии!³⁹.

Позже станет известно, что в тот же день, 25 августа, тоже в десять утра

по пражскому времени (в полдень по московскому), когда из подвала оперного театра Мирослав обратился к советским людям, в Москве, на Красной площади, у Лобного места семерка советских граждан, по мистическому совпадению – в те же минуты развернула плакаты: «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!». Из моравской студии еще неслись в эфир умоляющие слова, когда семерке москвичей, обращения не слышавших, но отозвавшихся синхронно, инстинктивно, послушно собственному сердцу, чекисты заламывали руки за спину и тащили к машинам.

Мы к этому еще вернемся.

...Когда я приеду в Злин к Мирославу осенью 1990 года, мы спустимся в подвальное помещение; там на полках и в ящиках две тысячи перевязанных тесьмой картонных папок с бумагами, собранными за шестьдесят лет путешествий, сто тысяч кино- и фотонегативов, дневниковые записи, которые Мирослав ведет каждый день с 1934 года. Как не понять глубину обиды, пережитой Ганзелкой и Зикмундом. Мы не знаем других зарубежных пишущих людей, кто бы столько лет наблюдал, изучал, любил Россию и бывал в местах, куда мало кто из советских журналистов добирался. Мирослав берет с полки Большой русско-чешский словарь (Прага, чехословацкая Академия наук, 1962 г.), пятый том. И, не скрывая торжества, на 248-й странице указывает место, просит меня прочесть вслух. В толковании русского слова «укоротить» приведен пример из повести Ивана Лаптева «Заря», изданной в Москве в 1950 году. Реплика героя забытой, неизвестной россиянам повести после ввода войск будет у чехов на устах: *«Давно пора Брежневу хвост укоротить...»*

Повесть Лаптева была опубликована, когда «наш» Брежнев работал на Украине и никакого отношения к литературному герою не имел, имена совпали по чистой случайности, но в шестьдесят восьмом году чехи повторяли друг другу эту простодушную угрозу с веселым остервенением. Пора, давно пора Брежневу хвост укоротить!

Фотографии к главе 7



Московский правозащитник Борис Цукерман в 1968 году вступился за министра иностранных дел Чехословакии Иржи Гаека



Иржи Гаек: *«Я всегда говорил, что людей, в трудное время не унижившихся и сохранивших совесть, было больше, чем мы думаем...»*
1989



Честмир Цисарж в 1968-м...и в 1998-м: «Психологический барьер тогда возник, и сегодня нужны большие усилия, чтобы его сломать...»

Глава восьмая

«...Утонули люди. Но это все мелочи»

У Густы Фучиковой. «Рабоче-крестьянское правительство» или оккупационный статус? Ленарт: «Одна мысль сверлила меня: плохо мы работали, если дошли до этого...» Брежнев угрожает гражданской войной. Как подписывали «Московский протокол». «Неужели Чехословакия будет бороться за Кригеля?» У Ривы на Сметанце. Петр Шелест: «Если б я был антисемитом...»

За посольской оградой, во внутреннем дворе, кипит таборная жизнь. Сюда привозят на транспортерах «здоровые силы», как называют противников реформ, в том числе тех, кто подписался под приглашением войск. Как беженцы военных лет, они спят на полу в кабинетах, их кормят в подвале за общим столом. Это для посольства «свои» люди. Некоторые преданны Москве больше, чем Праге. Они резерв «рабоче-крестьянского правительства» и возможного «революционного трибунала». 23 августа А.Бовин запишет в дневнике: посол Червоненко «запросил дополнительно 150 раскладушек и 100 банок красной икры» ¹. Прежде, чем продолжить, позволю себе воспоминание, не имеющее прямого отношения к нашему повествованию, но это как посмотреть.

«Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности. Партийная работа и частые разлуки сохраняли в нас чувства с первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца и одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали...» ². Эти строки из «Репортажа с петлей на шее» с послевоенных студенческих лет вошли в мою душу; на них был отсвет трагедии двух людей, разлученных мировой катастрофой. Когда в последние часы Юлиус Фучик писал о Густе, он не знал, что она в той же тюрьме Панкрац, только этажом ниже.

Эти строки у меня перед глазами, когда 12 января 1965 года я оказываюсь перед шестиэтажным, довоенной постройки, домом на улице Югославских партизан. Памятная доска: «Здесь жил национальный герой Юлиус Фучик. Родился 23.02.1903 в Смихове. Погиб 8.09.1943 в Берлине». На пятом этаже в квартире № 24 живет Густа Фучикова. При мне ей звонил Иржи Ганзелка: «Густинка, помнишь ли ты студента с берегов Волги, с которым переписывалась пятнадцать лет назад?» Как было бы славно пройти по всем этажам, постучаться в каждую дверь: что за люди сегодня живут в доме Фучика? В каком-то приближении это был, возможно, срез чешского общества. Такого путешествия, по квартирам одного дома да еще в другой стране, у меня не было. В подъезде рассматриваю список жильцов. Пожилая женщина вытирает тряпкой перила. «Просим, тувариш?» Спрашиваю, кто в доме главный, вроде председателя домового комитета. «О, розумию, тувариш. Это Либуша Ингрова, квартира 30».

Поднимаюсь на шестой этаж.

Либуша Ингрова все понимает с полуслова. Она здесь с 1937 года, когда построили дом. Живет одна, муж погиб в Освенциме. «Знаете, что случилось во время войны? Густу Фучикову арестовали в апреле 1942 года, а в мае, после покушения на Гейдриха, пришли за мной. Нас тогда брали как заложников, три тысячи человек. В Равенсбрюке у меня был номер 22172. Однажды вижу, к санитарному блоку идет с двумя ведрами воды, еле передвигая ноги, заключенная № 22062. У пояса позванивает железная кружка. Всмотриваюсь: Густа, моя соседка по дому! Она тоже смотрит, не узнает, я была наголо острижена, в такой же полосатой лагерной форме. “Либуша, ты?!” До освобождения мы жили в одном бараке».

Прощаюсь с Либушей и спускаюсь на этаж ниже (теперь Густа живет на пятом).

Нажимаю на кнопку звонка.

Хочу напомнить, что это происходит в середине 1960-х годов, еще во времена тоталитарной власти, когда многие чехи, не бывавшие в СССР, сверстники Юлиуса Фучика, наивно представляли по его репортажам «страну, где наше завтра означает уже вчера», не допуская мысли, что они одурманены мифами, сочиненными искренним коммунистическим пропагандистом, впоследствии погибшим в фашистских застенках. Это потом к читателям придут сомнения и разочарования, потом Густа Фучикова будет в одном ряду с противниками реформ, а в тот год, когда я оказался в доме на улице Югославских партизан, оба имени были у чехов неприкасаемы.

...Густа водит меня по квартире, как по музею, делает это, судя по всему, не в первый раз. Тут все о Фучике. Альбомы с фотографиями: вот он школьник, а вот солдат, а вот в Средней Азии. А здесь в обнимку с Густой на выступе скалы где-то в Татрах. Она в черном берете, прижалась к нему, а он с непокрытой головой, волосы разметал ветер. Молодые и счастливые.

В шкафу пиджак с потертостями на локтях, белая сорочка, черные брюки, ботинки, галстук, обычные предметы. Это вещи Юлиуса, когда он скрывался от нацистов в Хотимерже и писал там этюд «Борющаяся Божена Немцова».

– Когда немцы заняли Прагу, Юлек повторял мне, что в тяжкие времена

стоит прислушаться к голосу чешской литературы, и услышишь живой голос народа...

Густа приносит коробку, в ней тонкие стеклянные пластины. Вынимаю одну, вторую... Под стеклом желтоватые странички, мелкий аккуратный почерк, без помарок. Это рукописи «Репортажа с петлей на шее». Чешские стеклодувы покрыли страницы прозрачной оболочкой, они теперь, как в янтаре. Мне хотелось побывать в квартире, где Фучики жили до войны. Поднимаемся на шестой этаж. Там живут юрист Ян Шимак и его жена Людмила. Густа показывает: здесь был письменный стол, за ним работал Юлиус, а здесь – стеллажи книг. В окна видна панорама района Дейвице.

Возвращаемся на пятый этаж, пьем кофе. Перебираю в памяти строки фучиковских писем. «...Напишите мне, пожалуйста, что с Густинной, и передайте ей мой самый нежный привет. Пусть всегда будет твердой и стойкой, и пусть не останется наедине со своей великой любовью, которую я всегда чувствую. В ней еще так много молодости чувств, и она не должна остаться вдовой. Я всегда хотел, чтобы она была счастлива, хочу, чтобы она была счастлива и без меня...»³

Счастлива ли она?

Густа просит мой блокнот и пишет по-русски:

«Дорогой Леня, я вижу перед моими глазами Юлиуса Фучика, которого знала очень близко. Это был человек, от роду предназначен стать журналистом. Во время встреч с рабочими Юлек убедился, что, работая в качестве революционного журналиста, он должен быть честным, не может писать неправду, несмотря на то, что это иногда, но всегда только временно, выгодно. Журналист трудно приобретает доверие читателей, а легко его теряет. У Юлека я убедилась, что революционный журналист не смеет быть поверхностным, что он должен глубоко проникать в каждую проблему, о которой он хочет в газетах с читателем говорить. Он должен быть твердо убежден во мнении, которое публикует. Так он может заинтересовать читателя и приобрести его. Ваша Густа Фучикова, которая желает Вам от всего сердца много успехов в Вашей журналистской деятельности. Прага, Чехословакия, в январе 1965 г.»⁴

«...Он должен быть честным, не может писать неправду...» Но ведь неправду пишут чаще всего непреднамеренно, в уверенности, что это и есть правда. Ситуация для совестливого журналиста трагичная.

Один вопрос даже в молодости возникал у меня при чтении фучиковских очерков о СССР. Он с восторгом писал о людях Страны Советов, массовом энтузиазме, он не хотел, не видел смысла уводить читателей в сторону от прекрасного – он в это верил – переустройства мира. Пусть другие пишут о голоде в деревнях, бесправии, политических процессах, пусть копаются в трудностях тридцатых годов. Этот подход не для коммунистического агитатора. Но все же, как причина сомнений, как предмет тайных разговоров с близкими, со своей любимой, – он знал, что на самом деле происходит в СССР тридцатых годов? У него были в Москве друзья, ему шептали про страхи, что ночью за тобою придут, он понимал, что это за процессы над «врагами народа»? Представлял, сколько у тюремных ворот женщин с детьми, жаждущих узнать, что с их мужьями? Намекал он на это в письмах? Или, возвращаясь, вышептывал жене о том, что разрывало сердце и о чем он не мог, не позволял себе писать?

Спросив об этом, я испугался.

У Густы расширились зрачки, она стала тяжело дышать.

– Не было у вас тридцать седьмого года! Вы сами все придумали! Почему не успокоитесь?!

При воспоминании об этих минутах у меня до сих пор пылает лицо. Кто за язык тянул? Вывести из себя вдову национального героя! Я же с юных лет ее боготворил, переписывался с ней и преклоняюсь, как перед Лаурой или Беатриче, какой она была, мне казалось, Юлиусу Фучику. Как я позволил себе быть таким бестактным и жестоким!

Наконец, Густа успокоилась.

Было неловко нам обоим.

Прощаясь, мы обнялись, обещая не терять друг друга.

Но больше не встретились.

Я слышал, что в августе 1968 года Густу Фучикову видели среди тех, кто прятался в советском посольстве в те дни, когда там собирались создавать «рабоче-крестьянское правительство». Говорят, она трудно передвигала ноги, как когда-то в концлагере Равенсбрюк, только без железной кружки на поясе.

А я вижу, хочу ее видеть, как на старой фотографии, в черном берете, красивой и веселой, в обнимку с белозубым Юлеком, сидящей на выступе скалы где-то в пронизанном светом Татрах, когда они были молоды и лучшее в жизни казалось впереди.

За полгода подготовки к военной операции наметились три варианта управления Чехословакией после ввода союзных войск.

Основной вариант предложили «здоровые силы»; они надеялись в решающую ночь стать большинством в президиуме ЦК и взять власть в свои руки. Чужие армии пусть стоят на площадях, ни во что не вмешиваясь, но своим присутствием, готовым к бою видом отрезвляют горячие головы, обеспечивают общий покой. Может быть, не сразу, после коротких дискуссий, но мирную передачу власти поддержат все, утомленные нервными перегрузками: партия, парламент, народ.

Идея выглядела беспроектной.

У советского посольства был свой верный круг: Василь Биляк, Алоис Индра, Драгомир Кольдер, Антонин Капек, Олдржих Швестка, Йозеф Ленарт – люди честолюбивые, бескорыстные, по натуре разные, гордые поддержкой Москвы, казавшейся более важной для их судьбы, нежели близость с реформаторами. Всего-то и надо было: в историческую ночь склонить на свою сторону двух-трех колеблющихся, получить перевес голосов. Замысел казался безупречным, но существовал запасной вариант, на случай, если ночные ожидания не оправдаются и перевеса голосов не будет. Власть переходит к «рабоче-крестьянскому правительству», жесткой структуре с единым партийно-государственным кулаком. Эта идея, говорил мне С.В.Червоненко, «возникла у чехов где-то ближе к августу. Они подали эту идею, но не разрабатывали. Я как посол значения ей практически не придавал. Нам не следовало вмешиваться и решать, какое должно быть правительство, это вопрос чисто чехословацкий»⁵. В августовскую ночь, когда «здоровым силам» на за-

седании президиума не удалось стать большинством, под утро в зал заседания вошли офицеры советской и чехословацкой безопасности забрать Дубчека, Смирковского, Кригеля, Шпачека. На вопросы заседавших, кого они представляют, чекисты назвали «революционный трибунал» и «революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Алоисом Индрой»⁶.

Эти структуры были в планах.

Только 22 августа, когда Дубчек и его соратники оказались вне страны, в советском посольстве начали обсуждать, кого включить в состав новой власти. Выбор невелик: кандидаты из прежнего руководства, привезенные в посольство на бронетранспортерах, были здесь – Биляк, Кольдер, Индра, Швестка, Павловский, Якеш... Все среднего и старшего возраста, для большинства карьерный взлет позади, перед каждым мучительный выбор между интересами нации и «интернациональным долгом». Страдая от невозможности соединить несоединимое, они полагались на посольство. В их сознании оно ассоциировалось с исторической надеждой на славянское единство. Кто же всех объединит, если не Великая Россия?

Из претендентов на власть Червоненко выделял троих.

Биляк, по его словам, «будучи местным украинцем, с одинаковым уважением относился как к чехам, так и словакам. Его считают напористым, и это правда, он доводит до конца все, за что берется. Его откровенность иногда принимают за жесткость; он может быть резким в оценке шагов, кажущихся ему опрометчивыми, в том числе с нашей стороны. Он не относился к тем, кто одобряет все советское без разбора. Когда затрагиваются интересы Чехословакии, он неумолим, строго следит за тем, чтобы Судеты снова не оказались у немцев. Иногда чувствует себя ущемленным: ему кажется, что по внутреннему потенциалу и динамизму он заслуживает более высокого положения, чем то, которое занимал».

Индра «твердо придерживается социалистического выбора, это бесспорно, но не каждый раз готов возглавить борьбу за этот выбор. Он, мне кажется, тоже жил с уверенностью, что в полной мере пока не востребован. Он сильно пережил ввод войск, у него было шоковое состояние, он вышел из строя, и когда чехословацкая делегация после подписания “Московского протокола” возвращалась в Прагу, он еще с месяц оставался в Москве подлечиться. Может быть, сказалась нервная и физическая изношенность. В окружении Индры рассчитывали на него как на первое лицо в стране. Непредвиденные ситуации, возникшие с вводом войск, и невостребованность Индры могли сбить его настрой».

Ленарт – «это боец с мягким характером. Человек в высшей степени честный, всегда стремящийся к компетентности в том деле, которым занимается. Он вполне заслуженно занимал высокие посты, особенно во времена работы в Словакии. Думаю, лучшую кандидатуру на пост первого секретаря ЦК словацкой компартии трудно было придумать. В рамках федерального правительства он мог бы возглавить Национальное собрание или занимать другие посты, вплоть до президента республики. Он честно служил стране и не способен был сойти с курса из корыстных побуждений. Но из-за мягкости характера, повторяю, он мог бы уклониться от острой схватки»⁷.

Привести иностранца в дом Ленарта было для Зденека Горжени небезопасно, но мы давно знаем друг друга. Известный публицист, он написал книгу о Ярославе Гашеке как журналисте (ее перевели и издали в Москве),

был верен профессиональному братству, помогал московским коллегам лучше понимать, что происходит на его родине. За неделю до ввода войск его утвердили заместителем главного редактора «Руде право» и срочно вызвали в Прагу. Не успевая устроить для друзей прощальный банкет, он обещал через неделю вернуться, заказал в ресторане стол, но в назначенный срок не он появился в Москве, а его советские друзья, многие из них, приглашенные на банкет, оказались в Праге – одновременно с войсками. «Чтобы сорвать мой прощальный ужин с коллегами, необязательно было посылать столько танков!» – шутил он грустно. В годы «нормализации» Зденек Горжени был главным редактором «Руде право» и хорошо знал Ленарта.

Старый политический волк Йозеф Ленарт в шестьдесят восьмом – секретарь ЦК КПЧ, один из кандидатов на пост председателя «рабоче-крестьянского правительства». В новые времена его исключили из партии, отстранили от дел, он почти не выходил из дома; его ждали обвинения в государственной измене и судебный процесс.

10 мая 1991 года мы с Горжени едем к Ленарту.

Ленарт живет в небольшом особняке На Мичанце с дочерью и внуком. Убранство комнат простое, почти спартанское. Он изредка поднимается из-за стола и подходит к окну, вглядываясь в темень, не маячит ли кто на улице. Беспокойство, как видно, не о себе, он привык к слежке, а о гостях: не стать бы причиной возможных для них осложнений. Под конец жизни, многое пережив, он никому не желал повторения собственной слепоты.

«Знаете, у нас в деревне Липтовска Порубка, где я рос, были две партии: национально-христианская (протестантская) и коммунистическая. Моя семья, с ее рабочими корнями, тяготела ко второй, в деревне многие были друзьями СССР, я тоже, с самого детства; нашу деревню называли Малой Москвой. Такие социальные предпочтения в двадцатые и тридцатые годы были у большинства словацких деревень. Люди верили в светлые идеи, воспринимали их, как свои, целыми деревнями шли за партией. И я очень жалел, мне было горько, что в шестьдесят восьмом году наш кумир Советский Союз взял на себя такую некрасивую в народном сознании миссию»⁸.

Политике, занятию жесткому, не удалось до конца освободить его деревенское мировосприятие от философско-романтической окраски. В графике, говорит он, две краски, черная и белая; но в действительности белая – сумма всех других цветов; если сквозь призму смотреть на солнечный свет, разложить его, мы увидим набор множества цветов. Жизнь, говорит он, пестрее, чем радуга, человеку не хватает отпущенных лет, чтобы разобраться во всех оттенках.

Предвидел ли он ввод войск?

«Я был секретарем ЦК по международным вопросам, но ни от кого из советских или других товарищей об этом не слышал. Незадолго до августа мы с сотрудниками отдела были в Будапеште, в гостинице “Геллерт”, готовили международное совещание. От польской партии берет слово Клишко и в крепких выражениях начинает критиковать “некоторые братские партии”, конкретно итальянцев, за поддержку Пражской весны. Он еще не закончил речь, когда горячие итальянцы схватили блокноты, наушники, что было под рукой, стали стучать по столам, а в перерыв покинули помещение. Тогда я взял слово и попросил их вернуться. Минут через двадцать они заняли свои места, а я предложил чехословацкий вопрос оставить решать чехословакам,

не вмешиваться, не делать из оценки ситуации яблоко раздора в мировом рабочем движении.

В середине августа мы со Штроугалом провожали Чаушеску после его встречи с Дубчеком. На летном поле было жарко. “Ты какой-то бледный, – говорит мне Штроугал после проводов, – как самочувствие?” – “Голова немного кружится, что-то с давлением...” – “С этим не шутят”, – сказал Штроугал и посоветовал ехать в больницу. Врачи заставили проваляться у них три дня, а когда вернулся домой, лег спать и часа в три ночи слышу за окном шум. Люди на улице, в небе самолеты! Я вызвал машину и поехал в ЦК. Одна мысль сверлила меня: плохо мы работали, если дошли до этого...»

Смотрю на руки Ленарта, вытянутые на столе. Крупные, с набухшими венами, руки обувщика с фабрики Томаша Бати. Молодым он работал на этой фабрике. Коммунистический режим вычеркивал имя Бати из народной памяти, выбрасывал из учебников, выдирали из исторических книг, но чехи, даже люди во власти, преклонялись перед обруганным «капиталистом», одним из самых успешных предпринимателей XX столетия. Не афишируя привязанности, старались следовать ему в организации производства, самоуправления, сбыта продукции. Батя начинал с обувной мастерской с 80 рабочими, а оставил промышленную империю с 70 тысячами рабочих мест. На предприятиях, помимо обуви, производили технологическое оборудование, искусственное волокно, спортивные самолеты, были филиалы во многих странах. Для чехов он их Тейлор, их Форд, их Эмерсон. Как слышал Ленарт, в начале 1930-х годов Сталин присылал в Злин группу советских инженеров учиться организации труда на фабриках Бати.

Но что мог подсказать опыт прошлого в августовские дни, когда советские военные вывезли из страны Дубчека и Черника, а одиннадцать их соратников, руководителей страны, и Ленарт в их числе, находились в советском посольстве, не зная, как выбираться из ситуации. Червоненко звонил в Москву, предлагал формировать новое правительство, легализовать ввод войск, а дальше все образуется. И участники разговора не заметили, как уже стали примерять на себя, друг на друга высшие посты.

Я спрашиваю о «рабоче-крестьянском правительстве».

«Возглавить новую власть меня уговаривал Штефан Садовский, первый секретарь братиславского горкома партии. Другие предлагали Индру. Не знаю, почему не подумали заранее, но на моей памяти разговоры о временном правительстве возникли в первые два дня после вступления войск. Никому не хотелось в этом участвовать под дулами орудий. Это было равносильно, как если бы себе сделать харакири, еще больше усложнить ситуацию. Мы желали другого: законная власть должна войти в контакт с оппонентами и вместе искать решения. Ни к чему было следовать опыту Венгрии с ее “рабоче-крестьянским правительством”. В отличие от Венгрии у нас не было гражданской войны, оправдывающей временную власть».

В первый день прихода войск бронетранспортер привез Биляка, Индру, Кольдера и Ленарта из советского посольства в Пражский Град к Людвигу Свободе. Спорили о переходном правительстве, но договориться не смогли.

Пришла идея попытаться уговорить Свободу возглавить новую исполнительную власть. Поздно вечером посол и его собеседники снова едут в Град.

Приглашенные на встречу к президенту действующие министры

(Штроугал, Махачова, Гамоуз и другие) откажутся входить в любое правительство без Черника. Посол будет настойчив, но убедить никого не сумеет. Людвик Свобода тоже не захочет позорить седину: «Если бы я на это пошел, народ выгнал бы меня из Пражского Града как паршивую собаку!»

И те, кто приходил к президенту, и сам президент одинаково понимали, как опасна может быть в этот период в обществе концентрация растерянности, раздраженности, недоверия функционеров друг к другу. И хотя в коридорах власти прохаживались люди, для которых важнее всего было сохранить в критический момент свой статус и при этом не потерять лицо, большинство сотрудников властных структур держались друг друга, держались спокойно, достойно, сплоченно – это и были индикаторы психического состояния общества.

В годы «нормализации» Ленарт почти двадцать лет еще будет у власти, возглавит Коммунистическую партию Словакии (1970–1988), но к тому времени, когда мы с Горжени придем к нему, он три года будет не у дел. Прокуратура обвинит Йозефа Ленарта вместе с Милошем Якешем в легализации интервенции и участии в переговорах «о формировании так называемого рабоче-крестьянского правительства». Уже мало кто помнил, о чем речь, но каждому времени нужны на заклятие свои овцы. К огорчению новых хозяев жизни, жаждавших самоутвердиться, в том числе через шумный процесс, суд вынужден будет оправдать обоих «за недостатком доказательств». Но следствие окончательно подорвет его здоровье. В кругу семьи угасающий Ленарт тихо отметит восьмидесятилетие, а вечером 11 февраля 2004 года его душа предстанет перед высшим Судом.

На случай, если не сработают первые два варианта и Дубчек будет упорствовать, не примет московские решения, как третью возможность для Чехословакии готовили оккупационный статус, подобно тому, как это было в Германии в 1945 году. За юридическое оформление статуса взялась была группа, созданная в Москве 23 августа 1968 года: заместитель министра иностранных дел СССР В.С.Семенов (за его плечами был германский опыт), В.М.Фалин, В.В.Загладин, О.Н.Хлестов, А.Е.Бовин. По воспоминаниям Бовина, «собирались у Семенова, смотрели, как это было у немцев, вызвали стенографисток, пару дней работали, не больше, но дальше философских разговоров дело не пошло»⁹.

Местом создания нового правительства должно было стать советское посольство в Праге, но что в те дни там происходило, запомнил А.Н.Яковлев, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, прилетевший из Москвы:

«Удар по мозгам я получил, добравшись до посольства. Вокруг полный беспорядок, непонятно, кто что делает, к кому ни обратиться, никто ничего не знает. Нас разместили на третьем этаже, всюду ютились чехи, много чехов. Во всех кабинетах койки. Начальник генерального штаба был с дочкой. Чешские генералы в форме.

У советника-посланника Удальцова жили Павловский и Швестка. Нашедшие там приют “здоровые силы” производили жалкое впечатление. Бегали в коридор, там телефон стоял, потные, пьяные, куда-то звонили. Не все, конечно. Биляк вел себя достаточно мужественно. Он отправил семью на Украину, в посольстве не ночевал, уходил домой. Ленарта я ни разу не видел

пьяным, мы как-то стояли в коридоре, часа три разговаривали, было впечатление, что происходящее в городе его никак не касалось. Он размышлял о том, как дальше двигаться стране. Все жили слухами, которые приходили с улиц и площадей. Я говорю Швестке, главному редактору “Руде право” – давай, выпускай газету. “Не могу идти в редакцию, меня там убьют!” Елки-палки, думаю, ты больше пяти лет возглавлял коллектив и теперь боишься показаться ему на глаза? Ну, ребята, вы доруководились!

В посольство приходили какие-то рабочие, предлагали устроить в Праге демонстрацию, но им советовали воздержаться, боялись кровопролития.

Я разыскал Мазурова. “Вы привезли листовки?”, – спрашивает. Нет, отвечаю, нам с собой ничего не дали. “А, – говорит, – это все у военных...” Оказывается, в Москве напечатали и уже доставили в Прагу огромное количество листовок “революционного рабоче-крестьянского правительства”, подписанных как бы уже назначенным председателем А.Индрой, который в те дни прятался в квартире советника-посланника И.Удальцова. Эти обращения к народу должны были сбрасывать с военных самолетов. Но президент Л.Свобода создавать новое правительство не согласился, и вечером в посольстве обсуждали, как уговорить старика через дочь и зятя, но к утру стало ясно, что ничего не выйдет. Во дворе, на зеленом газоне, наши полковники бросали листовки, мешок за мешком, в большой костер»¹⁰.

Всю ночь в небо над Прагой с территории посольства восходили дым, и это было все, что оставалось от кремлевского замысла, предназначенного для Чехословакии, от затерянного в истории среди других мифов «рабоче-крестьянского правительства».

Когда 23 августа в здании ЦК на Старой площади в Москве доставленный с аэродрома Дубчек впервые после ввода войск встретился с Брежневым, они оба были уже не те, какими выглядели в Чиерне-над-Тисой и в Братиславе. Они стояли друг против друга, одинокий нервный пленник и хозяин положения, не желающий смириться с провалом. Тому и другому надо было держать себя в руках, искать выход из ситуации, проигрышной для всех. Но пока Брежнев и его окружение могут покуражиться над выбитым из колеи и насильно доставленным сюда «Сашей».

Брежнев не знал, что в аэропорту Рузине, перед посадкой в советский самолет командир 7-й воздушно-десантной дивизии Л.Н.Горелов уговаривал Дубчека оставить обращение к народу, но Дубчек упрямылся и вообще не хотел подниматься в самолет. «Не я, так другой...», – убеждал полковник. И вдруг с Дубчеком что-то случилось, он понял, что упрямство бессмысленно, и словно уже увидел себя в холодной России, среди таежных костров и сторожевых собак, и к полной неожиданности полковника и других офицеров спросил: «У вас нет водки?» Один из офицеров достал из кармана четвертинку. Дубчек сделал пару глотков и стал подниматься в самолет¹¹.

И вот Дубчек в Кремле.

«Брежнев. Как чувствует себя т. Черник?»

Дубчек. Плохо, как и все.

Подгорный. Здоровье плохое или настроение?»

Дубчек. Тяжело.

Брежнев... Конечно, мы не можем сказать, что у вас веселое настроение. Но дело не в настроении. Надо благоразумно и трезво вести беседу в направлении поисков ре-

шения»¹².

Несколько минут спустя:

«Дубчек. У меня тяжелое состояние – солдаты, все время под ружьем, 7 часов не мог из машины выйти, с двух сторон с автоматами, бронемашин. Вы думаете легко это?»

Брежнев. Имелась в виду безопасность.

Косыгин... Я приехал в Карловы Вары, и вы мне дали пять человек охраны. Я не волновался. Наоборот, я был им благодарен.

Дубчек. Тов. Косыгин, это сравнивать нельзя. Вас охраняли добровольно, а здесь насильно. Но давайте это не затрагивать...»¹³

Еще фрагмент разговора:

«Брежнев... Может быть, пригласить т. Черника?»

Дубчек. По-моему, лучше было бы, если бы привезли Смрковского и устроили где-нибудь здесь.

Брежнев. Кригеля не нужно?»¹⁴

Вот мгновение, когда выдержка впервые оставляет Брежнева. Он подает реплику, оценить которую могли только стоявшие рядом соратники. Для Кремля Смрковский, Кригель, Гольдштюккер, Шик как красные тряпки для быка, самые одиозные фигуры, даже физически неприятные. И когда Дубчек назвал Смрковского, из темных глубин бессознательно вырвалось у Брежнева это возмущенное, язвительное: «Кригеля не нужно?»

Нелегко членам Политбюро найти способ доломать Дубчека, сделать податливым, приручить. Ему готовы простить прегрешения, если признает, что это не он, а другие, его соратники, спутали карты, сбили с толку. И протягивают соломинку, чтобы он ухватился:

«Брежнев. То, что мы говорим, это мы не навешиваем на тебя, это за твоей спиной многое делали, ты всего не мог знать»¹⁵.

Ну, хватайся скорее, покайся, обещаю исправиться, скажи ожидаемые тривиальные слова, это ничего не стоит, твое покаяние никто не воспримет всерьез, но будет соблюден ритуал, и ты снова прежний Саша, дорогой Александр Степанович. Но когда Дубчек не примет правила игры, тон разговора станет другой.

«Косыгин. Вы отвечаете за Чехословакию. Это ваша обязанность – думать. А кто за вас будет думать? Были ошибки? Были ошибки. Нужно выйти из положения. Ищите выход, думайте...»¹⁶

Как им понять друг друга?

Дубчек по врожденному простоудию, по тогдашней своей наивности искренне верил в идеалы. А у собеседников, коривших его за недостаточную тем идеалам преданность, веры в идеалы давно не было.

Доставленные в Москву чехи и словаки были растеряны перед бессмыслицей ситуации; обиду нанесли те, ближе которых, им казалось, не бывает.

Кремлевское руководство тоже попало в западню. Случись на улицах Праги вооруженное восстание, раздавайся из-за углов, с балконов, из окон пальба, можно было бы оправдать военную операцию, одну из самых крупных в Европе после Второй мировой войны: вынудила контрреволюция!

Непротивление выставило пришедшие войска ненужными, нелепыми, смешными.

Это было сокрушительное моральное поражение СССР.

На встречах с чехословацким руководством теперь никто открыто не требовал прекратить реформирование экономики и демократизацию общества, хотя именно это настораживало Брежнева, Ульбрихта, Гомулку, Живкова, Кадара. Разговор в Москве шел вокруг замены политических фигур. Выходило, что ради ухода пяти-шести несговорчивых упрямец, казавшихся Кремлю одиозными, на Прагу двинули армии пяти государств с авиацией, танками, артиллерией, с походными кухнями и госпиталями, почти втрое превышающие численность запертой в казармах чехословацкой армии.

В истории бывало, что армии ходили в поход ради свержения монарха, но впервые пять стран пошли войной на шестую, не добившись от нее публичной порки нескольких ее чиновников, писателей, журналистов. И теперь, на встрече в Кремле, имена чехословацких интеллектуалов, как первопричины зла, не сходят с языка высших советских руководителей, этих интеллектуалов не читавших, только слышавших о них.

В первые минуты разговора с привезенными Дубчек и Черником, еще не успевшими понять, в качестве кого они присутствуют, пленниками на допросе или участниками переговоров, Брежнев с обезоруживающей откровенностью признается, что решительно не представляет, как быть в ситуации, когда войска вошли, а не с кем ни воевать, ни переговариваться.

«Брежнев. Какие могут быть приемлемые варианты? Если не найдем решения, начнется гражданская война. Надо найти выход, а потом уж критиковать друг друга, кто больше совершил ошибок. Людвик Иванович едет к нам с добрым сердцем, и мы хотим найти решение.

Дубчек. Тов. Свобода едет, у него, наверное, есть предложения. Он с товарищами советовался.

Подгорный. Главное – ваши предложения.

Косыгин. Вы сами думайте. Это важнее их предложений. Обстановку вы знаете, мы вам рассказали. <...>

Брежнев. Какие могут быть варианты? Как поступить?

Дубчек. Видимо, вы имели возможность следить за событиями, и у вас что-то наработано.

Брежнев и Косыгин. У нас ничего нет»¹⁷.

Можно представить степень опустошенности Брежнева и Косыгина, если после семи месяцев подготовки военной операции и через три дня после ее начала они признаются чехословацким лидерам, которых, как преступников, вывезли в Москву, что у Кремля нет ни идей, ни мыслей, как выходить из неожиданной для всех ситуации.

Академик Евгений Чазов, кремлевский врач, много лет наблюдавший, как Брежнев из активного, общительного, часто обаятельного человека превращается в дряхлого «склерозированного» старика, начало этой трагедии без колебаний относит к первым тяжелым испытаниям для Брежнева и руководимого им Политбюро – к августу 1968 года¹⁸.

Легенда о том, будто Брежнев искал выход, приличный статусу великой державы, верна наполовину. Как всякий честолобец, занявший путем переворота непосильный для него трон, и достаточно умный, чтобы не строить на свой счет иллюзий, он был обеспокоен тем, чтобы с первых же дней втор-

жения ничем не выдать мелкость замысла, сохранить лицо. Еще работая в провинции, он понимал, что с его багажом трудно удерживаться на вершине. Он приближал к себе образованных людей, писавших ему умные тексты, но постоянно опасался оказаться перед публикой голым королем. Как вспоминает один из сотрудников партаппарата, однажды консультанты написали ему речь и, как было принято, оснастили цитатами из классиков марксизма. Когда пришли в кабинет, Брежнев весело поднял глаза: «Ребята, вы хорошо написали. Но, пожалуйста, не вставляйте мне цитаты из Маркса. Кто поверит, что Леня Брежнев Маркса читал!»¹⁹

Не все в коридорах власти питали к Брежневу симпатию. Многих раздражала его ненадежность, грубоватые манеры. «Он никогда не производил впечатления серьезного человека, – будет вспоминать Г.И.Воронов, председатель правительства России. – Всегда с какими-то прибаутками, анекдотами. Ему начинаешь говорить об искусственном осеменении животных, а он: “Вот у нас в деревне был бык... Не осталось ни одной коровы яловой!” Не я один в нем разочаровался»²⁰. Все помнили, как на юбилее Хрущева он крепче всех тискал именинника в объятиях, а не прошло и года, он участвует в антихрущевском заговоре. Усмехались над его романтическими увлечениями, писательскими притязаниями, слабостью к наградам и автомобилям. Но таким Брежнев открылся в последние годы правления.

А при подготовке вторжения был сосредоточен, постоянно советовался с лидерами других стран, прежде всего, с Гомулкой и Ульбрихтом, прислушивался к ним, понимая, что последствия скажутся более всего на его репутации. Он был растерян, как первый в классе ученик, оказавшийся перед задачей, не имеющей решения. Его охватывает глубокое замешательство, когда чехословацкие руководители, привезенные в Москву из страны, уже неуправляемой, занятой чужими войсками, продолжают твердить то самое, что его всегда раздражало. Он еще не решил, за кого их принимать, их временно посадили за один стол с ним и его соратниками, надо прощупать, как далеко они готовы идти в уступках, а они отвергают даже то минимальное, что от них ждут: отречения от Высочанского съезда. Словно вторжение было вызвано съездом, а не съезд стал результатом вторжения.

Не знаю, изучали ли Брежнев, Косыгин, Подгорный психологию, но их усилия оказать на собеседников эмоциональное воздействие, создать у них определенное состояние, побудить к желательным поступкам наводят на мысль об их интуитивной способности добиваться своего прямым внушением. В те дни важнее всего для них было вызвать у чехов негативный образ съезда, добиться отторжения от него. Одно дело, когда Москва не признает съезд, и совсем другое, когда от него отрекутся те, чьи имена были знаменем съезда и кто был тем съездом избран в высшие органы.

Стенограмму московских переговоров 24 августа со Смирновским, Шпачком, Шимоном, три дня оторванными от товарищей и еще не осознавшими, что с ними происходит, можно перечитывать как практические уроки внушения. Это попытки их умягчить, уговорить, освободить от чувства вины, простить им прежние прегрешения, пугать войною и большой кровью. В Кремле успокоятся, только услышав от каждого обессиленное – да!

«Брежнев. То, что вы вывезены, может быть, это для вас явилось спасением, пройдет время, и вы убедитесь в этом, обстановка такая, что могла вспыхнуть мгновенно война, а в войне солдаты есть солдаты, стихия есть стихия. Если сейчас всего этого не пре-

сечь, начнется гражданская война, начнется битва, и тогда будет пролито много крови. В Чехословакии сейчас находятся наши войска, огромное количество войск социалистических стран. Если начнется битва, то эти войска, вы знаете, будут беспощадными. <...>

Мы вчера сидели целый день, ночи не спали. Наверное, нам было тяжелее, чем вам: вы нет-нет, да и могли поспать, конечно, сон тоже не был крепким. Поэтому, если вы нам скажете, что становитесь на эту позицию и понимаете вашу ответственность за кровопролитие, понимаете нашу позицию в этом вопросе, то мы будем только приветствовать. <...>

Подгорный. Что-то тов. Шпачек не проявляет энтузиазма.

Шпачек. Я сказал, что я – за, но я хотел бы говорить с нашими товарищами.

Брежнев. Отсюда вы поедете и будете с ними говорить. Но я хотел бы выяснить вопрос – съезд вы признаете недействительным?

Смрковский. Конечно.

Брежнев. Вы как, тов. Шимон?

Шимон. Мы не знаем, как это надо сделать. Делегаты у нас были избраны легально, кандидаты в члены ЦК тоже были избраны легально.

Подгорный. А какое вы имели право созывать съезд партии? И почему горком партии взял на себя это право?

Косыгин. Почему вы без Словакии собрали съезд? Это же неправильно.

Подгорный. Вы говорите, что делегаты были избраны законно. Хорошо, может быть, и законно, а все остальное?

Брежнев. Такая позиция уже дает сомнение о вашем отношении.

Шпачек. Никогда. Если бы я там был, я бы согласовал.

Брежнев. Сейчас факт свершился. <...> Меня беспокоит, что т. Шпачек неуверенно нам отвечает.

Шпачек. Я откровенно сказал, тов. Брежнев, я хочу говорить с нашими.

Брежнев. Мы будем делать все, чтобы вас поддержать, но тт. Шимон и Шпачек должны немного изменить тон разговора. Очень много было неудачных выступлений, ошибочных действий. Мы это никогда не будем ставить вам в вину, если вы собственными силами поправите положение. И в этом ценность человека, как говорили Маркс и Энгельс. Нам, товарищи, не дорасти до этих великих корифеев. <...>

Теперь, если вы дадите нам слово, что будете работать в том направлении, как мы условились, поезжайте в Кремль. Как вы, тов. Смрковский?

Смрковский. Я – за.

Брежнев. Как вы, тов. Шпачек?

Шпачек. Я – за.

Брежнев. Как вы, тов. Шимон?

Шимон. Я – за»²¹.

Для Богумила Шимона первые месяцы «нормализации» (тогда еще никто не знал, что они продлятся почти двадцать лет) будут вспоминаться одним событием, неожиданным и веселым. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПЧ, первый секретарь пражского горкома партии, избранный Высочанским съездом в высшее руководство, не знал, как теперь к нему будут относиться советские товарищи с их аллергией на тот съезд и всех, кто был к нему причастен. На московских переговорах он отмалчивался, а потом мучился сомнениями, какое оставил впечатление о себе. А в ноябре его вдруг пригласят

в Москву на празднование 51-й годовщины Октября. Он будет стоять на Красной площади, на мавзолее, рядом с партийным и военным руководством СССР.

Двадцать четыре часа Шимон проведет рядом с Брежневым. Ноябрь выдался холодным, и Леонид Ильич будет обеспокоен, увидев друга Богумила с непокрытой головой. Помощники принесут мешок с норковыми шапками, но голова Шимона не влезет ни в одну, и он будет наблюдать военный парад, поеживаясь под легким осенним пальто. Вдруг увидит, как Брежнев двинется к кому-то из приближенных, снимет с головы шляпу и опустит ее на голову Шимона. Шляпа окажется в самый раз. Никто Шимону еще не дарил шляп, и воспоминание об этом эпизоде станет любимым у Шимона-рассказчика, он с радостью будет повторять историю всем, а в доказательство правдивости истории достанет из шкафа черную шляпу, опустит ее на голову обеими руками, почти до бровей, повторяя движения Брежнева. И свою книгу воспоминаний о Пражской весне он назовет «Шляпа от Брежнева».

Мы встретимся с Богумилом Шимоном в 1990 году, и я уравниюсь со всеми его друзьями и приятелями, наслышанными о брежневской шляпе от самого героя истории. «Поверьте, я не отношусь к закостенелым ортодоксам, но я абсолютно верил тогда и верю сейчас, что при большей терпеливости со стороны московского руководства наши реформы могли быть доведены до конца»²². Он провел на празднествах с Брежневым сутки и готов настаивать, что в Брежневе было что-то трогательное, человеческое, никак не вяжущееся с его решением вводить войска. Эта шляпа!

Тогда мне нечего было сказать в ответ, а пять лет спустя я наткнулся в архиве на секретную депешу из Праги от 26 сентября 1968 года, то есть за шесть недель до появления Шимона на Красной площади. Это будет телеграмма Особого отдела КГБ 20-й армии в адрес маршала А.Гречко, предназначенная для членов Политбюро ЦК КПСС. Командование советских воинских частей, их особые отделы КГБ (военная контрразведка) присматривались к чехословацкому руководству. Видимо, посольские характеристики не вполне устраивали Кремль; сбор материалов поручали военным контрразведчикам, имевшимся во всех подразделениях, вплоть до роты, и у каждого были свои агенты из числа офицеров и солдат, общавшихся с местным населением.

Из сентябрьской телеграммы контрразведки 20-й армии:

«В отношении первого секретаря Пражского ГК КПЧ Шимона чешские граждане Вацлав и Трефель в беседе с советскими военнослужащими 2 сентября 1968 года заявили, что Шимон – самый ярый правый, организатор второго центра партии подпольного 14 съезда КПЧ.

Чешские граждане Неужил и Новотна в беседе с нашими военнослужащими 15 сентября с.г. характеризовали Шимона отрицательно, заявив, что он призывает не подчиняться новому руководству КПЧ и правительству ЧССР, не признавать решения Московского соглашения, совещаний в Чиерне-над-Тисой и Братиславе. Требуется создания подпольных групп, дал непосредственное распоряжение работнику горкома Лису об организации подпольной работы. С этой целью Лис, якобы, выезжал в Швейцарию, а второй член горкома профессор Робин уехал с таким поручением в Австрию.

По заявлению ряда лиц, посетивших центральную комендатуру в Праге (Мирзьянов, Духан, Эйхлер, Барто и др.), на партийном активе района Прага-10 17 сентября 1968 г. Шимон заявил, что «некоторые коммунисты посещают советские комендатуры, пред-

ставляют им доносы, мы знаем этих коммунистов, и им будет плохо”²³.

По сообщению чешского гражданина В. от 21 сентября 1968 г., еще до прихода союзных войск в ЧССР на заводе ЧКД Прага-9 Высочаны на собрании общезаводского актива Шимон выступал с речью, которая носила демобилизующий характер. Он говорил о тяжелом положении, сложившемся в ЦК КПЧ, где создалось, якобы, три группировки, а также говорил о возрождении социал-демократической партии, которая, якобы, возглавляется сыном бывшего руководителя этой партии Бехине.

По сообщению старого члена КПЧ Едас от 24 сентября 1968 года, первый секретарь горкома КПЧ Шимон и секретарь РК КПЧ Прага-8 Бухий 4 сентября с.г. на собрании партийного актива <...> вели себя провокационно. В своем выступлении Шимон, в частности, рассказывал, что на его вопрос о наличии в ЧССР контрреволюции один из советских генералов, якобы, ответил: “Мы поздно пришли и теперь будем искать контрреволюцию”. Когда один из выступавших заявил, что Советская Армия хуже фашистской, Шимон никак не среагировал на это заявление. На вопрос, заданный на активе, как относиться к тем чехам, которые поддерживают связь с советскими военнослужащими, секретарь РК КПЧ Прага-8 Сухий сказал, что сейчас их наказывать нельзя, а когда уйдет Советская Армия, то мы с ними разберемся.

Второй секретарь РК КПЧ Прага-8 Дворжак 21 сентября с.г. сообщил, что Шимон, выступая на партактиве района, ничего не говорил коммунистам о необходимости установления контактов с советскими войсками...»²⁴

Седой и наивный Богумил! Вряд ли ему приходило в голову, что им занимается, идет по его следам советская военная разведка и сведения о нем лежат на кремлевских столах. А Брежнев, как ни в чем не бывало, будет его обнимать, угощать обедом, и это ровным счетом ничего не будет значить для его обреченного положения. Видимо, какие-то сомнения на его счет у Брежнева оставались, и приглашение в Москву понадобилось, чтобы окончательно с ним определиться. Не пройдет и пяти месяцев, как Богумил Шимон будет выведен из состава ЦК КПЧ, а затем вместе с другими реформаторами исключен из партии, выгнан с работы. Он останется наедине с дорогим подарком, предметом своей гордости – брежневской шляпой, как с бесплатным сыром в мышеловке.

Между тем 22 августа около 11 часов утра в Пражский Град приехали Червоненко, Павловский, с ними Дзур. Свобода спросил, почему на улицах расклеен приказ генерала Величко о введении в Праге комендантского часа и почему нет ответа на просьбу президента проехать по городу. Павловский улыбнулся: «Товарищ президент, вы должны нас понять, мы опасаемся за вашу безопасность и пока не получили согласия Москвы»²⁵. Стало быть, теперь в Москве будут решать, может ли президент республики передвигаться по улицам.

Президент спросил, что с арестованными Дубчеком, Черником, Смирковским. Посол развел руками: «Мы бы сами хотели знать...» Генерал поспешил успокоить: «Наша армия ничего общего с этим не имеет». Дал понять, что все в руках КГБ, единственной реальной власти в оккупированной Праге. Президент заметил, что, по имеющимся у него сведениям, их вывезли на советских бронетранспортерах из здания ЦК КПЧ, а Черника из здания правительства. Где они, что с ними? Посол и генерал обещали выяснить.

Об этой встрече я пишу со слов Л.Новака, начальника канцелярии президента, участника того разговора за столом. По его наблюдениям, как он мне рассказывал, встреча что-то перевернула в душе Свободы и сказала на

трудных решениях, которые ему пришлось принимать. Возможно, именно тогда у президента возникла мысль лететь в Москву. Намерение укрепилось после разговора с прибывшими из советского посольства на броневиках Индрой, Ленартом, Кольдером, Биляком. Сотрудничая с посольством и командованием оккупационных войск, они предлагали создать рабоче-крестьянское революционное правительство.

Президент был удручен. «Я думаю, – сказал он потом начальнику канцелярии, – у Брежнева нет полной информации. Если бы он слышал эту стрельбу и видел оккупацию Праги, он бы это прекратил. Мы с ним встречались на фронте, он знает, что такое война, я должен ему открыть глаза!» Мировосприятие Людвика Свободы было очень близко к традиционному русскому мировосприятию: даже вопреки очевидностям с крестьянским простодушием он верил в доброго царя.

В тот же день к президенту приехали члены высшего партийного руководства; они уже заручились поддержкой Москвы, надо создавать временное правительство. Ах, как было славно в недавние времена, когда после таких слов, если есть одобрение Москвы, больше говорить было не о чем. На встречу президент пригласил и членов законного правительства, избежавших ареста. По записи Новака, президент сказал слова, о которых уже много писали:

– Я старый человек, мне ничего не стоит пустить себе пулю в лоб, но вы молодые, на ваших плечах ответственность за будущее. Никакого временного правительства я создавать не буду. Если бы мы на это пошли, народ оплевал бы нас всех. Надо отправиться в Москву, там находить выход из положения. И для начала добиться освобождения заключенных.

Никто из знавших Свободу прежде не видел президента таким решительным. Некоторым из приехавших к нему стало стыдно за малодушие. Пиллер наклонился к Новаку: «Ладя, ты не можешь себе представить, как в советском посольстве на нас орали...»

Было 11 часов вечера, когда президент попросил снова пригласить в Град посла Червоненко. Дорога от посольства до президентского дворца занимает минут десять, но на этот раз посла ждали долго. Видимо, узнав о провале затеи с временным правительством, он советовался с Мазуровым, или оба звонили Брежневу.

Встретив Червоненко в Зеркальном зале, Свобода официально объявил, что идею временного правительства отвергает и намерен лететь в Москву. Посол был взволнован и бледен. Он пообещал все тотчас передать в Кремль и попросил разрешения занять еще пару минут. Он стал торопливо излагать кремлевский взгляд на ситуацию. Конечно, чувствовал неуместность всех этих слов, но не мог уйти, не выполнив поручения. Советский Союз, сказал он, не желал ввода войск, но принял это решение, надеясь помочь чехословацкому народу в борьбе с контрреволюцией. Этот шаг, возможно, нанесет некоторый ущерб репутации братских партий, но пройдет время, и все признают, что это было единственно правильное решение. Президент молчал; прощаясь, повторил просьбу о поездке в Москву. В шесть тридцать утра Червоненко позвонил в канцелярию президента: Кремль согласен.

Но перед тем, как повесить трубку, посол задал вопрос, выплеснувший из подсознания торжествующую имперскую спесь:

– Вы хотите лететь своим самолетом или нашим?

Он хорошо знал, что третий день у Града нет связи с аэропортом, с диспетчерами и службами, и власть представления не имела, что с президентским самолетом, с чехословацкой авиацией вообще.

Утром 23 августа Людвик Свобода и с ним делегация вылетели в Москву на военном самолете генерала Павловского.

«Звонит Брежнев: “Геннадий, тут у нас чехи на Ленинских горах. Рубашки у них грязные, белья нет. Надо привести их в божеский вид...” Нет вопроса, говорю, какие размеры? Брежнев задумывается: “Неважно, пусть один на всех”. Я связываюсь с министром торговли России. Вскоре в мой кабинет вносят две картонные коробки. Одну с белыми рубашками и вторую с нижним бельем (трусы, майки, носки). Открываю: все свежее, чистый хлопок, ходовой мужской размер. Прошу своего водителя отвезти коробки чехам в правительственные особняки...» – вспоминает Г.И.Воронов, тогда член Политбюро, председатель российского Совета министров ²⁶.

В Кремле Свободе, Дубчеку, Чернику, Смирковскому отвели отдельные комнаты, другие жили по два-три человека. Все могли встречаться, но не выходить из помещения. Некоторых поселили на Ленинских горах.

Помощник Косыгина особо предупредил Черника о запрете встречаться с московской общественностью. «Они пытались отделить нас двоих, Дубчека и меня, от наших товарищей, чтобы перед появлением президента и делегации заручиться нашим согласием с их оценкой съезда и надавить на других. “Вам не надо думать о последствиях”, – предупредил Подгорный. Как же так, возмутился Дубчек, вы нам можете только советовать, мы сами будем решать. Наступила гробовая тишина... Требование, чтобы мы в Москве осудили XIV съезд партии, было поспешным, непродуманным, авантюристичным, ущербным для репутации СССР, таким же несовместимым с большой мировой политикой, как и ввод войск» ²⁷.

Согласие с советской оценкой Высочанского съезда было для чехов непосильной ношей, оскорбляющей рабочих, их партию, саму делегацию, и с этим возвращаться домой? Никто, даже из противников реформ, внутренне не принимал кремлевских методов добиваться своего. Но люди европейского склада склонны к компромиссам, их нравы умягчены, они не слишком упорствуют, если речь не идет об угрозе нации, о сохранении самоуважения. Пожалуй, они насчет съезда еще поупорствовали бы, но прилетел Зденек Млынарж, с ним другие члены делегации. Дома, говорят, толпы людей на улицах и на площадях, толкуются между танками, жерлами орудий, вокруг солдаты с автоматами; достаточно спички, и все взорвется.

24 августа Брежнев повторил Смирковскому, Шпачеку, Шимону: «Если сейчас всего этого не пресечь, начнется гражданская война, начнется битва, и тогда будет пролито много крови» ²⁸.

Представление о пролитой крови у Москвы и у Праги разное. Для малочисленного народа Европы каждая человеческая жизнь самоценна, ее никто не должен отнять; в стране раньше многих других отменили смертную казнь. А Брежнев мог сказать собеседникам, как разумеющееся: «В Братиславе одну нашу машину сбросили в воду, утонули люди. Но это все мелочи, мы будем счастливы, если не будет массового кровопролития» ²⁹.

Утонули люди – это все мелочи.

Нас много, нас хватит!

В правительственной Комиссии чехословацкой Академии наук по анализу событий 1967–1970 годов мне показали письмо хирурга Алоиса Хонека из клиники, расположенной в районе Прага-1 по улице На Франтишку, дом 8. Доктор дежурил в клинике в ночь с 20 на 21 августа. Первый пациент с огнестрельным ранением поступил около пяти часов утра, это был чех лет тридцати, он выкрикивал ругательства в адрес «свиней» и плевался. А вслед за ним «скорая помощь» привезла советского солдата, по виду от тридцати до сорока лет, темные волосы, ранен в голову. Пациента стали готовить к операции. Он назвал свое имя: Николай Семенович, 22 года. Доктор спросил, как пригласить его командира. «Он не приедет, – отвечал раненый, – он сам в меня выстрелил». Почему? За что?!

Из письма доктора А.Хонека от 25 июля 1991 года: «Раненый сказал, что командир выстрелил, когда услышал, что солдат не будет стрелять в чехов, которые освобождали его родину...»³⁰ Видимо, солдат был с Западной Украины, которую освобождал корпус Людвика Свободы. В клинике операция прошла успешно, солдата отпустили в часть, но встретиться с ним доктору Хонеку больше не пришлось, и он до сих пор не может понять, как командир мог стрелять в подчиненного. Но это у малого народа каждый человек на счету, а для крупного этноса, да на великих пространствах, человек, повторяю, песчинка, никто не заметит, куда унесло. Многочисленному народу нужна только победа, он за ценой не постоит.

Но Москве не до умствований.

Созданы рабочие группы по подготовке проектов протокола: с одной стороны Косыгин, Суслов, Пономарев, с другой – Гусак, Млынарж, Шимон. Чехи, помнит Черник, умышленно не включили в группу никого из членов Политбюро: будут развязаны руки для поправок. Текст протокола писали Млынарж и Шимон и сразу переводили на русский. От советской группы приходил чей-нибудь помощник, уносил пару листков, а час спустя возвращал с поправками. Пришел Пономарев: «Не нужно вам ничего писать. Мы сами подготовим проект, а вы скажете замечания».

Позволю себе привести фрагменты из воспоминаний Олдржиха Черника, услышанных мною у него дома в Праге в феврале 1990 года, учитывая, что они, на мой взгляд, дополняют его свидетельства, хранящиеся в архиве Института истории Чехословацкой Академии наук.

«Я напомнил Пономареву, что мы делегация Чехословакии, и каким должен быть протокол, решать должны также и мы, иначе не будем подписывать. Он пожал плечами: “Это как хотите, можете сидеть здесь хоть три года”. Я не удержался: “Мы готовы сидеть вечно, можете и дальше решать наши проблемы без нас. Вы же вошли в нашу страну, не спрашивая нас. Хотелось бы только знать, что без нас в Чехословакии вы будете делать?”

“Ладно... договоримся!” – сказал Пономарев»³¹.

«Обмена мыслями не было, материалы передавали друг другу через помощников. Вконец измотанные, мы собрали президиум ЦК, соглашаясь не тянуть время и подписать протокол, чтобы не медля ни минуты возвращаться домой. Перед тем, как войти в зал, где намечалось подписание, мы увидели свежий номер “Правды”. Редакционная статья на первой полосе привела нас в ярость. Руководство нашей партии во главе с Дубчеком называлось “правооппортунистическим”, за все случившееся вина возлагалась на нас. И

это перед подписанием совместного документа о добрых намерениях! “Самая большая подлость, какую могла сделать КПСС нашей партии!” – горячился Дубчек. Смирковский настаивал, чтобы в такой обстановке мы вообще не подписывали протокол. Но решили успокоиться, не срывать подписание. Мне поручили выступить и сказать, что с советской стороны это непорядочно.

Я набросал тезисы, члены президиума ЦК согласились (кроме Индры, он все эти дни лежал с головной болью). Наконец, нас торжественно приглашают в зал, по углам кино- и фотокорреспонденты. С руководством КПСС мы здороваемся холодно, без обычных ритуальных объятий. Ледяная гора между нами растает не скоро. Мы молча садимся напротив друг друга: советская делегация и чехословацкая. Брежнев сухо спрашивает: “Как пройдемся по тексту: по страницам, по пунктам?” Меня берет оторопь: у нас дома миллионы людей в неведении о том, что происходит, многие плачут, дорога каждая минута, а мы тут обсуждаем, так пройтись по тексту или иначе... Не понимаю, как могут коммунисты относиться к чужим судьбам с такой великодержавной спесью. Мы чувствуем себя униженными. Только от чужой державы народ испытывает самые страшные унижения.

Я начинаю по-чешски. Подгорный кричит: “Ты прекрасно знаешь наш язык, говори по-русски!” Отвечаю, что говорить буду на родном языке. Приводят советского переводчика.

Стенограмма будет кем-то отредактирована, некоторые моменты окажутся опущенными, в том числе о публикации в “Правде”. Я назвал статью грубым выпадом против нашей партии и Дубчека. Наше руководство, продолжал я, которое сейчас в зале, расценивает это, как нож нам в спину. Ведь статья будет тотчас переведена у нас, и народ откажется понимать свою делегацию в Москве. Народ будет нас осуждать, тем не менее, мы готовы поставить под протоколом свои подписи, быстрее вернуться домой, не допустить кровопролития, спасти то, что еще можно спасти.

Косыгин зашептался с Брежневым и с Подгорным... “Мы не можем отвечать за каждую статью в газете, – сказал Брежнев. – У нас свобода печати”.

Накануне Дубчек нам говорил, что не будет выступать, но вдруг я почувствовал рядом какое-то бормотание, русские слова... Это был Дубчек. Все с удивлением смотрят на него. Он говорит, не поднимаясь с места, резко и страстно.

Нам обоим отвечает Брежнев, тоже не выбирая слов. Он сомневается, можно ли в таких условиях подписывать протокол, и направляется к выходу. За ним поднимаются другие члены советской делегации, к ним примыкает Свобода.

Мы не представляем, как быть дальше. Я сижу и думаю: за столом люди одного поколения, а совершенно не понимаем друг друга. Некоторое время спустя советская делегация возвращается, и мы снова занимаемся протоколом.

Чехословацкой делегации удастся убрать из протокола упоминание о контрреволюции, отвести утверждения, будто ввод войск в Чехословакию оказался оправданным и что причиной ввода была угроза со стороны западного империализма. Несмотря на сопротивление советской стороны, в тексте остается важная для нас ссылка на Программу действий (принятую на апрельском пленуме ЦК КПЧ) как основу будущей политики партии.

С чехословацкой стороны тоже требовался компромисс. У чехов больше нет сил, хотелось все бросить и скорее домой. В одну из горячих минут в комнату заглядывает Свобода. Он вне себя: “Вот вы тут второй день болтаете, а где работа, где результат? Пора возвращаться домой, хватит спорить до бесконечности!” Мы действуем механически, уже мало что понимая, как во сне. Все девятнадцать членов делегации быстро подписывают протокол, включая пункт, который до конца жизни застрянет занозой в совести каждого – о признании Высочанского съезда недействительным»³².

Трудно поверить, что Брежневу так уж важно было добиться подписания «москов-

ского протокола» как документа, регламентирующего отношения двух стран в обозримом будущем. Он с самого начала не мог простить чехам своеволия, попыток уклониться в сторону от общего пути, упрямого непослушания ему, лидеру великой державы, с которым считались главы других стран Восточной Европы, постарше и поопытней чехословацких реформаторов. По словам Черника, Брежнев «сделал невозможным свободные выступления для всех наших представителей, кроме генерала Свободы. Он прерывал, не давал закончить мысль, высокомерно отмахивался... Брежнев хотел добиться, чтобы образовалось новое правительство из наших коллаборационистов или чтобы мы приняли оккупационное правительство. Кроме этого, как альтернатива предлагалось присоединить ЧССР к СССР»³³.

Работать в новом правительстве был согласен только Индра, другие противники реформ уже на это не решались. Брежнев видел расстановку сил и под конец переговоров, признавая свое бессилие, показал чехословацкой делегации на группу Индры, Швестки, Кольдера, Биляка: «Заберите этих с собой и делайте с ними все, что хотите». С Индрой после этих слов случился нервный припадок, его увезли в московскую больницу. Черник об этом вспоминал на закрытой встрече с редакторами газет в Зволене 30 сентября 1968 года, когда детали еще были свежи в памяти³⁴.

В чехословацкой делегации в Москве был только один человек, имевший моральное право упрекнуть своих товарищей в слабодушии. Его сразу отделили от других, увезли в домик под Калугой, никому не позволили с ним встречаться, а когда понадобилась под протоколом его подпись, под охраной доставили в Кремль. Он отказывался в этом участвовать, соратники уговаривали, Свобода на упрямца кричал, а он, толстяк шестидесяти лет, стоял на своем. Смирившись с мыслью, что в Прагу ему уже не вернуться, он хотел закончить жизнь достойно. Прочитав проект протокола, возвращая текст не подписанным, он повернулся к Новаку: «Ты знаешь, моей Риве будет тяжело, но у нее скромные запросы. Хлеб и вода – этого ей хватит. Передай ей мой привет и скажи, что иначе я не смог»³⁵.

Это Франтишек Кригель.

Его имя всплыло 23 августа на первой же встрече Брежнева со Свободой и Клусакком.

Клусак. Может быть, пригласить Кригеля и Шпачека, чтобы они тоже участвовали.

Брежнев. Не надо. Они будут жить на даче.

Клусак. Они могут сами поставить этот вопрос.

Косыгин. Поставят – мы им ответим.

Брежнев. Неужели Чехословакия будет бороться за Кригеля, если приехала такая делегация?

Клусак. Их нужно будет освободить.

Подгорный. Давайте считать, что пока их у нас нет.

Брежнев. А через некоторое время они приедут»³⁶.

Здесь ключевое у Брежнева: «Неужели Чехословакия будет бороться за Кригеля, если приехала такая делегация?» Это все о том же: для страны, подразумевалось, не имеет значения, человеком больше или меньше; не личность движет историю, а власть.

Итак, Кригеля доставили в Кремль 26 августа. По словам Й.Ленарта, «ему показали текст. Некоторые наши стали уговаривать, чтобы он тоже присоединился. Прочитав, Кригель сказал: “Это я не подпишу”. Мы все, уже

выполнив грязную и неизбежную работу, были страшно смущены. Смрковский в некотором замешательстве обратился к министру Кучере: “Скажи, а все наши подписи действительны?” “Конечно, – отвечал Кучера, – ты все-таки сам подписался, никто твоей рукой не водил”. “Но нас сюда насильно привезли!” – упавшим голосом сказал Смрковский. Видя упрямство Кригеля, он пожалел, что поставил подпись, а возможно, ему было стыдно, как многим из нас»³⁷.

Кригель стал больной совестью делегации.

Впрочем, он не считал привезенное в Москву чехословацкое руководство делегацией, а только группой пленников, над которыми вершат грубое насилие.

По другим воспоминаниям, отказываясь подписывать, Кригель сказал: «Не могу, это конец чехословацкой самостоятельности». Дубчек спросил, что же делать. Кригель предложил вернуться в Прагу и посоветоваться с ЦК партии, парламентом, представителями всех областей. На него зашумел Гусак, но Кригель стоял на своем. Тогда появился Свобода, у него нервы были на пределе: «Я старый человек, я видел горы трупов и не хочу их видеть еще раз!» Кригель оставался невозмутим: «Прошу господина президента не кричать на меня, как на маленького мальчика».

Советское руководство страдало аллергией на многие имена (Цисарж, Пеликан, Ганзелка, и т.д.), но болезненнее всех раздражал этот член президиума ЦК КПЧ, председатель Национального фронта, родившийся в Западной Украине, ветеран коммунистической партии, добровольный участник интернациональных бригад. Что с того, что он, военврач, воевал с фашизмом в Испании и в Китае и, как потом напишет полковник армии США Браун в *Saturday Evening post*, «шел за танками и оказывал помощь раненым прямо под огнем».

Для Кремля он был невыносим.

Может быть, как раз в силу этих своих качеств. Незадолго до отъезда в аэропорт Брежнев сообщил чехословацкой делегации, что в Прагу они вернутся без Кригеля, и это для них лучше: иначе, рядом с ним, не подписавшим, как они будут выглядеть перед встречающимися?

Дубчек и Свобода сказали, что без Кригеля не уедут, причем таким тоном, что можно было не сомневаться, они настоят на своем. Брежнев махнул рукой: «Ладно, забирайте своего Кригеля, он будет ждать вас в аэропорту».

Кригеля повезли в аэропорт Внуково и подняли в пустой самолет, стоявший на краю летного поля. Он был готов оказаться в Сибири или на Колыме, мысли были только о Риве.

Тем временем кортеж с чехословацкой делегацией уже несся по улицам Москвы, украшенным, как прежде, флагами двух государств. Только транспарантов о дружбе больше не было. На летном поле самолет с Кригелем тем временем перетаскивали на новое место, ближе к зданию аэровокзала; от входа в аэровокзал к самолету расстелили красную ковровую дорожку и поставили микрофон. В иллюминатор Кригель видел своих соратников и советское руководство, но не слышал, как Свобода спросил у Брежнева, где Кригель. «В самолете», – был ответ. Зная, с кем он имеет дело, Свобода просит своего помощника подняться на борт. Когда помощник вернулся и подтвердил, что Кригель в самолете, началось протокольное прощание.

Письмо И.Ганзелки из Праги в Москву (28 июля 1989 г.)

...27 августа радио призвало всех горожан в девять утра в течение четверти часа звонить во все колокола Праги, и чтобы весь транспорт гудел по случаю возвращения делегации из Москвы. Мы встретились с Дубчеком в Граде и обнялись. На вопрос, как себя чувствует, он заплакал и ничего не сказал. Спрашиваю, все ли вернулись, он кивнул. Когда немного успокоился, сказал: «Страшно...» И повторил: «Страшно!» Я хотел спросить по конкретным вопросам, но увидел, что продолжать его мучить было бы жестоко. Я обнял его и пошел.

Со Свободой было другое дело. Он меня пригласил к себе. Мы сидели на кухне, его внучка приготовила нам яичницу. Он был счастлив, что в Советском Союзе его приветствовали, как героя, что его самолет сопровождал почетный эскорт истребителей, а на московских улицах люди ему махали флажками. Он говорил, что своей поездкой они спасли народ, спасли социализм, иначе была бы гражданская война. Повторял то, что слышал от Брежнева.

Он спросил, не хочу ли я войти в число его ближайших сотрудников. С большим удовольствием, отвечал я, при условии, если ничто не помешает мне отстаивать свою точку зрения. Скажем, продолжал я, мне трудно понять, как это ввод войск и потеря самостоятельности может оказаться счастьем для нашего народа. И если осуществлять пункт за пунктом «московский протокол», надо забыть о демократизации. «Ничего страшного, будем продолжать перестройку!», – говорил Свобода. Это невозможно, настаивал я, для того и пришли войска, чтобы прекратить наше движение к демократии. Он покраснел, рассердился, повернулся ко мне спиной. На этом мой разговор с президентом закончился. С Людвиком Свободой мы больше не виделись ³⁸.

...Но почему Кремль был особенно раздражен Кригелем?

По словам О.Шика, «когда Кригель спросил, почему его постоянно изолируют, грубо себя с ним ведут, Шелест показал на его нос и закричал: “Потому!”. Имел в виду “еврейский нос”. Ф.Кригель был единственным евреем в Политбюро, и, когда я с ним последний раз при своем возвращении говорил на заседании ЦК в апреле 1969-го, он мне сказал, между прочим: “Ты не можешь себе представить, как по отношению ко мне проявлялась антисемитская ненависть. А еще хотят казаться марксистами!”» ³⁹.

На этом стоит остановиться.

Когда в X веке евреи рассеивались по Европе, оседали малыми общинами, в том числе на богемских, моравских, силезских, словацких, закарпатских землях, стараясь сберечь собственное естество, они селились кучно; усваивали чужие языки, традиции, культуру. На территории Чехословакии образовалась одна из самых крупных еврейских общин в Европе; многочисленнее были только в Италии и Германии. Чешским евреям повезло больше других. Несмотря на настороженное, даже враждебное отношение части населения, большинство интеллигенции, многие политики, иерархи католической церкви к ним были терпимы, часто доброжелательны. В начале XX столетия чешских евреев оградили от преследований, признали национальным меньшинством и по конституции (1920–1938) уравнили в правах с христианами. Тон в этом меньшинстве задавали интеллектуалы – врачи, адвокаты, журналисты. Многие до прихода гитлеровцев так и не узнали бы о своей национальной принадлежности, если бы им об этом не напоминали. Во времена протектората в Чехии уничтожили 80 процентов еврейской общины, многие

эмигрировали.

Гонений на оставшихся требовали от чехов в пятидесятые годы эмиссары НКВД и Московского Кремля. Возбуждая в СССР антисемитские страсти, готовя «дело врачей», сталинские идеологи все громче указывали на евреев, на их могущество, на их заговоры, как на мировое зло, разрушающее порядок жизни. Воздействовали на укорененные в массовом сознании самые темные стороны. Я хорошо помню те дни 1952 года в Горьком (Нижнем Новгороде). Что ни утро, в газетах один фельетон хлеще другого, в каждом издевка над носатыми, жуликоватыми, вороватыми проходимцами «без роду и племени». В нашем кружке славянской литературы, живя в мире Божены Немцовой, Алоиса Ирасека, Яна Неруды, Карела Чапека, мы избегали говорить о том, что окружало. Восемнадцатилетняя студентка, дочь рабочего автозавода, прочитав очередной антисемитский фельетон про «безродных», плакала у меня на плече: «Мне стыдно, что я русская...»

Кремль был озадачен Чехословакией, единственной страной, где антисемитизм почти не проявлялся или проявлялся не в той мере, как хотелось бы Кремлю. По свидетельству историков, сотрудники НКВД в Праге в разговорах с чешскими коллегами «постоянно указывали на возрастающее влияние евреев на международной арене, говорили о Рокфеллере, Ротшильде, Дюпоне, увязывали их деятельность с деятельностью Сланского и других евреев в Чехословакии и подчеркивали опасность, что евреи могут овладеть всем миром и всеми править»⁴⁰.

Когда чехословацкий чекист Балаж сказал советнику Лихачеву, что факты, от него требуемые, надо проверять, советник ответил: «Меня совершенно не интересует, где вы получите эти данные и насколько они достоверны. Я им поверю, а все остальное предоставьте мне. Почему вы печетесь о каком-то жидовском дерьме?»⁴¹

Экспорт антисемитских настроений из Москвы в Восточную Европу усилился во времена Пражской весны. Где намеком, а где прямым текстом планы реформаторов объяснялись заговором мирового сионизма. У моих иркутских друзей были предчувствия, что возвращаются сталинские времена. Сибирское население было больше озабочено хлебом насущным, но в печати так назойливо повторялись имена ряда чешских интеллектуалов с указанием на объединяющее их происхождение, что было немало людей, начавших сомневаться: а если на этот раз все правда? Вдруг и впрямь чехословацкие сионисты с разведками иностранных государств вместе готовят конец света?

Принимая в Праге за три месяца до ввода войск, 17–18 мая 1968 года, заместителя главного редактора «Правды», заведующего отделом социалистических стран А.Луковца, главный редактор «Руде право» О.Швестка сообщал: «Не проходит незаметной для нас деятельность “иорданских славян” – так называют у нас евреев. Они хорошо сыграли на лозунге, который провозгласила партия о реабилитации невинно пострадавших. Нам еще не удалось нащупать какого-то организационного центра, но борьба против сионизма будет идти. Об этом говорит, например, статья Новомесского, опубликованная в “Руде право”»⁴².

Швестка демонстрировал общее с советским руководством понимание глубинных истоков процесса реформирования чехословацкого общества. Если бы евреи не были активны в политической жизни, лил он через Луковца

бальзам на душу кремлевских стратегов, антиреформаторским силам удалось бы справиться с внутренним кризисом без вмешательства извне. Понимание еврейства как мирового зла, чужеродного национальной культуре и христианской цивилизации, роднило советский и чехословацкий правящий аппарат в большей мере, нежели поднятая как общее знамя марксистская философия.

Как мне рассказывал Иржи Ванчура, в 1968 году член руководства профсоюзной газеты «Праце», «мотив евреев как предателей у нас возник в августе незадолго до ввода войск. Откуда-то появились листовки: “Шик – еврей!”, тот еврей, этот еврей. В Будапеште собрались лидеры профсоюзов социалистических стран. Советскую делегацию возглавлял Шелепин. Меня и секретаря профсоюзов Словакии пригласил на беседу заведующий международным отделом ВЦСПС. У него, подвыпившего, был единственный вопрос: “Кто в редакции “Праце” еврей?” Мы могли бы ответить, кто у нас чернокожий, но кто и какой национальности, мы не знали, для нас это был вопрос из другого мира»⁴³.

В годы «нормализации» торопливо, большими тиражами издавались на чешском и словацком книги советских авторов, вызывавшие к евреям неприязнь. Так легче было внушить, что Пражская весна и рожденные ею манифесты «Программа действий», «Две тысячи слов», а потом и «Хартия-77», эти вершины политической мысли, – не плод национального самовыражения, а элементы мирового сионистского заговора. Любой, не согласный с режимом, мог быть объявлен сионистом. По некоторым данным, в эти годы Чехословакию покинуло около 3400 евреев, по преимуществу интеллектуалов. Для чешской истории XX века одинаковыми тормозами, задержавшими ее развитие, были советские танки и сопутствующий им, насаждавшийся Кремлем антисемитизм.

В конце пятидесятых Кригель – заместитель директора ревматологического института в Праге, защищает диссертацию, получает государственные награды за борьбу против фашизма. Правительство Фиделя Кастро приглашает его на Кубу создавать систему здравоохранения; три года на острове он снова себя чувствует бойцом интернациональных бригад. Вернувшись, входит в руководство Национального собрания, участвует в работе ООН, в заседаниях Межпарламентского совета Европы. А в разгар Пражской весны соратники избирают Кригеля членом президиума ЦК КПЧ, председателем центрального совета Национального фронта.

С женой Ривой, узницей концлагеря Равенсбрюк, они занимали двухкомнатную квартиру, отказываясь от большой и престижной, положенной ему по его месту в партийной иерархии. Небольшого роста, с небрежно повязанным галстуком, он принципиально не пользовался привилегиями, обычными в кругу высшего руководства, ездил на работу на трамвае и находил время принимать в бесплатной клинике больных.

Мало кто входил в семейный круг Кригеля, и я был благодарен Иржи Ванчуре, историку и журналисту, моему старому приятелю, когда под конец лета 1991 года он привел меня в дом, где после смерти мужа одиноко жила седая Рива. Она перебирала фотографии; за этим занятием, продолжающимся двенадцать лет, мы и застали ее, переживая, что так бесцеремонно нарушили дорогие ей минуты.

Когда Рива усадила нас за стол и стала разливать чай, на ее запястье я увидел бледную наколку цифр: 32612. Она перехватила взгляд: «Это мой номер до Равенсбрюка, в Освенциме».

Мы слышали историю Ривы. Их привезли в Освенцим эшелонами, шестьсот тридцать стариков и девяносто семь женщин. Выжили семь девушек и несколько стариков. Ей было двадцать семь лет. У нее была подруга-врач, они попали в концлагерь Терезин, жили в бараке, поблизости от тюрьмы, где до самой смерти в 1918 году содержался Гаврило Принцип, убивший в Сараево племянника императора Франца Иосифа I, наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Потом обеих отправили в Освенцим. Подруга была уверена, что Рива умрет первой, так она была истощена, замучена допросами. В августе сорок третьего часть мужчин из Освенцима отправили в Бухенвальд, а уцелевших женщин – в Равенсбрюк. Этот лагерь освобождала Советская армия. Несколько узниц, боясь Советов, пошли пешком на запад. Рива была с ними. На пятый день они вышли к Рудным горам, там были почти дома.

Когда Кригеля выбрали в руководство партии, функционеры использовали авторитет доктора, чтобы его устами озвучивать не слишком популярные решения. Люди ему верили, и он страдал, видя, как соратники злоупотребляют его партийной дисциплиной. Москва требовала от руководства Чехословакии раскритиковать «Две тысячи слов». Никто не хотел за это браться, Президиум ЦК КПЧ поручил это Кригелю. Надо было в эфире поспорить с авторами, а среди них были его друзья. «Ты же умный, придумай что-нибудь!» – уговаривали соратники. Кригель сам подписался бы под манифестом, никогда не пошел бы на спор с авторами, но манифест все же давал зацепку для дискуссии. Среди двух тысяч слов было четыре десятка, казавшихся ему не до конца продуманными. Речь шла о требовании избавляться от людей, злоупотреблявших властью, нанесших ущерб общественной собственности, а также от тех, кто вел себя бесчестно или жестоко. Непонятен был механизм: кто и как об этом собирается судить; поспешная общая формулировка могла толкнуть толпу на самосуд. Франта оспаривал именно этот, только этот фрагмент, давая понять, что принимает все остальное, но консерваторам это и нужно было: «Даже Кригель отмежевался!»

Рива говорила: «Когда в 1964 году я читала письмо Раскольникову Сталину, я говорила себе: вот человек, который еще в 1939 году все понимал, а я в том же году была готова умереть за победу коммунизма. У Франтишека это было глубоко. Андре Жид, Ромен Роллан, другие кумиры европейской культуры тоже приветствовали революцию 1917 года в Петрограде, они видели в тех событиях будущее человечества. В это верил и Франтишек. Как за это осуждать?»

Просматривая ранние дневники Франты, он их вел со студенческих лет, я натолкнулась на запись о спорах молодежи вокруг национальной проблемы. Многие думали: только коммунизм может покончить в Европе с национальной нетерпимостью, в том числе с антисемитизмом. Он страдал, наблюдая, как маргинальные группы в сталинской России и гитлеровской Германии пытаются объяснить все беды мира еврейским заговором. Он даже близким избегал говорить об одном эпизоде на июльской встрече в Чиерненад-Тисой... Ему стыдно было за Шелеста, вожака украинских коммунистов, члена Политбюро ЦК КПСС, друга Брежнева»⁴⁴.

Петру Ефимовичу Шелесту неприятен был Кригель с его небольшим ростом и иудейскими глазами, но он старался держать себя в руках. А в Чиерне-над-Тисой, говорят, сорвался, бросил в адрес Кригеля что-то неприличное настолько, что чешская делегация в знак протеста покинула зал заседания. Что именно он сказал, воспроизвести трудно, в стенограмме это не зафиксировано. Фразы в этом месте не стыкуются, наводя на мысль о чьей-то торопливой редакции. Зденек Млынарж уверяет, будто Шелест, критикуя чехов, заметил, что «галицийский еврей» Кригель для него не партнер. Тогда Дубчек и вся делегация поднялись и демонстративно ушли. Вечером советские участники встречи принесли чехам извинения ⁴⁵.

Эпизод вряд ли заслуживает внимания; мало ли что бывает между мужчинами, когда нервы на пределе. Но он выдает умонастроение той части кремлевского руководства, которая объясняла себе и народу Пражскую весну как сговор еврейской диаспоры в Чехословакии с международным сионизмом, с разведками иностранных государств. Как потом напишет одна из российских газет, «в свое время от нас (граждан СССР) была скрыта главенствующая роль сионизма в развитии чехословацких событий; тем самым совершалось очередное ему попустительство. Сионизму было дозволено свой чехословацкий опыт под лозунгом “перестройки” использовать в нашей стране» ⁴⁶.

Публичный выпад Шелеста против Кригеля, если он имел место, был, возможно, бессознательной реакцией на стрессовую ситуацию, как она складывалась, когда кремлевскому руководству предстояло принимать решение о вводе войск.

Можно было бы довериться Млынаржу, его цепкой памяти, когда бы он был в Чиерне-над-Тисой и сам слышал. Но о дискуссиях на станции он знает от других. А Шелест, сколько его ни донимали вопросами, происшествия не подтверждал. Иван Сынек, сидевший на переговорах за спиной Дубчека, затруднялся воспроизвести шелестовское выражение дословно, но хорошо помнит, что «оно было откровенно антиеврейской направленности» ⁴⁷.

Лучше с памятью у Ивана Шедивого, сотрудника аппарата ЦК КПЧ, тогда тоже находившегося в зале заседания: «Шелест сказал, что “какой-то галицийский еврей еще будет нам тут...” – и дальше в этом роде» ⁴⁸.

Сомнения, был или не был этот эпизод, развеял Василь Биляк, ближайший личный друг Петра Шелеста. Выступление Шелеста, он помнит, «было направлено против национализма и сионизма». Кригель возмутился: почему, говоря о сионизме, Шелест смотрел на него. «Несмотря на свою резкую натуру, Шелест спокойно ответил, что может смотреть, куда хочет». Сидевшие за спиной Дубчека советники, главным образом Иван Сынек, стали передавать Дубчеку записки, предлагая заявить против выпада Шелеста протест. «Дубчек высказал протест, на что советская делегация ответила, что если чехословацкая сторона настаивает, протест будет внесен в протокол» ⁴⁹.

Видимо, Шелест, раздраженный сидевшим напротив Кригелем, позволил вырваться из глубин подсознания ждавшей своего часа дремучей неприязни не столько к конкретному человеку, а к выраженному в нем типу «чужака», одному из суетливого племени, о котором у его окружения самое дурное мнение. Ну хоть бы вели себя не так активно, не лезли бы на самый верх. Так нет же, они везде, даже тут, на переговорах в Чиерне-над-Тисой!

Он не сомневался, что братья-славяне испытывают те же чувства. Но когда Сынек, сидевший за спиной Дубчека, что-то шепнул Дубчеку на ухо и тот поднялся, за ним, не сговариваясь, встала и покинула помещение вся чехословацкая делегация. Такого демарша не ожидал ни уверенный в себе Шелест, ни другие члены Политбюро.

Как мне потом расскажет Черник, «мы пошли в свой вагон. Поужинали. К нам зашел Косыгин, за ним Суслов и Шелест. Пришли извиниться. Говорил Косыгин. Нет сил, говорил он, которые могли бы нашу дружбу нарушить. Виновника, вы видите, мы взяли с собой, чтобы вы поверили, что мы по-настоящему раскаиваемся. Они принесли с собой бутылку армянского коньяка. Кригель молчал. Шелест извинялся, но как-то формально. Мне потом говорили, что советская делегация ему всыпала. Могли сорваться переговоры...»⁵⁰.

К убежденным коммунистам, а доктор Кригель был именно таким, лучшая часть чешской интеллигенции никогда не относилась оголтело, как это свойственно политическим крикунам. Многие, придерживаясь принципиально иных воззрений, но свободные от фанатичной ненависти к думающим иначе, уважали в коммунистах часто крупные личности, полагая возможной трансформацию их взглядов в сторону близкой им социал-демократии. Вацлав Гавел именно так представлял себе эволюцию Кригеля⁵¹.

О последних днях Франтишека Кригеля мне потом расскажет Иржи Ганзелка. Они виделись 3 декабря 1984 года, когда жизнь перенесшего инфаркт доктора пошла на часы. «Знаешь, это удивительная судьба... Рос в бедной семье в Галиции. С молодости в рабочем движении, в событиях 1948 года. Когда начался процесс над Сланским, Франтишека сначала тоже хотели забрать. Но он тогда не был так знаменит и отделался только тем, что был снят с высоких постов. Спасло приглашение на Кубу. Три года он работал на острове, пока не создал систему здравоохранения. Тогда лучшую в странах «третьего мира».

Мы часто встречались у меня или у него дома. Ему лично, для себя, ничего не надо было. Когда стал членом президиума ЦК партии, отказался от положенной ему высокой зарплаты и настоял, чтобы ему платили как обычному врачу. Это в четыре-пять раз меньше. «Мы с Ривой оба работаем, нам хватает...» На самом верху он был единственный, кто отказался от персональной машины, от дачи, от спецмагазинов. Знай это улица, она бы подумала, что среди нас святой.

При «нормализации» Франту исключили из партии, лишили работы, стали вызывать на допросы. Он в числе первых подписал «Хартию-77». Тогда в подъезд дома, где они с Ривой жили, на их пятый этаж втащили садовую скамейку. Устроили полицейский пост круглосуточного дежурства. Полицейские записывали каждого, кто входил и выходил из квартиры Кригелей. Время прихода, время ухода. У подъезда дежурила машина с четырьмя полицейскими. Когда мы с Франтой куда-нибудь шли, за нами, не отставая, шагали два полицейских, а двое других сопровождали в медленно идущей машине.

Как-то мы приехали на дачу к нашему другу Иржи Гаеку. Франта вошел в калитку, я чуть замешкался. Бежит человек, пиджак нараспашку, кричит:

«Кригель, обратно! Кригель, обратно!» Я спрашиваю, с кем имею честь. «Я лейтенант госбезопасности!» Если, говорю ему, вы хотите что-то сказать господину, который прошел к профессору Гаеку, вы сначала застегните пиджак, приведите себя в порядок, а потом в вежливой форме обратитесь к доктору Франтишеку Кригелю. Лейтенант все в точности исполнил и сообщил, что находиться на даче Иржи Гаека Франтишеку Кригелю запрещено. Мы вынесли стол за ограду, к дороге, смущая прибежавших полицейских, не имевших указаний на этот счет.

Последние два месяца Франта тяжело болел. Он знал, что доживает последние дни. Каждый разговор, когда мы с друзьями приходили к нему, был как исповедь. Говорить ему было все тяжелее. Он задыхался. Последнее, что мы слышали: «Прошу вас, позаботьтесь о Риве...» Мы ушли от Франты после обеда, а вечером он умер. Кремировали Франту 3 сентября 1979 года в Праге-2 в Мотоле. Ему был 71 год»⁵².

А что же Петр Ефимович Шелест?

В последнюю нашу встречу в марте 1991 года Петр Ефимович рассказывал об отце Ефиме Дмитриевиче, как он в восемнадцать лет пошел в армию вместо старшего брата. У брата было двое детей. «Тогда порядок был такой – если не можешь пойти в армию, нанимай кого-нибудь. Собрались родственники и говорят: “Ефимка, дорогой, ты любишь своего брата Захара?” – “Люблю, очень люблю, его малышей люблю”. – “Так вот его в армию призывают, а как же жена останется, дети. Ты не женат, еще успеешь, может, ты пойдешь за Захара?” – “Выпили мы, – вспоминал отец, – и так я загудел в армию на 25 лет”. Служил он в гусарском полку. Однажды вызывает командир: “Шелест, бери эскадрон, иди в разведку”. Эскадрон пошел в разведку, добыл турецкого “языка”, привел – командиру крест и ему крест. Отец полный кавалер Георгиевских и Николаевского крестов. Николаевский он получил 19 февраля 1878 года за бои на Шипке, под Плевной...»⁵³

Петр Ефимович открыл дверцу дубового шкафа и снял с вешалки свой китель генерал-майора. Тут тоже награды по пояс. Может, чуть меньше, чем у Брежнева. Протянул: «Удержите в одной руке, а?!»

Ну какой же он «ястреб» 1968 года... Старый усталый человек из-под Харькова, из села Андреевка. Сын доброго Ефимки, ушедшего вместо брата на войну. У меня еще были вопросы, но задавать расхотелось.

Я спросил об эпизоде в Чиерне-над-Тисой.

В ответ Петр Ефимович вспомнил, как с делегацией ветеранов недавно ездил в Израиль. Живут же люди! Делегация купалась в Мертвом море и молча стояла у Стены плача. Мне было трудно представить Петра Ефимовича с кипой на голове. Он берет меня под локоть: «Ну скажите, если б я был антисемитом, разве ж евреи так принимали бы меня?»⁵⁴

Петр Ефимович Шелест умирал в Москве в 1996 году. От него давно отвернулось кремлевское руководство, обходили стороной прежние соратники. Сыновья перевезли прах в Киев и захоронили на Байковом кладбище. Мимо гроба несли красные подушечки с наградами. В шкафу остался генеральский мундир, вся грудь в дырочках. Китель без орденов оказался почти невесом, можно удержать одним пальцем.

Фотографии к главе 8



Кремль, на переговорах 23-26 августа 1968



«Встреча проходила в обстановке сердечности и полного взаимного понимания...» (из московских газет)



На церемонии подписания протокола журналистов пустили, когда из пепельницы вытряхнули окурки и участники переговоров уткнулись в бумаги... Кремль, 26 августа 1968



Петр Шелест, 1960-е гг. «Когда Кригель спросил, почему его постоянно изолируют...Шелест показал на его нос и закричал: «Потому!» (О. Шик, 1989)



Франтишек Кригель о «московском протоколе» членам чехословацкой делегации: « Это я не подпишу...Прошу вас, позаботьтесь о Риве...». 26 августа 1968



Рива Криглова: Франтишек «страдал, наблюдая, как маргинальные группы в сталинской России и гитлеровской Германии пытаются объяснить все беды мира еврейским заговором...» Прага, 1989



«Наш народ полностью поддерживает мудрую, принципиальную и гибкую и политику Центрального Комитета КПСС и Советского правительства...» («Правда», 29 августа 1968)

Глава девятая

«Три года я ждал эти слова...»

Письмо Анатолия Марченко в редакции газет. Три часа с Ларисой Богораз. Голоса несогласной России. Две встречи с А.Яковлевым. Евтушенко читает «Танки идут по Праге...». Прогулки с Левитанским. Над дневниками Твардовского. Поэт Урин пишет в Политбюро. Тайная встреча с Иржи Ганзелкой

Комитет Государственной безопасности при Совете министров СССР.

29 июля 1968 г. № 1776, гор. Москва.

Секретно. ЦК КПСС.

29 июля сего года органами милиции по просьбе Комитета госбезопасности за нарушение паспортных правил (ст. 198 УК РСФСР) задержан Марченко А.Т., близкий знакомый Богораз-Брухман Л.И., автор и распространитель ряда клеветнических материалов, используемых на Западе в антисоветской пропаганде. При задержании у Марченко изъято письмо, направленное в поддержку антисоциалистических элементов в Чехословакии и содержащее заведомо ложные измышления о политике КПСС и Советского правительства.

Оперативным путем установлено, что в обсуждении текста этого письма принимали участие Григоренко, Богораз-Брухман, ее сын Александр, Литвинов, Горбаневская и Якобсон (бывший преподаватель литературы средней школы г. Москвы). Участники обсуждения приняли решение направить письмо за границу и нелегально распространить среди советских граждан.

Копия письма прилагается.

Председатель комитета госбезопасности Андропов ¹.

Рабочий Анатолий Марченко, человек с 8-летним образованием, по начитанности, талантности, глубине ума один из самых ярких правозащитников-шестидесятников, сидевший в лагерях как политический заключенный, был в числе очень немногих, кто за три недели до ввода войск в Чехословакию предсказал вторжение и выступил с протестом *до того*, как танки перешли границу.

Если быть точным, предвидение Марченко в его письме от 29 июля 1968 года, направленном в редакции семи газет («Руде право», «Литерарни листы», «Праце», «Юманите», «Унита», «Морнинг стар», «Известия») и в редакцию Би-би-си, по срокам было вторым. Первым точную дату вторжения назвал ровно за месяц, 21 июля, английский журналист Виктор Зорза. Выходец из Западной Украины, потерявший во времена холокоста родителей, он в 1942 году оказался на спецпоселении в Сибири, оттуда бежал, в галошах из автомобильных шин скитался по вокзалам, пока не добрался до Куйбышева (Самары). Случайно попал к Илье Эренбургу; писатель устроил парня в польскую авиаэскадрилью. Молодой человек оказался в Англии, стал известным публицистом, автором еженедельных колонок в «Вашингтон пост» и «Гардиан». За две недели он предсказал снятие Хрущева, а на страницах «Гардиан» обнародовал день начала военной операции в Чехословакии. Когда в октябре 1990 года в Лондоне я спрошу Зорзу, как это ему удастся, он ответит: «Никакой мистики, следишь за развитием ситуации и видишь, чем это может кон-

читься». А когда вторжение стало фактом, Зорза квалифицировал ввод войск «не как победу тоталитарного режима, а как начало его развала – у Кремля не осталось способов удерживать другие страны, кроме насилия»². Он и тут оказался прав.

Мировую же известность Виктору Зорзе принес не цепкий логический ум, а движение по строительству хосписов, бесплатных медицинских центров, где неизлечимо больные и приговоренные к смерти люди проводят последние дни с психологами, способными снять страх, примирить с судьбой, помочь прожить эти дни спокойно и достойно. Распространить по миру хосписы ему завещала умершая в хосписе 25-летняя учительница Джейн, его дочь. Зорза создал хосписы в разных городах мира, в том числе в Ленинграде и в Москве. Перед смертью в 1996 году он завещал развеять свой прах над ленинградским хосписом «Лахта».

Но вернемся к письму Марченко.

Даже близкая ему по духу Лариса Богораз, по ее словам, не верила его предвидению, пассаж письма о вводе войск считала публицистическим приемом, потому что «такого не может случиться, ведь ребенку должно быть ясно». Анализируя ход событий, московские правозащитники, как и пражские реформаторы, исходили из логики, полагая, что не в интересах советского режима идти на крупномасштабный, непредсказуемый по последствиям риск.

Марченко писал: «Я внимательно (насколько это возможно в нашей стране) слежу за событиями в Чехословакии и не могу спокойно и равнодушно относиться к той реакции, которую вызывают эти события в нашей печати. На протяжении полугода наши газеты стремятся дезинформировать общественное мнение нашей страны и в то же время дезинформировать мировое общественное мнение об отношении нашего народа к этим событиям. Позицию партийного руководства газеты представляют как позицию всего населения – даже единодушную. Стоило только Брежневу навесить на современное развитие Чехословакии ярлыки “происки империализма”, “угроза социализму”, “наступление антисоциалистических элементов” и т.п. – и тут же вся пресса, все резолюции дружным хором подхватили эти же выражения, хотя наш народ сегодня, как и полгода назад, ничего по существу не знает о настоящем положении дел в Чехословакии. Письма трудящихся в газеты и резолюции массовых митингов – лишь повторение готовых, данных “сверху” формул, а не выражение самостоятельного мнения, основанного на знании конкретных фактов»³.

Это письмо известно, но не перестает удивлять, как человек, не имея возможности бывать в Праге, знакомиться с документами, располагать собственными информаторами, так ясно видит закулисную сторону событий. Он писал: «Наше обращение к “здоровым силам” Чехословакии – это, может быть, обращение к антигосударственным элементам, подстрекательство их к вооруженному выступлению против своего законного правительства, а слова “это наша задача” могут обозначать как минимум политическое давление на суверенную страну, а как максимум – возможность интервенции наших войск в ЧССР». И дальше: «Газетная кампания последние недели вызывает у меня опасения – не является ли она подготовкой к интервенции под любым предлогом, который подвернется или будет создан искусственно». Так, понятие «интервенция» впервые оказалось связанным с Чехослова-

кий в устах Марченко.

Не думаю, что с умыслом, но суд над Анатолием Марченко назначат на 21 августа. Его друзья, в том числе те, кто через четыре дня выйдет с протестом на Красную площадь, утром в день вторжения поспешат на судебный процесс. Когда подсудимого будут увозить в воронке, Лариса Богораз крикнет поверх голов: «Толя, читай сегодняшнюю “Правду”!».

В «Правде» – сообщение ТАСС о вводе войск.

Воронок увозил духовного потомка русских политкаторжан и ссыльно-поселенцев. В некотором смысле ему приходилось труднее, чем далеким предшественникам. Существовавший с незапамятных времен в России дух сострадания к осужденным, когда в деревнях вдоль сибирского тракта крестьяне в избах прорубали особые окошки, куда для беглых арестантов на ночь выставляли миску с молоком и кусок хлеба, в советском обществе сменился страхом и отчужденностью к тем, кто отбыл срок и возвращался.

Анатолий Марченко умер после очередной голодовки в Чистопольской тюрьме в декабре 1986 года, совсем немного не дожив до объявленной Горбачевым амнистии политзаключенным. Правозащитник, писатель, публицист, он написал слова, которые были в душах многих, но не каждому достало сил их произнести или доверить бумаге: «Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает в позорной роли жандарма Европы. Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, что он действительно единодушно поддерживает политику ЦК КПСС и правительства по отношению к Чехословакии. Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо – не единственное. <...> Но если бы я оказался даже один на один с этим своим мнением, я и тогда не отказался бы от него. Потому что мне его подсказала моя совесть...»

С Ларисой Иосифовной Богораз я познакомился в первых числах августа 1998 года, через тридцать лет после демонстрации семерки. Она давно вернулась из сибирской ссылки, потеряв очень близких людей: Юлия Даниэля, много лет сидевшего в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме, а еще раньше Анатолия Марченко, умершего в Чистопольской тюрьме. В ее московской квартире на Юго-Западе две комнаты: рабочий стол, стулья, кровать, платяной шкаф, кушетка, книги; так живут студенты и бедная интеллигенция. В России эта квартира известна. Хозяйка называла свое жилище – пункт консультаций и помощи родственникам политзаключенных, едущих через столицу в мордовские, сибирские, колымские лагеря, временный приют для отбывших срок и не успевших добраться до дома. Худенькая, коротко стриженная, с наброшенным на плечи шерстяным платком, она казалась бы подростком, если бы не седая голова и умные пронзительные глаза. Голос хрипловат, как у всех много курящих, и я окончательно устыдился своего прихода, услышав, что она две недели мучилась простудой, слаба до сих пор. Не уловив этого в телефонном разговоре, я бесцеремонно просил о встрече. Не хотелось говорить об истинной причине давнего желания увидеть ее, и я упирал на идею редакции выяснить, что думают о чехословацких событиях пражские реформаторы, советские политики, генералы, правозащитники после долгих лет отчуждения.

В конце концов, Лариса Иосифовна согласилась.

По пути, перебирая в памяти прочитанное и услышанное, я старался

представить отважную семерку на Красной площади, у собора Василия Блаженного, когда они усаживаются у Лобного места и под полуденный бой курантов моментально разворачивают над головами плакаты. Над Ларисой Богораз белое полотнище «Руки прочь от ЧССР!», у сидящей слева от нее Натальи Горбаневской чехословацкий флажок, у Павла Литвинова плакат: «За вашу и нашу свободу!»⁴. Друзья не советовали Ларисе, своему лидеру, участвовать в акции; неизбежный арест, говорили ей, ослабит правозащитное движение в России. Но кто удержит ее? Они сели на полукружие каменного помоста, где во время больших церковных праздников совершались богослужения, цари обращались к народу, оглашались указы и грамоты и на виду у московских людей творили казни. Здесь эпицентр российской истории. Едва развернули плакаты, через минуту-другую появились чекисты, стали заламывать руки, заталкивать в машины. Прохожие на площади, многие из них, не успели понять, что происходит, безмолвствовали, как триста лет назад.

Слушаю Ларису Иосифовну.

«У людей моего поколения Пражская весна вызвала не только колоссальный интерес, но искреннее сочувствие, даже зависть: чехи и словаки, может быть, достигнут успеха в своем движении к свободе, к общечеловеческим ценностям.

Что вызывало к Чехословакии симпатии?

Главное – достижение первых реальных перемен в характере режима: демократизация общества, свобода печати, слова, мнений, фактическая реабилитация жертв прежних репрессий. А самое существенное – ненасильственная форма движения. Появлялась надежда, что у нас тоже можно обойтись без бессмысленного и беспощадного русского бунта, от которого предостерегал Пушкин.

Сформировалось ли за несколько месяцев “весны” гражданское общество, как необходимая составляющая демократического государства? Таких вопросов я себе не задавала, мы и слов-то таких не знали. Идеалы социализма тогда еще не утратили для многих, в том числе для меня, своей привлекательности, мы еще надеялись, точнее – хотели надеяться на возможность совместить социализм с человеческим лицом. Романтики, верившие в идеалы, были тогда и в СССР, и в Чехословакии, в коммунистических движениях других европейских стран. Встречались и скептики, но то, что происходило в Чехословакии, оставляло место для надежд. Двадцать лет спустя, в горбачевский период, подобные перемены у нас получили название “перестройка”. Однако в Чехословакии они шли быстрее, были радикальнее и последовательнее, чем потом у нас. Потому Дубчек и его соратники стали кумирами многих из нас; только позднее, прочитав “Холодом веет от Кремля” Зденека Млынаржа, я в кумирах разочаровалась...»⁵

...Слушая Ларису Иосифовну, представляю помещение народного суда Пролетарского района города Москвы, судебное разбирательство по делу участников демонстрации. Она, единственная из обвиняемых, отказалась от адвокатов и вела защиту сама. На вопрос о том, зачем она вышла на Красную площадь, говорит: «От стыда...»

Лариса Иосифовна вспомнила разговор с молодым чехом, аспирантом Московского университета. Тогда, в июне 68-го, в ее окружении шли споры,

введут или не введут в Чехословакию войска. «Не думаю, – сказала она, – чтобы власть была настолько безумна. Ввод войск означал бы конец коммунистического движения во всем мире». Были уверены, что в случае военной акции члены левых партий и движений начнут пачками выходить из них. Некоторые национальные партии в полном составе порвут с коммунизмом. А чех на это ответил: «Тогда пусть вводят войска!»

«Я была просто наивна. Эти партии и движения почти полностью состояли из циников и расчетливых карьеристов. Когда вторжение случилось, одни коммунисты стали душить и вязать других, чешских. И что же – вышел тогда из компартии друг Млынаржа Горбачев? Это теперь, тридцать лет спустя, он подписывает коллективную покаянную декларацию. А тогда, через пару лет после вторжения и после демонстрации 25 августа, мой отец Иосиф Аронович Богораз, старый большевик и недавний воркутянин, отправил в райком свой партбилет вместе с заявлением, что выходит из КПСС, так как не согласен с ее внутренней и внешней политикой.

Других подобных случаев я не знаю.

Хотя было несколько заявлений в партийные органы, критиковавших эту самую “внешнюю политику КПСС” изнутри. Такое заявление в ЦК КПСС отослал тогда молодой ученый-биолог Александр Александрович Нейфах. Таких были единицы. Коммунистическое движение не прекратило свое существование. Это тоже один из уроков 1968 года, до сих пор мало осознанный. Мы получили наглядное свидетельство о том, что представляет это движение в нравственном отношении».

У правозащитников, как у всех смертных, есть семьи и дети, их надо одевать и кормить, кто-то болеет, а попробуй достать (термин из шестидесятых!) лекарства, и каждый день предлагает свои головоломки, а эти люди, все успевая, кажется, парят, как птицы над грешной землей, выше всех ценностей мира ставя совесть человека и нравственность государства. За убеждения пойдут хоть в ссылку, хоть на плаху. А благополучные, живущие иначе, но желающие казаться такими же, как они, у них вызывают горькую усмешку. Их внутренний монолог представит Ю.Даниэль: «О, как мы были прямодушны, / когда кипели, как боржом, / когда, уткнувши рот в подушки, крамолрой восхищали жен. / И в меру биты, вдоволь сыты, / мы так рвались в бескровный бой! / О, либералы – фавориты / эпохи каждой и любой»⁶.

Многих из поколения Богораз, Даниэля, Марченко сегодня охватывает ощущение, что это о каждом из нас, мнящих себя порядочными потому только, что лично никому не причинили, не хотели причинить, зла.

Пытаюсь представить Ларису Иосифовну в Чуне, в таежном поселке, у небольшой станции на Транссибирском рельсовом пути, в телогрейке, валенках, в шапке-ушанке, занесенную опилками и снегом. Судом ей было назначено провести там четыре года ссылки. Как мне потом напишет мой иркутский друг, охотовед Эрик Леонтьев, ученик Ларисы Иосифовны в людиновской средней школе под Калугой (в начале 1950-х годов она преподавала там русский язык и литературу, была классным руководителем), из письма ее домашних он узнал, что Лариса в Чуне. «Я отправился туда в командировку, – пишет Леонтьев, – попросил знакомого охотоведа узнать через местное КГБ ее адрес и вечером, после работы, разыскал домик. Работала Лариса тараканщицей (такелажницей) на деревообрабатывающем комбинате. Посидели, поговорили часов до 3, а в 5 приехал Юлий – без телеграммы,

освободившись из лагеря. Чуна тех лет (поселок Октябрьский) – типичные бараки, где людей как сельдей в бочке. Все из зеков, в основном уголовных. Коренное население, кажется, было в меньшинстве»⁷.

Лариса Иосифовна снимает с плиты вскипевший чайник, продолжая говорить.

«Ответила ли Пражская весна на вопрос, возможен или нет “социализм с человеческим лицом”? По-моему, не ответила. Эксперимент нельзя считать чистым. Неизвестно, к чему пришли бы чехи и словаки, если бы не вмешались советские танки. Я думаю, социализм как вариант международной системы показал свою несостоятельность. Многие мои знакомые говорят, что и независимо от того, чем завершился 1968 год, социализм оказался бы несовместимым с гуманитарными ценностями. Либо социализм, либо человеческое лицо, две эти вещи несовместны, – так отвечает на этот вопрос большая часть опрошенных мною людей. Таково мое мнение. Его подкрепляет и развитие событий в России в горбачевский период, когда социализм развалился изнутри, без внешнего вмешательства. Само учение содержит в себе роковую ошибку. И я могу только строить гипотезы, в чем она состоит.

Актуален ли этот вопрос для следующих поколений? Надеюсь, нет. История вряд ли предоставит человечеству шанс для следующего эксперимента. Жаль было бы любую, даже маленькую страну. Конечно, я против того, чтобы в этот процесс (если он происходит мирным, ненасильственным путем, никому не угрожая кровопролитием) кто бы то ни было, будь то любая сопредельная страна или международное сообщество, вмешивался насильственным путем. Если бы такое произошло, я, наверное, нашла бы в себе силы для нового протеста.

Очевидно, людям еще предстоит найти пути ненасильственного влияния на ситуацию в тех государствах, где наблюдаются нарушения основных личных и гражданских прав человека. Пока сделаны первые, робкие шаги на этом долгом пути. Я отношу к ним отказ международного сообщества считать эти нарушения внутренним делом той или иной страны».

...Потом, у себя дома, я не раз буду прослушивать кассету с голосом Ларисы Иосифовны, а сейчас смотрю, как она кутается в платок, и у меня не хватает духу, и не знаю, решусь ли сейчас сказать о том, что меня привело в ее дом. Мы почти ровесники, оба, как оказалось, росли на Украине, оба филологи, но ей, этой сильной женщине, хватило мужества выйти на Красную площадь...

– Простите, Лариса Иосифовна! – говорю я, набравшись духу.

– Ничего, я не устала...

А еще не дает покоя, что в то самое время, когда Лариса Иосифовна в таежной Чуне отбывала ссылку, я ведь жил в Иркутске, в двух сотнях километров от заснеженной Чуны, ничего о ее судьбе не слыша, не подозревая.

А если бы слышал?

Что бы сделал, если бы слышал?

Не знаю... Остается жгучее перед этой женщиной чувство вины и стыда.

– Простите, – повторяю, глядя ей в глаза.

– Ну что вы. Еще чашку?

Лариса Иосифовна умерла 6 апреля 2004 года на 75-м году жизни.

За гробом шла вся правозащитная Москва.

...В День пророка Илии, небесного хранителя Воздушно-десантных войск, московские десантники, воскрешая воинские традиции, вслед за священниками с иконами и хоругвями совершают крестный ход по Красной площади к Лобному месту. Отслужив благодарственный молебен пророку, обнимаются и горланят песни. Новое поколение! В одно из празднеств я подошел к ребятам и спросил, знают ли они, что случилось у этого места 25 августа 1968 года. Они перебивали друг друга, но вспомнить не могли. «Ну, семь человек вышли с плакатами... Войска... Руки прочь...» – подсказывал я.

– А, Минин и Пожарский!

Понятие *источник* в представлении нормальных людей ассоциируется с началом других начал, с чем-то рвущимся из глубин, первозданным, чистым, обнадеживающим, будь то подпочвенные воды, нефтяные залежи, библейский источник света и добра. Совершенно переиначить смысл понятия удалось секретным службам. Этим благозвучным словом они заменили скомпрометированную в общественном мнении прежнюю лексику: «осведомитель», «информатор», «доносчик», «агент», «сексот» (секретный сотрудник) и т.д. Особенно оживились источники советских и чехословацких органов государственной безопасности в 1968 году. Они были повсюду: в политических партиях, в структурах власти, в профсоюзных организациях, во всех учреждениях, на предприятиях, на транспорте, в высших и средних учебных заведениях, в театральном коллективе и в спортивных командах, они проникали в узкие, закрытые, недоступные для чужих ушей группы, где собирались только люди, хорошо знавшие друг друга, проверенные и надежные. Они были и среди диссидентов, в том числе близких к семерке, вышедшей 25 августа на Красную площадь.

Когда прокуратура Москвы вместе с Комитетом государственной безопасности закончили расследование и передали в суд уголовное дело по обвинению Ларисы Богораз, Павла Литвинова, Константина Бабицкого, Виктора Файнберга, Владимира Дремлюги и Владимира Делоне, постоянная информация *источников*, близких к задержанным, была в основе их обвинений в «оплевывании общественного и государственного строя». На это указывает едва ли не самый осведомленный тогда советский руководитель Юрий Андропов, председатель КГБ. Как следует из его письма в адрес ЦК КПСС от 20 сентября 1968 года, накануне «организации беспорядков на Красной площади этими лицами были заблаговременно уведомлены аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты с целью передачи о "демонстрации" клеветнической информации на Запад. В разговоре с *источником* (здесь и дальше выделено мною. – Л.Ш.) обвиняемый Литвинов заявил: "О предстоящей демонстрации были предупреждены журналисты ряда западных агентств, которые смогли сфотографировать для печати демонстрантов как "представителей передовой части интеллигенции СССР", которая протестовала против оккупации свободолюбивой Чехословакии. Для того, чтобы эта демонстрация выглядела на фотографии как можно более правдоподобнее, журналисты посоветовали демонстрантам выбрать специально место рядом с Лобным местом, напротив собора Василия Блаженного и памятника Минину и Пожарскому, что могло выглядеть очень впечатляюще в прессе". Через зарубежных буржуазных журналистов эта группа и ранее передавала кле-

ветническую информацию о Советском Союзе на Запад»⁸.

Осведомители не только доносили услышанную информацию, но сами характеризовали участников демонстрации, их настроения, вооружая власти «аргументами» для расправ. «Характеризуя политические взгляды участников группы, и в частности Делоне, *наш источник* указывает, что последний, “называя себя ярким противником Советской власти, люто ненавидит коммунистов, коммунистическую идеологию, целиком согласен со взглядами Джиласа. Анализируя деятельность... группы, он (Делоне) пояснил, что у них не было определенной программы, устава, как оформленной политической организации, но у всех было единое мнение, что наше общество не развивается нормально, отсутствует свобода слова, печати, действует жестокая цензура, невозможно высказывать свои мысли и убеждения, подавляются демократические свободы. Деятельность этой группы и их пропаганда развивались в основном в кругу писателей, поэтов, а также охватывали широкий круг лиц, работающих в области математики и физики. Среди многих ученых велась агитация с целью заставить последних подписывать письма, протесты и воззвания, которые составлялись наиболее активно занимающимися такого рода деятельностью Петром Якиром и Павлом Литвиновым. Эти люди являлись ядром, вокруг которого сформировалась указанная группа... Якир и Литвинов являлись наиболее активными деятелями так называемого “самиздата”».

Этот же *источник*, отмечая положение арестованного Делоне в названной группе, сообщил: «Делоне... был вхож в круг больших ученых, академиков, среди них был своим человеком и связывал таким образом... группу с научным миром... воздействуя на последних, ведя среди них активную пропаганду. Среди знакомых лиц назвал академиков Сахарова, который вначале осторожно, с недоверием относился к деятельности Якира, Литвинова и их группы, колебался в своей позиции и оценках, но постепенно под влиянием разъяснений Делоне стал подписывать различные документы этой группы... Леонтовича, взгляды которого совпадают со взглядами этой группы. По словам Делоне, многие из ученого мира разделяют их взгляды, но осторожничают, боясь лишиться работы, быть исключенными из партии».

По оперативным данным, Делоне в 1967–1968 гг., являясь студентом Новосибирского государственного университета и проживая у академика Александрова – ученика его деда, вел активную антисоветскую пропаганду среди студентов, наклеивал листовки в институте, разрисовывал краской дома в Академгородке с различными призывами и лозунгами, наладил выпуск литературы «самиздата».

Факты распространения листовок и появления надписей на домах в Новосибирском академическом городке имели место.

Из агентурных *источников* усматривается, что участники группы – Литвинов, Дремлюга и Делоне, не занимаясь в течение длительного времени общественно полезным трудом, пользовались средствами так называемого «негласного фонда», созданного их группой за счет денег, получаемых от отдельных представителей творческой интеллигенции и ученых.

Арестованный Делоне нашему источнику говорил: «...денежными средствами нам помогает интеллигенция, высокооплачиваемые академики, писатели, которые разделяют взгляды группы Якира–Литвинова... Мы имеем право требовать деньги, мы – функционеры, а они разделяют наши взгляды,

сами за себя боятся, так пусть деньгами поддерживают нас».

По имеющимся в распоряжении КГБ данным, Богораз-Бухман и Литвинов недавно получили нелегально от находящегося в заключении Даниэля сборник стихотворений, охаивающих советскую действительность, и переправили его для издания за границу.

Заключительный абзац письма Андропова замечателен:

«Комитет госбезопасности счел целесообразным воздержаться от использования этих оперативных данных по настоящему делу, *чтобы не при-давать ему политической окраски*».

Может быть, только в первые дни Отечественной войны страна так бурлила собраниями; но тогда люди собирались стихийно, многие с собраний уходили на фронт, старики и женщины шли в ополчение. Теперь собрания созывали райкомы и горкомы партии «в целях ознакомления широких масс трудящихся с заявлением ТАСС». И летели в центр стандартные отчеты и резолюции, готовые задолго до начала собраний: «участники собраний повсеместно выражали одобрение решительных мер, осуществленных братскими социалистическими странами по оказанию помощи чехословацкому народу».

В Москве 21 августа 1968 года прошло девять тысяч собраний, присутствовало около миллиона человек, выступило тридцать тысяч. Почти все заявили о «полной поддержке практических действий партии и правительства». Для представления о фактических умонастроениях в обществе важно это «почти». Опережая на четыре дня семерку, вышедшую на Красную площадь, смельчаки, ни в каких группах не состоявшие, публично заявляли о несогласии с вводом войск. Они не попадали в центр внимания мировой общественности, оставались безвестны, и только в секретных архивах остались их имена.

Из донесения В.Гришина, первого секретаря горкома партии Москвы от 21 августа 1968 года:

«...В отдельных научно-исследовательских институтах были выступления, направленные против мероприятий, осуществляемых Советским правительством и правительствами братских стран. Так, в НИИ автоматических устройств кандидат технических наук, старший научный сотрудник Андронов, беспартийный, заявил, что он не понимает, кто в Чехословакии и от чьего имени просит помощи Советского Союза и других стран, и предложил голосование резолюции общего собрания сотрудников института отложить до прояснения обстановки. Его выступление осуждено участниками собрания. Отдельные лица допускают нездоровые, а порой враждебные высказывания в частных беседах. Так, режиссер Центральной студии телевидения Торстенсен, беспартийный, сказал: “Наши действия не вяжутся с имевшими место заверениями о невмешательстве во внутренние дела Чехословакии”. Преподаватель 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков Корольков считает, что “у нашего правительства не было никаких формальных причин для ввода войск на территорию Чехословакии”. Работник киностудии им. Горького Казарянц заявил: “Советское правительство действует неправильно. На штыках нашей армии нельзя построить государственную власть. Я против насилия”. Аналогичные утверждения допускали в разговорах инженер Гипрониисельхоз Петров, хирург больницы № 16 Сидорова, обжигальщик НИИ электровакуумного стекла Афанасьев (все – беспартийные). Партийные комитеты и бюро проводят индивидуальную работу с лицами, высказывающими неправильные взгляды»⁹.

Из донесения В.Гришина от 22 августа 1968 года:

«Отдельные лица, преимущественно представители интеллигенции, проявляют недопонимание обстановки, сложившейся в Чехословакии, и выражают недовольство вводом войск на ее территорию. Так, сотрудник Центральной детской библиотеки, член группкома литераторов при издательстве “Советский писатель” Глоцер, беспартийный, заявил: “С ума сошли! Это фашизм! ...Россия как была жандармом Европы, так и остается таковым до настоящих дней”. Начальник лаборатории Центрального института авиационного моторостроения, член КПСС Лебедев считает, что “ввод войск в Чехословакию свидетельствует о нашем поражении на идеологическом фронте”. В институте химической физики АН СССР против резолюции собрания о Заявлении ТАСС голосовал инженер Самойлов, беспартийный. В своем выступлении он высказал мнение, что каждая страна должна сама решать свои внутренние дела. В связи с этим горком партии направляет организаторскую и политическую работу таким образом, чтобы она проводилась не только в коллективах, но и индивидуально с теми, кто недопонимает значение мероприятий по оказанию неотложной помощи Чехословакии»¹⁰.

Из записки министра охраны общественного порядка Н.Щелокова от 26 августа 1968 года:

«25 августа в 12 часов в лифтовом холле главного здания МГУ Карасев В.И., 1944 года рождения, окончивший в 1967 году физический факультет университета, призывал студентов подписать обращение к Советскому правительству с требованием немедленного вывода советских войск из Чехословакии. Под обращением, написанным от руки, было поставлено четыре подписи, включая подпись Карасева и находившегося с ним его знакомого. Карасев гражданами был задержан и доставлен в милицию для обследования. 25 августа в 14 часов 15 минут жительница поселка Беляево-Богородское Сорокина в своем почтовом ящике обнаружила листовку, написанную от руки, с текстом: “Руки прочь от Чехословакии! Граждане СССР, что плохого сделали вам чехи? Советские войска незаконно вступили в ЧССР, их не звали ни партия, ни правительство, ни народ, только кучка анонимных частных лиц. Арестовано законное правительство. Есть жертвы. Не дайте свершиться несправедливости!”».

«25 августа в 1 час в гор. Одессе на стенах домов на улицах Ленина, Кирова, Воровского и Карла Маркса обнаружены пять надписей краской: “Вон интервентов из Чехословакии!”».

25 августа в 8 часов в гор. Красный Луч Луганской области обнаружены четыре листовки, наклеенные на дверях зданий горкома Компартии Украины, Дворца культуры им. Ленина, городской типографии и на памятнике С.М.Кирову: “Да здравствует Дубчек”. Текст листовок выполнен чернилами.

25 августа в 20 часов на Красной площади находившийся в нетрезвом состоянии Токарев, ранее судимый, без определенных занятий и места жительства, во время смены караула перелез через цепь ограды к Мавзолею и выкрикивал лозунги антисоветского содержания.

...Органы и подразделения охраны общественного порядка страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности»¹¹.

Невероятная изворотливость требовалась от высших чиновников, чтобы продемонстрировать свою осведомленность, скрывая бессилие перед ситуацией, утешая Кремль как бы ничтожностью, разрозненностью, необязательностью протестов. Прежде, чем попасть в сводки, протесты тщательно пропалывали, не давая возможности обнаружить фактические масштабы протеста.

Массовое несогласие с происходящим остро чувствовали в редакциях газет. Осенью 1968 года главный редактор «Литературной газеты»

А. Чаковский направил властям обзор писем, как он писал, «враждебного характера», полученных редакцией в октябре-ноябре, когда газета усилила нападки на активистов Пражской весны, на чехословацкую интеллигенцию. Авторы этих писем, торопилась откреститься газета, «придерживаются взглядов, чуждых нашей идеологии, навешанных, видимо, зарубежной пропагандой».

Из читательских писем:

«...Эту статью нельзя читать без возмущения. Ваши крокодиловы слезы не могут никого обмануть. Неужели вы в самом деле думаете, что девянство коммунистических партий мира, осудивших вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, ничего не понимают и не могут правильно оценить происходящие явления?»

Вы ратуете за мир, в котором люди должны жить в наручниках и с замками на губах.

И правы бывшие чехословацкие и французские друзья, приславшие вам свои возмущения. Теперь у вас не будет искренних друзей и не может быть. Вы находитесь в Москве, а они у себя дома, и они видят безрассудность и авантюризм политики, которая привела мир к рубежу всеобщей войны». (Таллин, В.Эйхвальд).

«Очень жаль, что газета по примеру “Правды” распространяет вымыслы и ложь, защищает оккупацию братской страны и не сообщает о реакции мировой (в том числе коммунистической) общественной мысли на этот позорный шаг». (Анонимное письмо из Риги).

«Ваш “Журналист” сильно много брешет в статье про Ганзелку. Не знаем, кто на самом деле Ганзелка – миллионер или коммунист, но выходит, что то, о чем он пишет, все было, а что пишет “Журналист”, то неправда. Он думает, что читатель дурак неграмотный, ничего не знает, ничего не помнит.

Знают и те, кого еще не было в 1930-х годах, и их дети школьники уже знают, что тогда было, сколько трудящихся людей и крестьян с голоду умерло. Как у них все отнимали и не выпускали из деревень в город и как они, пухлые и мертвые, под забором лежали, и как их милиция обратно выгоняла, а партия всем тем командовала. И как партия со Сталиным потом специалистов своих уничтожала, остались одни прихвостни, которые и 1941 год прозевали и немцам больше, чем своим, верили. И из-за них в войну много лишнего народу погибло. Знаем, как колхозы разоряли. Знаем, что Ленину в царской ссылке было легче, чем своим же у своих. Думаете, если газеты не писали об этом, то народ и не говорит между собой ни о чем? Народ уже давно то самое думает, что чехословаки говорят про нашу партию». (Киев, Селиванов).

«Провокационную статью самое лучшее подписать “Журналист”, а иначе ни один честный человек не подаст руки. Все мы очень давно и хорошо знаем и Ганзелку, и Зикмунда, и Когоута, и никакие злобные статьи и никакая клевета на нас не воздействуют, а вы не пишете, а шипите, “яко змий”, и злобная слюна долетает аж до Праги. И никакая злобная клевета не изгладит прекрасного впечатления о Ганзелке и Зикмунде, как о хороших патриотах, о прекрасном таланте писателей и чудесных сердечных людях. И никакие лозунги и никакая агитация не поможет, чтоб чехи питали “дружеские чувства” к агрессорам и оккупантам из Советов. Вас туда никто не звал, и никому не нужны ваши “дружеские чувства”. Приведите в порядок вашу нищую и гряз-

ную отсталую страну. Единственно, чему научились, – пускать мыльные пузыри в небо и бросать в космос миллиарды... А хорошо написал Ганзелка, и никакая клевета вам не поможет, мы на стороне чехов. Оккупанты, убирайтесь с нашей земли». (Киев, Пынтак и др.)¹².

Перечитываешь, пытаешься представить авторов – и осторожных, избегающих называть себя, и не намеренных прятаться. Вряд ли они догадывались, что главный редактор газеты – писатель! – не спросив их согласия, эти их доверительные письма в газету перешлет в ЦК КПСС, оттуда их направят в Комитет государственной безопасности, а уж там «контру» найдут, достанут из-под земли.

Другое дело Мстислав Ростропович. На следующий день после ввода войск в Прагу великий виолончелист перед переполненным залом демонстративно исполнит с оркестром концерт Дворжака и, как напишут газеты, уйдет со сцены со слезами на глазах. Но это будет в Лондоне.

У советской интеллигенции, у причислявших себя к ней, отношение к чехословацким событиям было разным. К одним в очередной раз пришло чувство брезгливости, стыда, нежелания иметь с этой акцией, с затеявшими ее, ничего общего; даже высказываться по этому поводу казалось унижительным. Когда Василий Аксенов и Евгений Евтушенко услышали о вторжении, отдыхая в Коктебеле, оба крепко выпили в поселковой столовой и плакали, как будет вспоминать поэт, один слезами ненависти, другой слезами обманутого идеалиста; а потом первый, посылая кому-то проклятия, обвиняя по дороге всех встречных в рабской психологии, пойдет в гостиницу спать, а второй поспешит на почту дать телеграммы с протестом в Москву, на имя Брежнева и в чехословацкое посольство с моральной поддержкой. Разность реакции зависела не от оценки события, тут не было двух мнений, а от веры или неверия в способность властей прислушаться.

В подобной ситуации в 1939 году, когда Чехословакию захватила Германия, жившая в Праге в эмиграции Марина Цветаева обращалась к соседу-завоевателю: «Полкарты прикарманила / астральная душа! / Встарь – сказками туманила, / днесь – танками пошла. / Пред чешскою крестьянкою / – не опускаешь вежд, / прокатываясь танками / по ржи ее надежд?» Три десятка лет спустя, когда другие, советские, танки, превосходящие численностью и боевой мощью те германские, тоже оказались «пред горестью безмерною сей маленькой страны», исторгнуть из своей души совестливые строки, по нравственному звучанию близкие цветаевским, русская литература не смогла. За собратьев, на время оцепеневших, ставших бессловесными, первым подал голос Евгений Евтушенко. Стихи «Танки идут по Праге» ходили в списках по рукам, но опубликовать их, быть услышанным, поэту удалось только через тридцать лет (1989).

В КГБ СССР представляли, какие щемящие строки приходят на ум писателей, предпочитавших замкнуться, уйти в себя, никому, кроме дневников и близких друзей, не раскрывать души, писать в стол. Только единицам хватало духу уподобиться безумству 20-летнего ленинградца Игоря Бугославского, который в ночь с 21 на 22 августа, как пушкинский Евгений, бежал по набережной Невы, на Аничковом мосту достал из кармана школьный мелок и на постаментах клодтовских коней, на каждом, торопливо писал: «Брежнев, вон из Чехословакии!»

А писатели, которых принято называть «официальными», искусственные чувства негодования против пражских реформаторов выражали в публицистике, чаще всего в «Литературной газете», ставя свои подписи под коллективными обращениями к чехословацким писателям, поучая их, как надо жить, не раздражая великого соседа. Самые бойкие принимали упорное молчание собратьев по перу за личное оскорбление и обращались к руководству страны с требованием заставить молчунов все же высказаться. В архивах сохранилось письмо обласканного властями поэта-фронтовика Виктора Урина на имя кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК КПСС по идеологии П.Н.Демичева. Хотя письмо многословно, приведу почти полностью. Оно передает, мне кажется, умонастроение как раз той части интеллигенции, которая поддерживала ввод войск и чувствовала неловкость перед коллегами, не поддавшимся увещеваниям властей и продолжавшим хранить молчание. В письме просьба к руководству страны все же принудить молчунов доказывать свой патриотизм, как его понимает он, поэт Урин.

«...С чувством глубокой озабоченности и ответственности пишу Вам это письмо. Чехословацкая ситуация стала камнем, который вытащили из-за пазухи и предательски бросили в наши воды. Теперь расходятся круги. В этих кругах наших единомышленников – речь идет о писательской среде – с каждым днем уменьшается, колеблющиеся примыкают не к тем, кто стоит на твердых марксистско-ленинских позициях, а тянутся к “большим” литераторам, которые до сих пор помалкивали, а за последнюю неделю так или иначе “высказались”. Обиднее всего, что правота на нашей стороне, но писатели, не располагая красноречивыми документами антисоциалистического фронта, относятся к чешской “демократизации” с симпатиями, не понимая, что этот фиговый листок только прикрывал срамную контрреволюцию.

С восторгом передается из уст в уста, как благородная легенда, что ответное Открытое письмо писателей высшей лиги по чешскому вопросу отказались подписать Леонов, Твардовский, Симонов и ряд других наших крупнейших. Стало известно, будто бы один видный наш писатель, находясь за рубежом, тайно передал письмо солидарности с чешскими “борцами за свободу”, письмо, подписанное 88 советскими писателями. Быть может, это фальшивка. Но достоверно возбуждение, с каким комментируют это сообщение. Ведь цифрой 88 профессиональные радисты кодируют поцелуй. <...>

Бесполезно сейчас разбирать уже свершившееся. Но, может, еще не поздно кое-кого предостеречь, объяснить им, в какое время они живут, потребовать, чтобы они со всей четкостью обозначили свои позиции. Я уважаю поэта Е.Винокурова, в свое время посвятил ему свои стихи, учился с ним в Литинституте им. Горького и хорошо знаю, кто были его учителями. Его учителями были прекрасные советские поэты, патриоты, коммунисты, фронтовики. Однако в своей Автобиографии, которая вот-вот должна появиться в его однотомнике в Гослитиздате, своими духовными наставниками он считает Пастернака и Ахматову, которые, якобы, хорошо к нему относились, о чем поэт сообщает с гордостью. Вот, оказывается, какую ориентацию подсказывает известный поэт своим младшим братьям, да и читателю в первую очередь. При этом поэт добивается повышения тиража, и его усилия завершаются успехом: 100 000 экземпляров.

Чешские писатели как раз и делают ставку на “чистую” поэзию, на оторванность от классовой борьбы, на отрицание советской гражданской поэзии, на восхваление тех советских писателей, которые “страдали при тоталитаризме”.

литарном режиме” или продолжают страдать, по их писаниям, в нынешний период неосталинизма. Все это я написал Вам, Петр Нилович, чтобы под конец сказать самое главное, самое неотложное: там, где наша гуманность действует на уровне полумер, там воинственное заблуждение готовится ответить во весь размах и полной мерой.

Недавно один из тех, кто подписывал письмо в защиту Гинзбурга и Ко, сказал мне не без гордости:

– Мы заявили, что если хоть одного из подписавших исключат из Союза писателей, мы решительно все подадим заявления об уходе. Они боятся нас тронуть. Теперь не те времена...

Теперь есть один выход – благородный и убедительный, единственно правильный, который нанесет сокрушительный удар по всем толкам-кривотолкам: наши крупнейшие писатели должны выступить в прессе. Выступить индивидуально. Как это делал Горький, А.Толстой, Эренбург. Их нет с нами, но создается впечатление, что нет ни Шолохова, ни Федина, ни Леонова, ни Симонова, ни Мартынова, ни Гамзатова, ни Айтматова, ни Твардовского... Если бы продуманно обобщили материалы чешского досье и вручили бы этим писателям (вот листовка: “Подымайте на заводах беспощадную борьбу с коммунистами, выбивайте власть из их рук!”) – я уверен, они сказали бы свое образное, страстное слово. Не по каким-либо причинам, а от всей души, искренне они должны, обязаны выступить. Когда высоким художественным интеллектам не противостоят наши выдающиеся художники слова – это чревато идеологическим прорывом в наш тыл. Чешские “свободные” идеологи подняли такие красивые светильники, от которых наши писатели начали слепнуть. Но ведь должны же они понять, что масло в эти светильники подливалось из буржуазных кладовых “свободного мира”, что национализм – это солома, которая очень быстро вспыхивает, когда ведут дебаты подобные “светильники” и “случайно” роняют искры.

Все это начинают понимать широкие массы в самой Чехословакии, и только мои собратья все еще носят в карманах часы, на которых нет стрелок.

Надо использовать все возможности, чтобы привести эти силы в движение. Но если кое-кто хочет остаться при своем мнении, то в этом случае мы имеем право, например, поставить вопрос так: оставайтесь со своими Пастернаками и Ахматовыми, но довольствуйтесь при этом 10-тысячным тиражом. Но если вы со всей душой с нами – вы исправите свою ошибочную позицию, вы скажете свое слово, в котором так нуждается сегодня мировое общественное мнение, вы делом и словом таким образом ответите на доверие народа, на все те почести, тиражи, ордена, на почетные звания, на которые не скупилась Родина, отмечая ваши заслуги. Так помогите же теперь Родине! <...> Кажется, письмо получилось чрезвычайно длинным, но я-то знаю, что оно чрезвычайно краткое, потому что, дорогой Петр Нилович, я не сказал в нем и сотой доли всего, что хотел бы сказать. Виктор Урин»¹³.

Привожу обширный фрагмент не к тому, чтобы запоздало бросать камень в поэта за его не вполне корректные, скажем так, инвективы в адрес коллег, не считавших для себя возможным быть в те дни «активными». Не он один, многие публично и тайно демонстрировали лояльность властям, и не вина поэта Урина, что в архивах сохранилось именно это письмо. Но что замечательно: клеймя инертных, «непонимающих момента», даже из них, одобряющих ввод войск, ни один не пытался – или не сумел? – восславить в

строчках военное вторжение. Возможно, срабатывал инстинкт самосохранения, а может, сдерживало и что другое.

После подавления Пражской весны Урин эмигрировал в США, зарабатывал на жизнь публикациями в русскоязычной американской прессе, а три десятка лет спустя, незадолго до смерти, побывал в России, в родном Сталинграде (Волгограде). Глуховатый старичок, никем не узнаваемый, мало что помнивший, ходил по улицам. «Гасну слухом и зрением, но прозреваю душой», – объяснял собеседникам. Он добрел до Центрального кладбища, до могилы жены, известной поэтессы Маргариты Агашиной.

Виктор Аркадьевич Урин умер 30 августа 2004 года на 81-м году жизни в 8 часов вечера в одной из больниц Нью-Йорка.

В конце августа 1968 года я прилетел из Иркутска в Москву; вечером в гостиницу «Минск» ко мне пришел Евгений Евтушенко, только из Коктебеля, загорелый, возбужденный, глаза горят:

– Представляешь, с Васей Аксеновым гуляем по набережной. У парапета один украинский письменник, под мышкой «Спидола», приветствует нас радостно, как с победой киевского «Динамо»: «Наши в Праге!»

Я был поражен: накануне вечером мы с Васей были на дне рождения у Бориса Балтера, зашел разговор о Чехословакии, Аксенов мрачно заметил, что в страну каждую минуту могут войти наши танки. Я настаивал, что это просто невозможно, Борис вздыхал: «Женя, завидую твоему оптимизму; может быть, в эти минуты танки уже сносят шлагбаум...» Мне это казалось фантазмагорией. И когда утром я услышал о вводе войск, у меня было такое чувство, будто гусеницы хрустят по моему позвоночнику.

Окна гостиничного номера выходят на улицу Горького (теперь Тверская). В двух шагах редакция «Известий», в обе стороны несутся автомашины, прогуливаются прохожие, на остановке троллейбуса молчаливая толпа, ни у кого в руках нет газеты, будто никакого дела до того, что сейчас в Праге.

– Ты что-нибудь понимаешь?! Сделать чехов нашими врагами... Это же минимум на сто лет! Я пошел на почтамт, дал телеграмму Брежневу с Косыгиным и в чехословацкое посольство. Аксенов считал все это бессмысленным и пошел спать...

Евтушенко отходит от окна.

– Знаешь, что я сейчас вспомнил? Когда в 1952 году арестовали «врачей-убийц» и в стране началась антисемитская кампания, оказалось, что единственными евреями на нашем курсе были мой старый товарищ Леня Жуховицкий и Алла Киреева, будущая жена Роберта Рождественского. Многие от них отвернулись, боялись с ними общаться, вокруг них образовался вакуум. Ты помнишь, какое было время; все чувствовали себя, как в капкане. Я подошел к ним и пригласил в шашлычную, рядом с институтом. Жуховицкий от стыда и от страха разрыдался. А когда умер Сталин, тот же Жуховицкий – представляешь? – плакал перед его портретом в траурной рамке и со слезами на глазах выступал на митинге. Много лет спустя я как-то напомнил ему об этом. «Это было, – согласился он, – но и ты тогда выступал, и тоже с дрожью в голосе, тоже со слезами!» Это меня поразило. Какими были все вокруг, мне запомнилось, а каким был я сам – забыл! Я думаю о Чехословакии; когда-нибудь все закончится, наши войска оттуда уберутся, мы оставим че-

хов в покое, но тоже будем качать головами, вспоминая, как все молчали, и вряд ли кто будет корить не других, а себя, себя одного: тогда ты! ты! ты промолчал!

Он достает из сумки бутылку «Оджалешу».

– Когда я услышал про вторжение, места себе не находил и двадцать третьего написал стихи. Послушай...

– Включу диктофон?

Евтушенко заколебался.

– Только будь осторожен, умоляю тебя! Это опасно. Никому, кроме самых близких.

Он прикрывает окно, извлекает из кармана рубашки листки, присаживается на кушетку и читает вполголоса, мощно жестикулируя, как это делает на сцене, оскаливая зубы, переходя с полного голоса на сводящий с ума шепот. Меня особенно зацепила тогда строка: «...Четки чиновничьих скрепок гусеницами обернулись». Такая зримая, вещная, физическая трансформация скрепки, образа унылых шестидесятих годов, в грубую неизбежность вторжения, и стыд русской интеллигенции за «охотнорядские хари» с их «моторизованной плеткой», занесенной над народами Пушкина, Петефи, Яна Гуса.

Мы говорим о пражских интеллектуалах, хватит ли у них сил выстоять, не впасть в отчаяние, не позволить себе саморазрушения. В Праге наши общие знакомые. Среди них разные люди: аристократы культуры, нигилисты, самоуглубленные индивидуалисты, страстные максималисты, все воспитаны на великой русской литературе. Говорим о Ганзелке и Зикмунде, вспоминаем, какими мы их видели в Сибири – что с ними?

Оставалось только гадать.

В эти дни в Москве я повидался с Юрием Левитанским, старым приятелем по Иркутску. Полноватый, с короткими усиками на округлом лице, с челкой на лбу, он третьекурсником добровольно ушел на фронт, был пулеметчиком, и в чине лейтенанта пехоты освобождал Прагу и Будапешт. Он с усмешкой смотрел на политическую суету; говорить предпочитал не с властями, а со временем и пространством, но под письмами интеллигенции в защиту Солженицына, Синявского, Даниэля была и его подпись.

Мы прогуливались по Страстному бульвару.

Видишь ли, говорил Юрий, наш срок пребывания на этой земле очень краток. У меня даже формула есть: жизнь долгая, а проходит быстро. Но большинство людей, и интеллигенция тоже, этого не хотят слушать. Что будет через тридцать три года им неинтересно. А мне только это и интересно! Что будет в нашем отечестве через три часа, я не знаю абсолютно, может быть самое невероятное, а что через три десятка лет будет, я примерно представляю. Ибо есть вещи, которые не зависят ни от партий, ни от президентов, ни от кого. Они могут, участвуя в этом процессе, как-то его замедлить или ускорить, но остановить не может никто. Это иллюзия, будто одни выбирают социализм, другие что-то иное. Пустая терминология, ничего не определяющая. Направление движения может меняться на каком-то коротком отрезке времени, но для истории это неважно ¹⁴.

Левитанский бывал в Чехословакии и Венгрии после войны, любил народы и культуру этих стран, переводил их поэтов (близкого ему по духу

Владимира Голана и др.), его тоже там знали, любили, переводили. Но с некоторых пор он стал вспоминать о военных годах с чувством горечи и стыда. Как он потом для себя определит, стал понимать, что вместе с другими нес народам Восточной Европы частичку, по его словам, своего же рабства. «Да, от Гитлера я их освободил, но от себя, от себя – увы!»

Мудрый человек, он одним из первых в своем поколении, а из русских поэтов XX века, возможно, первым, освободился от мифологических представлений о прошедшей войне, которые складывались в мировосприятии народа, одержавшего победу, в своей истории величайшую. Вместе с освобождением от внешнего врага победители несли в соседние страны принятый у себя большевистский вариант марксизма, сталинский тоталитарный режим. А с этим – подавление личных свобод, участие переориентированных стран, пусть невольное, в планах Кремля установить над миром или его частью свой патронат.

Мы присели на скамейку.

– Наше поколение называют фронтовым. Третьекурсников в армию тогда еще не брали, мы пошли сами. Я был младший, и кличка у меня была Малец. Мы строим пели антифашистские песни, уверенные, что немецкий рабочий класс, как нас учили, а за ним пролетарии Европы протянут братскую руку помощи и осенью мы с победой вернемся домой. Подумаешь, делов-то! Но все пошло не так. И теперь наши танки с теми же словами о помощи рабочему классу Чехословакии снова на чужой земле... Да, я не вышел на Красную площадь с протестом. Но я не ходил на нее и с другими, противоположными лозунгами

Левитанский достал листки. Это были лирические строки о Чехословакии, какой ее видит освободитель 1945 года теперь, в шестьдесят восьмом. Я запомнил только рефрен: «Прости меня Прага, сирень сорок пятого года... Прости меня, Влтава!»

Как каждый немногословный, на вид угрюмый человек, он глубоко переживал военное вторжение в Чехословакию. С разрешения Юры я записал и эти стихи на диктофон, но в 1983 году проникшие в московскую квартиру воры унесли магнитофон и коробку с кассетами, тогда дефицитными; среди исчезнувших кассет оказалась запись стихов Левитанского.

И совершенно убила меня встреча с Юрой в 1996 году. «Слушай, – сказал он, – я готовлю свой однотомику, никак не найду черновик со стихами о Праге. Потерял! Помнишь, я читал тебе? Дай переписать с твоей кассеты».

Я был готов провалиться сквозь землю. Мы вместе силились вспомнить строки, но, кроме рефрена, припомнить ничего не могли.

Юра, Юрий Давыдович Левитанский... В Георгиевском зале Кремля в присутствии Б.Н.Ельцина поэту вручали Государственную премию России. «Тихий лирик» сказал:

«Наверное, я должен бы выразить благодарность также и власти, но с нею, с властью, тут дело обстоит сложнее, ибо далеко не все слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю. Особенно все то, что связано с войной в Чечне – мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, – эта мысль для меня воистину невыносима...»

Президент России смотрел на лауреата изумленно.

Прага, Кабул, Грозный – для Левитанского это была одна и та же война,

ему ненавистная. «Уже меня не исключить / из этих лет, из той войны. / Уже меня не излечить / от той зимы, от тех снегов. / И с той землей, и с той зимой / уже меня не разлучить, / до тех снегов, где вам уже / моих следов не различить...»

Выступая в мэрии Москвы 25 января 1996 года, Юрий Левитанский снова заговорил о войне в Чечне, напрягаясь, волнуясь, задыхаясь – чувствуя, что его не понимают.

И сердце остановилось.

Когда в октябре 2003 года в журнале «Знамя» появятся рабочие тетради Александра Трифоновича Твардовского, мы узнаем, что 29 августа 1968 года поэт назовет минувшую декаду «страшной десятидневкой». Можно представить, как страдал этот совестливый человек, большой русский поэт, прошедший войну, глубже других ее прочувствовавший, пронзительней многих о ней написавший, услышав о вводе войск в Чехословакию. Возможно, веселого героя-солдата своей поэмы, народного любимца Василия Теркина, по натуре близкого Йозефу Швейку, он представил на танке, грохочущем по улицам чешской столицы, по им тоже вымечтанному социализму с человеческим лицом. Поэта охватил ужас, и одна за другой на бумагу мучительно ложились строки: «Что делать нам с тобой, моя присяга, / где взять слова, чтоб рассказать о том, / как в сорок пятом нас встречала Прага / и как встречает в шестьдесят восьмом».

Это было в писательском дачном поселке Красная Пахра под Москвой. Поэт не мог спать, встал в четыре утра и в пять, по его словам, слушал радио – «в первый раз попробовал этот час. Слушал до 6, курил, плакал, прихлебывая чай»¹⁵.

Примерно через год возглавляемый им журнал «Новый мир» будет разгромлен.

А два года спустя поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Перечитывая дневник, я и сейчас содрогаюсь, представляя, как этот большой человек, классик русской литературы, воплощение ее совести и достоинства, истинный патриот России, в первые ночи после вторжения войск в Чехословакию долго не может уснуть – и *плачет*.

Интеллектуальный слой в российской глубинке был в большинстве благонадежный, но и в нем встречались люди критического склада ума. Географию очагов внутреннего несогласия с чехословацкой политикой властей я представил, когда при разборе своих бумаг обнаружил письмо Тамары Дмитриевны Латаевой (1991 год) о драматических событиях на далеком Сахалине, в педагогическом институте. «У нас был преподаватель кафедры русского языка Виктор Александрович Коваленин. Человек талантливый (зав. кафедрой его называла “лингвистом от Бога”), он владел многими языками, а славянскими, кажется, всеми. Читал чешские, словацкие, польские, сербские газеты, которые тогда свободно продавались в киосках. В год Пражской весны, учась в заочной аспирантуре в Москве, он возвращался в Южно-Сахалинск с полным чемоданом переведенных им статей из чехословацких газет. И когда на одном “закрытом” собрании слушали очередное

письмо ЦК КПСС и все обязаны были одобрять, Коваленин стал зачитывать фрагменты привезенных статей. Его вопросы – в чем чехи неправы – многих повергали в смятение. “Мы этих материалов не знаем, они у нас не публиковались, и говорить о них не можем”, – отвечали ему.

Когда в Чехословакию ввели войска, Коваленина без конца вызывали в КГБ, исключили из партии, изгнали из института. “У гнилого дерева, – говорили ему, – бесполезно отрезать ветви, его нужно выкорчевать с корнем!” Коваленина все же не посадили. Он устроился куда-то на завод, потом в рыболовецкую бригаду... Гонениям подверглись также друг семьи Коваленина, доцент кафедры литературы В.С.Агриколянский, заведующий кафедрой М.В.Теплинский – цвет сахалинской интеллигенции».

Эта книга была сверстана, когда в Интернете я нашел роман чешского писателя Й.Шкворецкого и адрес электронной почты переводчика: Коваленин!.. Не тот ли? Пару часов спустя мой компьютер высветил ответ на запрос: «Да, я тот самый Коваленин...» В 1983 году Виктор Коваленин вернулся в родительский дом в Одессе. Последние почти 20 лет был школьным учителем, теперь пенсионер. Похоронил жену, оба сына и их дети – в России, живет один. «Парадокс судьбы в том, что я никогда не чувствовал себя “бунтовщиком”, в моих действиях не было ничего, кроме юношеской наивности и максимализма...»

Не знаю, уместно ли тут вспоминать историю вокруг моей книги «Путешествие по острову АЕ» о поездке с Ганзелкой и Зикмундом по Сибири. В мае 1968 года книга получает премию Союза журналистов СССР, а пару недель спустя советская печать открывает кампанию против деятелей Пражской весны, в том числе против моих друзей, героев книги. И если я решаюсь об этом рассказать, то потому только, что случившееся в какой-то мере добавляет, надеюсь, штрих к нашим представлениям о психологии времени.

В те дни жалко было смотреть на Льва Николаевича Толкунова, главного редактора «Известий». Честнейший, все понимающий человек, он был бессилен противостоять указаниям Политбюро, не мог оставить редакторский кабинет; лично ему и его семье было бы, возможно, спокойнее, но не трем сотням журналистов, веривших ему, шедшим за ним. Когда спрашивали, почему он все время улыбается, он отвечал: «Так мне легче».

Сгущались тучи над головами тех, кто не поддерживал ввод войск. В их числе оказался Евтушенко; поэт участвовал в полуторамесячной экспедиции «Известий» на карбасе «Микешкин» по Лене до Ледовитого океана (1967). Он был тогда гоним, на него набрасывалась «партийная критика». П.Романов, глава цензурного ведомства, напишет в ЦК КПСС, что поэт «создает впечатление неустойчивости и зыбкости нашей жизни». А председатель КГБ Ю.Андропов добавит, что стихи и поступки поэта «инспирируются нашими идеологическими противниками». И хотя «Известия» в те времена тоже бывали вынуждены печатать разносные статьи, за которые всем нам (я уверен, и главному редактору) бывало стыдно, во многих случаях, в том числе за включение в известинский экипаж Евтушенко, Лев Николаевич брал ответственность на себя.

В ту пору (вторая половина 1960-х) на молодых поэтов с особым рвением обрушивался комсомол. У комсомола не было врагов ненавистнее Беллы

Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Я был обескуражен, когда в Иркутске комсомольский вожак с бранью обрушился на них. Особенно досталось Евтушенко за «аморальное поведение» во время плаванья. Это уже было слишком! В пути (4500 километров) мы останавливались в селениях, часто заброшенных, поэт читал стихи, люди провожали нас к берегу. В иркутском обкоме партии я требовал, чтобы комсомольский секретарь принес поэту публичные извинения. Но в обкоме знали, откуда дует ветер – на улице стоял 1968-й год, идеологический пресс набирал силу.

В очередной приезд в Москву я написал для «Известий» передовицу (так называлась редакционная установочная статья) на тему «Цена слова»; в ряду других примеров назвал иркутский случай, когда с трибуны безо всяких оснований задевают достоинство людей. Вскоре эта история переполошила редакцию и причудливым образом оказалась связанной с чехословацкими событиями.

Сразу за вторжением войск в ЦК партии начали готовить постановление «О политической ответственности журналистов». Выискивали, где только можно, факты, способные убедить высшую власть в чрезвычайной актуальности документа. В верхах еще не забыли отказ известинца Бориса Орлова приветствовать в газете ввод войск. Оказавшись в Праге в составе танковой колонны пусть сомневающимся, как говорил он потом, но в пределах марксистской идеологии, увидев, что происходит, Орлов пришел к мысли, что об этом не знает руководство страны. Не может такого быть, чтобы знало и не остановило.

Потрясенным человеком, ни строчки не написав, он поднялся с футбольного поля на вертолете, долетел до Дрездена, оттуда на двухместном самолете до Берлина, затем военно-транспортным долетел до Москвы, надеясь открыть власти глаза. Поступок по тем временам неслыханный, чреватый потерей работы, социального статуса и т.д. Случись такое в других редакциях, возник бы шумный политический скандал, и газетчик забыл бы о своей профессии, как забыл Ян Петранек, и не он один. Главный редактор Толкунов помог Борису тихо перейти в научный институт, отвел от него удар.

Стала известной история другого известинца, Владлена Кривошеева, корреспондента газеты в Праге. Он был в дружеских отношениях с Дубчеком, конфликтовал с советским послом Червоненко; главному редактору приходилось улаживать отношения корреспондента с послом. Когда утром 21 августа журналист поднял штору и увидел под окном советский танк, он был «психически раздавлен, в первый раз заболело сердце; чехи шли мимо, глядя на танк с недоумением, как на инопланетное существо. Я боялся выйти на улицу, хотелось спрятаться, никуда не высовываться. Вдруг звонок из редакции, кто-то из аппаратчиков просит срочно репортаж, как Прага встречает наших хлебом-солью. Я кричу: тут все наоборот, люди разъярены. А в ответ: “Это не твое дело, ты пиши...” “Я бросил трубку”», – рассказывал мне

Владлен ¹⁶.

До посла дошла информация о том, что Кривошеев не одобряет военную акцию и не скрывает этого от чешских друзей. По словам вице-консула Н.П.Семенова, офицера контрразведки, посол направил его в корпункт «Известий» с заданием в двадцать четыре часа вернуть Кривошеева в Москву («выдворить», на их языке). Потом вице-консул напишет, будто он сказал

журналисту: «Думаешь, нас всех не гложут подобные сомнения, но ведь мы не кричим об этом на каждом шагу». Он [Кривошеев] угрюмо молчал. Можно было предположить, какие мысли его сейчас обуревают: в Москве его наверняка выгонят с работы, исключат из партии, может быть, даже арестуют¹⁷.

Толкунов прикрыл и Кривошеева.

Отдел агитации и пропаганды ЦК партии (агитпроп) давно был раздражен Толкуновым: он не считался с аппаратчиками, проходил мимо отдела, не выслушивал указаний. Но функционеры средней руки ничего сделать с ним не могли: он был вхож к членам Политбюро и секретарям ЦК, вопросы решал с ними.

В этой ситуации лучшего подарка для агитпропа нельзя было придумать: руководимые Толкуновым «Известия» разворачивают в стране «избиение партийных и комсомольских кадров» – так была оценена передовая статья. На нашу беду, когда история стала набирать обороты, Лев Николаевич был в отъезде.

Агитпроп требовал от газеты объяснительные записки, каждый день новые. Как-то утром меня разыскал сотрудник секретариата: «В четыре часа тебе надо быть на Старой площади у Яковлева, первого заместителя заведующего агитпропом». Без десяти четыре я на Старой площади. Пропуска нет. По внутреннему телефону набираю номер Яковлева. На часах без одной минуты четыре. «Александр Николаевич, – представляюсь я, – мне назначена встреча, а пропуска нет». – «На сколько назначена?» – «На четыре...» – «Вот в четыре и будет!» – трубка грохнула на рычаги. Яковлев тоже не любил главного редактора «Известий». Оба прошли войну, оба оказались на высших идеологических должностях, но Толкунов мог позволить себе самостоятельность, для партийного аппаратчика nepозволительную.

Я тогда не знал, что по решению Политбюро в августе 1968 года Яковлев находился в Праге как организатор идеологического прикрытия вторжения союзных войск. Ему подчинялись все советские телевизионщики, радисты, газетчики, в том числе печатавшие пропагандистские листовки на чешском и словацком языках. Выполнив свою миссию и недавно вернувшись в Москву, он продолжал борьбу за чистоту идеологии.

Мне запомнился огромный кабинет. За столом небольшого роста человек с залысынами и в очках, не глядя на меня, механически перебирает бумаги. Поразила несоразмерность гигантского стола и еле видного за ним Александра Николаевича. Наконец, поднял голову и сразу взял высокий тон, адресованный не столько мне, сколько «Известиям». Он сильно окал, как человек из крестьянской семьи, из северной глубинки (оказалось, из ярославской деревни), говорил торопливо, будто опасаясь не успеть выплеснуть все, что накопилось. Теперь трудно воспроизвести услышанное дословно, но запомнившееся передам в точности.

О том, что «Известия» временами позволяют себе особое мнение, некую элитарность, в коридорах власти поговаривали многие. Яковлев объяснял позицию газеты очевидным для него «духом вседозволенности и политической безответственности», сидящем «в каждом из вас». При попустительстве главного редактора, говорил он, журналисты используют страницы газеты «для защиты своих сомнительных друзей». Подразумевалась, видимо, попавшая в ежедневные секретные сводки Главлита СССР (цензурного комитета) статья из *Sunday Times* под названием «Евтушенко осуждает оккупацию»

Чехословакии». И, пристально глядя мне в глаза, Яковлев произнес фразу, от которой я похолодел: «Каждого из вас мы знаем лучше, чем вы сами себя знаете!»

Возможно, он говорил чистую правду.

И без перехода спросил, что говорят в «Известиях» об Орлове.

Я растерялся: как связался мой случай с историей Бориса, к тому времени, повторяю, усилиями Толкунова спрятанного на дне научного института? Какая политическая паутина плелась в голове моего собеседника, перемежая и объединяя факты, какой смысл ему хотелось из них извлечь?

Если происшедшее с Борисом Орловым и Владленом Кривошеевым соединить с передовицей в защиту, пусть косвенную, Евгения Евтушенко, вспомнить газетный репортаж о сибирских поездках Ганзелки и Зикмунда, написанную известинцем и удостоенную премии книгу об этих путешественниках, теперь «чешских контрреволюционерах»; по всему выходило, что пособники пражских ревизионистов свили гнездо в центре Москвы, в толкуновских «Известиях».

– Что говорят об Орлове?! – повторил Яковлев.

В Москве, говорю, я бываю пару раз в год, представления не имею, о чем говорят в редакции. Конечно, это было лукавство. Борис Орлов мой товарищ, у нас много общих друзей, и я знаю, что все, с ним случившееся, вызвало в коллективе к нему (и к главному редактору) еще больше уважения. Все были благодарны Льву Николаевичу за спасательный круг, брошенный нашему товарищу за мгновение до того, как его закрутило бы в водовороте партийных разборок, из которых не выплыть.

Яковлев придвинул ко мне чистый лист бумаги.

– Я продиктую текст, передайте руководству газеты, чтобы завтра было на первой полосе. Редакция, диктовал он, прохаживаясь передо мной прихрамывающей походкой, допустила «грубую политическую ошибку». У меня внутри все оборвалось: это приговор... «Вина лежит на корреспонденте...» (называлось мое имя), в коллективе газеты этому «дана принципиальная партийная оценка».

В редакции, когда я вернулся, друзья убеждали заместителя главного редактора не торопиться с «опровержением», а дождаться Главного, может быть, даже позвонить ему. Ответственный секретарь редакции Дмитрий Федорович Мамлеев, для меня просто Дима, затащил к себе в кабинет: «Ты знаешь, мы тебя любим, но, пожалуйста, месяца три в газету не пиши. Не надо раздражать Старую площадь».

На следующий день вернулся Толкунов, меня потребовали к нему. Главный редактор попросил рассказать, что произошло.

Потом долго молчал. «Леня, – сказал он, наконец, – они не имели права с вами так разговаривать».

Я вышел из кабинета.

Друзья утешали: «Конечно, старик, из печати придется уйти, но ты на партийном учете в Иркутске, выгонять из партии будут там, но в глуши все еще может обойтись строгим выговором. Поживешь пару-тройку лет в тайге. Семью прокормишь, не пропадешь!»

Дня через два меня снова потребовали к Главному.

– Сегодня я был у Демичева. Никто вас больше не тронет. Ни в Москве, ни в Иркутске. Спокойно работайте.

Демичев – секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро.

Тому, кто знал политическую кухню, нетрудно было представить, чего стоила и чем могла обернуться для главного редактора «Известий» защита своего корреспондента, допустившего «грубую политическую ошибку», уже приведенную Яковлевым в проекте справки к постановлению ЦК «О политической ответственности журналистов».

– Вся возня вокруг вас прекращена, – добавил Толкунов.

«А вокруг вас?» – хотел я спросить, но не посмел.

Второй, и последний, раз мы встретились с Александром Николаевичем Яковлевым тридцать лет спустя. В августе 1998 года, когда я работал специальным корреспондентом в аппарате «Известий», пришла идея свести на газетной странице людей, бывших при подавлении Пражской весны по обе стороны, попытаться понять, как за треть столетия трансформировались (если трансформировались) их взгляды. Среди тех, кто нас интересовал, был и Яковлев. Академик, депутат парламента, один из ближайших к Горбачеву «прорабов перестройки», он возглавлял комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, имел дюжину других общественных постов, хотя прежнего могущества больше не было. Когда я назвал в телефонную трубку свое имя, в его памяти оно вряд ли связалось с конкретным эпизодом, в партийной практике одним из множества, а для меня едва не ставшим изломом жизни.

Он не узнал меня. Мало ли кого на своем веку он отчитывал. Но взгляд из-под больших очков был пристален и цепок. Мы представились друг другу, как при первом знакомстве. Он все еще окал на ярославский манер, но уже слабее.

И тут я услышал неожиданное.

Сколь ни сложны были отношения внутри партийной верхушки, какими скрытными ни выглядели они со стороны, можно было ожидать, что подготовкой военной акции в Чехословакии с привлечением до полумиллиона солдат и чреватой европейским пожаром, займутся идеологи, способные убедить своих и чужих в ее вынужденной необходимости. Но даже для первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК все было, по словам Яковлева, как гром среди ясного неба. Пропагандистское обеспечение с самого начала «возложили на органы безопасности и военную разведку»¹⁸.

Утром 21 августа, когда Яковлева вызвал П.Н.Демичев, войска уже были в Чехословакии. В кабинетах говорили только об этом. Одни со злорадством («Давно пора!»), другие со скепсисом («Кто знает, как ответит Запад!»), а уверенные, что это ошибка руководства, такие тоже были, молчали, чтобы не навлечь на себя беды. «По решению Политбюро тебе нужно сегодня вылететь в Прагу. С тобой летит группа журналистов», – сказал Демичев. «А что делать-то?» – не понимал Яковлев. «Там Мазуров, он объяснит». На аэродроме у военного транспортного самолета его ждали двенадцать заместителей главных редакторов и обозревателей ведущих газет, журналов, радио и телевидения, с ними семьдесят связисток. Предстояло действовать, исходя не из знания обстановки, а только руководствуясь задачей донести до чехов и

до народов мира неоспоримую советскую правоту.

«Когда самолет приземлился в Миловицах и мы выехали на улицы городка, у меня внутри все оборвалось: на жердях раскачивались повешенные муляжи советских солдат. А на воротах масляной краской: “Ваньки, убирайтесь к своим Манькам!” Мы были воспитаны в духе дружбы, я по характеру человек наивный, мне хочется верить: если товарищество, так товарищество, единство, так единство. Увиденное не вмещалось в голову; сюрреалистическое зрелище – чучело нашего солдата на виселице – меня окончательно добило. Вроде и должность у меня высокая, но, видно, я запоздалый в этом отношении ребенок. Я вдруг оказался в первом классе реальной политики».

На болгарских бронетранспортерах группу перебросили из Миловиц в Прагу, в советское посольство. Там все чем-то руководили, куда-то бежали, звонили, пересказывали друг другу слухи. Как стало ясно, первая задача группы – быстрая передача в Москву, для средств массовой информации, сообщений о замене прежней власти новым «рабоче-крестьянским правительством» и материалов в поддержку этих перемен. Когда затея провалилась и листовки в поддержку нового правительства сожгли, московские пропагандисты стали искать другую работу. В состав группы включили жившего в Праге радиоинженера Генриха Юшкявичуса, советского представителя в Международной организации по телевидению и радиовещанию. Он помог пустить бездействовавший на холме Цукрак, вблизи Праги, мощный передатчик и в первое время, не имея других кассет, крутить биографические фильмы о Людвике Свободе. Это все же пристойнее, чем затея политработников воинских частей: те разъезжали на бронетранспортерах по улицам, люди им плевали в лицо, а они разбрасывали доставленную из Москвы газету «Правда» с репортажами о том, как по-братски встречает население советских воинов.

Червоненко давал Яковлеву указания готовить для печати дезинформацию. Яковлеву делать это не хотелось, он пошел к Мазурову. В отличие от посольских работников с их жесткой позицией во всем Мазуров был мягче, деликатнее. Он пригласил посла и сказал обоим: «Давайте разделим: один занимается дипломатией, другой идеологией. Не будем смешивать».

«Едем на Вацлавскую площадь; там все бурлит. Молодые и старые пражане обступают наших танкистов: “Зачем вы пришли? Мы тоже за социализм, хотим защитить его от сталинизма, от бюрократизма...” Слушаю и думаю: я тоже хочу этого, и говорю об этом чехам. А в ответ: “Так какого черта вы пришли? Что вы тут делаете?”

Кто-то мне сказал, что в провинции неспокойно. Я предложил ребятам-журналистам выехать за город, в сельскую местность. Миша Сагателян положил на колени автомат, мы поехали в поселок, где стояли наши танки. Смотрим, на танке сидят наши солдаты и чешские девчонки, шутят, разговаривают, Вечером, оказывается, у них танцы. Потом пришло сообщение о драке между нашими военными и местным населением. Первая мысль была: бьют советских солдат. Оказалось, чешские ребята подрались с танкистами из-за девчонок.

Прошло семь дней; мы возобновили выпуск “Руде право”, из Дрездена везли листовки и воззвания на чешском языке. Больше делать было нечего. Прихожу к Мазурову: мне пора возвращаться. “Ну что же, – говорит, – я тебе

не начальник”. Я вернулся в Москву к прерванной работе по подготовке новой Конституции СССР.

Работаем на даче в Волынском. Вдруг звонит Черненко, заведующий общим отделом ЦК. “Я слышал, ты в Чехословакию летал?” Я говорю – да... И начинаю рассказывать о впечатлении. Бессмысленно воевать против Дубчека: надо или поддерживать власть или оккупировать по-настоящему, вводить комендантский час и т.д. Вспоминаю о пьяном шалмане в посольстве, как по территории бродил непросыхавший Кольдер, еле держась на ногах, грозя “поддать мировому империализму”. Черненко прерывает меня: “Будь у телефона, я перезвоню”. Минут через пятнадцать звонит: “Через сколько времени ты можешь быть у Леонида Ильича?” Я как был в спортивном костюме, так и поехал на дежурившей машине в ЦК.

Брежнев принял сразу же: “Ну, рассказывай...” Слушает внимательнейшим образом. Дубчек, говорю я, фактически признанный лидер, он просто романтик, его и его команду лучше оставить в покое. По-моему, в случившемся много надуманного, резкие движения сейчас вряд ли оправданны, надо искать другой путь. Брежнев не перебивает, не спорит. Рассказываю о впечатлении, поразившем меня: в нашем посольстве генералам КГБ Н.С.Захарову (первый заместитель председателя) и Г.К.Циневу (заместитель председателя) всюду мерещатся западные немцы, на каждом шагу они видят “происки” НАТО, постоянно “предотвращают” диверсии на железных дорогах и “провокации”. Ужас слушать. Умышленно нагнетают страх и дезинформируют Москву. Этим они занимались и прежде, влияя на принятие решения о вводе войск. В событиях оба сыграли огромную разрушительную роль.

Брежнев молчит, хотя генерал Цинев, начальник 2-го Главного управления (контрразведка), в КГБ его человек, напрямую его информировавший, пользующийся его доверием. Они в близких отношениях, но я этого не знал. “Спасибо тебе, – говорит Брежнев. – Только прошу тебя, не рассказывай об этом Косыгину”. До сих пор не могу понять, какую струну задевал мой рассказ в их спорах между собой».

После возвращения из Чехословакии Яковлев работал над текстом новой Конституции и параллельно над постановлением ЦК «О повышении политической ответственности журналистов» (когда я и попал ему под горячую руку), но случился эпизод, едва не стоивший ему карьеры. Позвонил секретарь ЦК К.Ф.Катушев: «Слушай, надо новую чехословацкую “Белую книгу” создать»¹⁹. Сослался на обмен мнениями на Политбюро, но похоже, что мысль ему самому пришла в голову. В отделе пропаганды привлекли ученых-богемистов, стали переводить «Черную книгу», как называли «Семь пражских дней. 21–27 августа 1968 г.»²⁰. и готовить второй выпуск «Белой книги». «Черную» выпустили в переводе в трех десятках экземпляров (членам Политбюро, в отделы ЦК, а также КГБ, ГРУ, министрам, руководителям средств массовой информации). Яковлев расширил круг адресатов по своему усмотрению.

«И вот идет заседание Секретариата ЦК. Сижу, слушаю, жду, когда эта бодяга закончится. Наконец, Сулов, который вел заседание, объявляет: “Все, повестка дня исчерпана”. И поворачивается ко мне: “А вы останьтесь”. Уткнулся в бумагу. “Ну, как тут у нас написано: “О самовольной рассылке зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС тов. Яковлевым А.Н. книги “Семь пражских дней. 21–27 августа 1968 г.”, содержащей грубые антисоветские из-

мышления...” Меня как обухом по башке. А он ко мне: “Что за книгу вы распространяете?”

Я смотрю на Демичева и Катушева, оба опустили головы, молчат. Записку, потом выяснилось, написал Голиков, помощник Брежнева. В книге, изданной после вторжения сторонниками Пражской весны, были слова и о Брежневе, понятно, какие. Суслов поворачивается к Аветисяну, заместителю заведующего общим отделом ЦК: “Ну, а кому же он послал-то?” Вот, отвечает, двадцать семь адресов. Секретариат ЦК, члены Политбюро, отделы... “Так что, у нас от них секреты, что ли?” А мне заметил: “Вы все-таки будьте поаккуратней!” Видимо, он хотел сказать – на кой черт ты там оставил про Брежнева?!»

История с «Черной книгой» и «Белой книгой» на этом не закончилась.

Вчитавшись в перевод «Семи пражских дней...» («Черной книги»), заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС В.И.Степаков сопроводил рассылку членам руководства партии предупреждением: «Книга содержит грубые, клеветнические антисоветские и антисоциалистические измышления. По сообщениям иностранной печати, книга передана для издания в западных странах»²¹.

В недрах ЦК стали готовить «Ноту Советского правительства правительству ЧССР». В материалах сборника «Семь пражских дней...», указывал документ, «в развязной форме, нередко с применением непристойных выражений, опорочивается внешняя и внутренняя политика Советского Союза. Дело доходит до того, что СССР сравнивают с империалистическими государствами, называют “жандармом Европы”. Используя трафаретные измышления антикоммунистической пропаганды, составители сборника пытаются приписать советскому народу “бесчеловечность”, “диктат”, “варварство”, “зверство”, “проведение политики массового уничтожения чехословацких граждан”. Страницы сборника наполнены клеветой на Советские Вооруженные силы. Во враждебной манере изображаются советские официальные лица».

Организатором книги, напомним, был директор Института истории чехословацкой Академии наук член ЦК КПЧ И.Мацек. Это позволяет, говорится в ноте, сделать вывод, что «в антисоветской кампании, продолжающейся до сих пор в Чехословакии, участвуют чехословацкие официальные учреждения и лица, занимающие влиятельное положение в системе формирования общественного мнения, а распространители антисоветской стряпни располагают широкими возможностями и средствами для своей грязной работы»²².

Академик Иосиф Мацек, напомним, друг Ганзелки и Зикмунда.

Судьба второго выпуска «Белой книги» оказалась еще плачевнее. Как следует из архивных документов, книга была издана в феврале 1969 года под названием «К событиям в Чехословакии. Выпуск второй», но в ней снова оказались тексты, советскому руководству неприятные, и тираж уничтожили. «Мы заверяем, – напишут чиновники общего отдела ЦК КПСС, – что нами приняты необходимые меры, исключая возможность подобных случаев в будущем»²³.

...Пора прощаться. Яковлев поднимается, но медленно, как будто не договорил что-то важное. Провожает до дверей и у порога:

– Хотите знать, в чем главная наша беда?

И тихо, как сокровенное:

– В нежелании положить ухо на землю, послушать, что нам говорит земля...

Похоже, под конец жизни в партийном функционере проснулся сын ярославских крестьян, сильно окающих, ходивших за плугом по чистому полю, под голубым небом, вдоль белых берез, и живших, как далекие предки, по простым и справедливым законам. Проснулся запоздало. Он стоит, маленький, с надвинутыми на кончик носа большими очками, смотрит сквозь стекла настороженно, словно ждет напоследок подвоха. Я ухожу довольный, что не напомнил ему о нашей встрече на Старой площади осенью 1968-го, когда едва уцелел.

Осенью 1968 года в русскую и чешскую лексику вошло редкое до той поры слово с латинским корнем «нормализация». Старые словари его не знали; у В.Даля ближе других к нему – «нормальное состояние», то есть «обычное, законное, правильное, не выходящее из порядка, не впадающее ни в какую крайность».

Понятие, этим словом выраженное, в устах кремлевских идеологов подразумевало не вывод чужих армий из страны, что как раз было бы законным, правильным, не выходящим из порядка, а полное вытеснение из чехословацкой политики строптивой национальной элиты, ее замену на послушную просоветскую, способную заставить замолчать свой взбудораженный, не ко времени разговорившийся народ. Как им было понять друг друга?

То, что для малого европейского этноса выглядит унижением, национальной катастрофой, для державного восприятия – эпизод на пути завещанного предками исторического собирания и удержания соседних земель. По воспоминаниям З.Млынаржа, на московских переговорах Брежнев объяснял чехословацкой делегации: ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата; мы заплатили за нее огромными жертвами и уходить не собираемся. «В его монологе содержалась одна простая идея: наши солдаты дошли до Эльбы, и потому сейчас там наша, советская граница»²⁴.

Общественная атмосфера для многих чехов и словаков становилась удушающей; все труднее было заниматься предпринимательством, выезжать за рубеж; утрачивался интерес к публичным дискуссиям, еще недавно жарким, когда на улице собирались толпы, а ораторы выступали с балкона второго или третьего этажа, и если бы кто-то, не в меру темпераментный, сорвался вниз, его подхватили бы сотни рук. Теперь дискуссии были скучны, выкрики бессильных одиночек не трогали сильно поредевшую уличную толпу. Люди старались держаться от власти подальше. Потерявшие работу возвращались в дом, в семью; возрождение домашнего очага, частной сферы, традиционных ценностей было новой особенностью общественного развития. Ячейкой оппозиции становилась семья, и с этим ничего не могли поделать власти и чужие войска.

Дубчеку и Чернику, пока остававшимся у власти, но понимавшим, что это ненадолго, надо было думать о том, как сохранить пражских интеллектуалов, цвет национальной интеллигенции. Они не препятствовали тем, кто до

ввода войск оказался на Западе, самим решать, возвращаться или задержаться за рубежом, но иных приходилось уводить в тень, подальше от глаз советского руководства. Угроза нависла над остававшимся в Праге Иржи Ганзелкой; на московских переговорах Брежнев позволил себе выпад, в те времена чреватый непростыми последствиями для писателя, его близких. Обсуждали информацию с Высочанского съезда:

«Брежнев... По сообщениям, в новый Центральный Комитет избраны 12 авторов "2000 слов". Можно себе представить атмосферу.

Подгорный. И Ганзелка, наверное, избран».

Это имя вывело Брежнева из себя.

Он дал волю беспричинному раздражению. Конечно, он помнил, как путешественники, авторитетные во многих странах, были первыми из иностранцев, добравшимися до глухих углов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера; по его просьбе они передали изложенные на бумаге свои откровенные наблюдения. Им в голову не приходило славословить, воспитанные в другой культуре, они надеялись своей искренностью помочь народу, ставшему близким, родным. Когда Брежнев в приступе восторга обещал им ордена Ленина и звания членов Академии наук СССР, Ганзелка тогда возразил: «Не нужно награждать за мысли и предложения». Высшей наградой для них было бы «дожить до времени, когда из анализа будут извлекать практическую пользу»²⁵.

Теперь Брежнев не мог им простить, что готов был осыпать почестями, но приручить не смог. Он говорит о Ганзелке, выдавая свое болезненное восприятие чужой известности, культуры, интеллекта. И это хорошо, что реакция на слова Подгорного – «И Ганзелка, наверное, избран» – последовала тут же; иначе, если бы он помедлил и подумал, с языка вряд ли сорвались бы выделенные мною ниже слова, и Леонида Ильича мы бы понимали меньше.

«Брежнев. Этот чешский миллионер, который за счет чешского народа, за счет других стран и за счет нашей страны совершил экзотическую поездку и разбогател. Ему мало было денег...»²⁶

Мало было денег!

Так видел чехов и их проблемы Верховный главнокомандующий, посылая одну из крупнейших армий мира брать Прагу. Ганзелке выдали дипломатический паспорт и через две недели после ввода войск предложили выехать с семьей в Стокгольм в качестве экономического советника посольства. Прибыв к месту работы, он написал руководству страны «письмо с просьбой подумать об этом назначении еще раз и в любом случае постараться вернуть меня на родину быстрее. Не хочу в это сложное для родины время находиться за рубежом. Я привык сам отвечать за все, что делаю и говорю. Мое место сейчас в Чехословакии». И предупредил, что если через четыре месяца, до 31 января 1969 года, его не вернут, «я вернусь по своей воле и буду готов за это нести ответственность. Дней за десять до истечения этого срока, где-то в двадцатых числах января, я получил известие, что мне разрешено вернуться в Прагу»²⁷.

Как бы все ни складывалось, у него есть дом и письменный стол. Он не представлял, в каком окажется положении, когда к власти придут Гусак, за ним Якеш, и начнется массовая чистка партии. Судьба каждого, его работа, будущее детей, благополучие семьи будет зависеть от ответа на единственный вопрос: ввод советских войск – интервенция или братская помощь? Это

же так просто. Но в 1970 году «неправильно» ответят около 500 тысяч коммунистов; Ганзелка и Зикмунд в их числе.

Пока Ганзелка работал в Стокгольме, Зикмунду позволили вылететь на пять-шесть недель в Коломбо, дособрать материал для рукописи о Цейлоне. Они с Ганзелкой писали ее последние годы, книга была близка к завершению. Я узнал об этом из почтовой открытки-фотографии с празднично убранными лобастыми слонами.

Открытка М.Зикмунда в Иркутск (2 февраля 1969 г.)

Леня дорогой, сердечный привет тебе, твоей семье и нашим хорошим настоящим друзьям. Тоже от имени Юры. Кончу рукопись новой книги, в конце марта буду опять на родине. Жму тебе руки. Твой Мирек ²⁸.

В апреле 1969 года Зикмунду позвонит премьер-министр Олдржих Черник, пригласит к себе на дачу. Черник был в рабочих сапогах и совсем не похож на себя, каким выглядел на портретах. «Знаешь, ситуация изменилась, о делах поговорим в другой раз», – сказал он, извиняясь. На даче появились Дубчек и Смирковский. «Это был последний день активной работы Дубчека, – будет вспоминать Зикмунд. – Через два или три дня его снимут и направят послом в Турцию, но я об этом не имел представления, чувствовал только, что все трое напряжены. Лицо Дубчека было белым и рыхлым, как размолотое зерно. Видимо, уже знали о скорой развязке. Дубчек взял мою руку и сравнил со своей: «Откуда ты приехал, весь такой черный, как из Африки?» Позавчера, отвечал я, прилетел из Коломбо. И стал рассказывать о диких слонах. Все трое слушали с интересом; это был другой мир, о котором они ничего не знали. Я нашел предлог распрощаться и оставить их одних» ²⁹.

Три последующих года я не имел представления, что с Ганзелкой и Зикмундом. Звонил и звонил в Прагу и Готвальдов (Злин), слышал заученный ответ чешских телефонисток: «Извините, номер не отвечает». Письма возвращались как не доставленные, большинство исчезало без объяснений. Имена путешественников как ветром сдуло со страниц газет, и я радовался редким случаям, когда какой-нибудь обозреватель, пусть неизвестный, из «нормализаторов», по инерции в статье называл их имена в ряду «чехословацкой контрреволюции», притаившейся в подполье или бежавшей на Запад. Все-таки надежда, что живы.

Изумляли, прилетая в Москву, чехословацкие журналисты, в большинстве неизвестные и самодовольные; на вопрос о путешественниках, что с ними, они пожимали плечами, извиняясь, что впервые слышат эти имена, торопились распрощаться и больше не попадались на глаза.

В бессилии узнать, что происходит, я уже впал в отчаяние, как вдруг оказалось, что из вороха моих почтовых отправок каким-то невероятным образом одно все-таки попало к Ганзелке, и в Иркутске я получаю ответ, как будто ничего за эти годы не случилось, словно последними вестями мы обменялись неделю назад.

Письмо И.Ганзелки в Иркутск (10 января 1972 г.)

Дорогой Леня! Раз, уже давно тому назад, ты мне писал: «...даже если бы ты чертом был...» Тогда я знал, что ты пишешь только чистейшую правду. И вот, полу-

чилось точно по-твоему. А все-таки пишешь.

Как-то нам еще не удалось говорить друг с другом о дружбе, кажется, что между друзьями не надо... Ленька, ты нас действительно обрадовал. Три долгие года я от тебя не получил ни строчки, сам писать не хотел. Никому из близких я не хотел усложнять жизнь. Ты писал и писал, но кажется, что почтовые работники не успевали всегда находить мой адрес. Ничего.

После так долгого времени о трудностях писать не буду, есть у тебя и опыт, и фантазия. Лучше написать, что у меня (к сожалению, только в рукописи) готовы две книги, над третьей работаю. Между прочим, наши ориенталисты говорят, что с перелома века, т.е. с начала нашего столетия, в мировой литературе нет лучшей книги о Цейлоне с точки зрения гносеологии и литературной обработки конкретного материала. Но пока говорят только нам, других слушателей не находят. И не ищут.

Пишу с долгими перерывами, много времени глотает производство фруктов и овощей для семьи и другие необходимые работы, которыми нужно овладеть, все делать собственными силами. Когда приедешь, погоржусь, сколько ремесленных специальностей я уже накопил. Ленька, милый, очень, очень хочется обнять тебя у нас дома, садить тебя на твое кресло за нашим столом. Молчать или говорить, – все равно. Но все-таки лучше продолжать там, где мы остановились последний раз. Ты прав. Уже давно пора. Приезжай! Ты будешь у нас дома, как всегда.

Обнимаю тебя и твоих любимых двух девушек на Пионерском.

Твой Юра ³⁰.

Иржи преувеличивал возможности моей фантазии и опыта, я многого не понимал. Что значит, «много времени глотает производство фруктов и овощей для семьи»? Что за «необходимые работы», которыми надо овладеть? Но все-таки все живы, более или менее здоровы, и слава Богу. Я, как мог, уговаривал редакцию снова послать меня в командировку в Прагу, придумывал темы, обещал кучу интересных материалов... не получалось. Вдруг звонок в Иркутск: «Что тебе далась Прага! Слетай-ка на неделю-другую в Будапешт. У вас в Сибири алюминий, у венгров – изделия из алюминия. Посмотри, свяжи как-нибудь!»

И тут мне ударило в голову.

Как же я сразу не догадался! В соседних с Чехословакией странах корпункты «Известий», везде коллеги, мои приятели, неужели не поймут? И не помогут: по земле ли, по воздуху, по воде перейти чехословацкую границу, хоть на пару дней попасть в Прагу? Не было дня, когда бы я не думал об этом с ожиданием и страхом.

В начале мая 1972 года с командировкой «Известий» лечу, наконец, из Москвы в Будапешт. Неделю мы кружим по городу с Сашей Тер-Григоряном, моим коллегой, и каждый час в радость. Саша чертовски талантливый человек, умеющий жить во все стороны. Небольшого роста, вихрастый, он отчаянно водит машину по тесным улицам и, высунувшись в окно, неподражаемо отчитывает на венгерском несущихся навстречу или обгоняющих нас нарушителей дорожного движения. Мы едем к зданию парламента и к площадям, где бурлило восстание 1956 года, подавленное советскими танками, а ночью мы уже на берегу Дуная, где греки, друзья Саши, жгут костры, пьют красное вино из огромных плетеных бутылей и, втянув нас в круг, обнявшись за плечи, водят хороводы у кромки воды.

Мы пропадали у Яноша Комлоша, тоже друга Саши, руководителя театра политического кабаре; можно послать на сцену записку с любым острым

вопросом и тут же получить разыгранный в скетче ответ, где будут вышучены первые лица страны.

Саша был любимцем будапештской интеллигенции.

В те дни Янош Комлош ставил в своем театре «А зори здесь тихие...» Мне казалось, после постановки Юрия Любимова и Давида Боровского (на Таганке) трудно придумать решение интереснее, но венгры, я думаю, москвичей превзошли. На их сцене не борта грузовой машины, обращенные художником в стены бани, лес, болото, как в любимовском спектакле, а во всю сцену сеть, огромная грубая рыбацкая сеть: она и простенок, и лес, и болото, в котором вязли и гибли зенитчицы, и поразительный образ времени. И когда по ходу действия героини оказывались убитыми, венгерские актрисы молча снимали гимнастерки, складывали их холмиком на сцене и уходили. А в финале актрисы появлялись в полутемном зрительном зале издали и с венгерской поминальной песней медленно шли через зал с горящими свечами в руках, и каждая ставила свечу к «могиле» зенитчицы, роль которой сыграла.

На премьеру пригласили сотрудников советского посольства, но не пришел ни один: «От Комлоша всего можно ожидать!» СССР на премьере представляли двое известинцев. А успех спектакля был оглушительный; банкет для труппы устроил Саша. Конечно, мы были на алюминиевых заводах, придумывали, что написать, но у меня оставался разговор, который я откладывал, чувствуя, что вряд ли Саша мне откажет, и тем безнравственнее, преступнее было с моей стороны втягивать друга в рискованный для него замысел. Но все же за бутылкой токая я признался Саше, что на самом деле привело меня в Будапешт. Саша знал книги Ганзелки и Зикмунда; он снял телефонную трубку, с кем-то говорил по-венгерски, потом стал что-то рисовать на бумаге. «Придется заночевать в Братиславе. Мой приятель, словацкий журналист, даст нам ключи от своей квартиры». – «Но как с чехословацкими визами?» Саша рассмеялся. На машине с венгерскими номерами и с ящиком русской водки он берется довезти меня до Кейптауна.

Милый Саша, добрый человек с печальными глазами Чарли Чаплина... Он готов ехать хоть в оккупированную Прагу, хоть на край света.

Утром мы тронулись в путь. У венгерского шлагбаума, как предсказывал Саша, оставили пару бутылок «Столичной», у чехословацкого еще пару, и скоро наша машина понеслась по словацким дорогам. Не выпуская руль, Саша читает чужие и свои стихи, мы говорим о делах семейных (жена Саши Катя, сыновья Антон и Левон были в Москве) и, безголосые оба, горланом русские песни.

Теперь, много лет спустя, вспоминая ту поездку, я все вижу через рыбацкую сеть из спектакля Яноша Комлоша. Перед нашей машиной, несущейся к Братиславе, словно опустилась со всех сторон крупноячеистая сеть от земли до облаков; в ячейках кружатся леса, бегут навстречу машины, мелькают люди на обочинах дороги. И как в фильме ужасов, ко мне приближается, вырастая в размерах, упираясь носом в сеть, разгоряченное лицо генерал-майора С.М.Золотова, члена Военного совета и начальника Политуправления Центральной группы войск. Я с ним встречаюсь позднее, в 1989 году, в его московском доме на Мосфильмовской. Боевой генерал будет смотреть в упор глазами ненавидящими, неизвестно, кого и за что: «Мы шли помочь друзьям,

выполняли интернациональную миссию, я гордился участием в ней! Ведь это благородная была миссия, не так ли? Огромные затраты несла наша страна, наш народ. А теперь дружескую помощь расценивают как «нарушение суверенитета»! Как «оккупацию»! Меня встречают приятели: «Как поживаешь, оккупант?» Да не чехи – свои, в Москве! А перед кем и в чем я виноват? За что?!»³¹.

Не знаю, что ответить, генерал.

Но сеть! Я вспомню эту поездку внутри проклятой сети, и мне не достает ума додумать, как в нее попадают, срываясь, карабкаясь, еще больше запутываясь, бессильные освободиться люди, народы, государства...

Ближе к вечеру въехали в Братиславу.

Разыскали дом словацкого приятеля, осмотрелись в чужой квартире, пошли побродить берегом Дуная и только в кафе поняли, кто мы здесь. Сидим за столиком, разобрались с меню, ждем. Официанты снуют мимо, мы окликаем, просим, но мы стекло, сквозь которое они проходят, не задевая и не замечая. Просидев минут сорок, идем в другое кафе, но и в нем, и в следующем мы невидимки. Нас нет! Мы никогда не испытывали такой униженности и бессилия. Выходим на многолюдную улицу, вокруг прекрасные лица. Хочется кричать: люди добрые, не мы к вам посылали танки!

«Ну вот что, – сказал Саша, – запомни два слова: «нем» и «кёсонем», венгерски это «нет» и «спасибо». За столиком я буду говорить тебе на венгерском, а ты вставляй «нем» и «кёсонем»... Без всякой надежды заходим еще в одно кафе, садимся, листаем меню. Саша артистично жестикулирует, что-то лопочет, смеясь, а я, голодный, смотрю ему в глаза, стараясь угадать, в какой момент можно выпалить заученные слова. «Нем!», – бормочу я. «Кёсонем!» Не прошло и двух минут, как к нам подлетел официант. Мы ели молча и быстро, по-предательски.

На другой день замелькали фазаньи поля, фермы, линии электропередачи, индустриальные пейзажи; на холмах средневековые замки, по обе стороны городки с черепичными крышами, костелом, футбольным полем... Чехия!

Часов в десять вечера с атласом автодорог на коленях въезжаем в Прагу. Долго плутаем, ищем район Дейвице, там улицу На Мичанце, дом № 19. Это единственный для нас адрес, где можно что-то узнать об Иржи Ганзелке, в прошлой жизни это был его дом. Хотя у машины венгерские номера, представляя настороженность властей к активистам Пражской весны, не исключая продолжающейся слежки за ними, мы петляем вокруг, присматриваясь, нет ли за нами «хвоста». Наконец, прижимаемся к обочине в соседнем переулке. Прошу Сашу подождать в машине и, стараясь сдерживать шаг, приближаюсь к дому, где не был восемь лет. Уже темнеет, вокруг светятся окна, но в доме № 19 темно.

Нажимаю кнопку звонка на кирпичной ограде. В ответ ни звука. Нажимаю снова, долго не отпускаю кнопку. Ни шороха. Где хозяйева? Кто-нибудь? Вокруг ни души, спрашивать не у кого. Звоню еще пару раз и, уже решив возвращаться к машине, слышу, как скрипнула дверь. В мою сторону тяжело шел человек в глухом свитере и рабочей тужурке, рукава по локоть закатаны, похож на водопроводчика, давно не брит, исподлобья всматривается, кто

рвется в дом.

Это был Иржи Ганзелка.

Когда мы, наконец, отпустили друг друга и вытерли мокрые лица, я сказал, что приехал не один, в машине за углом мой приятель Саша Тер-Григорян.

Никогда раньше я не видел Иржи таким растерянным. Он напрягся, замотал головой, стал похож на раненого зверя.

– Ленька, извини, но никого из советских, кроме тебя, я видеть сейчас не могу. Никого! Ты это должен понять.

Я не раз пытался поставить себя на место чехов, как если бы это меня обманули самые близкие, внезапно ворвались в мой дом под видом помощи, которой никто не просил, и чужие танки, как хозяева жизни, грохотали бы по набережной Москвы-реки, у храма Василия Блаженного, на Воробьевых (тогда Ленинских) горах, где мы, молодые, гуляли с любимыми и толкали коляски с детьми, – что было бы с нами, бессильными, послушными призыву властей смириться, не проливать свою и чужую кровь – что было бы в наших душах, кроме ненависти?

Но я не представлял, как это может быть глубоко даже у таких людей, как Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд.

– Иржи, – сказал я, – Саша здесь не как «советский», он мой друг, и он, рискуя, привез меня к тебе из Будапешта.

Мы стояли, не шевелясь.

– ...Хорошо, приведи друга.

Едва мы вошли в дом, Иржи, сделав нам знак рукой помолчать, задернул гобеленовые шторы на окнах. Из дома напротив за его квартирой ведется наблюдение. Там постоянный пост, специальная аппаратура прослушивает и записывает сквозь оконные стекла разговоры в доме. Шторы задерживают лучи, но Иржи, наученный опытом, как в детективном фильме, включает еще и радиоприемник, и пускает воду из крана в ванной комнате. Мне показалось, Иржи разыгрывает нас, но он серьезен и сосредоточен. Сын Иржик и дочь Ганночка гостили у друзей, он был дома один, принес какую-то снесь. Я достал из кармана бутылку «Столичной». Иржи опять замотал головой:

– Ленька, извини, но советскую водку я пить не буду...

– Иржи, это не *советская*, это *моя* водка.

Он пошел за рюмками.

И был сокровенный разговор, как вслух с самим собой, при последних глотках воздуха, когда торопишься высказаться и боишься не успеть, перекакиваешь с одного на другое, возвращаясь к забытым мелочам, все кажется необычайно важным, странным своей до сих пор недодуманностью, и уже исчерпав себя, уже обессилив, не можешь остановиться, и даже умолкнув, все видишь снова, новым зрением и продолжаешь говорить мысленно.

В марте 1968 года одна из чешских газет выдвинула Иржи Ганзелку кандидатом в президенты республики. Хлынул огромный поток писем с просьбой, чтобы он участвовал в выборах, но политика как профессия никогда не привлекала ни его, ни Мирослава. В те дни он выдернул шнур телефонного аппарата и во дворе дома стал подрезать тополя.

По ревности ли к их известности, с которой ничего нельзя было поде-

лать, по другим ли причинам, промосковская пражская власть свою невзрачность, бессилие вызвать к себе симпатии вымещала на недавних кумирах нации, в том числе на Ганзелке и Зикмунде. Обоих изгнали отовсюду, оставили без средств к существованию. Не разрешают печататься, постоянно таскают на допросы. Стали преследовать их детей, не принимают в учебные заведения. Сын Ганзелки, Иржи-младший, тряпкой на шесте моет уличные витрины магазинов. Друзья дают для переводов технические тексты, публикуют под чужими именами. Пришлось продавать домашние вещи, в том числе орган, на котором Ганзелка играл по вечерам в семейном кругу.

Позднее, в 1979 году, его примут в бригаду рабочих по обрезке фруктовых деревьев на горе Петршин. Там окажутся тысячи старых, больных яблонь и груш. Когда-то за садом присматривали монахи, но уже давно ухода не было, многие деревья повреждены, иные умирали. Взять Ганзелку на постоянную работу садовника никто не посмел, привлекли на время, но потом власти стали подзабывать о нем, и он работал садовником почти четыре года. За это время вернул к жизни две тысячи восьмьсот старых деревьев. Так бы, наверное, и продолжал, но стало плохо с глазами, потом начался спондилез, болезнь позвоночника, сад пришлось оставить.

Мирослав Зикмунд (мы с ним встретимся у него дома в Злине в феврале 1990 года) вспомнит, как в те унылые времена, пытаясь найти работу, он обивал пороги учреждений, от него отмахивались, едва услышав фамилию. Он жил на зарплату сына Саввы, тогда рабочего на железной дороге. Продал кинокамеру и фотооборудование, бывшее при нем в путешествиях, потом в ход пошли домашние вещи и книги, в том числе тридцать восемь томов Большой советской энциклопедии, приобретенной одним из американских университетов. Под чужими именами иногда удавалось публиковать переводы.

Они не жалуются, с достоинством разделяют участь полумиллиона соотечественников, обреченных таким существованием платить за расквартированные в их стране чужие воинские части и своим бедственным существованием компенсировать новым хозяевам жизни, советским ставленникам, чувство собственного ничтожества. Люди, которые недавно считали за честь пожать руки пана Ганзелки и пана Зикмунда, гордились перед женами и детьми знакомством с ними, теперь, став крупными партийными функционерами, замалчивали имена путешественников, как будто их больше не существует, надеясь, что тем возвеличивают собственные имена.

Утрата прежних связей и отношений, массовая эмиграция, можно сказать – бегство из страны самых совестливых людей, многих интеллектуалов, гордости нации, из всех издержек «нормализации» (политических, экономических, военных и т.д.) для нации самая дорогая издержка, обмеру не поддающаяся. На вакантные места приходят ортодоксы, которых люди с тонкой душевной организацией сторонятся, не хотят иметь с ними ничего общего. Теперь у невзрачности есть возможность брать реванш за все свои унижения. Что ни говори, а незаурядность, яркость, талантливость одним своим существованием отравляют жизнь тем, к кому природа не столь щедра и кому не хватает волевых усилий хоть как-то приподняться над собой, избавиться от чувства ущербности. И если за двадцать лет «нормализаторства» нация все же не угасла окончательно, то объяснение этому следует искать, я думаю, в ее нерастраченном психическом здоровье, в тысячелетнем опыте приспособления к жизни.

...Светало, когда мы, перебирая друзей, заговорили о Евгении Евтушенко. Я припомнил услышанные в гостинице «Минск» стихи: «Танки идут по Праге / в закатной крови рассвета. / Танки идут по правде, / которая не газета. / Танки идут по соблазнам / жить не во власти штампов. / Танки идут по солдатам, / сидящим внутри этих танков...»

Иржи слышал их в первый раз, их и в Союзе мало кто тогда знал, хотя они тайно ходили в списках. Он слушал, прикрыв глаза, что-то переспрашивал, просил повторить. Повторил я и последние строки: «Прежде, чем я подохну, / кем мне неважно, прозван, / я обращаюсь к потомкам, / только с единственной просьбой: / пусть надо мной не рыданья, / а просто напишут по правде: / русский писатель раздавлен / русскими танками в Праге».

Иржи поднял мокрое лицо:

– Ленька, три года я ждал эти слова... Больше ничего объяснять не надо!

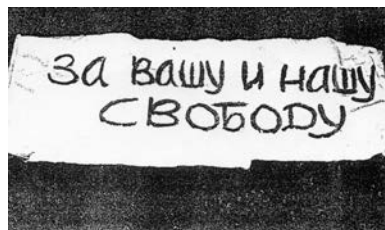
Поздним вечером следующего дня мы обнялись у ограды.

Нам с Сашей пора было возвращаться в Будапешт.

Фотографии к главе 9



Анатолий Марченко: «Газетная кампания последние недели вызывает у меня опасения – не является ли она подготовкой к интервенции под любым предлогом...» (Письмо в редакции газет от 29 июля 1968)



Фотографии плакатов, с которыми Лариса Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская вышли на Красную площадь 25 августа 1968 года



Лариса Богораз с сыном Александром (1960-е): «Если бы такое повторилось, я бы, наверное, нашла в себе силы для нового протеста...» (Из беседы, 1998)



«Приговор я знал заранее, когда шел на Красную площадь...». Из речи на суде. Павел Литвинов в ссылке (пос. Верхние Усугли Читинской области). 1970-е гг.



Александр Твардовский: «Что делать нам с тобой, моя присяга, где взять слова, чтоб рассказать о том, как в сорок пятом нас встречала Прага и как встречает в шестьдесят восьмом». 29 августа 1968



Юрий Левитанский: «Прости меня, Влтава, сирень 45-го года...». Август 1968



Встреча в Праге: Мирослав Зикмунд, Евгений Евтушенко, Иржи Ганзелка. Апрель 1989



Партийное собрание в Южно-Сахалинском педагогическом институте. «По юношеской наивности и максимализму я абсолютно ничего крамольного не усматривал в своих действиях...» (Виктор Коваленин)



За сочувствие идеям Пражской весны старшего преподавателя В.Коваленина исключили из партии и лишили работы, доцента В. Агриколянского также лишили работы, профессор М.Теплинской вынужден был покинуть Сахалин.

Глава десятая «Взять совесть за сердце...»

Факел на Вацлавской площади. Зденка Кмуничкова у постели Яна Палаха. «Он не самоубийца и не буддист...» Чего боялись Брежнев и Косыгин. Страшный список Яна Черного. Поездка во Вшетаты. У Милослава Слаха, школьного учителя Яна

После полудня 16 января 1969 года трамвай вез Элишку Горелову, преподавателя психологии на философском факультете Карлова университета, через Вацлавскую площадь к Чехословацкому радио. Она смотрела в окно на мокрые крыши. Кажется, власти смирились с долгим, если не вечным, пребыванием в стране ста тысяч советских солдат. Хотя униженность при внешней суверенности предпочтительнее откровенного чужого управления, как при германском протекторате, но опасно, что в руководстве страной все меньше сторонников реформ. Неделю назад вынужден был уйти с поста председателя Национального собрания Йозеф Смрковский. В трамвае у многих торчит из карманов новогодний номер «Дикобраза» с карикатурой: весь в синяках, перебинтованный человек, еле держась на ногах, утешает себя: «Меня избили как собаку, но я не сдаюсь. “Правда победит!” – говорю я в ответ».

Элишку, многих ее друзей, изумляла воинственность скрытых сил, не-

понятно, кого представляющих, которые нападают в печати и в эфире на законную власть, на ее политику. Особенно старается подпольная радиостанция «Влтава» и анонимная, без выходных данных, газета «Зправы». Унять их руководство страны бессильно, они распространяются на неизвестные никому средства, по своим каналам. Как потом признается газета, ею руководит «редакционный совет при союзных войсках». По Праге ходят слухи, что Дубчек написал по этому поводу Брежневу, не скрывая своих догадок о том, кто за всем этим стоит.

Письмо Дубчека от 20 ноября 1968 года я найду в архиве ЦК КПСС. Газета «Зправы», напишет Дубчек, распространяется через собственную, не контролируемую властями сеть при участии комендатур союзных войск. Это нарушение чехословацких законов в области печати и вмешательство во внутренние дела страны. Дошло до того, что газета с нападками на высшее руководство республики была неизвестно кем привезена в Град и раздавалась участникам пленума. Население возбужденно реагирует на все это. «Общественность и партийные организации обращают внимание также на то, что оба эти средства массовой информации явно заграничного происхождения, как это видно прежде всего из плохой языковой стилистики, и задают себе вопрос, правду ли говорит ЦК КПЧ, когда утверждает, что московские соглашения категорически исключают вмешательство во внутренние дела ЧССР... Поэтому мы считаем необходимым одновременно с последовательной и энергичной ориентацией ЦК КПЧ чехословацких средств массовой информации на деятельность, которая бы полностью отвечала нашим соглашениям, чтобы и остальные братские партии сделали соответствующие шаги, направленные на ориентацию средств массовой информации в области их влияния на эффективную поддержку общих интересов. Особенно настоятельным является прекращение деятельности радиостанции “Влтава” и газеты “Зправы”»¹.

Чехи понимали, что любая новая попытка демократизации будет подавлена. На переговорах в Москве Брежнев был откровенен и искренен: «Война из-за вас не начнется. Выступят товарищи Тито и Чаушеску, выступит товарищ Берлингауэр. Ну и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, а оно уже пятьдесят лет никого не волнует!»² Так и было, но опасно махнуть на все рукой и с болью наблюдать, как в гражданском обществе, недавно воспрянувшем, вызревает нарывом торжествующий цинизм. Элишку это касалось непосредственно; она писала диссертацию «Взгляды и идеалы чешской молодежи 1960-х годов», по разным лицам и школам собирала материал, опросила две тысячи молодых людей, и ей очевидна повышенная возбудимость самых юных; вместе с рабочими и демократической интеллигенцией они заявляли о себе как о носителях общественных перемен.

Этой осенью студенты Карлова университета, среди них студенты Элишки, были в числе участников массовой забастовки, они отвергали советское вмешательство в чехословацкие дела; их унижала проводимая властями слабая и несамостоятельная политика, оскорбительная для национального сознания. Властям кое-как удалось предотвратить переход забастовки в уличные шествия, способные поднять пражские заводы и взорвать ситуацию.

...Было около двух часов дня, когда трамвай, приближаясь к Вацлавской площади, резко затормозил. Элишка увидела в окно, как напротив Нацио-

нального музея появился молодой человек. Что было дальше, она не могла разглядеть, но потом услышала от очевидцев. Парень снял пальто, поднял над собой пластмассовую бутылку, вылил содержимое на свою одежду, чиркнул спичкой и загорелся. Именно этот момент станет ей известным по рассказам, а сама она увидит, как человек, на котором все горело, бежал наискосок от здания музея в сторону Дома потравин (гастронома). С плеч и от головы над ним вздымались языки пламени, как если бы вокруг головы сиял нимб. Площадь оцепенела, остановился трамвай. Обессилев, человек упал на тротуар, продолжая пылать. Рядом будка трамвайного стрелочника; когда стрелочник увидел пламя, подумал, как он расскажет потом, что вспыхнул на ходу автомобиль, но вдруг понял, что горит человек. Он схватил висевший на крючке полушубок, кинулся к месту происшествия. Добежав, сбил пламя и накрыл несчастного полушубком.

Между тем вагоновожатый открыл двери трамвая, пассажиры высыпали на площадь. Элишка осталась в вагоне у окна, сверху видно лучше. Когда мы встретимся в Праге у того места, где все произошло, она расскажет: «Все вышли из трамвая, а у меня давнее правило: если что-то произошло, спешить в том случае, когда способна помочь, а не стоять среди зевак, наблюдая чужую беду. Я осталась у окна; сверху было видно, как к толпе над распластанным на асфальте телом подъехала машина “скорой помощи”. Обгорелого человека увезли. Пассажиры вернулись, трамвай поехал дальше. Я сошла у здания радио, там работали мои приятели, сторонники Пражской весны, которых еще не успели уволить. Я ждала доктора Смирчака. Когда он вернулся, я стала ему рассказывать, как молодой человек, видимо, сотрудник Национального музея, поджег себя и горящий бежал по площади... “Элишка, – сказал доктор Смирчак, – это студент Карлова университета. С твоего философского факультета...”»³

Студентов на факультете сотни, Элишка не может всех знать. И хотя ей не в чем себя упрекнуть, она все же чувствует неловкость, как будто виновата, что имя одного из них, двадцатилетнего Яна Палаха, она узнала только в горький час, когда оно облетело страну и мир.

В то самое время, когда в помещении радио Элишка Горелова разговаривала с доктором Смирчаком, по Вацлавской площади, ни о чем не подозревая, торопился на работу с сумкой на плече известный пражанам репортер Ян Петранек. Потом он мне расскажет: «В стороне от статуи Святого Вацлава я увидел группу людей; они разглядывали лежавший на вмятых гусеницах камнях, которыми вымощена площадь, кем-то оставленный клочок бумаги. Я наклонился и прочитал: “Полчаса назад на этом месте сжег себя студент философского факультета Ян Палах в знак протеста против оккупации нашей страны. Вечная ему память!” Это невозможно, подумал я; тогда многим казалось, что напряженность постепенно спадает, люди приходят в себя, приспособливаются. Дубчек, Черник, Свобода остаются на своих местах. Против ожидания, нет массовых арестов, никому пока не рубят головы. Люди привыкают к оккупации, как к нормальному состоянию, надо осознать, что с этим нам жить в будущем. И вдруг меня осенило! Это же буддийские монахи полторы тысячи лет назад сжигали себя на площадях, не зная, как еще разбудить общественную совесть. Нашу успокоенность взорвал Ян Палах...»⁴

Зденку Кмуничкову, научного сотрудника психиатрической больницы,

часто приглашают в клинику пластической хирургии на улице Легровой, в ожоговое отделение для консультаций тяжелых больных. На этот раз голос в телефонной трубке был особенно возбужден. Привезли пострадавшего в состоянии шока. Очень плох. В лифте медсестра спросила, что с ним. С трудом разлепил обожженные губы: «Сам себя поджег». – «Зачем?!» – «Против того, что происходит». При осмотре в операционной обгорелым оказалось 85 процентов поверхности тела и лица. Около губ и из носа свисали остатки выгоревшей слизистой оболочки; дыхание прерывистое.

Кмуничкова кинулась в клинику.

Научно-исследовательская лаборатория доцента Милана Черного, где работает Зденка, по заказу министерства обороны в закрытом режиме изучает психические реакции на макросоциальные стрессы, охватывающие большие группы людей. Но с вводом войск лаборатория сосредоточила усилия на изучении нового явления, названного «оккупационным стрессом». Внимательнее стали к ожогам, неизбежным в случае атомной войны. Именно Зденке поручили наблюдать в ожоговом центре тяжелые случаи, психическую реакцию пострадавших, искать эффективные способы помощи.

Новый пациент лежал в палате один. У его постели она провела с другими медиками остаток дня, была с ним ночь. Утром в тетради появятся первые записи. «...Отмечается шоковое состояние. Пациент говорит врачам: “Облил себя бензином и поджег. Это протест против того, что происходит. Через пять дней, если ничего не изменится, это повторят следующие”. Говорил, что он не самоубийца и не буддист, хотел только протестовать; спрашивал медсестру, верит ли она ему. То же самое говорит лечащему врачу: просит, чтобы его поступок был правильно понят, жизнь он любит. Он очень терпелив. Вечером признался, что жжет все тело... Дыхание неритмичное, прерывается вздохами. С ним возможен контакт»⁵.

Зденке Кмуничковой 35 лет, два года практики в лучших пражских больницах, но в первый раз пациент, очнувшись от обморока, с трудом вышептывающий слова, вызывал не только жалость от сознания, что его часы сочтены, но, как она потом мне скажет, чувство стыда за то, что она сама и все медики вокруг вряд ли способны совершить что-либо подобное. «Говорят, разумный человек никогда не ввяжется в бой, если заранее знает, что победить невозможно, я и сама не отношусь к воинственным натурам, но думаю, что люди, способные пойти на заведомо проигранный бой, будят чужую совесть и двигают прогресс». Мы сидим на диванчике в ординаторской в феврале 1990 года. Почти двадцать два года спустя многое в памяти поблекло, но трое суток с Яном Палахом особые. Сколько ни вспоминай, исчерпать подробности невозможно; уже не поймешь, что сама слышала из обожженного рта, где угадала неразборчивое слово, что уловила в хрипе выдоха.

Ян говорил тяжело, разобрать слова не всегда удавалось; распухшие губы плохо слушались, он впадал в забытие, это было следствие тяжелых ожогов. Но очнувшись, пытался что-то сказать, словно боялся не успеть. Все у него болело. С разрешения доктора Кмуничковой я выписываю из истории болезни и ее рабочей тетради:

17 января. Больной ни о чем не сожалеет, он сознает, что рисковал жизнью, но он не хотел умереть, а только растормошить и поднять людей; надеялся, что выживет... Нас много, мы будем бороться до тех пор, пока правительство что-нибудь не предпримет. От подробностей уходит, только при-

знает, что это организованная акция. Не хочет назвать имена других участников, не говорит и о том, что собираются делать дальше. Мы не хотим себя убить, только обжечься. Мы ему сказали, что скорее всего вряд ли кто это переживет, повторения могут стоить жизни самым честным, самым лучшим молодым людям. Он отвечает неуверенно, что будет очень жаль. Чувствует себя усталым, хочет спать, но не может. Дали успокаивающие препараты.

Около двенадцати часов дня, когда препараты перестали действовать, с ним стали снова разговаривать. Говорил тихо, с трудом, иногда невозможно было понять. Поступок считает протестом против существующей политической ситуации. На вопрос, хочет ли это повторить кто-то еще, отвечает: «Может быть, будут следующие». Когда? «Точно неизвестно, но они будут». Все зависит, говорит, от того, как себя поведет правительство и партия. Его просят назвать кого-нибудь, кто мог бы помешать следующему акту саможжения. Называть он никого не хочет. Говорит, что надо быть смелым, Ян Гус тоже сгорел. На аргумент, что в каких-то обстоятельствах все же надо оберегать здоровье и жизнь, он дает понять, что согласен с этим. И добавляет, что, возможно, что-то скажет в последний день; видимо, имеет в виду последний день жизни.

У доктора Кмуничковой был диктофон, и она кое-что записала, чтобы впоследствии разобрать непонятные слова. Мы слушаем пленку. «Гонзик, так ты когда это сделал, в четверг?» – «Да...» – «Зачем ты это сделал?» – «...хотел выразить несогласие с тем, что происходит, и побудить людей к действиям...» – «...Ты хотел поднять людей чем конкретно?» – «...поджечь себя» – «Поджечь себя... Хорошо, а когда вы остановитесь или при каких условиях остановитесь?» – «...если будет отменена цензура» – «А что еще?» – «...если будут запрещены “Зправы”» – «То, что ты сделал, достаточно, чтобы об этом узнал весь мир» – «... нельзя о себе слишком много думать... человек должен бороться против зла, на какое хватает сил...»

Как потом скажет Ян Черный, «то, как он отвечал, свидетельствовало о том, что он был человеком полностью собранным в момент своего поступка, он был человеком абсолютно нормальным»⁶.

После полудня в клинике появились старший брат Яна – Иржи Палах и их мама Либуше. Еще утром Либуше ничего не знала, ехала из Вшетат на электричке в Прагу привезти сыну в общежитие чистое белье. Сидящий рядом старик положил на колени свежий номер «Праце» и стал тяжело дышать. Скосив глаза на страницу, Либуше увидела фотографию Яна и крупным шрифтом над ней: «Протестуя против оккупации страны, студент Ян Палах совершил саможжение». Она потеряла сознание. Ее высадили на первой же станции. Она не помнит, как добралась до Праги и как рядом с ней оказался старший сын. Им помогли добраться до клиники. Как следует из врачебных записей, мама вела себя с сыном достаточно спокойно, пыталась с ним говорить, но понадобилось время, чтобы Ян выговорил: «Мама...» Он пытался, но больше ничего не мог сказать. «Под конец психическая подавленность усилилась. На уход матери и брата эмоционально он не реагировал. В последующие примерно 60 минут он несколько раз пытался произнести два или три несвязных предложения...»

Медсестры показывали ему письма и цветы от пражан. Жена Яна Петранека, работница этой клиники, принесла записанные мужем передачи о нем и включила портативный магнитофон, чтобы он слышал ободряющие

голоса со всего света. Он слабо кивал, давая понять, что слышит, понимает, но сразу впадал в полусонное состояние.

На второй день в госпитале появились два сотрудника госбезопасности. Требовали выяснить имена студентов, членов группы, готовящихся повторить эту акцию, и первым делом узнать, кто намечен следующей жертвой. Зденка сказала, что не может им этого обещать, она должна говорить с больным, только с ним, когда это возможно по его состоянию, и о тех вещах, которые она, как медик, считает важными, а не какие важны для них. «В тот раз они безропотно покинули клинику, но два дня спустя, когда больной умер, меня стали вызывать в районное отделение госбезопасности, допытываясь о том же: знаю ли я имена членов группы и следующего, кто должен себя поджечь. Я отвечала правду: мне неизвестно». В годы «нормализации» Зденка Кмуничкова станет «невыездной».

Утром 18 января медсестры и врачи, сменяясь, снова читали вслух, что пишут о нем газеты разных стран. Из его прерывистых слов, короткой связки звуков можно было понять ответ: цель еще не достигнута. Когда прозвучали цитированные чьи-то слова о власти, чтобы она осознала, «на каком перекрестке находится», он жестом остановил врача и дал понять, что это именно то, что ему хотелось бы выразить: власти должны понять, что они на перекрестке. Службам безопасности все же удалось убедить кое-кого из медицинского персонала, допущенного к больному, попытаться выяснить, кто из молодых людей и когда может поджечь себя вслед за ним. Имен своих товарищей он не называл, но из слов, не вполне внятных, можно было разобрать, что следующий факел возможен через пять дней. Никому не хотелось, чтобы еще одно молодое существо так же страдало, и, кажется, он согласился, что новую акцию лучше бы отложить, но сейчас это уже трудно сделать.

В ночь с 18 на 19 января Ян просит пить, шепчет непонятные слова, но ясно произносит и повторяет имя своей девушки, старается приоткрыть глаза, увидеть талисман, который она ему прислала. И вот запись в 6 часов 30 минут утра. «Спонтанно он старается что-то сказать. Сначала непонятно, но очень старается, чтобы его поняли: "...чтобы эта акция закончилась... чтобы советские войска ушли". Следующие слова понять было совсем невозможно. Он снова впадает в бессознательное состояние...»

Запись в 14 часов 30 минут: «Состояние пациента очень тяжелое, контакт с ним невозможен. Консилиум врачей подтверждает сильный шок от ожогов с метаболическим развитием и токсическим отравлением».

Ян Палах умер 19 января 1969 года в 15 часов 30 минут, не приходя в сознание. По заключению психиатров, это была личность с ярко выраженной прямоотой, честностью, чувством справедливости. «Никаких болезненных отклонений...»

За две недели до протеста Яна Палаха заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев, организатор послеавгустовского массированного давления на чешское сознание печатным словом и через эфир, докладывал высшему руководству об успехах, не подозревая, каким страшным пламенем вспыхнет сопротивление. Одинокое нравственное несогласие на Вацлавской площади отразит умонастроение народа, не склонного проливать в ярости чужую кровь, но способного сохранить национальное достоинство ценой собственной жизни. Не знаю, как с военной

точки зрения, но с этической, я думаю, это самая высокая из возможных побед.

Пожалуйста, не пробегайте глазами уцелевшую в архиве скучную «Справку», но прочитайте в нее, представьте, что было бы с вашим зрением и слухом, и тогда понятней станет, что испытывала чешская и словацкая молодежь, а также люди старшего поколения, когда на них круглые сутки с кремлевских вершин лил грязный и шумный поток. И тогда понятней станет, что имел в виду Ян, когда на больничной койке отвечал Зденке Кмуничковой, зачем он это сделал: «Хотел выразить несогласие с тем, что происходит, и побудить людей к действиям». И почему на вопрос Зденки, что должно произойти, чтобы живые факелы не повторились, Ян не забыл сказать, что должны быть «запрещены “Зправы”».

Привожу справку целиком, за исключением короткой преамбулы.

«1. С 13 сентября ежедневный объем радиопередач на чешском и словацком языках с территории Советского Союза установлен в размере 12 часов. Передачи ведутся в первую очередь на средних волнах в наиболее слушаемые отрезки времени – утренние и вечерние часы. Особое внимание уделяется разъяснению Московского коммюнике, поддержке решений ноябрьского пленума ЦК КПЧ и мероприятий, направленных на их реализацию, выступлениям представителей советских трудящихся, главным образом рабочих и молодежи.

2. С 13 сентября Всесоюзное радио совместно с редакцией газеты “Красная звезда” ежедневно готовят часовую передачу для советских войск в Чехословакии. В передачу включаются пропагандистские материалы, предназначенные и для населения ЧССР. По сообщению друзей, эти программы вызывают интерес у чехословацких слушателей.

На Чехословакию ретранслируются также московские передачи на чешском и словацком языках (4 часа в сутки) через радиостанцию “Волга”. По договоренности между Министерствами связи СССР и ГДР с 10 ноября мощность этой радиостанции была увеличена со 100 до 200 киловатт. Проводится работа по дальнейшему укреплению квалифицированными кадрами радиослужбы, направленной на ЧССР. В рамках Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР создана Главная редакция радиовещания на ЧССР.

3. В целях повседневного информирования населения Чехословакии и воинов Советской Армии в распоряжение политорганов советских войск, находящихся в ЧССР, направляется большое количество газет, журналов, книг, брошюр, листовок и плакатов. Всего после 21 августа на территории ЧССР (по данным на 28 декабря) распространено: 53,5 млн экз. газет и журналов; 1 млн 700 тыс. экз. листовок на чешском языке; 1 млн 600 тыс. экз. брошюр на чешском, словацком и русском языках; 80 тыс. плакатов; 487 тыс. экз. книг и словарей, в том числе 25 тыс. экз. книги “К событиям в Чехословакии” на русском языке и 457 тыс. – на чешском языке.

Ежедневно на территории ЧССР распространялось в августе-сентябре всего 600 тысяч, в октябре 360 тысяч, в ноябре-декабре по 60 тысяч экземпляров советских газет и журналов.

По сообщению политорганов советских войск, периодическая печать и книги расходятся хорошо.

В советских газетах публикуются статьи и корреспонденции, направленные в поддержку решений ноябрьского пленума ЦК КПЧ и мероприятий по их осуществлению. В то же время печать выступает с критикой ревизионистских элементов и тех чехословацких органов массовой информации, которые мешают процессу нормализации. За период времени, прошедший после 21 августа, газетами “Правда”, “Известия”, “Советская Россия”, “Красная Звезда”, “Труд”, “Сельская жизнь”, “Комсомольская правда”, “Литератур-

ная газета” было опубликовано в общей сложности около пятисот передовых, крупных редакционных, авторских статей, корреспонденций, обзоров, связанных с событиями в Чехословакии.

Политиздатом выпущены пять сборников “Марксизм-ленинизм – единое интернациональное учение”, в которые вошли документы ЦК КПСС, братских партий, материалы совещаний и встреч представителей социалистических стран, важнейшие статьи из советской печати.

4. Издательство АПН выпустило сокращенный вариант “Белой книги” для военнослужащих группы войск в ЧССР – “Ты защищаешь социализм, солдат!”, Главпуrom СА и ВМФ изданы два выпуска брошюры “Народа верные сыны” (письма советских людей солдатам, сержантам и офицерам Вооруженных Сил СССР, находящимся в ЧССР), брошюра “Летопись благородного подвига” (советский солдат в Чехословакии), сборник материалов в помощь пропагандистам и агитаторам “Верность интернациональному долгу” и др.

Командованием группы советских войск в Чехословакии издается газета “Советский воин” и 4 многотиражные газеты.

5. По линии АПН в Дрездене (ГДР) издается газета “Зправы” на чешском языке тиражом 225 тыс. экз. Выходит “Еженедельник актуальных новостей” – газета АПН на чешском языке.

Готовится к изданию на чешском языке сборник “Единое интернациональное учение” (по материалам выпусков “Марксизм-ленинизм – единое интернациональное учение”).

6. На территории ГДР создана радиостанция полулегального характера “Влтава”, выступающая от имени преданных делу социализма работников идеологического фронта Чехословакии. В ее передачах даются ответы на прямые и косвенные антисоветские и антисоциалистические высказывания чехословацкой печати и радио, ведется компрометация наиболее реакционных общественных деятелей, комментаторов и журналистов, возглавляющих диверсионную идеологическую деятельность антисоциалистических сил.

Зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС А.Яковлев. 2 января 1969 года»⁷.

Москва неделю хранила молчание; ни соболезнования семье, ни сочувствия чехословацкому народу, ни поддержки правительству. Я представил себе наших престарелых членов Политбюро: у всех взрослые дети, у иных студенты, ровесники Яна Палаха, и как не понять все же чувствующих свою вину, испытывающих страх за детей, охваченных шоком отцов. Когда же и образумиться, если не теперь, в эти часы, когда на твоих глазах почернело и обрушилось небо.

Много лет спустя в архивах найдут письмо Брежнева и Косыгина в адрес Дубчека и Черника, отправленное 23 января, через неделю после трагедии. Думаете, наш сентиментальный Леонид Ильич, все наше руководство пришли, наконец, в себя, обрели дар речи, готовы перед таинством смерти, потрясшей всех людей на земле, распахнуть душу перед братьями-славянами и не держать больше зла друг на друга, забыть взаимные обиды, изгнать помутившее рассудок зло, успокоить усталые народы?

У Брежнева и Косыгина этих слов не нашлось.

«Уважаемые товарищи, нас крайне беспокоит и настораживает то обстоятельство, что в Чехословакии в последние дни усилиями определенно враждебных сил складывается напряженная политическая ситуация, которая характеризуется стремлением усилить националистические антисоветские настроения, затруднить нормализацию ситуации в

ЧССР. С этой целью используется факт саможжения Яна Палаха. Как стало сейчас известно, Палах не понимал всех последствий своего действия и стал жертвой намерений провокаторов, которые его подталкивали к этому трагическому действию...»⁸

Это, конечно, понятная дань общепринятой форме партийной переписки – сначала неизбежен идеологический абзац, а вот теперь, вслед за ним, когда ритуал соблюден, все обязательное сказано, на бумагу выплеснутся простые человеческие слова, из самого доньшка души, об общей боли и скорби, они сразу изменяют и тон, и суть.

«...Политический смысл этого акта заключается в том, что с самого начала антисоциалистические силы с удивительной готовностью и целеустремленностью используют саможжение Яна Палаха для обострения напряженности политической атмосферы, возбуждения тревоги и психоза, направленных против политики КПЧ и правительства ЧССР, реализации решений ноябрьского, декабрьского и январского пленумов ЦК КПЧ. Особое внимание обращает на себя то обстоятельство, что печать, радио, телевидение и другие средства массовой информации распространяют нездоровые и опасные настроения, которые возбуждают общественность в стремлении скрыть действительных организаторов новой политической кампании и выдать акцию антисоциалистических и антисоветских элементов за акцию патриотов. Эту же цель преследуют те, которые стремятся смерть Яна Палаха оценить как геройский акт общенационального значения.

Нельзя не видеть, что события в Чехословакии приобретают опасный политический характер. Сначала были выдвинуты требования, касающиеся “Зправ” и ликвидации цензуры. Сегодня в материалах печати, радио, телевидения, в некоторых выступлениях содержатся требования немедленного проведения выборов в государственные органы, продолжения заседаний 14 съезда КПЧ и созыва съезда чешских коммунистов. Дело зашло так далеко, что при поддержке государства стали появляться требования вывода советских войск из ЧССР. Имели место случаи прямых нападений на грузовики советских военных представителей и даже нападения на советских официальных представителей.

Это все является достаточным поводом утверждать, что правые антисоциалистические круги после январского пленума ЦК предпринимают новую попытку столкнуть партию с принятого курса. В этих условиях было бы чрезвычайно важно правильно и принципиально оценить действительное значение поступка Яна Палаха и организованной провокационной кампании, которая за этим последовала.

Однако мы должны констатировать, что этого до сих пор не произошло. Наблюдаются только политические игры вокруг безрассудного поступка молодого человека.

Определенные круги все больше проявляют солидарность с требованиями, которые не имеют ничего общего с усилиями чехословацких трудящихся, направленными на совершенствование социалистического общества...»

Ничего о потрясении невероятной смертью, какую трудно припомнить в нашей новейшей истории. Откуда взяться сильным чувствам? Русским людям не привыкать героически погибнуть за свободу родной земли, бросаться с гранатой на амбразуру дота и идти на смертельный таран вражеского самолета. Нас учат, если выхода нет, даже ценой собственной жизни, но нести гибель захватчикам.

А тут другая философия: протестуя против захвата родины, требуя вывода чужих войск, не врагов перед всем миром убивать – только себя. Потрясти людей собственной страшной смертью.

Кремлю это не понять.

«...Теперь совершенно очевидно, антисоциалистические круги готовятся использовать похороны Яна Палаха для широкого развертывания провокационной кампании. Если в этих условиях не удастся проявить твердость, если не будут предприняты решительные

меры, события могут выйти из-под контроля партии и правительства и перерасти в открытые выступления против дела социализма в Чехословакии.

Мы убеждены, что создавшуюся ситуацию еще можно быстро поправить, если опираться на трудящихся, которые в своем большинстве не поддерживают развязанный психоз, если развернуть наступление на враждебные силы.

Мы хотим подчеркнуть, что ЦК КПЧ, правительство ЧССР и другие ответственные органы республики:

– должны сделать все политические необходимые выводы и правильно сориентировать партию, трудящихся, и дать принципиальную партийную оценку деятельности антисоциалистических, антисоветских сил в связи с развязанной провокационной кампанией вокруг случая на Вацлавской площади;

– должны принять незамедлительные меры, которые будут направлены на приостановление деятельности тех, кто стремится воспрепятствовать нормализации в стране на марксистско-ленинской интернациональной основе.

Мы посылаем это письмо с чувством доверия к Коммунистической партии и народам Чехословакии, стремящимся нормализовать ситуацию и укрепить дружбу между народами ЧССР и Советского Союза.

Л.Брежнев, А.Косыгин. 23 января 1969 года».

27 января Президиум ЦК КПЧ поручил Биляку подготовить ответ Брежневу и Косыгину. Две недели Биляк и его помощники думали над формулировками. «Ваши оценки совпадают с нашими», – уверяли они Москву, обращая внимание, что чехословацкому руководству все же удалось политически овладеть ситуацией, одной из самых сложных за последнее время. Дубчека в этом ответе что-то не устраивало. Он заметил, что письмо запоздало и дает информацию, советской стороне известную. Подготовленный Биляком ответ так и не ушел в Москву.

Милан Черный рассказывает историю, в медицинской практике известную, а для несведущих, вроде меня, невероятную. В полночь с 20 на 21 августа 1968 года, опоздав на последний автобус и надеясь остановить попутную машину, по дороге из аэропорта Рузине шла в Прагу женщина средних лет. У женщины на теле были странные пятна, ее много лет наблюдают врачи, пробуют разные способы лечения, но помочь бессильны. Вдруг на ночной дороге она увидела, как с нарастающим грохотом приближается ослепительный свет. Она отпрянула к краю обочины, мимо нее гроыхали танки. Ночь, гулкий ночной небосвод, и пыль из-под гусениц, и огни летящих фар. Все было, потом она скажет врачам, как распад мироздания. Женщина почувствовала слабость, все внутри оборвалось, она потеряла сознание. В клинику ее доставили под утро. Психический шок привел к чуду: пятна на теле больной исчезли, словно их не было.

Она повторяла с усмешкой: ее вылечил Брежнев.

«Это была сестра моей жены», – говорит Милан.

Он заканчивал аспирантуру в Научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В.М.Бехтерева, там оставалось много друзей. Настолько близких, что однажды ему разрешили присутствовать на закрытом партийном собрании, там он впервые услышал о XX съезде КПСС. Ему трудно было представить, что его друзья в Ленинграде и люди в танках на улицах Праги – один народ.

Проснувшись от грохота, от нервных ночных звонков, увидев в окне грозные контуры и ничего не понимая, многие люди испытали психическое напряжение и расстройства. Случай на аэропортовской дороге помогает представить *глубину* психических потрясений. Это поколение, которое в 1945 году, встречая чужие войска, воспрянуло духом, в 1968-м, видя на своих улицах те же войска, ужаснулось. Войска оказались странные; очевидная для всех бессмысленность операции, приказы командиров не вступать в разговоры, но постоянные со всех сторон вопросы, на которые у солдат не было ответов, вызывали у армейской массы чувство подавленности. Милану Черному, и не ему одному, известен случай, когда на набережной Влтавы, вблизи здания ЦК КПЧ, советский солдат, не выдержав напряжения, застрелился.

Сотрудники психиатрической лаборатории стали отмечать у населения массовый рост тревожных невротических состояний. Участились случаи повышенного давления крови, упадка сил и работоспособности, особенно у людей интеллектуальных занятий. По наблюдениям медиков и социологов, в эти дни пражане курили и пили кофе больше обычного. Разочарование сближало, уравнивало, общество в кризисном состоянии становилось однороднее. Люди поднимались над передрыгами в семье, в быту, на работе, над душевными страданиями. Захват чужими войсками страны, внешнее по всем статьям поражение и общее негодование сплывали нацию.

Осенью 1968 года и в зиму 1969-го активнее стали функционеры, те из них, кто теперь были первыми помощниками оккупационных войск. Они готовы на все: вести анонимные радиопередачи, распространять газеты, чернящие Пражскую весну, все реформаторское движение; в их руки переходит цензура над средствами информации. По их пониманию, у народа нет будущего, если выпасть из упряжки с Советским Союзом. И пусть в чьих-то глазах соседняя империя выглядит отсталой, живущей хуже их всех, это следствие ее добровольного бремени содержать и кормить другие народы. В чешских и словацких городах гуще прежнего офицеров КГБ, сотрудников чехословацкой безопасности, их оживившейся агентуры. Общественные сумерки сгущаются, а реформаторы во власти утрачивают последние признаки политической пронизательности. Они еще на что-то надеются, делают вид, что все идет, как надо; пытаются по мере сил сопротивляться. Но даже к железу когда-то приходит усталость.

Именно в это время на Вацлавской площади вспыхнул живой факел.

Растерянные «нормализаторы» старались объяснить случившееся экстравагантной выходкой излишне впечатлительного, сосредоточенного на личных переживаниях молодого человека. Поползли слухи, будто студенту обещали дать бутылку с жидкостью, которая горит холодным пламенем, исключая ожоги, а случилось досадное, даже чудовищное, но несомненное недоразумение. Функционерам невозможно было признать самосожжение следствием стыда за унижение страны, за поведение властей.

С Яном Палахом прощались на философском факультете Карлова университета. Люди шли и шли траурной процессией через Староместскую площадь, мимо памятника Яну Гусу, к месту новой исторической скорби. В поступке одного аккумулярировалось отчаяние всех. Многие сжимали кулаки, не зная, как ответить самим себе, сможет ли эта страшная плата что-то изменить в бессильном и оцепеневшем обществе.

А 25 января три десятка человек, большей частью родственники и жур-

налисты, собрались на Ольшанском кладбище, неподалеку от захоронения советских солдат в 1945 году. Здесь было тихо, несуетно, малоллюдно, как на сельском кладбище. Простой гроб на веревках опускали в могилу № 89. Никаких кулаков – только горящие свечи в руках. Священник Якоб Троян окропил могилу святой водой. «Я думаю, – сказал священник, – никто из нас пока не способен осознать глубоко, что произошло и какие всходы даст в нашей жизни эта жертва...»

Она оказалась не последней.

На той же Вацлавской площади, близ гостиницы «Ялта» в знак протеста против оккупации 25 февраля поджег себя 19-летний Ян Заиц из Шумперка (Северная Моравия), учащийся железнодорожного техникума. Он это сделал в проходе между зданиями, надеясь выбежать на открытое пространство площади, но добежать не успел. По заключению медиков, он не страдал душевным заболеванием, не был замечен в слабости к алкоголю или наркотическим веществам, но в классе был лидером, человеком с обостренным чувством правды и справедливости. В оставленной им предсмертной записке он называл себя «факелом номер два», возгоревшимся, чтобы будоражить и дальше дремлющую в людях совесть.

Полтора месяца спустя в средневековом моравском городке Йиглаве на площади Мира поджег себя сорокалетний Эвжен Плоцек, добрый семьянин, отец 15-летнего сына. По мнению всех, его знавших, серьезный, спокойный, обязательный человек, сторонник дубчековских реформ, делегат XIV (Высочанского) съезда партии. Ни в каких вредных наклонностях и в нарушении психики тоже не был замечен. На одном из листков, им оставленных, он написал: «Я за человеческое лицо и не переношу насилия». Не взрывчатым юношеским порывом, но всем своим жизненным опытом он восстал против оскорбляющей его, его семью, его народ постыдной «нормализации»,

С 16 января по 30 апреля доцент Милан Черный и его группа зарегистрировали на территории Чехии и Моравии еще 26 случаев самосожжения. Среди них четыре женщины. Хотя общая атмосфера в стране оставалась той же, ученые не стремились во всех разочарованиях жизнью непременно видеть политику; у некоторых жертв обнаруживали психические отклонения, вызванные личными и семейными проблемами. Избрание именно этого способа самоубийства выдавало, видимо, желание, может быть, бессознательное, романтизировать уход и хотя бы чуть погреться в лучах поклонения, которым были отмечены первые жертвы. Как бы ни было, эпидемия самоубийств после гибели Яна Палаха свидетельствует о глубоко проникшей в общество подавленности, утрате смысла существования. Медики назовут это «оккупационным стрессом»⁹.

Ян Палах выбрал философию под влиянием унаследованного от отца интереса к всеобщей истории. Отец, вшетатский кондитер, не слишком успешный в торговле, много читал, хранил книги и совсем забывал о делах, когда где-то возникал спор о будущем устройстве мира. В среднем сословии, особенно в чешской провинции, всегда находились любители жарких диспутов. Так что Йозеф Палах, отец двух сыновей, не был исключением. Прожив немногим больше пятидесяти, он умер от инфаркта, не оставив семье большого наследства, но внушив сыновьям обязанность быть во всем искателями истины, жить своим умом.

Мироощущению юного Яна, многих его сверстников ближе других был Ян Амос Коменский, просветитель-гуманист XVII века. Он был кумиром не одного поколения молодых интеллектуалов, остро переживавших взлет и падение общественной активности. В предшественниках чехи искали опору своим надеждам на равноправное национальное развитие. По Коменскому, великие державы должны прекратить между собой вражду, дать мир «христианским народам», а это наступит, когда ружья будут применять «только против хищников», а пушки переплавят на колокола, чтобы «созывать народы». Милые утопические планы отвечали чешской ментальности с ее верой в победу скорее разума и знаний, нежели грубой силы. Духовное завещание Коменского, его трактат «Необходимо только одно», написанный в 1668 году, был бы поводом в 1968 году всей Европой отметить 300-летие этой глубокой проповеди мира и исправления человеческих дел. Но до этого ли было...

Под влиянием идей Яна Амоса Коменского в первые дни оккупации студент Палах пишет для семинара реферат «Значение сознания в поступках человека». Человечество, замечает он, стоит на развилке, его существование в собственных руках, и изменение (совершенствование) мышления – одно из необходимых условий прогресса. Той же осенью пражские студенты, и Палах в их числе, переживая спад общественной активности, устраивают массовую забастовку с национальными флагами и плакатами, стараясь встряхнуть людей, помочь избавиться от чувства безысходности. Но молчат, не хотят говорить со студентами их сверстники, советские солдаты. Под стук дождей и гул холодного ветра танкисты сидят у железных печей в двадцатиместных палатках. Отныне брезентовые палатки, которые скоро прикроет снег, станут их жильем, столовой, клубом, а заодно – образом слякотной Европы, которую их послали спасать. Впереди когда-нибудь – возвращение на родину, экзамены в вузы, рефераты о роли сознания... Но, может быть, им предложат совсем другие темы.

Мы говорим об этом в машине с Яном Петранеком.

Спасибо Яну, он согласился помочь мне добраться до поселка Вшетаты, родины Палахов. Осенним утром 1990 года мы выедем из Праги и возьмем курс на север, к виноградной равнине между Лабой и Влтавой, в сторону городка Мельника, центра чешского виноделия. Но туда не попадем, а через сорок километров пути, не доезжая до виноградников километров пятнадцать, свернем к Вшетатам. Машину Ян ведет спокойно, вдоль кукурузных полей, не отрывая глаза от дороги, не утомляя излишней информацией, но не упуская случая вспомнить о деталях, помогающих лучше почувствовать пережитое.

– Знаешь, в феврале 1969 года кто-то отправил письмо Либуше Палаховой. Она еще не пришла в себя после похорон Яна. «Вы правы, – было в письме, – правда победит, но это случится, когда на свет выйдет вся эта комедия, в которой главную роль отвели вашему сыну...» Подписи под письмом «студентов из Оломоуца» оказались вымышлены, авторов не нашли. Потом пустили слух, будто самосожжение Палаха организовали сами активисты Пражской весны: драматург Когоут, спортсмен Затопек, шахматист Пахман, публицист Шкутина, студенческий вожак Голечек. Подонки есть у вас, есть и у нас ¹⁰.

...Во Вшетатах находим дом учителя истории Милослава Слаха, местного летописца, собирателя старины. Он с 6 класса учил Яна. Рабочий кабинет с письменным столом, заваленным вырезками из газет; на полках сочинения Яна Амоса Коменского, Франтишека Палацкого, Карела Гавличека Боровского, Томаша Масарика... Эти книги брал читать маленький Палах. Учитель немножко ревновал Яна к «Соколу»; подобно другим ученикам, Ян разрывался между чтением и занятиями в этой физкультурной патриотической организации, которая еще в XIX веке, во времена Австро-Венгерской монархии, была для чешской молодежи больше, чем место для тренировки мышц, она была скорее школой, где укрепляют национальный дух. Настоящие чехи всегда из «соколов», спортом часто занимались семьями. «Соколами» были все Палахи: предки Йозефа и Либуше, они сами, оба их сына. Другой страстью Йозефа и Либуше был любительский театр; сценические площадки есть во многих деревнях и сегодня. Каждый спектакль – торжество патриотических чувств.

Ах, как доволен был вшетатский учитель, когда в последнем классе школы Ян обнаружил интерес к русско-чешским отношениям в XI веке, к начальным временам добрососедства, когда русские и чехи говорили на одном славянском языке, не нуждаясь в переводчиках. Русские тогда звались полянами, потому что, по В.О.Ключевскому, обитали в полях, земли Чешской короны и российские соприкасались, а Великий князь Ярослав Мудрый и чешский Болеслав ощущали себя соседями. Несимпатичен из русских императоров Яну Палаху был только Николай I, неуверенный в себе и боявшийся за свою корону, когда народы окраин пытались сбросить с себя униженность. На его совести разгром польского восстания 1830 года, венгерской революции 1848-го, – этого Яну было достаточно, чтобы невзлюбить тирана.

Интерес к восточным соседям сохранялся у Яна и в университетские годы. В составе студенческих строительных отрядов он дважды бывал в Советском Союзе. Последний раз – в летние месяцы 1968 года. У него там оставалось много друзей. Их сверстников потрясенный Ян увидит в Праге – на танках.

– Знаете, в дни оккупации Ян как-то пришел ко мне за книгами. Перебирая их на полке, вдруг повернулся: «Пан учитель, кто-то же должен взять совесть за сердце!» Так он выразился. Я не стал переспрашивать, мы понимали друг друга. Кто-то должен! Но я не думал, что это будет Ян.

Кладбище в стороне от дороги, на пологом склоне холма. Постояв у серых гранитных плит Йозефа Палаха и Либуше Палаховой, по гравийной дорожке идем к могиле Яна. Ограды нет, только полевые цветы, много свежих цветов, и в металлических стаканчиках горящие свечи; местные жители им никогда не дают погаснуть. На одном из венков бело-сине-красная лента: «Жертва твоя была не напрасной...». Эта часть кладбища священна, здесь предадут земле не тела, но прах. Природе возвращают ее изначальную сущность. По ночам, говорят, дух из-под земли встает, струится к небесам, воздух чист и прозрачен, можно видеть огни городов.

Здесь второе захоронение Яна Палаха.

Когда на Ольшанском кладбище самые близкие опускали в могилу гроб, надеясь на вечный отныне для Яна покой, своими чувствами они простодушно наделяли других, не думая, что во времена Густава Гусака ночью 23 октября 1973 года по указанию властей могильщики тайно разроют могилу,

унесут гроб в крематорий. «Нормализаторы» предадут сожжению Яна Палаха второй раз. Урну с пеплом тихо увезут во Вшетаты, Либуше Палаховой, она будет хранить урну дома. Только через полгода мать уговорят предать пепел сына земле, на сельском кладбище.

Осенью 1980 года умершую Либуше Палахову опустят в могилу рядом с могилой мужа Йозефа и неподалеку от могилы их сына.

Пан Милослав Слаха говорит, прощаясь: «Если хотите понимать чехов, вдумайтесь в слова Яна Амоса Коменского: мы готовы скорее страдать на избранном историческом пути, даже обречь себя на гибель, чем позволить кому-нибудь увлечь себя идти с ним к лучшему будущему вопреки своей воле».

Если бы на всю Чехию была только одна могила, могила Яна Палаха, ее было бы достаточно, чтобы этим словам доверять.

А в Праге на Ольшанском кладбище могила № 89 долго была разрыта и пуста, хотя по-прежнему сюда приносили цветы. Но времена изменились, пепел Яна Палаха теперь захоронен и на Ольшанах, на том самом кладбище, где в 1945 году хоронили и советских солдат. Хожу по кладбищу, а перед глазами сибирский поселок Забитуй, лето 1964 года, и вслед за «Татрами» бежит старичок Нестеров: «Запишите! В гражданскую войну русских и чехов хоронили вместе! Рядом! В одних могилах...»

Фотографии к главе 10



Прага, 22 августа 1968



Подавленность населения после ввода войск медики назовут «оккупационным стрессом»



Похороны Яна Палаха. Прага, 25 января 1969



Леонид Брежнев и Густав Гусак в Крыму. Июль 1979

Глава одиннадцатая

«Десятилетия пошли к черту...»

Картинки времен «нормализации». «Я не готов иметь с этой партией что-либо общее, агой!» «Ясно, что больших путешествий у меня не будет...» «Придется распрощаться с моим домом». Чьи были кости в снегах Килиманджаро? Ганзелка в перестроечной Москве. Две встречи с Дубчеком

Обидней всего чехам и словакам был не столько разгром Пражской весны, сколько торжествующая роль в этой истории одной из самых сильных держав, близостью с которой гордились, на которую так надеялись, которой подражали. Современники Второй мировой войны и поколения, шедшие за ними, не знали такого горького разочарования, травмы для их исторического сознания. Даже функционеры, причастные к приглашению войск, сотрудничавшие с ними, были в замешательстве; приходило ощущение, что нации больше не подняться.

У чехословацких властей, сломленных «московскими переговорами», ни на что не оставалось сил, кроме как убеждать сограждан и друг друга в неизбежности процесса, с которым надо смириться, как с единственной возможностью выживания. Заводы продолжали работать, выполняли советские заказы; люди ходили в театры, концертные залы, рестораны; в пивнушках громче прежнего пели песни времен легионеров и Первой республики. На встречаемых в городе советских военных никто не обращал внимания; прохожие всем своим видом давали им понять, что не стоит надеяться быть замеченными. Мы вас не знаем, не видим, для нас вы не существуете.

Крестьяне, как прежде, обрабатывали землю, ходили за скотом, делали домашнее вино, и когда забивали кабана, за выставленными на улице столами собиралось полдервни. На столы несли блюда с жирным супом, жареной и вареной свиной, всевозможными колбасами, сардельками, голубцами. Крепкий мясной дух уплывал далеко окрест, дурманя головы спрятанным в лесах советским гарнизоном.

Интеллектуалы призывали народ не к отмщению, не к злобе, не к резким движениям, но к избавлению от взаимного недоверия и страха. А тревожная атмосфера сгущалась. Смрковского, недавнего председателя парламента, тяжело больного (рак бедренного сустава), вывезли с дачи в Хискове в полицию близлежащего городка Бороун. «Расскажите о шпионских сведениях, которые ваша жена передавала австрийским гражданам в Праге, когда вы возглавляли Национальное собрание». Смрковский не желал говорить в таком тоне и потребовал отвезти домой. Машины не будет, сказали полицейские, пока он не подпишет протокол. «В таком случае, – ответил Смрковский, – я сяду на тротуаре перед дверьми, кто-нибудь наверняка меня узнает и отвезет».¹

Из всех последствий советской оккупации это самое страшное: в стране Яна Амоса Коменского дети отказываются верить своим учителям. Учителя детям смешны, как клоуны, вынужденные говорить то, что их заставляют. Страх за детей вынуждает родителей дома помалкивать или кривить душой. Сознательное двоемыслие становится способом выживания. В Союзе мы к

этому привыкли, уже не замечаем, но я помню, как меня потрясло, когда моя дочь, задав какой-то вопрос, посмотрела на меня умоляюще: «Папа, только скажи не как надо, а как на самом деле».

Недавние пражские реформаторы, еще не отлученные от власти, стараются не раздражать советское руководство; послушно передвигают друг друга с места на место, но их запоздалое рвение вызывает у хозяев не доверие, а усмешку. Москва ведет дело к тому, чтобы ее заместителями в Чехословакии стали надежные для нее люди, доказавшие готовность жить интересами Кремля, физически находясь в Праге. Из прежней руководящей команды уверенными можно быть только в Василе Биляке и Алоисе Индре; оба готовые первые лица, но ни в одном слое населения, даже среди партийцев, у них нет поддержки.

Биляк знает, что в Москве он более «свой» человек, нежели в Праге или Братиславе. И рукопись своих воспоминаний «Этапы моей жизни» (745 страниц) член Президиума, секретарь ЦК КПЧ переправляет через советское посольство в ЦК КПСС. Как следует из партийных документов, в рукописи «содержатся сугубо доверительные сведения, В.Биляк просил советского посла направить ее на хранение в СССР и тем самым исключить возможность использования материала «нежелательными лицами». Учитывая ценность рукописи, полагали бы целесообразным перевести ее на русский язык за счет средств партбюджета силами специально допущенных к такой работе переводчиков. После возможного ознакомления с рукописью ограниченного круга лиц считаем необходимым направить ее на хранение в архив ЦК КПСС».²

Советским и чехословацким теоретикам ничего не остается, кроме как убеждать массы, что новые проблемы народов Восточной Европы – следствие Пражской весны; в их лексике понятие «суверенитет» трансформируется в «ограниченный суверенитет», хотя даже самые подкованные не знают, как это понимать, что из этого следует. Руководство по-прежнему на что-то надеется; по словам Смирковского, нужно, конечно, выполнять обязательства перед союзниками, но дела своей страны должны решать сами граждане, и если кто-то во власти передаст другим право устанавливать, как народу жить, он распорядится тем, что ему не принадлежит.

При Гусаке, сменившем Дубчека в апреле 1969 года, к власти приходят бойкие вчерашние неудачники. Никто не знает их заслуг, кроме единственной, перекрывающей все их недостатки: оккупацию они называют «братской помощью». Ничего другого от них не требовалось. К ним переходят кабинеты изгнанных из партии предшественников, они продолжают чистку партийных рядов. Выкорчевывают первым делом тех, кого называли совестью нации. Наконец-то Кремлю удастся расправиться с реформаторами руками самих чехов и словаков. Это их, прирученных властью, Иржи Ганзелка сравнивал с велосипедистами: вниз они давят ногами, а вверх горбатятся и сгибают спины.

Перед тем, как вызывать на партийный суд, с Иржи Ганзелкой десять дней беседовали в кабинетах, но заставить подписать протокол не смогли. Исключенного из партии, его потом допрашивали следователи госбезопасности. Допрашивали люди другого поколения, иногда те самые молодые люди, которые узнавали мир по книгам Ганзелки и Зикмунда. «Но арестованным на длительный срок я все-таки не был», – будет вспоминать Ганзелка с облегчением³.

В начале 1970 года из Готвальдова в Прагу вызвали Мирослава Зикмунда. «Я приехал в ЦК. За столом в приемной девушка лет двадцати. “Кто там?” – спросил я, указывая на дверь, за которой работала комиссия. “Какой-то Гофмейстер”, – отвечает юное создание. “Вы что, не знаете, кто это?” – удивляюсь я. Мне казалось, в стране нет человека, даже молодого, кто бы не слышал имя Адольфа Гофмейстера, писателя и художника, старейшего члена партии, одно время чехословацкого посла во Франции. Не успела она ответить, как открылась дверь и появился Гофмейстер. На нем лица не было, у виска набухли вены, видно было, как пульсирует кровь. “Ну что, Адя?” – я обнял его. “Выбросили! Теперь ты можешь обращаться ко мне “пан Гофмейстер...”» Через три года Адольф Гофмейстер умер.

В большом кабинете Зикмунд видит за столом четыре или пять человек. Знает только одного, секретаря Союза писателей, он печатался под псевдонимом Павел Бояр. До этого дня он обращался к Зикмунду с уменьшительно-ласковым сокращением его имени, говорил с подчеркнутым пиететом. А тут сухо: «Товарищ Зикмунд, садитесь...» Старался не смотреть Зикмунду в глаза. «Я знаю тебя, – сказал ему Зикмунд, – а кто за столом остальные? Ваши фамилии, имена, партийные должности. Вы будете решать мою судьбу, но кто вы?!» Они стали называть себя. Все люди из Брно, из краевого комитета партии, и рассматривают дела интеллигенции, живущей, подобно Зикмунду, в Южной Моравии. Бояр говорит: «Первый вопрос: готов ли ты, способен ли защищать линию партии?» Зикмунд спросил: «Какой партии? Той, которая в январе 1968 года избрала Дубчека первым секретарем и в апреле приняла “Программу действий”? Отказалась участвовать на встрече пяти партий в Варшаве, подтвердила свою самостоятельность в Братиславе, осудила ввод войск в ночь с 20 на 21 августа? Или другой партии, которая признала ввод войск приглашением? Линию этой партии я должен защищать? Если этих моих слов вам достаточно, я больше не буду говорить. Я не готов иметь с этой партией что-либо общее, агой»⁴.

«Агой!» – по-чешски «привет!».

Интеллектуалам их круга проблема виделась во взаимном недопонимании чехословацкого народа, который еще не забыл, что такое гражданское общество, и советского народа, который никогда этого общества не знал.

Ганзелка и Зикмунд, до той поры свободные люди, у ног которых недавно лежал весь мир с пустынями, бушменами, слонами, индейцами, минаретами, теперь были обречены двадцать лет жить, не выходя за шлагбаум, рядом с советскими военными базами, поначалу скрытыми в чехословацких лесах. В высшей степени корректные, они ни словом не обмолвились в письмах об истинных причинах горечи и тоски, но печальная мелодия строк выдает, как им дышит в наступившие времена. У меня сохранились девять писем Иржи Ганзелки тех лет. Одно я привел в девятой главе, и долго сомневался, следует ли предавать огласке остальные; они совсем личные, даже исповедальные. Будь Иржи до сих пор среди нас, все бы ясно, но когда его нет, остается единственный человек, чье мнение на этот счет для меня то же самое, что решение окончательное. Мирослав Зикмунд уверил меня, что эти письма, пусть сугубо личные, все же передают атмосферу в Чехословакии тех удушливых лет, и Иржи было бы приятно их приобщение к документам эпохи. И вот эти письма в том виде, как Иржи их отстукивал на своей пишущей машинке с латинским шрифтом. Я надеюсь, они добавят кое-что к портрету Иржи Ганзелки. Письма публикуются без редакции, с сохранением лексики

и стиля, при очень небольших сокращениях строк, понятных и дорогих, скорее всего, мне одному.

Письмо в Иркутск (18 июня 1973 г.)

...По твоему желанию пишу только половину из ожидаемого «жив-здоров». Половину этого года я разбросил напрасно по больницам. <...> Мои болезни не являются никаким сюрпризом. Надо было считаться с ними до начала путешествий. Раз я пошел на это условие, должен принимать спокойно необходимые последствия. Я уже в прошлом году писал о трудностях с почковыми камнями, язвами в желудке на дуодене (двенадцатиперстной кишке. – Л.Ш.), об операциях обеих ног, и о трудностях с печенью. Уже несколько лет есть у меня хроническое воспаление печени, следствие тропических заболеваний, и печенных паразитов. Но только в апреле месяце узнали в больнице при помощи лапароскопа, что во время путешествий было у меня до десяти серьезных инфекционных заболеваний пени (желтухи), которые я, конечно, не лечил. Знаешь, что на пути работают, не лежат.

Вот и в первых днях этого года у меня появилась чрезвычайно большая инфекционная желтуха. Три с половиной месяца я пролежал в изоляции, потом недельки две дома, потом шесть недель в испытательном институте в Карловых Варах, сейчас пустили домой и сказали: «лежать!» Но скажи, Ленька, разве это возможно? Полгода гнил на кровати или близко к ней, 19 килограммов сбросил, есть и пить не дадут по-настоящему, диета суровая, и еще говорят: ни физического, ни душевного труда, никаких волнений, никаких неприятностей, они серьезно опасны. И ты хорошо знаешь условия и положение. Тогда зачем я буду терять дальнейшее время в кровати?

Три тома (рукописи) в ящике, четвертый ждал меня полгода на столе, я просто не могу не писать. Не только по своему желанию, но да ведь есть обязательства, на которые нельзя просто наплевать. Конечно, сил и устойчивости у меня не очень много. Быстро устаю, это для меня опыт совсем новый и очень неприятный. Но все-таки рукопись трогается вперед, шагом муравья, но идет. Об издании, конечно, никто не говорит. В СССР даже не издана книга, которая появилась на чешском, словацком и венгерском языках («Материк под Гималаями»). Она переведена, но в стадии гранок по какому-то приказу заброшена. Нам никто не сказал, даже контракт не аннулирован. Просто забросили и все.

Ясно, что больших путешествий у меня не будет. Это кончится. Но жалко, что нельзя сдать результаты последнего в литературной обработке, причем бороться и защищать дело не с кем, потому что решения анонимные, приняты мне неизвестными людьми в мне неизвестных учреждениях. Даже правительственная задача издать наши книги об Азии не аннулирована! Разобраться нельзя, можно только работать, пока жив. Надеюсь, Ленька, написать тебе к Новому году: «Вторая Суматра готова». Крепко обнимаю тебя, Нелю и Галю. Твой Юра ⁵.

Письмо в Иркутск (21 февраля 1974 г.)

...Я спокоен... я спокоен, и, кроме того, жив. Пока не здоров, но мне намного лучше, чем год тому назад. Вот основное написал. Детали кажутся сложнее, но... я спокоен.

Действительно, есть у меня новости. Даже довольно важные новости. И потому что новостей было больше, чем надо, времени и настроения не хватало.

Новость номер 1 (читай, только если ты спокоен!): мы На Мичанке живем с 13 августа прошлого года только втроем. Ярунки у нас уже нет. Она жива, здорова, но живет в своей квартире, по-своему. В течение последних 5 лет она ушла от нас много раз, но в августе это случилось последний раз. Продолжать таким образом уже было невозможно. Подробности важны только для нас. Могу только сказать (или

расскажет тебе Мирек), что с той поры стало все лучше. Живем очень скромно, но хорошо и спокойно...

Стоп!.. Ярунка... Да ведь это Ярмила, вдова профессора Юрия Венты, много лет лечившего Ганну, покойную жену Иржи Ганзелки. После смерти мужа в 1966 году она вошла в семью Иржи и стала, как он писал тогда, «жена и мать, которая вернула душу нашему дому и жизни». За детей, по крайней мере, он стал спокойнее. Не стану гадать, что случилось в эти годы, когда он искал работу, чтобы содержать семью, но могу представить, каково ему с двумя детьми на руках...

...Новость номер 2. Я пробыл месяц снова в Карловых Варах. Анализ крови на этот раз показал действительное улучшение. Только после первого анализа мне сказал главный врач, что в прошлом году у него много надежд не было. Хвалил за дисциплину (диета 5 Н). Догадался, что в моей жизни устранены причины, ежедневного – и почти еженощного – невыносимого волнения, что до лета прошлого года очень опасно влияло на состояние печени. Прогноз сейчас очень оптимистический: может быть, что в течение 2–3 лет будет печень работать почти нормально (по анатомии уже все останется по-старому, потому что 11 желтух, тропическая малярия, дизентерия и двое паразитов сверх того оказалось на одну печень слишком много). Чувствую себя намного лучше. Конечно, еще нет полной работоспособности, но все-таки понемножку уже работать могу.

Под конец месяца еду в Готвальдов посетить Мирека, потом небольшая подготовка и еще 13.3 э.г. есть у меня встреча с хирургами. Пробуду в больнице (по плану) дней десять, потом еще две-три недели дома, и если все пройдет нормально, в апреле месяце вернусь – хотя бы на 2–3 часика ежедневно – к рукописи последней книги.

И новость № 4: (самая радостная): я дождался исполнения своего старого желания: когда ты приедешь в Прагу, найдешь свою комнату На Мичанке, жить будешь с нами. Получишь свой ключ от дома, значит: у меня и со мной будешь дома. Ленька, милый, старайся, чтобы это было скоро...⁶

Письмо в Иркутск (27 февраля 1976 г.)

Ленька, друг мой дорогой, что с тобой делается, что я уже сто лет от тебя не получил ни строчки? Может быть, что ты стал крупным, выдающимся и успешным писателем и путешественником и что ты шатаешься где-то на другой стороне земного шара, или на другом конце своей любимой Сибири и что у тебя нет ни времени, ни пишущей машинки, и дружеской совести самой по себе не хватает. Но предупреждаю тебя: быть путешественником и писателем, это очень опасная профессия. Лучше готовиться уже, предварительно, к судьбе деда. Ищи по иркутским паркам самые уютные уголки, где бы не только с внуками, но тоже с одним старым почти забытым другом из Чехословакии вместе согревали бы старые кости на весеннем солнце и вспоминали совместные путешествия по Сибири. Между прочим, книжка твоя знаменитая, необычная, шинкаревская. Значит, она заполнена и знанием, и любовью⁷.

К сожалению, сейчас я уже читаю очень мало. Есть особые трудности с глазами, надеюсь, что только временные. Печень меня тоже наказывает за грехи прошлых времен.

Сын женился год тому назад. Живет счастливо со своей женой у меня На Мичанце. Собственными руками я ему создал квартиру на с.-з. стороне дома. И Ганночке я построил уютное гнездо в помещении, где раньше были мои архивы. Ты хорошо зна-

ешь эти комнаты с окнами в сад. Но дело движется очень медленно, печень не позволяет быстрее. Конечно, средств не хватает, чтобы кто-то сделал всю эту работу для меня и позволил мне делать свое собственное дело, значит – писать.

Но это очень долгий разговор. Продолжать можно, только когда ты снова появишься у меня в Праге. На этот раз и всегда в будущем – ты будешь спать и жить вместе со мной На Мичанце. Я уже успел создать здесь для Мирка маленькую, уютную комнатку с шкафом, кроватью и рабочим столом. Похожая находится для меня у него в Готвальдове. Мы снова бываем вместе часто.

Ленька, дорогой, надо только добавить, что все-таки уже у нас довольно большое дело готово и мы оба с Мирком уверены, что наши рукописи дождутся публикации. Друзья – и не только друзья – которые читали наши последние два тома, уверяют нас в том, что такие книги нельзя не публиковать. Поживем, увидим.

Основное, что мы, несмотря на обстоятельства, все-таки пишем. Мало, но пишем. И кроме того, нам очень хочется повидаться с тобой, посидеть, поговорить и даже помолчать вместе. Приезжай, по возможности с женой. Тысячи советских граждан ездят постоянно в отпуск в ЧССР, в Карловы Вары и в другие места. Уже пора, чтобы ты тоже получил такой отпуск. Приезжай! Приезжай! Крепко тебе жму руку...⁸

Письмо в Улан-Батор (14 января 1979 г.)

...Наверно, уже давно пора повидаться, посидеть, поговорить, даже рюмку вкусного винца вместе выпить. Сколько лет я тебя не видел? Кажется, сто.

Давно уже ничего не читал и не слышал о тебе, о Неле, о Галке. Куда же тебя выслали, к черту на кулички! Да ведь ты сибиряк, твои реки Ангара, Лена, Енисей, твой город Иркутск, допустим Чита, Хабаровск, но куда же ты суешься на юг, к монголам?⁹

О себе лучше не говорить. Ты, впрочем, хорошо знаешь и положение и условия. Можно только добавить, что я в течение последних лет прошел через 8 (восемь) операций, что на мне разрезали и пошили что угодно. Но все-таки жив. Между прочим, снова вижу хорошо, мои плохие очные линзы (испорченные катарактой) вырезали, сейчас пользуюсь контактными линзами, служат хорошо, снова могу читать и писать, значит, другой раз в жизни я стал грамотным. Только не знаю, кому это нужно.

Знаешь хорошо, как я проработал двадцать лет жизни. Отдал обществу буквально все. И сейчас уже десять лет изолирован от работы, бесспорно полезной, любимой и на уровне, за который мне никогда стыдно не будет. Полная 1/3 активной жизни!!! Все знания, опыт, способности, горы материалов и двадцати годами труда проверенная жажда служить обществу просто выброшена, и все. Кажется, уже недалеко время, когда придется распрощаться с моим домом, где я живу с детьми.

Но виноват я. Просто у меня нет способности сказать «белое», когда вижу черное. Только в давнем прошлом оценивали у меня безуклонную правдивость. Сейчас не то время. В диких ветрах деревья ломаются, только трава желательно сгибается и переживает. Но из дерева траву не сделаешь.

Но хватит. В книжных магазинах не появится 12 томов путевых очерков и монографий, в печати и по радио не пойдет несколько сот репортажей – ну и что? Было двое шатунов Г+З, и десять лет их нет. Ну и что? Когда-то кто-то принял анонимное решение – и забыл. Все. Совесть? Ответственность? Обязанность? Чепуха! Просто погибло двенадцать книжек и кто-то или что-то вместе с ними. Ничего, книг много, нас тоже много.

Видно, что жизнь не остановится. И, может быть, раз даже придует Леню из Монголии или Кореи в Прагу, к старому медведю, который уже забыл шляться по белому свету. Ленька, приезжай!¹⁰

Письмо в Улан-Батор (23 января 1980 г.)

...На этот раз я получил твое письмо с совсем новой экзотикой. Пхеньянская карточка, адрес улан-баторский. Где же осталась твоя любимая Сибирь? Да ведь ты забудешь вид своих собственных детей и жену. Куда же ты суешься к черту на кулички?

Ты обрадовал меня, как всегда. Но слушай, ты забываешь обо мне.

На каждое твое письмо из прошлых лет (их, к сожалению, очень мало) я порядочно ответил. А ты говоришь, что я не отвечаю. Но ты прав, мои братские чувства к тебе, к друзьям, к твоему народу, все это раз родилось и остается. Конечно, есть люди, которые меняют свои чувства и свои мнения, зависимо от того, что они считают выгодным. Но это не чувства и отношения, это только расчет. Конечно, всяко бывает. Когда-то очень тяжело сохранить всю верную искренность естественных отношений, но без них жизнь опустела бы. Какой был бы в ней смысл?

Значит, Ленька, я тот же самый, каким ты меня встречал первый раз почти двадцать лет тому назад.

Новости о твоей Галке напоминают мне мой собственный опыт. Что поделаешь? Кажется, что почти невозможно, чтобы родители защитили своих детей перед лишними ошибками. Каждое поколение должно делать свои ошибки, только собственный, нелегкий опыт накапливает нужную мудрость. Всегда будет так. Мы тоже не принимали всех советов своих родителей. Ничего. У Галки добрые грунты, не боюсь.

Сколько лет я уже тебя не видел, Ленька? Пять? Шесть? Во всяком случае, это уже вечность. Приезжай! Хотя бы в отпуск, если не по путевке. Знаешь, с моим здоровьем уже не все в таком порядке, как в прошлом. Что-то я накопил постепенно в путевых условиях и что-то добавил в течение последних 10–12 лет. Ты хорошо знаешь, что прощаться с пожизненным, хорошим, интересным и общественно до той меры полезным трудом, это трудно и постепенно сказывается даже на состоянии здоровья. Но все-таки еще жив, и жду тебя, даже с бутылочкой доброго легкого вина из южной Моравии.

Привет всем твоим, ЕЕ, ¹¹ Макарову и всем друзьям. Всем желаю полное удовольствие в труде, такое, после которого можно спокойно спать. Да ведь для них, как для тебя, всегда бывало самым важным: быть полезным для других. Желаю им всем счастья и доброй, спокойной совести. Крепко тебя обнимаю. Твой Юра ¹².

Письмо в Москву (13 января 1983 г.)

Ленька, милый, рад был читать твои дружеские строчки. Но ответить в письме – это совсем невозможно. Знаешь, твои и мои условия жизни совершенно разные. К сожалению, эти последние 14 лет сказались на моем состоянии здоровья и равновесии.

Знаешь, прошло время очень долгое, очень тяжелое. Если сможешь, Ленька, приезжай. Приветствую тебя как всегда, с огромной радостью. Посидим, поговорим, повспоминаем прекрасные сибирские дни. А пока желаю тебе здоровья, успехов и навсегда добрую совесть. Твой Юра ¹³.

Письмо в Москву (13 января 1984 г.)

Дорогой Ленька, спасибо тебе за дружеское письмо из Улан-Батора. <...> Я читал и воспринимал с радостью и удовольствием, которого было мне действительно надо. Жизнь для меня стала легче, наоборот. И годы не стоят. Слишком долго высказывается серия трудностей на состоянии здоровья. А если бы ты смог обрадовать меня и появиться после так долгого перерыва у меня дома, наверное, не понра-

вилось бы тебе. Тот чудесный музыкальный инструмент пришлось продать. И сейчас уже пора передвинуться из этого дома куда-то в деревню, в условия, достаточные для двух пожилых людей, как моя жена ¹⁴ и я.

А теперь более радостные новости. У дочери Ганны, которая вышла замуж в Кладно (ее муж академический художник), родился сын год тому назад. И у моего сына, который работает в Варнсдорфе на северной границе Чехии (он врач-гинеколог), родился тоже сынок. И Ганка ждет второго ребенка. Все здоровы, когда-то даже счастливы.

Ну, и я пока еще жив, что касается моего грешного тела. Об остальном лучше помолчать. Знаешь, Ленька, 15 лет, это очень долгое время, именно на данных условиях. Слишком много устал, слишком часто и серьезно заболел, слишком далеко мой – по-моему – хороший, полезный и интересный труд. Обо всем этом я уже давно не говорю. Не надо. Но спрашиваешь всегда с естественным интересом. Вот тебе ответ, правдивый, но не очень вдохновительный.

Ленька, милый, желаю тебе и всем твоим любимым счастья, удачу, здоровье и покойную совесть. Твой Юра ¹⁵.

Письмо в Мапуту (2 июля 1987 г.)

Ленька, друг мой дорогой, опять я обрадовался над твоим письмом, опять отвечаю, как всегда, с новой надеждой, что мое письмо в конце концов дойдет до тебя.

Далеко ты пошел за своим любимым трудом и местами ¹⁶. Надеюсь, что среда и работа заполняют твоё время полным удовлетворением. Ты сам в Мозамбике или с семьей? Мы в свое время там нашли много искренних, простых, но гостеприимных и разговорчивых людей. Я понимаю, что именно этого тебе нужно.

Очевидно, ты не получил моих писем, в которых я тебе рассказывал о себе и о детях. После многих лет я получил работу: резал фруктовые деревья на Петржине, Семинарска заграда. Ты помнишь, какая это прекрасная гора в середине нашей столицы. За три с половиной года я провел полную реконструкцию 2800 старых, прекрасных, но больных деревьев. Зимой и летом. Потом заболел спиной. Заработка не было, держать пражский дом было не с чего. В промежутке Юрочка женился, Ганночка вышла замуж, у каждого двое детей. Они живут в старом доме, а я с женой переселился в маленькую деревушку южной Чехии, за городом Индрихов Градец. Край прекрасный, сейчас зима сибирская, дом простой, люди хорошие, жизнь не очень сложная.

Видишь, Ленька, я жив. Но мое пожизненное дело погибло. На чью пользу? Не знаю. Просто кто-то где-то судил и забыл. И почти два самые плодотворные и активные десятилетия пошли к черту. Если это касалось бы только одной, случайно моей личной судьбы, ничего. Так в жизни бывает. Но это касается целых поколений прекрасных, плодотворных людей.

Сейчас читаем в газетах и видим на экранах громкую самокритику и здоровые требования. Но кажется, что в ежедневной жизни у нас все это никого не касается.

Ленька, если ты в Мозамбике на долгосрочной командировке, то ты, наверно, едешь в отпуск в Москву и в Иркутск. Посмотри на карту! Было бы очень сложно остановиться на денек, на два, у старого друга на юге чешской земли? Ты обрадовал бы меня бесконечно.

А если ты получишь это письмо, напиши хотя бы открытку. Я хочу знать, все ли письма с твоим адресом исчезают или только некоторые. Обнимаю тебя, Юра ¹⁷.

Ах, как я их обоих теперь понимал: это не было моим умыслом, но так получалось, что во время африканских поездок мне теперь приходилось оказываться в местах, по которым когда-то путешествовали Ганзелка и Зик-

мунд. И хотя то, о чем я собираюсь сейчас рассказать, бесконечно далеко от событий 1968 года, но все же имеет отношение к моим чешским друзьям, и мне остается просить о терпении.

В селении Марангу (север Танзании) начинают восхождение к снегам Килиманджаро. Со мной шли три советских учителя местной школы. Чернокожий проводник по имени Саймон выбрал носильщиков из юношей, дремавших в тени хижины, они подхватили на голову поклажу, и мы двинулись по тропе в глубь влажного экваториального леса. Тропа была местами заболочена, мы прыгали по торчащим из воды узловатым корневищам.

И пока шли альпийскими лугами к приюту Хоромбо, и на второй день, когда зарослями колючего кустарника поднялись к приюту Кибо, где уже падал мелкий снег, я думал о предстоящем восхождении к кратеру, где надеялся увидеть в снегах воспетые Хемингуэем кости леопарда. Хемингуэй сам на вершине не бывал (он охотился со стороны Кении на склонах), но слышал легенду. А Ганзелка и Зикмунд, судя по их книгам, держали замерзшие кости в руках. Леопард на Килиманджаро давно будоражил мое воображение.

...В приюте Кибо (Кибо-хут) в час ночи мы на ногах. Носильщики в лагере спали, а мы вчетвером вслед за Саймоном идем в темноте, при свете звезд, лавовым полем, между валунами, карабкаемся по каменистым кручам. На высоте пять тысяч метров под ногами захрустел снег. Внизу под нами висят кучевые облака, словно мы вывалились из самолета.

Ночное небо светлеет, проступают зазубрины скал.

Скоро мои ноги передвигаются не усилиями мышц, уже отвердевших, почти деревянных, а только чувством вины перед спутниками, которые моложе и подготовленней, чем я. Нечем дышать, силы совсем покидают меня, каждые два-три шага останавливаюсь перевести дыхание, и только мысль о леопарде кое-как удерживает от возвращения в лагерь. Сажусь в снег сойтись с силами и восстанавливаю в памяти историю.

Замерзшую тушу обнаружили немецкий миссионер К.Реиш и проводник Офера 19 июля 1927 года. По их словам, они переложили леопарда на край катера, укрепили с ним рядом флаг миссии и, возвращаясь, в доказательство находки отрезали леопардово ухо. Два месяца спустя оба снова поднялись на вершину, попытались отрезать голову леопарда, сделать музейное чучело, но голова размякла, затея потеряла смысл. Статья К.Реиша о восхождении в «Танганьика таймс» от 10 февраля 1928 года попала на глаза Э.Хемингуэю и разбудила писательское воображение.

На вершине Саймон сказал:

– Мой отец видел леопарда, труп лежал вон там, на краю кратера. Но дожди, ветры, снега все унесли. Стерлась даже надпись на камне.

– Но какие-то следы остались?

– Ничего!

Ни замерзшей туши, ни костей, сколько мы ни искали, в кратере не нашли.

Было обидно, подняться в ослепительные снега, и зря. Меня охватило отчаяние, потом утешительное сомнение: а были ли кости? Не мираж ли это утомленных восхождением людей, когда-то услышавших о чудесном чужом видении. Ну, зачем, скажите, хищнику, даже самому безумному, тащиться в ледяной безжизненный мир? Что он там потерял?

– Саймон, – спросил я, – что здесь искал леопард?

Саймон снял солнцезащитные очки и высказал красивое, но абсолютно ненаучное предположение, от кого-то услышанное или вычитанное:

– А почему мы думаем, что только человека могут манить вершины?

Единственное, что склоняло верить в реальность зверя-альпиниста, были три тома «Африки грез и действительности». Ганзелка и Зикмунд писатели, но не беллетристы, придумывать не станут.

Письмо в Мапуту (29 августа 1987 г.)

...Спасибо за радость над твоим письмом. Я прочел его несколько раз и должен сказать, что очень тебе сочувствую. Хорошо знаю, что это такое жить годами один. Бесконечные заботы, как самые близкие живут на другом конце земного шара, скучаешь, грустишь, и только работа улегчает эту не очень хорошую судьбу. <...>

Сегодня нужно – вовремя – ответить на твой вопрос, касающийся леопарда на Килиманджаро. Дело сложилось так, что мы не оба его видели. Во время последнего этапа перед пиком Мирек очень скучал, не смог идти дальше без отдыха. Пал на землю и часика два проспал. В то время я с подружкой Хеленой, которая показана тоже на снимках в книге, ждали Мирека наверху – и мерзли. Ты знаешь, что два часа на пике, в морозе на сильном ветру, это очень долгое время. Наконец-то мы Мирека разбудили камнями, он выступил сравнительно свежий на пик, мы вместе сделали снимки с флагом, записались в коробку победителей Килиманджаро (ты ее нашел под камнями?), а мы вернулись на Кибо Хут. Мирек с другой подружкой (между прочим, она уже раз поднималась – первая женщина в мире – на вершину Килиманджаро. Тогда ей было 16 лет). Рут Лани, дочка чешского миссионера и сельскохозяйственного специалиста, который очень помог народу под Килиманджаро. Мирек с Рут спустились в кратер Килиманджаро, а там, в близости ледяных сталагмитов и сталактитов, они нашли скелет леопарда. Мирек взял с собою нижнюю челюсть, которая до сих пор висит на стене у Мирека в Готвальдове.

И осталось только подкрепить надежду, что мы скоро встретимся у нас. Мой адрес – в заголовке письма... Весной было бы очень удобное время. Май и июнь бывают чудесные именно здесь у нас. Машиной из Праги в Седло 148 километров. Чепуха! Если у тебя машины не будет, есть несколько автобусов в сутки, в полном комфорте ты доедешь до Индрихова Градца за каких-то три часа. Там буду тебя ждать. Поспеши, Ленька, уже давно пора встречаться! Обнимаю тебя – и жду с радостью! Твой Юра ¹⁸.

Забегу вперед.

Мы встретимся в начале 1990 года в деревне Седло под Индриховым Градцем. В деревне простые каменные дома, старинный водопровод, стук топоров и визг пилы; эти звуки радуют, означая, что люди будут с дровами; вечером в домах топят каменные печи, баньки, камины, плывут дурмящие запахи навоза – жизнь продолжается.

Сидим с Иржи в старых креслах, им перетянутых, у сложенного им камина со стеллажами книг по обе стороны. Подкидываем в камин березовые поленья, наколотые с утра. Юлианка торопит к столу, нас ждет бутылка красного вина, шпекачки со сладковатой горчицей, печеночный паштет, картофельные кнедлики, а нам не хочется уходить от разговора, от пляшущего в камине огня. Иржи болен, не очень хорошо ходит; нервные встряски после 1968 года дают о себе знать. Но голова работает прекрасно. После полуночи я вспоминаю о бедном звере, замерзшем в снегах Африки, и допытываюсь, не

легенда ли все же в их книге леопард, не дань ли это солидарности с нашим общим любимцем Хемингуэем. Мой проводник Саймон очень старался помочь найти в снегах хоть малую зацепку, хотя б ничтожное свидетельство, но сколько мы оба ни искали на вершине следов, обнаружить ничего не удалось.

Иржи смеется:

– Лучше спроси у Мирека!

К Мирославу Зикмунду в Готвальдов я приехал через пару дней электричкой. У него я не был двадцать пять лет. Не знаю, как пролетели в разговорах первые сутки, но только на исходе второго дня, допивая рюмку сливовицы, приготовленной Миреком по рецепту моравских предков, я вспомнил о бедном леопарде.

– Хочешь правду? Иди за мной.

Мы прошли в комнату, где одна стена от карниза до потолка занята предметами быта, старины, обрядов народов разных континентов; подарки путешественникам, часто первым европейцам, которых аборигены видели, могли бы украсить лучшие этнографические коллекции.

Мирек снял со стены челюсть и какие-то кости.

– Там, в кратере, стоя над кучкой костей, я подумал, что любители, поднявшись на эту высоту, скоро все унесут с собой, ничего не оставят исследователям. С этой мыслью я сгреб кости в подол куртки и унес в лагерь. У тебя в руках часть тех костей, остальные мы передали в чехословацкий музей натуральной истории.

Мне казалось, что история с леопардом на этом закончилась, но неожиданность была впереди. В августе 2007 года, когда Иржи Ганзелки уже не было в живых, я снова приехал в Злин к Мирославу Зикмунду. Об этой встрече я еще расскажу, а сейчас только о том, как мы пошли в местный исторический музей, где в трех больших залах постоянная экспозиция «Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд». Сюда приходят школьники, изучающие географию мира. Под стеклом знакомая челюсть леопарда.

– Должен тебя огорчить, – сказал Мирослав. – Эту челюсть смотрел известный зоолог и художник. По направлению передних клыков он установил, что в кратере Килиманджаро был не леопард...

– А кто же?!

– Извини... кабан! Просто кабан.

Оказывается, у леопарда передние клыки торчат прямо, а у кабана в стороны, и позвонки разные. Мы понимали Хемингуэя: леопард в снегах над Африкой – это было так красиво!

Но пора обратиться к письмам Иржи той поры, когда после четырех лет работы в Африке я вернусь на родину.

Письмо в Москву (2 июля 1988 г.)

Дорогой Леня, добро пожаловать дома в Москве! Я очень рад тому, что ты нашел в семье и вообще кругом все нормально. Только даты ни в твоём письме, ни на почтовой марке нет. Поэтому не знаю, сколько времени письмо путешествовало ко мне, и хуже всего: не знаю, в котором январе ты будешь отдыхать в Кисловодске: в прошлом или в будущем, значит, 1988 или 1989 года.

Поздравляю Нелю, поздравляю Галю с аспирантурой, но больше всего поздравляю Женю с его крепким голосом ¹⁹. Завидую. Вообще, у меня уже почти двадцать лет голоса совсем нет.

Ты хотел меня обрадовать сравнением расстояний из Мозамбика и из Москвы. Но мне кажется, что пожать тебе руку трудно в обоих направлениях. Старайся, Ленька! Уже давно нам пора встретиться. Несомненно, есть о чем говорить – и тоже показать тебе, где и как я живу. Погордиться, что несмотря на мои почти 70 лет я еще успел создать из старого (146 лет!) сельского дома что-то уютное, на уровне нашего века, но с полным уважением к традиции. Причем пришлось сделать огромную часть работы собственными руками.

Может быть, пригодится тебе мой номер телефона. Не знаю кодовый номер из Москвы в Прагу. После него надо набрать 0331 (наш район Индрихов Градец) и мой домашний телефон 88172. До своего приезда обязательно позвони мне вовремя, чтобы ожидать тебя. Не всегда бываю дома, и была бы трагедия, если бы я при воротах нашел только весточку. Ленька, милый, больше писать не буду (сегодня!). Приезжай скорей! Очень тебя жду... ²⁰

Тут надо объяснить свой непростительный грех. Думая о Ганзелке и Зикмунде, представляя, как невыносимо двадцать лет томиться без любимой работы, изолированными от мира, я ломал голову, как хотя бы в письмах чем-то отвлечь внимание от бед. Однажды в Хараре, зимбабвийской столице, я заглянул в кинотеатр. Шел американский фильм об атомной бомбардировке какого-то города. Сеанс меня потряс, но не страшными кадрами, а реакцией зимбабвийцев. Когда на экране герои в зараженной радиацией местности корчились в муках, зал радостно хлопал в ладоши. Все смеялись! Видеть это было свыше сил. На следующий день я рассказал об этом знакомому учителю-англичанину, давно живущему среди африканцев.

– Ты ничего не понял! – сказал он. – По местным обычаям, в том числе у здешнего народа шона, сочувствие страдающим на сцене или на экране выражают бурной радостью. Аплодисментами и смехом люди поддерживают, отвлекают, чтобы несчастным стало легче.

Не знаю, что ударило мне в голову, но в последнем письме к Иржи, избегая болезненных вопросов и тем, я с носорожьей неуклюжестью переспрашивал, может, все-таки, он что-то пишет, нет ли просвета с переизданием прежних книг, и в духе народа шона весело писал ему о чепухе. Потерял голову, забыл, что письмо пойдет в другую цивилизацию. Ответа долго не было. Не выдержав, я позвонил в Прагу. Иржи сказал, что на последнее письмо отвечать не будет. Я места себе не находил, не понимая, в чем дело.

Письмо в Москву (24 июня 1989 г.)

Ленька, дорогой, это было почти чудо, когда я тебя услышал по телефону. Надеялся, что тебя скоро услышу снова. Напрасно. Ты вполне отмолчался. А может быть, вследствие того, что я тебе сказал под конец нашего разговора: что я на твое последнее письмо отвечать не буду. Очевидно, ты не понял причину этого почти жестокого мнения.

Слушай, друг старый и дорогой: я тебе несколько раз описывал условия, на которых живу длинными годами. И не только я. Из-за мнений и убеждений отца много лет наказывают и детей. И после всего этого ты в письме спрашиваешь, как у нас сказываются новые времена, спрашиваешь, над чем я работаю. Да ведь я тебе описал, что в моем возрасте заставлен твердо работать руками и спиной, чтобы со-

здать крышу над головой. Спрашиваешь, насчет переиздания старых и издания новых книг! Ленька, ты скоро забыл свои собственные опыты. Если хочешь освежить память, приезжай посмотреть консерву старых времен!

Может быть, что я появлюсь в Москве... Надеюсь, мы друг другу выскажем все страсти и радости...²¹

«Может быть, что я появлюсь в Москве...» Ничего не понимаю! Это какое же советское учреждение отважилось пригласить деятеля Пражской весны, за двадцать лет не раз публично оболганного и униженного нашим руководством, газетами, телевидением? Мое частное приглашение, как оказывалось, не имело никакого веса. Кто взялся сломать стену отчуждения и хотя бы таким образом извиниться перед путешественниками? Я терялся в догадках, перебирал в памяти круг их прежних знакомых. За это мог взяться кто-то из близких к высшей власти, очень влиятельный в ней.

Это мог быть М.С.Горбачев; разговор о Ганзелке у него мог зайти со Зденеком Млынаржем, другом студенческих лет, хорошо знавшим И.Ганзелку и М.Зикмунда; на Высочанском съезде ЦК КПЧ Млынаржа вместе с Ганзелкой избрали в состав Центрального комитета партии. Он бывает в Москве, встречается со старым другом Михаилом, теперь первым человеком в государстве.

Но Горбачев и Млынарж оказались ни при чем.

За дело взялась хрупкая седая женщина, одна из умнейших в кругу московской научной интеллигенции. Это была Анна Алексеевна Капица, вдова академика Петра Алексеевича Капицы, лауреата Нобелевской премии. Их семья познакомилась с путешественниками во время поездки Ганзелки и Зикмунда по СССР в 1963–1964 годах. Чехи бывали у них на Николиной Горе. У себя на даче в домашней лаборатории опальный ученый исследовал электронику больших мощностей и физику плазмы. Капицы и оба чеха прониклись такой взаимной симпатией, что вскоре путешественники передали академику полный текст их отчета о поездке по СССР, предназначенного для Брежнева и Новотного. Только безграничное доверие к ученому могло заставить их решиться на это.

Капица покажет рукопись А.Д.Сахарову. «Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, – напишет потом Сахаров, – но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения туристов, а нам примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Ганзелка и Зикмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам и к продуктам людского труда, о том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию, об армиях партийных чиновников, их некомпетентности. Поездка Ганзелки и Зикмунда пришлась на момент отставки Хрущева; с сарказмом пишут они, как “чиновники выстраивались в очередь для присяги новому руководству”. В какой-то форме фактически Ганзелка и Зикмунд пишут о закрытости страны, о ее информационной глухоте и немоте. Из их книги я заимствовал сравнение нашей страны с автомобилем, одновременно нажимающим на газ и на тормоз»²².

Уже пять лет не было в живых академика Капицы, когда весной Анна Алексеевна, получив от Ганзелки письмо, начала хлопоты о его приезде в

Москву. Она нашла во власти деятеля, способного помочь: под его началом была вся советская пропаганда, культура, информация. Он был близок с М.С.Горбачевым, слыл «архитектором перестройки», и его звонка было довольно, чтобы аппаратная машина закрутилась и Академия наук СССР послала в Прагу приглашение Иржи Ганзелке в Москву. Это был уже знакомый нам А.Н.Яковлев, теперь член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, член-корреспондент Академии наук.

...С тех пор, как в Москве Иржи, чуть отяжелевший, но с прежней милой улыбкой, уже с трапа самолета попал в объятия друзей, ему казалось, что время повернуло вспять. В Советском Союзе люди раскованно, ничего не боясь, заговорили о вещах, за которые недавно бросали в тюрьмы. Он почувствовал себя как на родине, в той незабываемой счастливой весне; лозунги будто перекечевали из реформаторской Праги в перестроечную Москву. Там тогда и здесь теперь люди прильнули к телевизорам, наблюдают за дебатами в прямом эфире, на устах имена Николая Шмелева, Юрия Черниченко, Лена Карпинского, Отто Лациса, Лилии Шевцовой, Юрия Карякина, Геннадия Лисичкина, Юрия Любимова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского... Люди верят слову, как никогда прежде. Воскресли надежды на либеральные ценности, на гражданское общество, на усовершенствованный социализм.

У входа в редакцию «Известий» молодые люди со значками новых партий на груди, хватают за рукава прохожих, предлагают записаться, зовут на философские диспуты, собрания, митинги, раздают адреса и телефоны. Блондинка в берете привязалась к Ганзелке: «Товарищ, вы за отсутствие страданий или за наслаждение жизнью?»

Мой кабинет на седьмом этаже стал местом паломничества коллег. В Москве Иржи Ганзелка! В «Известиях»! Два чехословацких путешественника оставались легендой мирового журналистского цеха. Скоро мы видели лица друг друга сквозь сигаретный дым, как в тумане. Кто-то вспомнил, что двадцать пять лет назад, в июле 1964 года газета опубликовала репортаж о Ганзелке и Зикмунде, как мы прошли на «Татрах» от Ангары до Енисея; откуда-то появилась пара бутылок вина и начался прекрасный бедлам, когда заговорили все разом и никто никого не слушал. Наконец, я выпроводил друзей, и мы стали говорить с Иржи об интервью для нашей газеты, первом за двадцать пять лет.

– Я запомнил твое письмо мне от 5 июня 1968 года. «...Могу тебе сказать только, что я тот же самый Юра, как всегда, что я люблю советский народ, как всегда... Не беспокойся, все будет в порядке». Скажи, ты мог бы все это повторить сегодня?

– Первую часть – слово в слово. Что касается второй... Ты бы первый мне не поверил, если бы я сказал, что в нашем обществе сегодня настроения, как двадцать лет назад. Мы никогда не забывали, кто нас освободил в 1945 году, но то, что случилось в 1968-м, было скверное дело. Насилие заставило Чехословакию остановиться в своем развитии и вернуться к сталинской системе. Следствием того, что сделали Брежнев и Советский Союз, стало глубокое недоверие и страх перед насилием. Это вошло в личный опыт и семейный быт миллионов людей. Ты тоже пошатался по белому свету и можешь это представить.

Люди оказались не просто оскорблены, для многих стало невозможным найти работу, содержать семью. Мне кажется, Брежнев не умер, он продол-

жает властвовать в Чехословакии, его руководство все еще сказывается на всей нашей жизни. Где искать причину, кто виноват? Мы до сих пор не слышали от СССР ни слова о том, что это было плохо. Чехам надо откровенно разобраться с прошлым и открытыми глазами посмотреть на настоящее. Мы хотим идти дальше, не нужно брать в дорогу такие мешающие вещи, как нетерпимость, подозрительность, враждебность. Народы не должны расплачиваться за чужие амбиции.

Ты не представляешь, с какой симпатией и надеждами мы ждали Горбачева. Но уже на пути с аэродрома в Прагу он похвалил сегодняшнее чехословацкое руководство, в том числе Якеша и Биляка, которых народ не может уважать хотя бы потому, что видит каждый день уровень их образования и культуры. Мы стали понимать, что у Москвы сегодня много своих забот, до Чехословакии руки не доходят... Брежнев страшно виноват перед нашим народом. Давно пора сказать: «Извините, мы сделали ошибку...»

Сокращенную беседу с Иржи Ганзелкой «Известия» опубликовали 24 июля 1989 года²³. Леды между нашими странами еще сохранялись, но ледоход приближался.

Иржи хотел познакомиться с Леном Карпинским, немало был о нем наслышан. Сын старого большевика, убежденный марксист, ярый антисталинист, был головной болью комитета государственной безопасности. И хотя встреча с ним, Иржи это представлял, могла привлечь внимание комитетчиков, ему хотелось пожать руку любимцу либеральной московской интеллигенции. Критически относясь к советской власти, Карпинский когда-то работал в идеологических структурах, занимал высокие посты, пытался балансировать на тонкой проволоке. После событий в Чехословакии он тайно распространял свою рукопись «Слово – тоже дело». По его мысли, власть не в силах уследить за всеми каналами информации, и честное, умное слово для людей, верящих в его святость, жаждущих правды, способно направлять их действия. Он организовал кружок «чистого марксизма», задумал издание независимого марксистского альманаха. Последствия были предсказуемы.

Лена исключили из партии, лишили работы; выживать его семье помогали друзья. Все переменялось только в горбачевские времена. Лен стал обозревателем демократических по духу «Московских новостей». Высокий и худощавый, как жердь, эрудит и страстный, талантливый трибун, человек оригинального ума, он был достаточно ленив, больше говорил, чем писал; в редакции это знали и не требовали от него слишком много. Лен был моим приятелем в «Известиях», и предложение встретиться с Ганзелкой принял с готовностью.

Мы сели за столик в углу ресторана Дома ученых на Ленинском проспекте. Пересказывать разговор не берусь, это невозможно. Они выросли в разных историко-культурных традициях, оба любили родную землю, но ситуация отвела им роль оппонентов, хотя по мировосприятию, каждым пострадавшему, были братьями. По мысли Карпинского, не марксизм как идеология обусловил советское вторжение в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Это дело рук большевиков, толком не читавших, не понимавших, извращавших Маркса. Они манипулировали понятием «социализм», построив общество, от него по сути далекое. Советское общество конца 1960-х годов оставалось высокомерным к окружающему миру, настороженно и не без за-

висти относилось к европейским народам (в том числе к чехам), живущим лучше. Разочарованное в своих поводырях, не знающее, куда идти, но сохраняющее веру в собственное мессианское предназначение, больное Отечество было чревато реставрацией сталинизма. И военная операция 1968 года – от охватившего власть страха, как бы чехословацкая попытка соединить социализм с демократией, заразительная для способных мыслить, не привела к краху кремлевских устоев.

Эти дни нас кружили, как в карусели, когда мелькают дома и лица, все время новые, и присмотреться не успеваешь, и вывалиться невозможно.

Поехали электричкой в Переделкино на дачу к Евгению Евтушенко; поэт был в возбуждении от недавнего случая, когда на заседании Съезда народных депутатов СССР инвалид афганской войны с открытым милым лицом, опираясь на костыли, с трудом поднялся к трибуне и под дикий одобрителный рев части зала стал грубо отчитывать академика Сахарова, перед этим призвавшего депутатов потребовать от властей вывода войск из Афганистана. Андрей Дмитриевич сидел в зале, опустив голову на грудь. «Хотите послушать?» – поэт взял со стола стопку исписанных листков. «Эх, “афганец”, запутанный малый, / сам распутайся и припади / к этой вдавленной больше, чем впалой, / к этой совестью полной груди...»

У поэта сидели до вечера, а следующий день снова носились по городу, по семинарам и диспутам демократических партий, объединений, движений, горячо спорящих друг с другом. Везде обсуждали разгон демонстрации в Тбилиси войсками Закавказского военного округа, забастовку шахтеров Кузбасса, бои в Нагорном Карабахе и Абхазии... Все чувствовали, как нарастает недовольство властью и падает ее престиж, вернее, то небольшое, что от престижа оставалось. Яростное неприятие номенклатуры, ее дразнящих, оскорбительных для большинства привилегий объединило сторонников западной ориентации и сторонников обновления социализма. Никто не называл вслух, но все подразумевали чехословацкий вариант. Четверть века идея добиралась из Праги до Москвы.

– Завидую, – говорил Иржи, когда мы присели перевести дух у памятника Пушкину, – «интернациональная помощь» вам не грозит. Во всяком случае, с чехословацкой стороны...

Самой большой радостью для Иржи были часы, проведенные у Анны Алексеевны Капицы и ее сыновей на Ленинском проспекте и на Николиной Горе. Со стороны могло показаться, какие странные люди в этой ученой семье, о каких-то пустяках ведут речь, не могут наговориться. И это была бы правда, с тем единственным уточнением, что этим людям было счастье понимать друг друга взглядами, недомолвками, паузами, выражающими больше, чем способны слова.

Зашла речь об отношении Петра Леонидовича к социалистической идее. Анна Алексеевна заметила, что все дело в том, в каких этот строй руках. Для Петра Леонидовича новый строй был ключом к каким-то неизвестным прежде возможностям жизни, но было опрометчивым вслед за крупной индустрией, железной дорогой и т.д. все остальное хозяйство тоже передать в управление государству. Ошибки очевидны, однако трудно сказать, они от системы или от того, как она у нас получилась. Часы в обществе Анны Алексеевны Иржи Ганзелка относил к самым счастливым в жизни.

Петр Леонидович скончался 8 апреля 1984 года, за три месяца до своего

90-летия.

За день до отлета Иржи из Москвы мы поехали на Новодевичье кладбище. У ворот купили цветы и пошли к могиле. Кто знал, что двенадцать лет спустя рядом будет похоронена Анна Алексеевна.

Письмо в Москву (31 июля 1989 г.)

...Ленька, после трех суток, когда я спокойно занимался подробными заметками, все стало на свое место, по душе и по совести стало хорошо. При твоей огромной помощи (это я всегда буду на любых обстоятельствах с удовольствием повторять «слово в слово», как уже напечатано), выполнилось намного больше желаний, чем можно было ожидать. Как я уже написал ААК²⁴: выразить только глубокую, искреннюю благодарность, это совсем мало. Ты естественный друг навсегда, не только мой и Мирослава.

Юлианка целует. С радостью брала в руки твой подарок, очень понравился. Не удастся ему полежать в шкафу как реликвия. Он будет сопровождать ее в нашей деревенской жизни. Ты отлично подлечил тоску шестнадцати длинных для нее суток. Спасибо, Ленька! Теперь насчет твоей поездки в Карловы Вары. Здесь, при домашнем столе и в домашних обстоятельствах я не могу представить себе, как ты трясешься несколько часов из Карловых Вар сюда и обратно, и в промежутке два-три считанные часика у нас, вроде экскурсии. Мы с Миреком были бы счастливы, если ты смог бы приехать на основе нашего приглашения или совсем отдельно в приятное время ранней осени (октябрь). Или в связи с твоей поездкой в санаторий в Карловы Вары, до или после. Ты будешь самым любимым гостем у Мирка в Готвальдове и у меня в Седло. Очень хочется поухаживать за тобой на совсем спокойных условиях, не спеша и не подсчитывая минут.

Теперь, Ленька дорогой, извини за необходимые, чем я тебя всегда загружаю, просьбы. Касаются того, что я в Москве недоделал или не успел сделать. Или просто забыл.

1. Как уже сказал, забыл в гостинице, в дверцах холодильника маленький пластиковый мешок с круглым светлым футляром. В нем находятся мои контактные линзы. Их достать нелегко. Если они найдутся, очень тебя прошу прислать их мне как заказное письмо, хорошо закрытое, чтобы физиологический раствор не вылился (сухие линзы испортились бы).

2. Лев Николаевич Николаев из ТВ Программы Р 1 обещал дать мне магнитофонную кассету с нашим разговором (приблизительно 1 час). НЕ дал. Я очень хотел бы эту кассету для Мирка и для нашего архива.

Лев Николаевич тоже обещал прислать нам кассету VIDEO с отредактированным интервью. Очень прошу, напомни ему! И в-третьих: обещал прислать телеграмму, когда наше интервью пойдет по экрану.

3. Поверь или нет, но я забыл записать адрес Андрея П.Капицы. Очень прошу, пришли его! Нужно отправить ему 4 книги, которые я (очень рад) обещал.

4. Не помню, кто мне обещал поэму Юрия Левитанского «Плач Влтавы»²⁵. Если она тебе попадет в руки, прошу, не забудь обо мне!

5. Анна А. обещала книгу писем Петра Леонидовича к власти. Она никогда не забывает. Но если бы так получилось, было бы совсем бестактно напоминать. В том случае я попросил бы тебя привезти книгу с собою. Очень хочу ее прочесть²⁶.

6. Кодовый номер адреса АА. не знаю (твой, например: Москва, 107553). Если знаешь коды Анны А. прошу, напиши.

7. Твой друг Володя в редакции (с усами, мы вместе обедали) не сказал мне отчество, ни фамилии. Знаю, что Володя Сварцевич – фотограф. А редактор Володя как?

8. В марте прошлого года, как я тебе рассказывал, засняли работники московского фильма у Мирка в Готвальдове разговор для серии «Эпопеи двадцатого века». Ко мне не добрались. Миреку до сих пор ничего неизвестно о дальнейшей судьбе разговора. Можешь ли, оба просим, узнать и хотя бы очень коротко в основном сообщить. Снимал штаб под руководством Клина Лаврентьева (заместитель Климентьева, председателя Союза работников фильма) и Герман Гурков.

Если я тебя очень расстроил, прости, Леня. Действительно нужны линзы (если найдутся) и адрес Андрея. Все остальное только если будет у тебя время и если удастся без трудностей. И вот, как я у тебя нахально располагаюсь твоим собственным временем! Еще полчаса (всего) пропало. Извини, друг мой дорогой, судьба уже такая. Разве нужно было тебе пробиваться ночью в Иркутске в особняк? В то время ты все это начинал, не подозревая, что это навсегда!..²⁷

Письмо И.Ганзелки в Москву (3 октября 1989 г.)

...Снова читаю с радостью оба твои письма (от 5.9. и от 16.9., которое я получил после 13 суток, 29.9.). Поздравляю с компьютерной премьерой! Полная удача!

Открытка из Пицунды: похожие получаю очень часто. Очевидно, у писателей есть почему остаться незнакомыми. Тем больше я уважаю Берана за его письмо «Известиям». И я очень рад, что ты получил такой отзыв от нас и из СССР.

Удалось тебе разговорить нашего знакомого Ч.^{28?} Могло бы получиться очень интересное интервью. И есть не менее известные друзья, которые готовы реагировать ответами.

Спасибо за книжку академика Баратова²⁹. Буду благодарен, если ее привезешь. И за страницу «Собеседника», получилось по-моему хорошо. Многие друзья у нас читали с удовольствием и благодарностью.

Жалко, что ты не смог остановиться у нас на пути в ФРГ или на обратном. Представь себе лишь бы часик при чашке кофе в аэропорту! Уже больше месяца жду твоего звонка (как ты последний раз обещал). Жаль, что ты не дозвонился. Мы почти постоянно дома (с исключением двоих суток, когда мы оба отсутствовали). Надеюсь, что на будущее ты успеешь. Очень бы хотелось услышать тебя.

Спасибо за новости от Гуркова! Поживем, увидим. Хорошо понимаю, что не всегда все удастся, но мой адрес и телефон у него есть.

Книги Петра Леонидовича я, к сожалению, до сих пор не получил. Анна Алексеевна подарила мне еще в Москве книгу «Эксперимент, теория, практика». И два интереснейшие номера «Нового мира» с письмами П.Л. матери. Но книги этих писем я до сих пор не получил.

Твоя подборка писем, в том числе И.Г.³⁰, была принята среди моих друзей с огромной радостью. Я именно должен передать приветы и благодарность Иржи Г. Он с полным пониманием принял сокращения. Кажется, что это не была ваша последняя встреча.

Ленька, как получился разговор для «Недели»? Тоже не знаю, вышел ли на экран «Под знаком Пи» 23.9. со Львом Николаевичем.

Я надеюсь, что ничего не забыл. Приближается половина ночи, почти придется исправить дату в заголовке на 4 число.

Ленька, очень хотелось бы писать о работе, которая сделана и продолжает делаться. По-моему ты читал бы с удовольствием. Но дождемся, если осень, о которой пишешь 5.9. останется только на уровне метеорологии.

Прилагаю, друг мой дорогой, приглашение от Мирека и свое. Очень тебя ждем, с нетерпением и любовью. Юлианка, Мирек и я. Искренний привет Неле! Обнимаю тебя! Юра³¹.

Письмо И.Ганзелки в Москву (5 ноября 1989 г.)

Дорогой Леня. С радостью – но тоже с не совсем спокойной совестью – я читал твоё письмо от 21 октября. Стало мне легче, когда я услышал твой спокойный голос.

Очень уважаю серьёзность, мудрость и отвагу не только автора «Жатвы»³², но тоже – а не меньше – редакции. Вполне понимаю обстановку, заботы и стремление.

Для тебя нетрудно догадаться, с каким огорчением у нас читали разговор члена правительства с «Газетой выборчей» в конце октября. Чистый пример мышления старого, 21 год назад.

Уже не надо разворачиваться в подробностях. Мы с Юлианкой и с друзьями не можем дождаться, хотелось бы ноябрь и первую половину декабря вырезать из календаря, чтобы тебя обнять уже завтра! А именно сесть за стол и наговориться. Событий много, сюрпризов тоже. Обоих...³³

Самое время рассказать о встречах с Александром Дубчек.

Ни одна осень второй половины XX века не потрясла Восточную Европу таким числом непредсказуемостей, как на исходе 1989 года. Бурлила Прибалтика; протестуя против пакта Молотова–Риббентропа, заключенного полвека назад, десятки тысяч людей вышли на улицы, взялись за руки, живой цепью соединили свои страны. А тут поляки первыми из восточноевропейских народов поставили главой правительства человека некоммунистических взглядов; немцы начали ломать берлинскую стену, а главы стран, чьи войска входили в Чехословакию, признали военную операцию вмешательством в чужие внутренние дела. Пусть запоздало, но все же!

А под конец года возвращается Дубчек, почти из небытия.

Кто-то заметил, что он из тех народных любимцев, исторических символов, у которых чистые и прекрасные намерения, массам понятные, ими поддержанные, приводят к результатам, противоположным задуманному. При нем людей оставил страх, к нему потянулись, за ним пошли с душевным подъемом, но что-то он недоучел, не просчитал. И все закончилось вторжением войск, гонениями, эмиграцией, двадцатью годами национального унижения. Одна из причин просчета, возможно, в том, что в исторической памяти Дубчека и его окружения – личность Томаша Масарика, а в исторической памяти Брежнева и окружения – личность Иосифа Сталина. В разделенном надвое мире оба коммуниста, Брежнев и Дубчек, были по одну сторону, но историческая память давала импульсы каждому свои.

В 1975 году к Дубчеку в Братиславу приезжал Зденек Млынарж. Они встретились в загородном доме; Млынарж предложил Дубчеку спуститься к лесному озеру: на воде не так опасны подслушивающие устройства. Когда они поплыли, следившие за Дубчеком агенты столкнули в воду лодку, но приближаться к пловцам не решились. Как мне потом расскажет Млынарж, из лодки им закричали: «Долго еще собираетесь плавать?!» «Ничего, мы еще молодые, а вы в лодке, чего вам?» Когда мы отплыли далеко и чуть сбавили темп, спрашиваю Дубчека: «Саша, ты вообще-то чего хочешь?» Он говорит: «Главное, партия должна сказать, что я не контрреволюционер и ни в чем не виноват. Пусть меня реабилитируют, сделают хоть секретарем райкома, остальное буду добиваться сам»³⁴.

Он оставался обиженным ребенком; не было для него ничего слаще,

чем милость обидчиков, готовых снова его принять в свои игры. И это в то время, когда люди писали на фасаде домов: «У нас все театры бастуют, только КПЧ продолжает играть...» В Болонье итальянские коммунисты привели к гостинице, где Дубчек остановился, две тысячи человек. Толпа скандирует: «Вива, Дубчек!» У него на глазах слезы. Он уверен, что так к нему относятся во всем мире. И был страшно горд, когда университет в Болонье сделал его почетным доктором наук и надел на него черную мантию. «Я не хотел его ранить, – скажет мне Млынарж, – и не стал говорить, что в Болонье дают звание почетного доктора всем подряд. Дали это звание и Муссолини за 25 страничек текста о Макиавелли, которые тому написали помощники. А у Дубчека даже такого текста не было. У меня сердце сжималось смотреть, как он стоит, одинокий и нелепый, в черной мантии, и плачет».

В начале января проездом в Карловы Вары я остановился в Праге. Мои приятели, с Дубчеком хорошо знакомые, попросили его принять корреспондента «Известий». Это было через несколько дней после его избрания председателем Федерального собрания. Почти в то же время Вацлав Гавел стал президентом республики. Два предновогодние эти назначения (28 и 29 декабря) гасят неутихавшую забастовку пражского студенчества; «бархатная революция» завершилась без пролития крови.

Познакомиться с Дубчеком была большая честь; он вызывал симпатию, я видел в нем мягкого, доброжелательного, артистичного человека, врожденного романтика, многое в жизни пережившего. Мне показалось, когда я всматривался в его фотографии, что человек с такой улыбкой и обаянием всегда ищет в людях лучшее, верит в них.

Дубчек не успел обжить новый кабинет в здании Федерального собрания: книжные шкафы полупусты, на письменном столе ничего, кроме раскрытого еженедельника с первыми записями. Он строен, подвижен, в хорошем расположении духа. Но как будто постоянно смотрит на себя со стороны, следит, чтобы ничем не выдать, что пришлось пережить. Когда «нормализаторы» освободили его от всех постов, он вернулся в Братиславу, страдал от круглосуточной слезки, согласился ехать послом в Турцию, но долго не выдержал, снова появился на родине и тут узнал, что исключен из партии. Он с трудом нашел место слесаря где-то в словацкой глуши, в лесном хозяйстве. Но те годы, как он говорит, не были потерянными. Вспоминая мир, из которого выломился, он научился ценить простые радости жизни. Он улыбается, и трудно представить, что у этого милого человека на московских переговорах не выдерживали нервы, он срывался и был единственным, при ком дежурили кремлевские врачи с успокоительными средствами.

Улыбаясь, он ждет вопроса, все об этом спрашивают, зачем он подписал «московский протокол», и хотя я не собирался говорить об этом, беречь рану, он стал отвечать, словно вопрос постоянно растворен в воздухе и уйти от него не удастся. Все его мысли тогда были, и он это повторяет в тысячный раз, только о том, чтобы избежать кровопролития и сберечь нацию, каждого чеха и словака. Хотя Кадар ему сказал, что Дубчек не вполне понимает, с кем имеет дело, потому не верит в реальность ввода войск, в Москве он как раз понимал, но не хотел выглядеть отчаянным патриотом, сделав заложником свой народ. Он не понимает политиков, готовых добиваться своего любой ценой, не идя на компромиссы. Он готов распоряжаться собственной жизнью, но не чужой.

Его задевает, что Кремль не торопился пересмотреть оценку тех событий.

– Прежнее догматическое руководство нашей партии и государства пользовалось молчанием советских официальных кругов, зубами вцепившись в свои посты. Если бы пять лет назад или даже два-три года, появились хотя бы намеки, что в СССР намечается к августовским событиям новый подход, ослабляющий позиции нашей верхушки, обновление пришло бы к нам много раньше ³⁵.

Дубчека настораживает жажда иных политических деятелей находить внешних врагов и сплачиваться только в борьбе против... против... против...

– Когда внешних не хватает, они находят внутренних врагов. Это ничего не приносит, не ведет вперед. Мы политику строили на обратном: на сближении классов и социальных групп, на готовности со всеми объединяться в борьбе за... за... за...

Слушаю и вспоминаю рассказ генерала Золотова, как в те дни, когда Дубчека увезли на переговоры в Москву, на его родине, в Тренчине, советские офицеры встретились с партийными активистами города. Они поднимались к трибуне и говорили об одном: «Мы против сталинских методов, наводим у себя порядок, ну зачем вы пришли?!» Поднимается старая женщина, говорит по-русски: «Соудруги, товарищи, мне 74 года, вместе с семьей мы долго жили в Советском Союзе. У нас там много друзей, для нашего сына это была вторая родина. Не буду спрашивать, зачем ваша большая страна напала на нас. Скажите, где мой сын?»

Это была мать Дубчека.

Как вспоминал Золотов, он тогда не знал, где Дубчек, но поспешил успокоить мать. «Я сказал, что нет причин для беспокойства, с Александром Степановичем будет все в порядке. И когда через пару дней делегация вернулась в Прагу и выступила по телевидению, у меня отлегло от сердца, вышло так, что я женщину не обманул» ³⁶.

...Прощаясь, Дубчек говорит:

– Советскому Союзу пора как-то исправить свой грех...

Я даже вздрогнул; это что же должно было случиться, какие муки надо было пережить, чтобы в лексику Дубчека, с его партийно-политическим словарем врезалось библейское понятие «грех» – проступок или помышление, противное людским законам и закону Божьему.

Второй раз я увидел Дубчека пять месяцев спустя, в мае 1990 года, в горбачевской Москве. В честь председателя Федерального собрания шел прием в чехословацком посольстве. Российские демократы первой волны ругали прежнюю власть, а он стоял смущенный, как старый актер на бенефисе: думал, публика его забыла, а ему аплодирует поднявшийся зал.

Под конец вечера Евгению Евтушенко и мне за ним, как за ледоколом, удалось протиснуться к Дубчеку ближе. Он стоял с бокалом в руке, и мне снова вспомнился эпизод, рассказанный генералом Золотовым и относящийся к маю 1969 года. В Праге шел прием по случаю присвоения новых званий чехословацкому генералитету. На приеме был и Дубчек с женой Анной. Зашел разговор о событиях, для всех неприятных, и когда генерал Радзиевский протянул Анне фужер с вином, она поднесла к губам и так сжала паль-

цами стекло, что фужер хрустнул, на губах женщины смешались вино и кровь.

Теперь председатель Федерального собрания говорил о кремлевской реакции на усилия Латвии выйти из состава державы.

– Знаете, – сказал Евтушенко, – как человек, переживший несколько разводов, я хорошо знаю, что лучше расставаться, избегая последствий, тяжелых для всех. Ведь у нас общие дети.

– Общие... что? – смутился Дубчек.

– Общие дети. Культура, например...

Дубчек согласился:

– Я много думал над этим. Сколько мы говорим о «братстве»! Но братьев не выбирают, это данность, куда от них денешься. А выбирают друзей, каждый по вкусу и желанию. Потому дружественные отношения выше, чем братские. С братьями мы целовались, а что получилось..?

И неожиданно:

– В Москве ко мне возвращается чувство успокоения ³⁷.

Мне показалось, что в эти минуты в нем снова говорил вернувшийся в родную стихию коммунист.

...Пройдет чуть больше двух лет, и в дождливый день сентября 1992 года на восемьдесят восьмом километре трассы Прага – Братислава машина с Дубчеком попадет в автокатастрофу. Врачи будут бороться за его жизнь, но спасти не удастся. Что бы ни говорили, при всех исканиях, заблуждениях, ошибках он был искренний человек. Для своего времени и среды – неправдоподобно искренний.

Фотографии к главе 11



«Дружеские отношения выше, чем братские. С братьями мы целовались, а что получилось?». Александр Дубчек с Евгением Евтушенко и автором книги в Москве. Май 1990



Константин Катушев в 1968-м...и в 1998-м.: «В Пльзне ко мне подошла дивчина: «Почему вы не предупредили, мы могли вас цветами встречать! А я ей: «Милушка моя, если бы мы предупредили и кто-то, подготовившись, начал стрелять, а наши солдаты в ответ, было бы много трупов»

Глава двенадцатая «И все же, зачем вы пришли?»

Встречи с чешской эмиграцией. Зденек Млынарж, друг Михаила Горбачева. У президента Вацлава Гавела в Праге. Иллюзия массового сознания: «Нас не любят, потому что мы сильные...» «Юра уже более 12 месяцев в больнице». Католики и православные в 1968 году. Зикмунд о Ганзелке: «Мне очень жаль, что я никаким способом не могу ему помочь...» Чем отличаются чехи и русские

В городах Европы и США чешская эмиграция продолжала вечный славянский спор «о временах грядущих...». Эти разговоры я слышал в марте 1990 года в Мюнхене на кухне чешского экономиста Иржи Сламы; он откликнулся на одну из моих публикаций о чехословацких событиях и в письме предложил встретиться. Прошел год, прежде чем я оказался в Германии и позвонил ему. У Сламы были экономист Иржи Коста и историк Карел Каплан; за столом пришла мысль позвонить в Инсбрук Зденеку Млынаржу (он был профессором в университетах Инсбрука и Вены), и часа через три, перемахнув на машине через границу, Млынарж появился в Мюнхене. С порога, чуть картавя, с милым чешским акцентом он кричал на кухню: «Двадцать лет не пил пива с москвичами!»

На родине им, отовсюду изгнанным, пришлось бы идти в землекопы, лесорубы, каменщиками на стройку, водопроводчиками, женщины с высшим образованием шли в уборщицы, санитарки, посудомойки, и они бежали не от работы, никакой работы они не гнушались, а только от унижений, от невыносимости дышать в своей оккупированной стране одним воздухом с бесильными, предавшими народ властями. Чехи были востребованы в университетах Европы и Америки, но изучать там продолжали собственную страну.

О Млынарже хочу сказать особо.

Он был единственным в чехословацкой партийной верхушке, кому не требовались помощники. В партийном аппарате мало кто умел формулировать мысли лучше, чем он. Из-под его пера вышли значительные документы Пражской весны, в том числе апрельская «Программа действий». Блистательная эрудиция влекла к нему сокурсников на юридическом факультете Московского университета. В их числе был самый близкий друг Михаил. В летние месяцы, когда крестьянский сын Михаил Горбачев возвращался на Ставропольщину и садился на трактор, подрабатывал на продолжение учебы, Зденек возвращался в Прагу, в стены библиотек; средневековые залы хранили атмосферу времен великих мыслителей, работавших за теми же столами. «Из Праги в 1950 году я послал Мишке почтовую открытку. Он мне потом рассказывал, как едет на тракторе по полю, вдруг наперерез мотоцикл, на нем вспотевший на жаре начальник райотдела милиции. Это была сенсация: первый раз в село Привольное пришла открытка из заграницы!» – будет он вспоминать ¹.

Во времена Пражской весны Млынарж и Горбачев станут крупными политическими деятелями: один – секретарем ЦК КПЧ, другой – вторым секретарем Ставропольского краевого комитета партии. Подобно большинству реформаторов, Млынарж даже мысли не допускал о возможном вмешательстве армии в их внутривнутрипартийные споры. За три недели до вторжения войск, в дни братиславской встречи, в Праге был с делегацией комсомола генерал Д.Д.Лелюшенко; его 4-я гвардейская танковая армия участвовала в освобождении Чехословакии в 1945 году. Млынарж рассказывал: «На приеме генерал, выпив лишнего, стал откровенен, хлопал меня по плечу: “Не бойся, Зденек! В случае чего, мы вас снова будем спасать. Сразу! Армия уже наготове!” – “Спасибо, – смеюсь, – не надо нас спасать, все в порядке!” А он свое: “Ты понял? Чуть что, мы – сразу!” Я рассказал об этом Дубчеку, мы посмеялись. Видимо, генерал уже что-то слышал, а у нас не укладывалось в голове. Невозможно жить с мыслью, что вот-вот придут танки, и делать вид, что ничего не происходит. Мы могли быть глупыми, но никогда не были хитрыми и коварными» ².

После «московских переговоров» Млынарж, тогда секретарь ЦК и член Президиума ЦК КПЧ, видя распад единства ориентированных на реформы членов руководства и невозможность осуществить свои политические концепции, попросил приятеля Мирослава Галушку, министра культуры, помочь перейти на работу в Национальный музей, в отдел энтомологии. Последним толчком стал ноябрьский партийный пленум. Ему с Йозефом Шпачеком поручили подготовить проект резолюции. А потом узнали, что в ночь перед пленумом Дубчек, Черник, Гусак тайно встретились с Брежневым (кажется, в Варшаве), с ним проконсультировались и утром предложили пленуму документ с формулировками, отличными от тех, которые были первоначально. Характер поправок, а главное, способ, каким все делалось, убедили, что ему не удастся совмещать с новым порядком свои этические принципы. Остаток жизни он предпочел провести среди жуков. Это его страсть с детских лет. За год до ввода войск, находясь в командировке в Грузии, он заехал к Горбачевым. Горбачев был тогда главой Ставропольского городского комитета партии. Два дня оба собирали в степи жуков для коллекции Зденека. Могли ли они тогда представить, что события разведут их в разные стороны и только жуки будут напоминать безработному Зденеку о надеждах молодости?

«Ты с ума сошел!» – говорил Галушка Млынаржу, уже ушедшему с высоких постов, но все еще члену ЦК. «Нет, я с ума не сошел, просто знаю по опыту: лучше опережать события». «Ладно, – сказал министр Галушка, – дадим тебе персональный оклад 8 тысяч крон». «Ни за что! – отвечал Млынарж, – за привилегии меня быстро выгонят. Дай оклад, какой положен». – «На две с половиной тысячи тебе не прожить». – «Но другие живут!»

С первого января 1969 года Млынарж стал заниматься жуками; раз в месяц приезжает черная машина, привозит материалы для члена ЦК, он их бросает в урну. В следующем году из партии выгнали министра Галушку. Тот пришел к Млынаржу: «Зденек, не нужен ли музею швейцар?» – «Раньше надо было думать!», – обнял друга энтомолог. Недавний министр культуры, просвещенный человек, близкий Дубчеку, устроился в сельской мастерской, торговал парниковыми конструкциями. «В зимние месяцы он ежился от холода, завидовал мне и моим жукам; мы находились в теплом помещении, и меня мучила совесть».

А семь лет спустя Млынарж участвовал в написании «Хартии-77», его исключили из партии, выгнали из музея, посадили под домашний арест. Безработный, он пишет письмо Иосипу Броз Тито, с которым был знаком, надеется найти какое-нибудь дело в Белграде, но вождь югославских коммунистов, уже глубокий старик, ответил через посольство в том духе, что если человек думает о своем политическом будущем, ему лучше оставаться на родине. «Но я думаю не о политическом будущем, – ответил Млынарж югославскому послу, – мне приходится думать о простом человеческом будущем. Будьте здоровы...»

Млынарж эмигрировал в Австрию. Он не был рожден мучеником, это не в его характере, и он принял приглашение австрийских университетов. «Я попал в мир нормальных людей, не привилегированных, не купленных системой. И всю жизнь за рубежом изучаю оставленный мною мир, в котором жил и в котором живут миллионы. Вот самое страшное, что я понял: система, которой я усердно служил, делит людей на тех, кто ей нужен и кто не нужен. Идол, на которого мы молились, унизил нас и пинком сапога указал наше место. Пражская весна – предупреждение всем “малым народам”. Надо держаться вместе, хватит с нас мифов о благородстве “больших”».

Горбачев же оставался встроены в систему, которой был обязан своим положением, и никого не интересовало, что он думал о чехословацких событиях, о причастности к ним друга молодости. Он должен поступать, как предписывала партийная дисциплина, и не ему одному приходилось рвать душу между служебным долгом и совестью. В дни чехословацких событий второй секретарь обкома Горбачев публично громил земляка Ф.Садыкова, известного в крае доцента, защитника дубчековских реформ, за крамольные мысли. Эти мысли впоследствии, в другие времена, войдут в программу горбачевской перестройки. Горбачев тогда рубил с плеча, но большая совесть долго не давала покоя; на склоне лет он сам рассказал об этом в автобиографической книге.

После ввода войск Москва послала в Прагу двух партийных функционеров, Егора Лигачева (Томск) и Михаила Горбачева (Ставрополь), помочь чехословацким «нормализаторам» вводить жизнь в берега. Горбачев не стал разыскивать чешского энтомолога. Был уверен, что старый друг, знающий

советские порядки, войдет в его положение и не будет держать зла. Млынарж воспрянул духом, когда Горбачев стал лидером СССР.

В 1987 году Горбачев прилетел с официальным визитом в Прагу. Чехам доставляло радость читать, что Горбачев и Гусак впервые ограничились пожатием рук, избежав крепких объятий. Это был намек на будущий характер отношений. Но чехи обманулись; Млынарж, по его словам, «собственными глазами видел на экране телевизора, что ритуал был соблюден, как обычно. Возможно, присутствовавшие при встрече журналисты этого не видели. Поцелуйщиков заслонили охранники, которых было больше обычного»³.

В Праге у Горбачева не было времени узнавать, где старый друг, как поживает. Млынарж его понимал и не обижался. Задело другое. Двадцать лет чехи ждали, вот придет в Кремль сильный, великодушный русский человек, найдет слова, чтобы умягчить оскорбленные души. Таким казался Горбачев. И трудно было взять в толк, почему вольнолюбивый Мишка, теперь на вершине власти, выступая перед пражанами, не торопился осуждать предшественников в Кремле, ни словом не обмолвился о вводе войск. Пусть он в этом не участвовал, не несет ответственности, но от Москвы ждали гарантий, что рецидива никогда не будет.

И все-таки каждый раз, когда журналисты пристают к Млынаржу с вопросом, как понимать Горбачева, почему об интервенции, этой чешской боли, он упорно молчит, Млынарж брал старого друга под защиту и просил о понимании. Слишком сложной была внутренняя ситуация в СССР, лидер страны не мог в угоду чехам с этим не считаться. Но что бы по этому поводу Горбачев ни говорил, я знаю, настаивал Млынарж, он хорошо понимает необоснованность вторжения⁴. В шкале ценностей Млынаржа понятие «друг» опережало понятие «политик».

При Горбачеве вернули из ссылки Сахарова, стали издавать книги запрещенных авторов, но в маленькой Чехословакии ничего не менялось. В 1985 году сторонники «Хартии-77» с горечью напишут, что хотя в Европе сорок последних лет царит мир, им обидно, что «именно в эти мирные годы наши граждане теряли и продолжают терять ощущение, что земля, на которой они родились, на которой трудятся и воспитывают детей, по отношению к которой у них есть твердые обязанности, является их родиной»⁵.

В середине декабря 1989 года Млынарж прилетел в Москву и встретился с Горбачевым, Генеральным секретарем ЦК КПСС. А после приехал ко мне домой, возбужденный, с сияющими глазами. Я не позволял себе вопросы, которые могли казаться неделикатными, но когда мы вышли на балкон и смотрели на город с восемнадцатого этажа, Зденек сказал:

– Знаешь, он человек чрезвычайных способностей, готов прислушиваться, совсем не авторитарный. Удивительно, как человек такого склада мог подняться до высшего поста. За эти годы он стал осмотрительнее и мудрее. Хорошо, что с ним рядом Раиса, она плохого не посоветует.

За крышами домов виднеются залитые вечерним солнцем Сокольники. Зденек ищет глазами их с Горбачевым общежитие на Стромынке, бывшую казарму петровских времен. В общежитии жили и их будущие жены Раиса и Ирэна.

– Однажды Мишка взмолился: «Ребята, вы все про балет да про балет, а

я в жизни не видел балета. Возьмите меня в театр!» Там, в столовой общежития, Михаил и Раиса гуляли свадьбу. Я приехал из Праги, пришел на свадьбу в новом костюме и уронил на брюки кусочек масла... С этого началась моя запятнанная репутация!

Не знаю, импровизирует ли Зденек, или перебирает в памяти утренний разговор с Горбачевым, но без всякого перехода он заговорил о марксизме, который оба изучали как единственно верное учение. Теперь это для него один из возможных подходов к общественным проблемам. Вопросы, поставленные Марксом, оказались глубже ответов; вопросы и сегодня волнуют, но ответы оказались упрощенными, – как во времена французской революции.

– Нас учили, что все решает партия и ее политика. Ничего они не решают. Они должны давать рамки, в которых могла бы развиваться нормальная человеческая жизнь. Если она эти рамки суживает, с ней надо бороться.

Возбуждаясь, он говорит, как будто хочет с кем-то доспорить.

– Мне повезло, что я был секретарем ЦК. Знаешь почему? Больше нет «соблазна 13-й комнаты», я уже знаю, что за той таинственной дверью...

Спохватившись, виновато улыбается:

– Прости, я чувствую себя как человек, который выступает на свадьбе и рассказывает об опыте своего развода.

В следующий раз я увижу Млынаржа в дождливой Москве в середине октября 1991 года. Мы будем сидеть на Пушкинской площади, в моем кабинете в «Известиях», он снова приедет после встречи с Горбачевым. Двух лет не прошло, а как все переменялось! Он видел другого, трудно узнаваемого Горбачева, еще не пришедшего в себя после изоляции в Форосе, крушения великой державы, после ухода с поста первого президента СССР, обессиленного противоборством с неприятным ему Б.Н.Ельциным. Утешало, что друг Михаил старался не опускать рук, с ним оставались умные политики, его не предавшие, и снова кружилась голова от планов, как дальше работать, не роняя достоинства. Млынарж уговаривал Горбачева вместе писать книгу, откровенный диалог о том, что произошло с обоими ⁶.

Мы говорили о России.

Народное хозяйство продолжало разваливаться, на полках районных магазинов шаром покати, откормленные продавцы и толпы голодных покупателей готовы вцепиться в глотку друг другу; порядок наводит милиция, выносящая продукты для себя со служебного входа. Люди уезжают в Израиль, Германию, США; навстречу волне гражданских отъезжающих в обратном направлении катится волна российских военных; возвращаются по железной дороге из Венгрии, Чехословакии, бывшей ГДР с танками и артиллерией. Солдат высаживают на полустанках; подготовить жилье не успевают, ставят брезентовые палатки на снегу.

Млынарж не единственный из демократов, еще недавно решительных, у кого теперь, когда в обеих наших странах победила, казалось, демократия, в словах и поступках очевидна осторожность. Суждения стали сдержаннее, действия неторопливее; то ли годы сказываются, то ли прибавилось мудрости. Он не спешит спорить, отвечает в том смысле, что пражские радикалы тоже причисляют его если не к консерваторам (это все-таки трудноато сделать применительно к его биографии), то во всяком случае, к людям умерен-

ным. «Соглашаясь, я мог бы добавить, что стал таким после августа 1968 года. В размышлениях о случившемся пришло понимание, как легко дается политикам обострение обстановки. Можно говорить о советской интервенции в Чехословакии, об имперских амбициях Брежнева, о многом прочем, чему нет и не может быть оправдания. Но не уйти от результата: реформаторское движение было разгромлено, в течение двадцати лет наш народ жил хуже, чем прежде. И тогдашние руководители (в их числе был и я) не могут полностью снять с себя ответственность. Наученный историческим опытом, я теперь действительно предпочитаю быть осмотрительным»⁷.

Млынарж был одним из первых, если не первым чешским политиком, кому хватило характера вслух сказать, что пражские реформаторы (себя он причислял к их числу), не только жертвы, и советские танки – не единственная причина провала реформ; чешские политики не могут снять с себя ответственности за то, что их негибкие действия и поспешные, недальновидные шаги в конце концов привели страну к худшей внутренней ситуации, чем была до начала реформ. Потому не стоит удивляться, что Горбачев не торопился относить пражских реформаторов к своим предшественникам или к образцу.

Это будет наш последний разговор со Зденеком Млынаржем.

Не хочу гадать, как сложилась бы жизнь этого яркого человека, вероятного «чешского Горбачева», как говорили о нем в середине восьмидесятых, когда его друг начинал в СССР перестройку, а он, один из умнейших людей эпохи, вытолкнутый из Праги промосковской властью, скитался по Европе. В списке жертв советского вторжения его судьба оказалась не худшей; он дожил до новых времен.

В апреле 1997 года, через два года после выхода в Праге книги Горбачева и Млынаржа, развернув одну из московских газет, я наткнулся на заметку «Памяти Зденека Млынаржа». Строчки запрыгают перед глазами: «Многие годы меня связывала со Зденеком дружба... она выдержала все испытания, которые выпали на его и на мою долю. И мы остались верны ей до конца... Михаил Горбачев»⁸.

Книга Горбачева и Млынаржа на чешском называется «Реформаторы не бывают счастливы». Это больше, чем название, выстраданное горьким личным опытом двух современников. Скорее, это диагноз системе, которой оба знали цену, противостояли ей, надеясь ее улучшить, не ломая.

В начале февраля 1990 года я возвращался из Карловых Вар в Москву и задержался в Праге. Шла пятая неделя, как у чехов появился 53-летний президент Вацлав Гавел. На улицах толпы, настроение праздничное. Уходил в прошлое коммунистический режим, в городе царила молодая стихия в джинсах и кроссовках. Эта масса делегировала сверстников в Пражский Град, в помощники президента, в сотрудники его канцелярии. Им в голову не приходило изменить внешнее обличие, их кроссовки разошлись по старинным коврам древних залов. Подражая Гавелу, они старались поступать так, чтобы было больше свободы, уважения к человеческому достоинству, чтобы всегда можно было говорить правду и чтобы люди, слыша эту правду, ощущали не свое бессилие, а начало практической работы.

Я навестил Ганзелку в его небольшой квартире в Новом городе, неподалеку от станции метро Ботаничка заграда. На второй день он повез меня к

своим знакомым на чашку кофе. Снег падал на дома, на мосты, на черные зонты пешеходов. Припарковав машину на набережной Влтавы, мы зашагали к большому каменному зданию, построенному в стиле модерн еще до Первой республики. Милая хозяйка по имени Ольга обрадовалась, увидев Иржи. Мы пили кофе в окружении книг и картин старых мастеров. Ольга расспрашивала Иржи о детях, жалела, что муж рано ушел на работу, и с юмором вспоминала, как славно они провели с мужем воскресный день в загородном доме, купленном за 25 тысяч крон по объявлению в газете незадолго до появления войск. Домик в деревне Влчице, в местности Градечек, у подножия горного массива Крконоше. Когда мы вернулись домой, Иржи сказал, что Ольга, у которой мы пили кофе, – жена Вацлава Гавела.

О Гавеле я слышал и раньше от Ганзелки, Зикмунда, Млынаржа, они люди одного круга, друзья по Пражской весне, вместе подписывали манифесты и шли в рядах «Гражданского форума». Как-то Гавел ввалился в дом Зикмунда в Злине. «Мирку, извини, со мной такая орава!» За ним всюду тащились агенты безопасности. Гавел ночевал в доме Зикмунда, а прощаясь, написал на своей фотографии: «Это самая приятная остановка на моем пути, я только прошу прощения за полицейское окружение, которое привел с собой. Вацлав Гавел. 15 августа 1985 года». А когда президент Гавел после выборов приехал в Злин, с балкона муниципальной ратуши, у которой собрались тысячи жителей, президента приветствовал почетный гражданин города Мирослав Зикмунд. «Мирек, – спрашивал я потом, – с Гавелом снова была орава?» – «Когда он пришел в Град, орава стала меньше!»⁹

Гавел впервые в новой для себя роли собирался лететь в Москву, и Ганзелке пришла мысль свести с президентом корреспондента «Известий», раз уж он оказался в Праге. Все же советские читатели смутно представляют, что за человек стал идолом чехословацких масс. Идея замечательная, думал я, но деликатно ли взваливать на Иржи такие хлопоты. Больная Юлианка ждала мужа в Седло, ему предстояло навестить ее, да и мне пора в Москву.

Пока я копался в архиве, надеясь, что Иржи занят своими делами, он, видимо, связывался с канцелярией Града или напрямую с президентом. Милый Иржи, ну как передать тебе мое смущение при мысли о том, что в Москве, когда ты снова прилетишь, как бы я ни старался, каких бы друзей ни просил, не будет у меня шанса устроить тебе встречу с президентом.

До возвращения Иржи оставалось по меньшей мере три дня, я позвонил Миреку и утром третьего февраля отправился с Центрального вокзала поездом в Злин (буду называть город по-старому, хотя он, кажется, еще оставался Готвальдовым). Мирек встретил меня у вагона, и через четверть часа машина поднялась к вершине холма, к самой, наверное, высокой в городе, если не во всей Моравии, улице Под нивами, и скоро мы уселись в кресла у стен, занятых экзотикой со всего света. Два десятка лет Мирослав и Иржи старались издать готовые рукописи, но повезло только книге «Материк под Гималаями». Она была окончена в 1968 году и уже полным ходом печаталась на чешском, словацком, венгерском языках; на складе лежало 120 тысяч упакованных и предназначенных для продажи толстых книг общим весом шестьдесят тонн. Это все разошлось бы по стране, если бы авторы, публично выступая, заменили в своей лексике два слова: «вторжение» на «приглашение» и «оккупацию» на «дружескую помощь». Но упрямыцы предпочли наблюдать, как покрывается пылью гора их книг. Власти рассылали книгу по списку для членов руководства, ее арестовавших, и только позднее разрешили книж-

ным магазинам взять часть тиража, запретив книгу рекламировать.

Кажется, все это было в другой жизни, а сегодня готовится к изданию «Спецотчет № 4», их исповедь о СССР, которая раздражала окружение Брежнева и из-за которой так изменилась судьба путешественников.

– Но это не будет первое издание, – говорит Мирек, – каким-то чудом рукопись удалось напечатать на Дальнем Востоке, в трех номерах местного литературного журнала, и это сделал наш старый знакомый, хабаровский тигролов и писатель Всеволод Сысоев. Как он отважился? Совать свою голову в пасть кремлевского зверя страшнее, чем ходить на уссурийского тигра...

5 февраля я вернулся в Прагу.

Иржи приехал в середине дня во вторник, а утром в среду мы ехали в Град. По дороге он говорил о президенте, удивляясь, как Гавел еще находит время писать пьесы.

– Знаешь, если бы он мог на все плюнуть и остаться просто писателем, он был бы самым счастливым на свете. Он постоянно сосредоточен на своих мыслях, как художник. Я не уверен, что Генрих Бёлль был бы хорошим президентом Западной Германии, но у Гавела в Чехословакии огромный морально-политический авторитет. У него все получится.

Мы проехали во внутренний двор Града и, кивнув охранникам (Ганзелку знают в лицо), поднялись к президенту.

Кабинет просторен, над письменным столом картины чехословацких художников-модернистов. Гавел и Ганзелка обнялись. Президент без пиджака, ворот голубой рубашки расстегнут, галстук чуть на боку, словно мы в пивной «У Флеку» на Кременцовой или «У святого Томаша» на Летенской. Садимся за журнальный столик. Не ожидая вопросов, Гавел говорит, что сегодня надо не придумывать новые химеры, чтобы с ними бороться, а менять к лучшему конкретные обстоятельства жизни. События XX века, такие, как Кронштадтский мятеж, революция в Венгрии, Пражская весна, хрущевская оттепель, горбачевская перестройка, казалось бы, совсем разные, тем не менее – эпизоды одного исторического процесса: общество стремится ограничить или вообще ликвидировать тоталитарную сущность коммунистической власти.

Гавел извиняется, что подзабыл русский; учил в школе, но давно не говорил. Вопросы понимает, а для ответа, боится, у него не хватит слов. Ганзелка советует говорить по-чешски, обещая помочь перевести, если возникнут затруднения.

Президента волнует поездка в Москву.

– Не знаю, не знаю... Все же это будет первый разговор советского президента с чехословацким президентом, которого никто не посадил на это место, ни сегодняшние хозяева Кремля, ни кто-либо из их предшественников. Это значит, что переговоры будут проходить иначе, чем прежде. Меня вызывают не на ковер, как наместника колонии, я еду на встречу с Горбачевым, как едет к президенту большой страны президент малой страны, которая хочет установить с большой страной равноправные дружеские отношения, а не отношения губернии или колонии с метрополией ¹⁰.

Проблема «больших» к «малых» чувствительна для чешского сознания.

Человек, от рождения гражданин империи, воспринимает мироздание

(пространство, население, природные ресурсы) не как игру исторической судьбы или милость Божью, налагающую ответственность, но как заслуженное, им лично заработанное преимущество над другими. Играя мускулами, он не может до конца понять существ точно таких же, но которым не досталось большого куска и приходится уповать на совесть сильного. Это слабые придумали, что сильный должен быть добрым, в то время как сильный уверен в заложенном свыше своем праве требовать от слабого послушания. Как напишет Гавел о Центральной Европе, «этнос, который здесь, собственно, никогда не мог спокойно и свободно развиваться политически, постоянно отстаивает свою сущность, между прочим и тем, что неустанно претендует на собственную непохожесть и болезненно реагирует на угрозу, которую для него представляет непохожесть других»¹¹.

Гавел понимает беспокойства людей из-за территориальной близости «больших». Их претензии вынуждают соседей жить в постоянном предчувствии опасности. Эта тревога будет в душах до тех пор, пока существует пусть даже один агрессивный человек, готовый прибегать к силе как к способу решения конфликтных ситуаций. В тюрьме Панкрац я слышал, что заключенные давно пророчили сокамернику Гавелу пост президента, обещаая поддержать оружием и динамитом, и я спросил, так ли это.

– Это было раньше Панкраца, в тюрьме Гержманице... – улыбнулся Гавел и повернулся к Ганзелке. – Ирко, ты пока не переводи, если я скажу полфразы, а ты в это время будешь шептать на ухо, я забуду о чем собирался сказать... Заключенные не раз предлагали помощь, если мы возьмемся изменить режим в стране. Это слышали сидевшие со мной Иржи Динстбир и Вацлав Бенде. Сокамерников мы разочаровали, ответив, что такая помощь вряд ли потребуется. Мы за мирный переход к демократии. Гавел говорит, растягивая слова, делая паузы. Ищет варианты, как точнее выразить мысль.

– Обратите внимание: там, где нет тоталитарных систем (например, в западных парламентарных демократиях), время от времени появляются волны политического терроризма. Идея же ненасильственного перехода к новой системе, как ни странно, дает всходы в тех странах, где была тоталитарная система, основанная на насилии. Как ни парадоксально, именно здесь пробивает себе дорогу идея ненасилия. Она не нами придумана. Ее развивали Ганди, Мартин Лютер Кинг, их единомышленники. Этому явлению есть свои объяснения, и я писал о них. Тоталитарной системе свойствен сложный бактериальный характер. Эта система сильна не только репрессивными полицейскими методами, а скорее тем, что ее микробы отравляют души людей, деморализуют их. И каким образом противостоять этим микробам, кроме как посредством других микробов, которые проникают в тоталитарную систему власти, разлагают и поражают ее. Эта точка зрения, возможно, объясняет, почему в странах с тоталитарным режимом раньше всего пробивает дорогу идея ненасилия. Насилие – не выход. Это доказывает история и практические ситуации разных народов. В том числе вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию».

Еще недавно среди чехов ходило по рукам самиздатовское издание эссе Гавела «Сила бессильных». Теперь люди, еще недавно «бессильные», возвращаются к политической жизни, занимают посты в руководстве страной. Становясь «сильными», не будут ли они сводить счеты с теми, с кем поменялись ролями?

Гавел не спешит с ответом.

– Мы стараемся ввести в разбушевавшуюся стихию идеи духовности, взаимопонимания, взаимотерпимости. Это исходный пункт современной политики. Будем помнить, что на руководящие посты нас выдвинула осень 1989 года, истинная революция, полная любви и терпимости. Опасность сведения счетов не может нам угрожать.

Я слышал, что все бумаги президент Гавел подписывает ручкой с зелеными чернилами, как цветом надежды, и я не преминул спросить, верен ли слух.

– Тут некоторое преувеличение, правда, Ирко? Государственные бумаги о помиловании или назначении министров я подписываю шариковой ручкой синего цвета. А вот дарственные надписи на своих книгах и делаю зеленым, цветом надежды, и красным фломастером прибавляю сердечко. Идея любви, взаимопонимания, терпимости сопровождала нашу революцию и вынесла меня на этот высокий пост. Надежда – это нечто иное, чем прогностика и чем оптимизм. Это состояние духа. Ее надо иметь в себе, если хочешь жить. Иначе жизнь не имела бы смысла.

Потом Гавел вернется к своей мысли:

– Но не это главное... Главное в том, что в странах с тоталитарными системами люди говорят: с нас хватит! Насилие не выход. Идея ненасилия опирается на что-то лучшее в человеке, на что-то лучшее в нас. Это возвышает людей над всеми системами и над временами. И поскольку я это говорю для советской газеты, хотел бы подчеркнуть, что и у вас переход к демократии осуществляется, должен осуществляться в спокойных миролюбивых формах, без пролития крови.

Но Гавел и Ельцин росли в разных культурах.

Через три года на виду страны и мира в центре Москвы молодая российская власть – демократическая! – будет из танков расстреливать собственный парламент. Говорят, танкистам обещали большие деньги за каждый залп. Убитых выносили из парламента на носилках, как мусор.

Письмо И.Ганзелки в Москву (10 января 1991 г.)

Ленька, дорогой! Неделю тому назад телецентр звонил, прочел телеграмму от тебя и обещал прислать ее в мой адрес. Ничего не получил, но я счастлив, что получил твой сигнал: жив и здоров, Бог воздаст! По календарю не прошло очень много времени от твоей поездки в Прагу, но кажется, что прошли века, так много событий, так много новых забот, так мало надежных источников рационального развития. Ты, наверное, на своем старом месте в редакции, но, конечно, твое внимание обращается в других направлениях, чем полтора года тому назад. А я очень мало знаю о ежедневных проблемах твоей и вашей жизни. Редкие информации не приносят много вдохновительного.

Последнее, что я получил из Москвы, это прекрасный декоративный самовар из фарфора с визитной карточкой «Михаил Сергеевич Горбачев». Не думаю, что он об этом знает. Очевидно, инерция протокола. <...>

Здоровье Юлианки стало хуже, приступы слабости, головокружение. Она очень часто трясется, проживает тяжелые депрессии, боюсь за нее. Мы переселились на Вацлавскую улицу № 14, 500 метров от старой аварийной квартиры, рядом с Карловой площадью. Но новая квартира после генеральной реконструкции тоже аварийная, на будущую неделю начнут вытаскивать все водопроводные инсталляции и ка-

нализацию из стен и давать другую. Катастрофа, именно для Юлианки в ее современном состоянии здоровья.

В Седло мы бываем очень редко, я привязан к зданию чешского правительства, ежедневно работаю с утра до ночи. Работа интересная, в большинстве концепционная, бывают часто полезные переговоры с крупными банками и концернами, в смысле открывания возможностей, именно конкретных совместных предприятий. Последняя задача: комплексное решение энергетической и экологической ситуации, сравнение ядерного и других вариантов. Интересно, временами утомительно, потому что все спешит. Несколько месяцев еще проработаю и вернусь с Юлианкой на пенсию.

«Цейлон, рай без ангелов», появится, очевидно, весной. Пришлю. Или возьмешь ее в Праге лично? Извини, Ленька дорогой, что кончу. Почту за пять дней я открывал и читал полных полтора дня. Люди пишут целые горы писем. Прекрасно, вдохновительно, удовлетворительно, но тоже катастрофа. Ленька, обнимаю вас всех. Пиши, что с тобой. Или звони! Твой Юра ¹².

Письмо И.Ганзелки в Москву (10 апреля 1991 г.)

...Наконец-то я одно письмо от тебя получил, спасибо! Оно уже старое, но от тебя. На нем дата 20.1.1991. Дата почтового штампа в Кисловодске 30.1.1991. И ко мне в Прагу добралось 7.4.1991. В день рождения моей сестры.

Конечно, больше ты меня обрадовал звонком. Это единственный надежный способ соединения. Телеграмму, о которой пишешь, я до сих пор не получил. Но основное, что ты приезжаешь. Надеюсь, что ты привезешь с собою фотографию своего камина. Все остальное уже писать НЕ НАДО! Скоро мы уже повстречаемся у нас, с душой на ладони... ¹³

Май, 1991 год. Бурлит Староместская площадь; тон задают студенты Карлова университета; идут с транспарантами в ширину площади и с национальными флагами, поднятыми над головами. Молодые интеллектуалы идут мимо вознесенного над площадью Яна Гуса, он их вечный профессор, учитель на все времена. Здесь избегают произносить пустые слова, но теснее смыкают плечи, демонстрируют сплоченность. Второй год чехи живут без российского (советского) патроната и спорят, какая цивилизация, восточная или западная, им ближе; они делают исторический выбор. Увы, полвека жизни в коммунальной квартире Восточной Европы с властным и грубоватым хозяином заставляют крепко подумать. А когда память возвращает к подавлению Пражской весны, как все было, сомнения покидают даже колеблющихся. Можно забыть, как тебя обидели, но как унизили, не забудешь.

Я не раз бывал на этой площади, сидел на ступенях у монумента, но впервые замечаю, что под ногами базальтовая брусчатка, какую выложена Красная площадь в Москве. Как будто из единого карьера, из той же камнерезной мастерской. Камни под ногами одни, а дороги – в разные стороны.

Мой известинский коллега Станислав Кондрашов в те дни писал: «...неужели мы, русские, великий народ, так глухи к проявлениям национального духа других народов? Неужели не ясно нам, что только широта подхода, мудрость и понимание со стороны Москвы могут в рамках новой демократической федерации изжить тот первородный грех, который литовцы, латыши и эстонцы усматривают в присоединении их стран к Советскому Союзу на основе секретного протокола к пакту Молотова–Риббентропа?» ¹⁴.

События 1968 года – грех того же порядка.

Между прочим, когда «Известия» предложили Кондрашову, одному из самых авторитетных журналистов-международников, освещать в газете ввод войск в Чехословакию, он отказался: «не моя тема». Американист, долго проработавший за океаном, он не хотел иметь с этим ничего общего. Но с интересом отправился в весеннюю Прагу 1990 года. И что бросилось в глаза? «Советское посольство занимает большую территорию в живописном пражском районе. Ограда – само собой понятно. Но поверх ее – колючая проволока. В братской стране?! Какими глазами смотрят на эту проволоку пражане?»¹⁵. Что бы мой друг сказал, увидев наше посольство в том треклятом августе шестьдесят восьмого, в тройном оцеплении танков, оцетинившихся жерлами пушек, направленных на чешских женщин, толкающих перед собой по тротуару коляски с детьми?

Ограда советского посольства в Праге и год спустя по всему периметру защищена колючей проволокой; напоминает ограду колымских лагерей на Челбанье, на Мальдяке, на Широком. Мы их видели в 1977 году, сплавляясь с друзьями на лодках по Колыме. С Вадимом Тумановым осматривали лагеря, в которых он провел много лет; на Мальдяке слышали, как в дни ввода войск в Прагу старый рецидивист, не раз сидевший за убийства и разбой, бродил пьяный по поселку и каждому встречному совал в лицо газету с сообщением ТАСС о вводе войск: «Ну, полный беспредел!»

Многие люди, не зная этого слова, чувствовали то же самое.

В декабре 1991 года в государственном замке Либлице, под Прагой ожидалась международная конференция о чехословацких событиях, я воспользовался приглашением чехословацкой Академии наук.

Не знаю, со смыслом ли свели вместе Александра Дубчека, Олдржиха Черника, Богумила Шимона, Венека Шилгана, Иржи Гаека, Иржи Пеликана, многих чехословацких реформаторов и диссидентов, историков Москвы, Варшавы, Берлина, Софии, Будапешта, ученых стран Европы и Америки в этом древнем замке XVIII века, или так получилось, но великолепие старинного поместья и слегка размытого туманом ухоженного парка с опавшим золотом листьев на гаревых дорожках побуждают думать, как ничтожны обиды, споры, взаимные претензии властей перед целительной красотой осеннего утра.

Отношение интеллектуалов к реформам на конференции образнее других выразил когда-то гонимый философ Иван Свитака.

Не желая садиться в тюрьму, пусть даже родную, он эмигрировал, был профессором Колумбийского и Калифорнийского университетов и после двух десятков лет вернулся на родину. В Пражской весне он видит отчаянную попытку Икара. Пусть смельчак не поднялся к облакам, рухнул в море, но какой дерзкий замысел, как он прекрасно взлетел!

В перерывах между заседаниями мы говорим о чехословацком партийном чиновничестве 1970-х и 1980-х годов, для которых верность Москве давала преуспеяние, более надежное, нежели служение нации. Идея приоритета интернационального над национальным подразумевала готовность «малого народа» принести себя в жертву «большому», «старшему». В Сибири я встречал потомков поляков, участников освободительных движений первой и второй половины XIX столетия. В России, писал П.Кропоткин, даже умеренные люди считали, что «выгоднее иметь Польшу хорошим соседом, чем

враждебно настроенной подчиненной страной. Польша никогда не потеряет своего национального характера; он слишком резко вычеканен. Она имеет и будет иметь свое собственное искусство, свою литературу и свою промышленность. Держать ее в рабстве Россия может лишь при помощи грубой физической силы, а такое положение дел всегда благоприятствовало и будет благоприятствовать господству гнета в самой России»¹⁶.

Это не только о Польше.

Когда бы правители прислушивались к предкам, не меньшим патриотам, чем потомки, в Европе в последние два столетия поубавилось бы ненависти. Но не при каждом государе есть мудрый Кропоткин.

После заседаний, если заканчивались засветло, я ехал автобусом из Либлице в Прагу. Никогда раньше Ганзелка не выглядел таким усталым. Осунулся, под глазами круги. Нервы напряжены, скачет артериальное давление. Усталость накапливалась еще с тех пор, как он пошел садовником в сады на Петршине, а по ночам переводил чужие тексты. Слишком долго страдал от невостребованности, безденежья, напрасных попыток издать их с Мирославом книгу о Цейлоне.

Теперь побаливает печень, пораженная малярией; малярию он не раз подхватывал в африканских саваннах. На этих днях сильно испугался, когда при чтении газеты строчки вдруг стали терять резкость. Усилием лицевых мышц он поднимал брови, смеживал веки, повторял упражнение снова, но хрусталики не слушались. Газеты ему читает, Юлианка (Юлия Хорватова), в прошлом актриса, женщина тонко чувствующая, находит радость в особом послушании мужу, это послушание любящей матери, которая угадывает и исполняет прихоти сына, для нее всегда ребенка, над которым дрожит.

Иржи не хотел терять работу садовника, но когда началось хроническое заболевание позвоночника, врачи настояли сменить род занятий. А что еще он мог в те времена делать? Как содержать семью? Понес продавать свои фотоаппараты, кинокамеру, оптику, книги и картины...

Иржи хочет меня развеселить.

– Знаешь, у Юлианки врожденное предчувствие опасности. Она родилась 12 апреля 1912 года. В этот день утонул «Титаник»...

И я слушаю трогательные истории о том, как Юлианка интуитивно удерживала мужа от действий, которые, как потом оказывалось, угрожали ему бедой. От себя отвести беду Юлианке не удалось. В июне 1994 года я получу из Праги письмо, из конверта выпадет отпечатанный типографским способом листок в черной рамке:

«В воскресенье 12 июня 1994 года у нас умерла наша любимая, восхищавшая нас Юлианка, госпожа ЮЛИЯ ХОРВАТОВА. Ее плодотворная жизнь закончилась в возрасте 82 лет. По ее желанию мы прощаемся тихо и без участия общественности в ритуальном зале крематория в Индриховом Градце 16 июня 1994 года в 9 часов 45 минут. За всех оставшихся – инж. Иржи Ганзелка»¹⁷.

Письмо И.Ганзелки в Москву (20 августа 1997 г.)

...Спасибо за длинное и самое грустное письмо. Кажется, что подробно ответить нельзя. Хочу только сказать, что сюрпризов я в твоём письме не нашёл и что очень рад твоей отваге работать и писать даже в этих условиях.

Только прошу тебя не забывать о сибирском мальчишке, который в забытой деревушке, в морозе, в лаптях вынужден был с остальными колхозниками кричать «Да здравствует великий Сталин!».

Мне кажется, что экстремы прошлого всегда и всюду превращаются на экстремы противоположного рода. Есть простая логика в трагедиях русского народа этих лет. Но у него известная способность пережить и преодолеть даже невозможное. Будет лучше – это тоже логика русской истории. К сожалению, у вас давным-давно привыкли жертв не подсчитывать. Старайся, дорогой Ленька, не оказаться среди них!

Можно тоже вспомнить Достоевского. Но где действительно преступление и где наказание справедливое? Не имею ни отваги, ни достаточных знаний, чтобы ответить на эти вопросы. Мы в ЧР переживаем свои экстремы, свои новые преступления против невиновных, и виновные процветают в пиджаках неожиданных красок.

Мы с Миреком отпраздновали 50-летие начала наших путешествий. Простые люди не забывают, отзываются прекрасными письмами и лично. В Злине открыта постоянная экспозиция о нашей жизни и труде. Издана книжка «50 вопросов и 50 ответов НЗ»¹⁸. Сейчас работаю над эссе на тему толерантности. Издательство «Примус» решило издать исправленные копии всех наших путевых очерков. Будет переиздано все, что мы написали и подписали полстолетия назад. Извини, что мне так захотелось гордиться этим фактом. Но не вижу вокруг много людей, которые готовы сегодня отвечать за все, что высказали, написали, сделали в течение прошлых пятидесяти лет. <...>

Обнимаю тебя и вас обоих! Твой Юра.

P.S. Моей жены Юлианки уже больше трех лет нет в живых. Но жизнь была щедрая, я снова живу рядом с прекрасной и доброй женой¹⁹.

Каждый раз, когда приближается август, охватывает тревожное предчувствие. Даты, даже болезненные, требуют от прессы откликов, но как отзываться, не повторяясь, тридцать раз подряд? Когда в Омске, на берегу Иртыша, я завел в кругу рабочих разговор о чехословацких событиях 1968 года, оказалось, что для тридцатилетних это почти как битва русских с монголами на Калке. Когда это было! А люди постарше и в прежние-то времена мало что понимали и теперь припоминают по большей части то, что когда-то вложила в головы идеология: «чехи продались Западу», «мы их кормили на свою голову», «нас не любят, потому что мы сильные».

Это особенность советского массового сознания, пусть только части, во второй половине XX столетия. Нервный переход к рынку, захват российским и иностранным частным капиталом предприятий по добыче и транспортировке природных ресурсов, передел экономики, банков, страховых компаний, часто с разбоем и стрельбой, обнищание населения, чувство полной беззащитности перед взявшей власть кучкой людей, назвавших себя демократами, с личной охраной, численностью большей, чем была у царей, не вмещались в сознание сбитых с толку «низов» и окончательно выводили проблемы Восточной Европы за пределы живого интереса.

В канун тридцатилетия событий замысел редакции был прост: свести на газетной полосе деятелей, причастных к Пражской весне с той и другой стороны, давно не общавшихся друг с другом и согласных сказать, что теперь испытывают к другой стране, в каком направлении их мышление эволюционирует.

И вот я в Праге.

...Быстро несется автобус из Праги к Индрихову Градцу, откуда на попутном транспорте можно добраться до хутора Седло. Разглядываю попутчиков. Рядом со мной щекастый здоровяк лет сорока, берет сдвинут на брови. По-русски понимает, но говорит чуть-чуть. Зовут Матей, он из Западной Чехии, из Домажлиц, центра Ходского края (Ходовии). В дремучих лесах и в горах отважные ходы, издавна свободные люди, признававшие только власть короля, вооруженные дубовыми посохами (чеканами), с послушными им огромными псами, под знаменем с изображением песьей головы тысячу лет назад несли охрану границы с Баварией, потом прославились подвигами в эпоху гуситских войн. Роман о «псоглавцах», одну из любимейших у чехов книг, написал Алоис Ирасек.

Матей, конечно, знает о герое романа Яне Козине (его настоящее имя Ян Сладкий) и его матери, стойкой Козинихе, помнит сцены разгрома повстанцев и казни гордого Яна, и когда он перед смертью не к оружию звал земляков, не к отмщению, а только довериться Божьему суду. Матей согласен, что не сила, а справедливость торжествует в земных делах.

Матей приглашает в Домажлице на ежегодный грандиозный фольклорный праздник. Нигде не услышишь такой игры на волынке, не увидишь такой массы людей в традиционных костюмах. И спешит успокоить: «Никакого отношения к уходу ваших войск. Это у нас сто лет. Каждый август!»

Из Индрихова Градца за полчаса я добрался на попутке в Седло.

Иржи слаб, с трудом передвигается, но просит домашних, его просьбой смущенных, поставить на стол бутылку коньяка, признавшись, что врачи запретили, но никогда бы себе не простил, если бы не воспользовался случаем. Протесты мои и домашних безуспешны. Мы отпиваем по глотку и принимаем звонить в Злин Мирославу Зикмунду. «Агой, Мирку!» – «Привет, Леня!» Мы с Иржи вырываем друг у друга трубку, чтобы говорить с Миреком.

Условливаемся, что я проведу в Злине 8 и 9 августа.

Они оба, Иржи и Мирослав, никогда не чувствовали себя политиками, но исторический опыт заставляет настораживаться каждый раз, когда их страна посреди Европы может оказаться в эпицентре чужого противостояния. Вступление Чехии в Североатлантический Альянс им не кажется продвижением НАТО на восток, а только возвращением страны на европейский запад, в колыбель своей цивилизации, из которой они когда-то выпали, возможно, по своей, но и не по своей воле. И хотя у чехов мнение на этот счет разное, большинство поддерживает политику властей.

– Знаешь, – говорит Иржи, – я не стал бы утверждать, что наши власти, принимая решение вступить в военный блок, держат в уме реальную угрозу с чьей-то стороны, но мы понимаем людей, ответственных за национальную безопасность. Не их вина за то, что перед их глазами страшный призрак 1968 года.

– Думаешь, боятся России? – спрашиваю.

– Нет, Россию не боятся... Но, как это по-русски... *Побаиваются!*

Возможно, недоверие поддерживают поспешные действия Москвы, вроде распространенного российским посольством в Праге в апреле 1997 года предупреждения: если Чехия вступит в НАТО, ей будут перекрыты поставки российского газа. Не все у нас задумываются о том, что за народ сегодняшние чехи, какие чувства мы пробудили в них двадцать лет назад. Услы-

шав угрозу, чехи сами отказались от российского газа и договорились о поставках из Норвегии. Пусть норвежский газ дороже, но никакая держава не будет замахиваться на их небольшую страну кулаком.

У меня с собой блокнот 1960-х годов. В нем запись Иржи, сделанная в те дни, когда из Иркутска я полетел на пару дней в Новосибирск повидаться с Ганзелкой и Зикмундом. Журналисты еще спорили о предназначении нашей профессии; это особенно занимало газетчиков Сибири с ее грандиозными стройками, планами на будущее. Братск, Усть-Илимск, ЛЭП-500 были у всех на устах, но мало кому удавалось «пробить» статью о том, как тяжело живет в восточных районах коренному населению, всем тем, кто не на виду. Иржи в мой блокнот записал:

«Леня дорогой, ты ищешь мысли близких о том, во что ты веришь больше всего: о журнализме, о смысле жизни журналиста. Мне думается, что печать должна быть не только зеркалом общества, портретом властей по их совести, характере, мудрости и творческих способностях, но прежде всего во многих направлениях прокладывать путь, быть первым советником, первооткрывателем социальных болезней. Журналист должен видеть перспективу дальше всех и помогать вести вперед – или он не журналист. Наш самый близкий русский был на всю жизнь журналистом, поэтому он стал Лениным. Юра (Иржи) Ганзелка. 9 июля 1964 г.»

– То было от чистого сердца, – говорит Иржи, – так я тогда чувствовал. Марксизм вошел в наше сознание, мы мечтали об идеальном обществе добра и справедливости, связывали с ним надежды. Мы не думали, что в 1968 году – на родине Ленина! – нас с Миреком назовут врагами России... Скажи, у вас многие этому верили?

– Ну что ты.

– Больно, если бы многие.

Я хотел попроситься в доме, но Иржи, не слушая доводов, поднялся, опираясь на палку, проводить до ворот. Он долго стоял, скрестив обе руки на палке, в старой длиннополой блузе садовника на Петршине. Перед тем, как свернуть в переулок, я оглянулся. Он поднял согнутую в локте руку, кисть слегка покачивалась, как маятник.

Мы не знали, что видимся последний раз.

Как быстро летит время; на пражских улицах давно другие лица, иные моды, и в старичках, идущих сгорбясь, по Целетной или по Гусовой с пластиковым пакетом, сквозь который просвечивают сардельки и бутылка кефира, с трудом узнаешь активистов Пражской весны. Встречаясь в эти дни с Богумилом Шимоном, Честмиром Цисаржем, Йозефом Шпачеком, Людвиком Вацуликом, с чешскими журналистами, чьи имена когда-то были у всех на устах, слишком часто видишь людей, жалующихся на слабеющую память, но не забывающих ничего.

Людвик Вацулик в больших очках, со свисающими усами, похож на мудрую сову. Мы сидим в маленьком кафе, в углу у окна, и я слушаю рассказ о том, как в юности он прочитал биографию Махатмы Ганди и был потрясен идеей ненасилия.

– Не могу сказать, что она одна руководила мною, когда я писал «Две тысячи слов», но я на самом деле верю в возможность сопротивляться экспансии без применения силы. Эта вера материализовалась в 1968 году. Хотя было бы лучше, если бы идеей ненасилия руководствовались все-таки те, у

кого сила.

В дни оккупации Вацулик с женой и детьми оказался в южноморавской деревне. Танки в ту глухомань не пришли. О событиях в стране следил по передачам радио. В Праге можно было реагировать на события, говорить с друзьями, а в деревне он был наедине с собой, хватало времени для раздумий.

– Говорят, что хуже танков была «нормализация», когда чехи сажали чехов. Ради этого и пришли танки, я думаю их главная задача как раз и была в том, чтобы сменить руководство. Дубчек и его окружение не были обмануты, они все знали заранее. Они были изнасилованы. На них постоянно давили: не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Мне жаль Дубчека и других. Я не особенно им восхищался, встречался с ним два раза. Это был хороший честный человек, но я чувствовал, что он поддается влиянию других.

Мне казалось, что с этой бедой, с этим несчастьем нам жить под гнетом еще сто лет. Когда в 1939 году пришли немцы, было очевидно, что это на короткое время, на срок войны. А советские – это надолго. Я предполагал, по опыту польских восстаний, что нас тоже десятками тысяч будут увозить в Сибирь. Я даже размышлял о том, что хуже: оккупация немецкая или русская. Ко мне приходили друзья, хотели меня спрятать, предупреждали о возможном аресте. Но невозможно сто лет прятаться. Через пятьдесят лет, мне представлялось, у нас будет 60 процентов чехов и 40 процентов русских. А чешский язык перейдет на кириллицу, как молдавский. И смирился с мыслью, что с этим нам жить, пока не начнутся перемены в СССР. Представьте, как я был изумлен, когда наш кошмар закончился всего через 20 лет!

И если подумать, чему нас научили те события, то я бы сказал: лучше всего, к счастью, что мы научились забывать. Что касается меня, понадобилось немалое время, чтобы я, обращаясь в мыслях к случившемуся, заставил себя различать понятия «режим», «правительство», «русский народ». Между прочим, этому помогли советские фильмы «Обломов» и «Дворянское гнездо». Кинозалы, где их демонстрировали, были переполнены. Смотреть на старую Россию приятнее, чем на танки.

Чему научилась за эти тридцать лет Россия, я не знаю. Многие люди у нас продолжают опасаться вашей страны. У русского народа, мы знаем, большие трудности, мы жалеем его. Но он это заслужил. Поверьте, я это говорю без удовольствия. Сегодня у нас не питают к России недобрых чувств. Она продемонстрировала новое мышление, отпустив Прибалтику. Лично я убежден, что недалеко время, когда так же великодушно будет решена проблема Курильских островов. Ведь у вас большие земельные пространства, А у японцев кругом море...²⁰

Людвик Вацулик смотрит на меня недоверчиво, как на виновника чужих бед. Я бывал на Курилах, видел погребенный под снегом Северокурильск, когда идешь – в июне! – по ослепительному полю, спотыкаешься, а под унтами труба, потом вторая, из труб валит дым, и ты, оказывается, шагаешь над крышами домов, над живущими в них людьми, где-то внизу, у тебя под ногами. Утром, собираясь на работу, они будут долго шуровать лопатами, чтобы через лаз выбраться на поверхность. Немало прожив в Сибири, знаю территории, никогда не видевшие человека. И если мы, по нашей натуре, готовы отдать соседу последнюю рубаху, что бы нам не вернуть безземельному соседу не очень-то нам нужные четыре кучки надводных камней? Пусть, если смогут, свезут на камни землю и посеют рис. Мы не пообедем, от

нас не убудет, а нас будут меньше побаиваться.

В Злине спрашиваю Мирослава, что за годы путешествий им с Иржи открылось такого, о чем раньше они не догадывались. Помню, когда к нам в «Известия» пришел космонавт Герман Титов, он сказал, что самым неожиданным было видеть в иллюминатор, какая маленькая Земля. А вблизи, когда с народами лицом к лицу?

Мы в подвале дома, в архиве, перебираем папки с бумагами и географические карты; среди них раскрашенные цветными карандашами первые карты, нарисованные одиннадцатилетним путешественником Миреком в 1930 году, его первые дневники, которые с тех пор он ведет всюду, не переставая.

– Думаю, и ты это тоже знаешь, самое важное, что дает путешествие, это возможность увидеть и открыть самого себя. И сравнить, как живут другие люди, с тем, как живет твой народ, ты сам. И это опасно: пока не с чем сравнивать, ты всем доволен.

В Эквадоре, в верховьях Амазонки, путешественники попали к индейцам хиваро, охотникам за черепами. Самое страшное наказание у них – за ложь и воровство. Провинившихся изгоняют из племени, оставляют в джунглях без оружия, без средств защиты, обрекая слышать крики зверей. Ужас. Варварство... Но племя от этих пороков избавилось. А народы с реактивными самолетами, телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами избавиться от этих пороков не могут. Кого считать дикарями, а кого цивилизованными людьми?

После оккупации в 1968 году, говорит Мирек, многие из чешской интеллигенции были вынуждены покинуть страну. В одном из госпиталей Австралии увидел он известного чешского хирурга, воспитателя целой плеяды медиков. У него золотые руки. Не зная чужого языка, бессильный получить работу по специальности, он устроился работать санитаром и с утра до вечера толкает по коридору каталку с очередным больным. И когда идет с каталкой мимо операционной, для него закрытой, отворачивается, плечи вздрагивают, подолом халата вытирает глаза.

За что это ему? За что всем нам? Ведь нас мало!

Письмо М.Зикмунда в Москву (11 января 2000 г.)

...большое тебе спасибо за письмо от 26.12.99, я попробую по привычке на русском латинскими буквами, поскольку русских на машинке у меня нет. Извини, что я должен ответ на твое письмо из 99-го, ты хорошо знаешь, что у меня значит время – бывают дни, когда в почтовом ящике у меня 20-30 писем – просто не хватает ни сил, ни времени, и ты хорошо знаешь, что секретарей у меня никогда не было. <...>

В твоём письме появилось слово, которое я первый раз в жизни увидел, хотя я русским языком занимаюсь более 65 лет: «больших везений, радостей...» ты мне желаешь. Как интересно! Знаешь ты, что на чешском значит «везений»? Тюрьма, арест! Везень – заключенный! Но понятно, это же шутка. Ведь знаю слово «везти», «мне повезло»... Как интересны основы славянских языков!

Должен тебе сказать, что Юра уже более 12 месяцев в больнице. В конце 98-го он снова упал, сломал себе тазобедренный сустав и на правой ноге. После операции в апреле 1998 на левой ноге он теперь постоянно в горизонтальном положении, очень трудно может сделать несколько шагов.

В конце недели я собираюсь в Прагу его посетить, покажу и твое письмо, что-

бы его обрадовать. Посылаю тебе фотографию, которую засняла Мария, когда 29 октября я передал Юре в больнице диплом государственной награды, которую 28 октября я принял в пражском Кремле от президента Вацлава Гавела. <...>

В прошлом году я тоже немножко шлялся по миру, вместе с Марией мы побывали в Марокко, в местах, где мы с Юрой точно 52 года назад начинали свое африканское путешествие. Мне удалось заснять несколько фотографий точно на тех местах, где мы были тогда – парни 26, 27-летние. Уже неправда!

Вот, а теперь скажи, Леня, что происходит с этим огромным количеством твоих рукописей по истории 68 года. Когда будешь публиковать? Время не ждет, милый. В 10-ю годовщину 17 ноября появилось у нас по телевидению и в газетах много документов, включая, например, разговоры с Биляком (режиссер Милан Маришка должен был Биляку заплатить 2000 долларов за разговор!!!).

В связи с этим я много думал о тебе.

23 января придет на экраны первая часть ТВ сериала «Мир глазами H+Z» в 13 частях, все воскресенья до апреля. Над сериалом мы работали более двух лет.

Вот, Леня, отправляю я тебе и Неле самые лучшие пожелания здоровья и **везений** в новом веке. Твои Мирек и Мария.

(От руки): Уже много годов не писала на русском языке. Желаю самое лучшее. Мария ²¹.

О различии между психологией россиянина и среднеевропейца я задумался во время поездки в Германию. С немецкими приятелями в их машине мы неслись по прекрасному шоссе, разделяющему лежащую слева от нас германскую землю от раскинувшейся справа швейцарской территории. Сверни с шоссе налево – ты в одной стране, спустись направо – в другой. Спутники с восторгом говорили о том, как каждый раз, проезжая эти места, они сворачивают на швейцарскую территорию; в километре от дороги чудная деревушка, там сельское кафе, и можно выпить кружку особого местного пива. «Жаль, – сокрушались приятели, – что в твоём паспорте нет швейцарской визы». А что, спрашивал я, полиция деревни может потребовать мой паспорт? «Ты с ума сошел, – смеялись спутники, – здесь за сто километров не встретишь полицейского». Но кто-то может догадаться, что у меня нет визы и могут быть неприятности? «Ну что ты говоришь? Кому придет в голову вопрос, есть у тебя виза или нет! Сиди и пей пиво...» Я не понимал, почему в таком случае мы не можем свернуть к деревушке. Теперь немцы смотрели на меня с изумлением: «Но ты сам сказал, у тебя нет швейцарской визы. Нельзя же!»

Нельзя, даже если о твоём прегрешении никто не узнает, и это тебе ничем не грозит, тебе самому невозможно нарушить закон. На внутреннем запрете, как на фундаменте, для европейца стоит миропорядок и уважение к собственной личности.

Помню и поездку с Ганзелкой и Зикмундом из Иркутска до Красноярска, когда мы останавливали «Татры», углублялись в тайгу, находили место у ручья, разводили костер и готовили шашлыки, нанизывая кусочки мяса на очищенные ножом еловые ветки. Сколько хлама в тайге после туристов! Как будто с самолета над тайгой вываливают содержимое городских свалок. И хотя чехословацкие путешественники выбивались из графика, опаздывали к месту назначения, а там ждали люди, и я напоминал об этом, никто не спешил к машинам, пока все следы от привала не оказались в мешке, а мешок в кузове. Мешки выбросят на ближайшей свалке мусора. До сих пор вижу, как

Ганзелка, опустившись на корточки, сгребает ладонью застрявший в траве пепел от погашенного костра и движением руки выпрямляет траву, чтобы выглядела, как до нашего прихода. Хотя вокруг на три сотни километров ни души. Нельзя!

И все же мой опыт общения с чехами слишком фрагментарен, чтобы судить об их национальном характере. Могу сослаться на пражских психологов; по их наблюдениям, соплеменники не склонны выделяться, привлекать к себе внимание, демонстрировать образованность или мастерство, предпочитая роль осторожного, отчасти замкнутого, часто самолюбивого, но всегда неприметного индивида. У него свои отношения со временем. От чеха не услышишь: «Встретимся часа в три...», он скажет: «...в три часа пятнадцать минут»; и будет минута в минуту. И с этим ничего не поделаешь, чеха еще долго будет раздражать русская необязательность, а у русского будет вызывать усмешку чешская педантичность.

Я поймал себя на странном наблюдении. До 1990-х годов, в глухую пору «нормализации», сидя с друзьями в чешской пивной, я ни разу не слышал, чтобы соседи по столу говорили о политике, министрах, горячих новостях; власть долго демонстрировала равнодушие к тому, как люди к ней относятся, люди устали от несовпадения идеалов с действительностью, они теперь сосредоточились на заботах семьи. Только в семье человек важен не как налогоплательщик, а сам по себе, как личность, интересная окружению. Может быть, единственная невольная заслуга Кремля и пришедших к власти «здоровых сил» как раз была в том, что после Пражской весны они на двадцать лет вернули тогда активное чешское население обратно в семью, к традиционным ценностям. Что, впрочем, не помешало чехам и словакам, людям семейным, быть вместе с молодежью в 1989 году, в отвечавшей их национальному складу и психологии бескровной «бархатной революции».

Письмо М.Зикмунда в Москву (28 января 2002 г.)

Дорогой Леня, 2 января я получил твое письмо от 21.12.01 (до того числа тоже открытку из Непала и письмо с конца декабря 2000), большое тебе спасибо. В прошлых двух годах я снова шлялся по миру, посетил (третий раз) Шри-Ланку и Мальдивские острова, с Марией мы были в Иордании и Израиле, в августе 2001 я посетил на острове Тенерифе известного мореплавателя Тура Хейердала, до того еще я успел залететь в Калифорнию, чтобы сохранить огромный архив моего друга Эдуарда Ингриша (композитор, кинооператор, мореплаватель и т.д.). Мне удалось привезти более 1100 килограммов корреспонденций, фотографий, негативов, фильмов. <...>

*Теперь я подготавливаю рукопись книги вместе с двумя молодыми людьми Петером Хорким и Мирославом Наплава, с которыми побывал на Шри-Ланке и Мальдивах. В марте мы готовимся вместе с Марией в Египет, так что видно, что я еще не бросил – как мы говорим – *nehodil jsem ještě cestovatelskou hůl do žita...**

К сожалению, Юрий постоянно в пражской больнице, уже три года. Мне очень жаль, что я никаким способом ему не могу помочь... Мирек ²².

Есть деликатная тема, к которой трудно подступиться, и единственное, что я могу себе позволить, это поделиться разрозненными впечатлениями, сложить которые в цельную картину не берусь. Речь о том, какую роль в событиях 1968 года играли православная и католическая церкви, как в противостоянии проявляла себя, если проявляла, духовная культура двух родственных христианских народов.

В Новом Городе на Вышеградскую выходит монастырь «На Слованех». Его заложил в XIV веке король Карл IV, основатель этой части города; туристы толпятся у православной церкви Святых Кирилла и Мефодия, у иезуитской церкви Святого Игнаца (Игнатия), у церкви Девы Марии Снежной... Но что за чудо, монастырь! Над готическим зданием со стрельчатыми окнами и скульптурами святых, будто выломившихся сквозь камень, у всех на виду припавших спинами к наружным стенам, высоко на крыше сплелись две бетонные плоскости, острями восходящие к небу. Это две соперничающие ветви христианства, обреченные сосуществовать. Монастырь и был задуман ради единения католиков и православных. Навершие появилось за год до вторжения, когда мало кто предчувствовал, что к чехам и словакам их единовверцы скоро придут на танках.

Прямые участники конфликта с обеих сторон (высшие политические власти, дипломаты, генералы армии, сотрудники безопасности) в массе не были верующими, тем паче – воцерковленными людьми. Откуда взяться верующим в партийных и государственных структурах двух тоталитарных режимов, при господстве в обоих марксистской философии, когда занимать видные посты и продвигаться по службе могли только воинственные безбожники. Атеизм оставался принципиальной частью официальной идеологии и в Советском Союзе, и в Чехословакии, но в общественной жизни 1960-х годов, в массовом сознании реальное место церкви и паствы имело свои особенности.

У католической церкви Чехословакии с ее традиционным центром в Ватикане, юридически самостоятельном государстве, за двадцать лет «народной власти» еще не успела окрепнуть жесткая подчиненность новым партийным и государственным структурам, службам безопасности. Хотя там тоже преследовали священнослужителей, закрывали мужские и женские монастыри, отбирали их имущество, ограничивали поступления на богословские факультеты, запрещали церкви вести работу в новых жилых районах, тюрьмах, исправительных и социальных учреждениях, при всем этом католики не успели испытать столь затяжного разрушительного вмешательства государства в их конфессиональные дела, как это выпало православной церкви в Советском Союзе.

В Чехословакии с началом дубчековских реформ служители католической церкви (римско-католической и греко-католической) выражали полное доверие процессу демократизации. Подобно тому, как люди в черных сутанах, их иерархи были, по их словам, одним из источников морального и фактического сопротивления власти нацизма в период оккупации, «наиболее решительным социально-этическим крылом всего мирового христианства», во времена Пражской весны католики не только поддерживали власть, связывали с ней надежды, но за четыре месяца до вторжения войск требовали «исключения возможности любого давления внутри страны и из-за границы», отвергали «любое вмешательство извне, если бы даже оно исходило от друзей»²³.

Для Кремля Ватикан и католические проповедники в разных странах оставались опасными идеологическими противниками, которым благоволит США, тогда злейший враг СССР. Иерархов католической церкви подозревали в намерении создать вместе с другими церквями единый фронт против социалистического лагеря и мирового коммунистического движения. Эту свою нервную неприязнь к католической церкви, в том числе влиятельной чехо-

словацкой, советские партийные идеологи старались привить усталым от собственных бед и уже немногочисленным православным верующим, их пастырям.

Задача облегчалась тем, что в годы сталинских репрессий цвет Русской православной церкви был уничтожен или томился в лагерях, организованная церковная жизнь в стране почти прекратилась; только в разгар войны (1943 г.) власти воссоздали Московскую патриархию. Священников, многих из них, власти старались использовать как инструмент для осуществления своих послевоенных великодержавных устремлений.

Неудивительно, что в 1968 году находились священнослужители, искренне или не вполне, но публично поддерживавшие воинствующую политику властей.

Митрополит Иоанн (Ярославль): «Я внимательно слежу за событиями в Чехословакии и радуюсь тому, как вовремя пришли на помощь чехословацким друзьям, братьям по классу. Церковь солидарна с решением своего правительства...»

Архиепископ Палладий (Житомир): «К событиям в Чехословакии, вводу на ее территорию наших и союзных нам вооруженных сил я отношусь как к нормальному событию... Видимо, нам, духовенству, следует что-либо предпринять в этом направлении, как это делалось во времена венгерских событий».

Священник Сорока, настоятель церкви в городе Алексине (Тульская область): «Правильно поступило наше правительство, что выступило с инициативой о вводе войск в Чехословакию в целях ее спасения. Нельзя было дальше спокойно созерцать и ждать, пока Западная Германия двинет свои войска в Чехословакию...»²⁴

А что им, пастырям, оставалось делать в тоталитарной стране с общим низким религиозным уровнем населения? Власть угрожала их приходам, их мирянам, их церквям; возможно, безумной тяжести камень эти люди принимали на свою душу, чтобы отвести от храмов и паствы новые гонения. Так они оправдывали вторжение в Венгрию, так будут оправдывать ввод советских войск в Афганистан. Вопреки их истинному желанию, разрывая их души, с их языка слетают чуждые им, богопротивные слова, тем самым делая их самих страдальцами за веру.

Можно догадываться, почему Владимир Куроедов, председатель Совета по делам религий при Совете министров СССР, много позже местного партийного руководства сел писать донесение в ЦК КПСС о настроениях в церкви в связи с вводом войск. Он знал, что у Кремля не было и нет большого интереса к тому, что на самом деле думают о событиях загнанная русская церковь и прихожане.

В тот жаркий август, когда сыновья, упрощенно скажем – русских православных, оказались в танках на чужой земле, их отцам и матерям, людям по преимуществу деревенским, непонятно было, чего они там потеряли на этот раз. Или мало приходило похоронок после Будапешта? К чехам и словакам у них не было и быть не могло недобрых чувств, о них мало знали. По избам крестьяне стояли на коленях перед образами, перед горящими лампадами, уже не надеясь понять чуждое им, непонятное, но молясь во спасение душ.

А чешским крестьянам-католикам, поддержавшим пражских реформаторов, появление чужих войск принесло тревогу за собственных детей, призванных в армию и запертых в казармах, беспокойство за свои деревни, хозяйства, костелы, окруженные танками, за независимость страны, которой так долго добивались предки. Надо было вместе выживать, и это еще больше спланивало нацию. Люди понимали, убеждали себя, что понимают, разницу между политикой Кремля и настроением бесправной русской деревни, но это не избавляло от боли.

Встреча на дорогах Чехословакии «православных» (условно) танкистов и «католического» (условно) населения ломало традиционные представления о том, как это должно было бы выглядеть согласно устоявшимся церковным канонам; в этой истории у вторгшихся «православных» как-то не наблюдалось ожидаемой от них особой любви к ближнему и у «католиков» не замечено было традиционного, им приписываемого прагматизма, ориентации на деловой успех. Разделенные христиане в этом событии как будто обменялись психологией: во всеоружии, деловито выглядела пришедшая «православная» армия, а «католическое» население, толпясь на улицах, демонстрировало если не созерцательность, то, во всяком случае, бесспорную, часто молчаливую углубленность в себя. А когда люди начинали говорить, повторяли, как самое для их разумения непостижимое: «И все же, зачем вы пришли?»

Но это, конечно, не о церкви той и другой, а только о том, что способна с церковью и с людьми делать власть, когда она одержима глобальной, воинствующей, мессианской идеей и несет в мир хаос.

Фотографии к главе 12



Зденек Млынарж: «Реформаторское движение было разгромлено...И тогдашние руководители (в их числе был и я) не могут полностью снять с себя ответственность». 1991



В пражской больнице М.Зикмунд передает И. Ганзелке медаль «За заслуги перед Чешской республикой», которой наградила путешественников президент Вацлав Гавел. Прага, 28 октября 1999

Глава тринадцатая

«Больше нет чувства вины...»?

Ветеран войны в электричке: «Великая страна никого не держит силой...» Психический надлом российской армии в Чехословакии. «Они кто – нападающие “Динамо”?» «Я рад, что Юра не дожил до того, чтобы читать эти документы». Зачем чехам американский радар? В Злине у Мирека в 2007 году. Как прощались с Иржи Ганзелкой

9 мая 2003 года на перроне Киевского вокзала в праздничной Москве сажусь в пригородную электричку, тороплюсь к другу в Переделкино. Разглядываю попутчиков. Напротив две деревенские женщины; у их ног прикрытое газетой ведро. Справа от них мужчина в вельветовой куртке и в очках, за ним молодой священник в рясе. Слева от меня, у окна, женщина с ребенком и подвыпивший старичок в старомодном пиджачке, грудь в медалях, а справа девушка в берете и с глянцевым журналом в руках; журнал развернут под острым углом, обложки прикрывают изображения от посторонних глаз. Старичок с медалями, похоже, еще до моего появления пытался разговаривать соседей, но поддержки не находил. Наклоняется к ребенку, улыбается ему, но что-то в нем клокочет и требует выхода. Видимо, выпил недостаточно, чтобы говорить с самим собой. И теперь обрадован, уловив во мне готовность слушать.

– Нет, ты мне скажи, кто лучше воевал: мы или немцы?

Я уставился на его медали.

Он выдерживает паузу, заранее зная, что услышит в ответ.

– Мы же победили, – говорю я.

Старик этого ждал.

Обвел всех веселыми глазами, молча приглашая в свидетели.

– Тогда скажи! В сорок первом году немцы шли на восток по земле с нашим населением. Так? Там были рабочие и колхозники, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Все ненавидели фашистов и помогали, чем могли, своим, родной Красной Армии. Девчонки шли санитарками, медсестрами, связистками, подростки уходили в партизаны. Пускали под откос поезда. Все было против немцев! Земля горела под ногами. И по такой земле немцы шли от Бреста до Москвы три месяца.

Так? Нет, ты скажи – так?!

А мы воевали на своей территории. Везде наши люди, отдавали, кто что может. Кринку молока, кусок сала, вязаные носки. Сами несли, только войте, милые, гоните врага! Я видел старух, как они рыдали на развалинах. Была у нас и злость и ярость. Америка помогала, как могла: мы летали на ихних самолетах, ездили на ихних «бобиках» и «студебеккерах», ели их галеты, тушенку, яичный порошок. Все забыли! А сколько мы гнали немцев обратно, по той же дороге, до линии, откуда те в сорок первом начинали? Три года! Кто же лучше воевал?!

Вокруг нас собираются люди, прислушиваются. Деревенские женщины выпучили глаза, попутчик в куртке беспокойно поглядывает по сторонам, священник смотрит в пол, девушка делает вид, что не может оторваться от

журнала.

Старик между тем продолжает:

– Говорим, мы великая держава! Что русскому забава, то немцу смерть. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Союз нерушимый сплотила великая Русь. А позволь тебя спросить, это с какой стороны мы такие великие? Земли навалом? Поля, леса и горы? Тогда чего же едим венгерских цыплят, финское масло, польскую картошку? Такие великие, что прокормить себя не можем?

Все молча смотрят на старика.

– Или потому великие, что нас много?

Так до Китая и Индии нам пока далеко.

А, может, дело в природных богатствах? Нефть, газ, алмазы? Но за это спасибо Господу Богу, не мы то добро делали, оно нам досталось. В Саудовской Аравии, к примеру, той же нефти больше нашего. А великие мы, не они?

Старик повернулся к священнику:

– Или потому великие, что чище, честней, святей других?

Любим друг друга, все поголовно веруем, с утра до ночи молимся? Как Тибет и Ватикан?

Священник сидит невозмутим. Девушка еще ниже опускает голову в журнал.

Возле нас толпится уже половина вагона.

– Осталась атомная бомба. У кого есть – великий! Все силы на нее ушли, пояса подтянули. Тогда пиши – великий Пакистан, великая Северная Корея...

Старик разошелся:

– А теперь меня спросите, кто великая страна. Не бойтесь, ну?!

– И кто же? – помог старику попутчик в куртке.

– Я скажу. Великая никого не держит силой, не наводит страху на других. Где люди не боятся выйти на улицу, где старикам можно жить на пенсию, где нет беспризорных, а инвалиды не ходят по электричкам да по вагонам метро с протянутой рукой.

– Ну где ты, старик, такие страны видел?

– Есть такие. Швейцария! Новая Зеландия! Лихтенштейн!

Вот великие державы, храни их Господь. Вот бы кого догонять.

– Ну, это вы слишком, – нервничает мужчина в куртке. – Мы великий народ, и армия наша великая, свои сапоги скоро будем мыть в Индийском океане. Последний бросок на юг! Я сам читал.

Старик качает головой.

– Уже мыли, сколько раз... В Польше в пятьдесят шестом, в Чехословакии в шестьдесят восьмом, в Афганистане в восьмидесятом... Солдатские, кирзовые, на босу ногу.

– Почему на босу? – не понимает мужчина.

– Портянки пропили...

Старик молча достает из бокового кармана флягу, отвинчивает крышку, принимает несколько глотков и протягивает флягу всем, кто рядом. Желающих не находится. Он не настаивает, прячет флягу обратно. Деревенские

женщины шарят в ведре, достают старику пирожки и помидор. Кто-то протягивает на обрывке газеты вареное яйцо, по вагону ищут соль.

Старик ест с достоинством, ни на кого не обращая внимания. Поезд приближается к Переделкино. Я прощаюсь и прохожу в тамбур. За окнами проплывают зеленые поля, березняки, дачи горожан. Милая подмосковная Россия. В висках стучит в такт вагонным колесам: «великая, великая, великая... портянки про-пили, про-пили, про-пили...».

Дорога к писательским дачам идет мимо древнего (XVII в.) храма Преображения Господня и сельского кладбища среди лип и дубов. Удивительная, дышащая поэзией земля; здесь невозможны, не задерживаются, мелкие мысли, злобные помыслы, неискренние слова. Там холмик, под которым Борис Пастернак. Мне показывали старичка, поклонника поэта, который при жизни поэта с ним не встречался, смущался показаться навязчивым, но уже много лет в любое время года, хоть в проливной дождь, дважды в неделю приходит к могиле возложить цветы, убрать опавшие листья. Это его поклон русской литературе, духовному величию нации. Но его ровесник, старик-солдат в электричке, говорил вагону о другом, для него горьком, и как нужно зачерстветь, чтобы не уловить в словах подвыпившего человека обиду, хотя вряд ли он сам точно знает, на кого. Представляю, хочу представить, как же устал старый защитник Отечества, освободитель Европы, если из него ушла гордость гражданина лучшей в мире страны; она всегда в нем была, держала незадавшуюся жизнь. Открыть на все вокруг глаза, это как самому табуретку выбить у себя из-под ног на эшафоте.

В 1998 году, уже после распада СССР я двое суток трясся в кабине груженого углем грузовика по Памирскому тракту. Водитель, старый таджик-исмаилит из Хорога, центра Горного Бадахшана, всю дорогу молчал, попытки заговорить встречал с неприязнью, а на второй день, когда миновали высокогорный пыльный Мургаб, его прорвало: «Зачем вы украли у меня родину?!» Я ничего не понимал. «В Монголии, Китае, Афганистане меня спрашивали: «Откуда ты?» – «Из Советского Союза». «О, большая страна!» – смотрели с уважением. А теперь? «Из Горного Бадахшана...» – «Это что? Где? Ближе от чего?!»

С тех пор, как в XIII веке русские князья покорились кочевникам, пришедшим из глубин азиатского пространства, и стали вести свои обозы в их далекую столицу Каракорум, а потом в Сарай на Нижней Волге, столицу Золотой Орды, принимать из рук монгольских ханов ярлыки на свое княжение, таинственные пространства уже тогда возбуждали русских людей непонятной манящей широтой. Опьянение вдруг распахнувшимся миром три столетия лепило русский национальный характер; он приспособивался к незнакомой внешней среде, освобождался от трепета перед опасностями, был терпелив и непредсказуемо взрывчат, часто через край, в жестоких стычках или в веселом застолье. У русских князей появлялись жены-монголки из родовитых семей, от них пошли скуластенькие и слегка темнокожие наследники, среди русской знати и духовенства появлялись обращенные в христианство выходцы из монгольских (татарских) семей.

Не я один задумывался, в какой мере русская солдатская масса, пришедшая в Прагу, ощущала себя исторической частью России, ее армии.

С одной стороны, они потомки дружины Ермака, двинувшейся в XVI ве-

ке на восток за пушниной, приводя «под государеву руку» местные племена и роды, еще не успевшие сложиться в народности. За полвека русские люди закрепили за собой бассейны сибирских рек от Урала до Тихого океана; казаки, стрельцы, крестьяне рубили избы и брали в жены молодых аборигенок. Они стали предками особого типа русского сибирского населения, сохраненного до наших дней: людей славянского облика с суженными черными глазами, у которых мятежная русская душа уживается с азиатской созерцательностью, неспешностью, невозмутимостью. Новые ощущения входили в русский народный характер и рождали несовместные черты – от способности блоху подковать до непонятного европейцу разгильдяйства. Бескрайние пространства усиливали тягу к сближению племен и народностей; эту тягу одни назовут «собираанием земель», другие в ней увидят импульсы к новым экспансиям как к залогоу преуспевания государства. Их потомки в солдатской форме будут сидеть на броне танков, изумленно разглядывая Прагу, давая умствующим публицистам повод назвать их внезапное появление встречей Европы и Азии.

С другой стороны, в солдатах 1960-х годов не было ничего от амбиций русских воинов петровской и послепетровской России, особенно поры 1812 года, когда война была воистину народной и от их штыка бежали дотоле непобедимые полки Наполеона. Но после громких побед было и поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов; разгром от маленького островного государства надолго поколебал самомнение армии и надежду на успех, пока нет стимула всем миром защищать отечество. Наступательный дух возрождали большевики: с начала 1920-х годов в коминтерновских военных лагерях в Сибири готовили монгольские, китайские, корейские, тибетские, афганские, индийские, японские боевые отряды, способные в своих странах раздуть «пожар мировой революции». Это удалось только в кочевой Монголии. Приготовления и локальные войны на разных континентах, которые вел Советский Союз, для российского народа не были священными. Высочайшее чувство любви и самопожертвования всех охватило только при нападении гитлеровской Германии; у меня хранятся письма отца с фронта, и я знаю, о чем пишу.

А советских танкистов в Чехословакии в 1968 году что могло вдохновить, возвысить их души до состояния, которое в Отечественную войну приходило к людям само, не дожидаясь приказов, политбесед, трибуналов? Что надо «положить конец нарастающему кризису в братской стране»? Отвести в ней «угрозу социалистическим завоеваниям»? Сместить неугодных Кремлю Дубчека, Смирковского, Кригеля? Опередить чужие армии и вторгнуться в Чехословакию?

И свою жизнь отдать за это?

Я помню, как прилетел в Мозамбик важный партийный функционер. На собрании в посольстве он с гордостью говорил о том, что никогда еще в своей истории Россия не закреплялась так далеко от Кремля – на южных рубежах Африки. Мы добрались сюда, продолжал он, с военной техникой, военными советниками, гражданскими специалистами, и не намерены отступить. Мы пришли навсегда. «Отныне здесь южный форпост нашей Родины!» Его так распирали патриотизм, что не оставлял времени подумать, зачем русско-му мужику и его семье «форпост» на бедном чужом материке.

Никто не вправе упрекнуть безответных солдат, выполнявших приказ

командования. Они не ожидали, что чехословацкая армия не будет им ни в чем препятствовать, станет наблюдать за ними из казарм, и войска НАТО останутся на своих местах, не двигаясь, не собираясь с ними соперничать. И полумиллионная армия пяти стран с танками, артиллерией, авиацией, со всей своей боевой мощью, вторгшись в маленькую страну посреди Европы, к изумлению чехов и словаков и к полной растерянности российских солдат и офицеров, не имела представления, что в оккупированной стране делать дальше. Когда первое оцепенение прошло, их никто не боялся. Вспомним: люди смеялись над ними.

Такого психического надлома российская армия еще не знала.

С ним придется воевать в Афганистане и в Чечне, а там не чешский менталитет; войны нам принесут тысячи цинковых гробов и массу солдат, молодой цвет нации, покалеченный физически и психически.

В феврале 2003 года я прилетел в заснеженный Улан-Батор. С монгольскими приятелями Доржи и Очиром мы ехали в машине от аэропорта Буян-Ухаа по обледенелой дороге в город. Справа от дороги по белой степи брел караван верблюдов; на первом восседал монгол в традиционном халате (дэли) и в рыжей лисьей шапке с козырьком, опущенным на глаза. Покачиваясь, он что-то кричал в мобильный телефон и громко смеялся. Может быть, говорил с Парижем, Лондоном, Прагой – монгольские дети учатся в Европе везде. Колокольчики на мохнатых шеях издавали однотонные печальные звуки; какое-то время они проникали сквозь стекла и слегка заглушали радиоприемник. Но скоро мы обогнали караван. В машине шел неторопливый разговор, мы не вслушивались в проходящие фоном приглушенные радиоголоса. Вдруг слух уловил знакомое сочетание звуков, мгновение спустя оно повторилось, отчетливо складываясь в имя, такое неожиданное в монгольской степи. Сидя рядом с водителем, я потянулся к черной панели и крутанул рукоятку усилителя звука.

«...В субботу 15 февраля в возрасте 82 лет от эмболии легких в Праге умер Иржи Ганзелка, знаменитый чешский путешественник, писатель, кинодокументалист. С Мирославом Зикмундом он объехал весь мир. Они написали книги, которыми зачитывались целые поколения. Их киноархив до сих пор представляет огромную научную и художественную ценность...»

Разговор в машине смолк.

«...В 1968 году Ганзелка и Зикмунд выступили против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. На этом их путешествия закончились. У них отобрали заграничные паспорта. Следующие двадцать лет Ганзелка работал садовником, Зикмунд перебивался случайными заработками. Только после бархатной революции 1989 года их книги вернулись на полки библиотек. Но путешествия по Советскому Союзу Ганзелке и Зикмунду уже не завершить. И никогда не написать книгу, которой отдали столько сил. Хотя бы потому, что такой страны больше не существует...»

– Что с вами? – дергает меня за рукав Доржи. – Этих людей вы где-нибудь видели, нет? А книги читали, нет? У меня одна есть, про Африку. Могу дать, хотите, нет?

Это я теперь припоминаю, о чем спрашивал Доржи, а тогда не слышал.

Письмо М.Зикмунда из Злина в Москву (31 декабря 2003 г.)

Дорогой Леня, я тебе до сих пор должен ответ на твое письмо из Тегерана (без даты, с почтовой печаткой 17.4.02) – я постоянно столько занят, ведь хорошо знаешь. В позапрошлом году мы чуть-чуть в Каире не встретились! ¹ Приехали мы с Марией 1 апреля, побывали до 3 числа и снова перед отлетом с 12 до 14 апреля. Третий раз в жизни я посмотрел Луксор и Карнак и вспоминал Юрия и наш проход на юг, в Нубийскую пустыню.

*Может быть, ты не знаешь, что Юра уже не среди нас. Умер он 15 февраля, на другой день после моего дня рождения. Один из моих друзей мне написал, что Юра ждал со своим отходом сутки, чтобы мне не испортить радость... Три недели до того, 20 января, я последний раз его видел в больнице. Когда мы прощались, Юра первый раз в течение этих четырех лет, пробывших в горизонтальном положении, он жаловался: *Mirku, je to tady k zešilení* – здесь это – сойти с ума... Мне без него трудно, ты понимаешь, – вся активная жизнь связана с ним.*

И у меня были трудности: в прошлом году внезапная болезнь сердца – и потом осложнения. С тех пор я чувствую себя хорошо, но рисковать не решаюсь. Это тоже причина, почему я отказался выехать в будущем январе в Москву.

И причина, что я тебе сегодня пишу:

До ноября этого года проходила в синагоге в Пльзене (городе, где я родился) выставка, более 300 фотографий из наших путешествий, встретила она с большим отзывом в печати, радио и телевидении. В 2004 г. она пойдет в Национальную галерею в Братиславу и 2005 в Пражский кремль (Град) – под защитой президента республики. И теперь часть выставки организует чешский центр при посольстве Чехии в Москве. Приедут мои друзья, которые выставку организовали, Радек (Радослав) Кодера (знаменитый фотограф, который с десятка тысяч негативов очень умно выбрал эти 300) и Пржебек (Пржемысл) Ржепа. Организаторов я попросил, чтобы они тебе прислали приглашение на вернисаж – и тебя лично я очень прошу, чтобы ты выставку открыл от имени своих хороших друзей Юрия Ганзелки и Мирослава Зикмунда.

Обоим, Радеку и Ржимеку, я сказал, что ты был единственным из наших друзей в бывшем СССР, который с большим риском не боялся связи с нами в течение оккупации. Благодарен тебе вперед, желаю тебе и Неле всего хорошего... Привет от Марии. И еще вопрос: какая судьба твоих рукописей – когда будешь публиковать? Твой Мирек ².

Это была попытка: со всех сторон надвигались гигантские черно-белые фотографии, узнаваемые мгновения жизни, в том числе твоей жизни, и не промелькнувшие, как в кино, а остановленные, вплотную приближенные к тебе. Укрупненные лица прекрасно тебе знакомых, или кажется, что знакомых, а теперь, сорок лет спустя, возвращенных в твои зрачки. Сегодня моя дочь старше меня, каким я был тогда, в 1964 году на сибирском тракте Иркутск – Красноярск, когда по колено в болоте держал штативы и сменные объективы, помогая двум славным чехам, влюбленным в мою страну, искать удачную точку для съемки. Они сделали четыре тысячи фотографий для книги, обещавшей стать лучшей в их судьбе – путешествия по СССР.

Для книги, которую похоронил 1968 год.

Прежде, чем приступить к ней, они странствовали по Советскому Союзу четыре раза. Их впечатлений другим журналистам за глаза хватило бы для громких публикаций на многие годы. Но у них была слабость, властям непо-

нятная и потому непростительная. По складу ума исследователи, въедливые экономисты, многое на свете повидавшие, постоянно сравнивающие, они ничего не принимали не веру, не давали себя обмануть. Не любя они Россию так искренне, они бы смирились с тем, что где-то не успели побывать, но они чувствовали, как от них ждут откровения и все глубже погружались в материал. Еще одна поездка в Советский Союз (ее намечали на 1967-й или 1968-й год), и можно будет поставить точку.

Их замысел растоптали те самые танки, что были посланы усмирить – не восставших, не бунтующих – *думающих* иначе.

...На открытие выставки в Чешском культурном центре на улице Юлиуса Фучика пришло много людей. Книги путешественников хорошо знали. У фотографий вспоминали, спорили, перебивали друг друга, и я подумал, окажись здесь Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, для них это было бы возвращением в молодость.

Ко мне подошла женщина в шляпке.

– Знаете, в 1964 году я работала в котловане Братской ГЭС и была в клубе «Глобус» на встрече с Ганзелкой и Зикмундом. Вечер вел Фред Юсфин. Они были такие душевные, как родные. Их долго не отпускали, все хотели затащить их к себе в палатки, в щитовые дома, в общежитие. Они говорили, что им страшно хочется у всех побывать, никого не обидеть, но это станет возможным, когда мы научимся жить хотя бы две сотни лет. В моей жизни тот вечер – одно из самых счастливых воспоминаний.

...Накануне с заметкой о выставке я пришел в «Известия». К тому времени в редакции работали новые люди, моего поколения почти не осталось. На четвертом этаже в отделе культуры курит незнакомая сотрудница. Не дослушав, перебивает: – Как вы сказали их звать? ...Ну, и почему мы должны о них писать? Они кто? Солисты из группы «На-на»? Нападающие «Динамо»?

– Известные писатели, путешественники, – бормочу я.

Она изумляется:

– Известные! Да я слышу о них в первый раз!

И предлагает сделку:

– Хотите, возьмем как рекламу? Недорого.

Я выхожу из кабинета, спускаюсь на третий этаж, к руководству газеты. Мне везет, заместитель главного редактора читал книги путешественников, знает их имена. Безо всякого торга заметка появляется в газете к открытию выставки. К хранильнице русской культуры на четвертом этаже претензий у меня не было.

Какие претензии?

За окном январь 2004 года.

Рыночная Москва.

Под конец года от Мирослава Зикмунда пришло письмо. В нем оказался плотный лист бумаги. Развернув, я вздрогнул: как в старые времена, поверх страницы типографский оттиск двух имен, постоянный на всех их письмах, какие я получал в 1960-е и потом еще немного в 1970-е годы. Впоследствии, когда совместная работа приостановилась, появились оттиски с каждым именем в отдельности. На письмах Ганзелки – *ing. Jiří Hanzelka*, на письмах

Зикмунда – ing. Miroslav Zikmund. Но на листке этого письма, из XXI века, все было, как в первый раз, оба имени рядом: «ing. Jiří Hanzelka – ing. Miroslav Zikmund, Gottwaldov – Zlin, Pod nivami». На таких листах они оба писали письма, еще когда жили в одном городе на одной улице и когда в ходу были два названия города; к одному еще не привыкли, а от второго не хотели отвыкать.

Письмо М.Зикмунда в Москву (15 декабря 2004 г.)

Дорогой Леня, смотри, на какой бумаге я тебе сегодня пишу! Вынул ее из архива, надо было перечеркнуть только бывшее название города. Большое тебе спасибо за письмо (снова без даты!), которое мне передали лично мои друзья Радек и Пржемяк в феврале месяце вместе со всеми материалами. Я был очень доволен, что ты открыл выставку фотографий, в газете я видел и твой короткий привет, получил я и прекрасные снимки. Марии я передал твои приветы...

Тут нужно прервать письмо и пояснить, о чем пойдет речь дальше. В поездках по СССР Иржи Ганзелку и Мирослава Зикмунда всюду сопровождали сотрудники местных филиалов Академии наук, во всяком случае, они так представлялись. Эти люди, к ним приставленные, не отходили от гостей, предвосхищали их желания, были предельно услужливы. Каково же было изумление Мирослава Зикмунда, когда после смерти Иржи Ганзелки к нему в руки попали подробнейшие донесения их сопровождающих – в адрес ЦК КПСС, КГБ СССР, Академии наук СССР. Неожиданное участие в слежке сотрудников академии, иные с учеными званиями, их особенно задело.

...Тебе хорошо известно, как проходило наше путешествие по бывшему СССР. Но сейчас я снова чувствую себя обиженным – через 40 лет! Так называемые сотрудники Академии наук – они от Находки ни на один шаг не двинулись от нас, присутствовали при всех разговорах, хотя нам переводчиков нужно не было, приглашали нас в свои семьи, симулировали дружбу и уважение, – и потом отправляли, срочно! – подробные отчеты начальству КГБ. Какое лицемерие, притворство, двуличие – русский язык богат на такие свойства характера. Вот славная Академия наук, на каких научных фундаментах она стоит! Прости меня, Леня, за эти слова. С другой стороны, я рад, рад, что Юра не дождал до того, чтобы читать эти документы.

И еще: ты мне не ответил на вопрос из письма от 31.12.03 – какая судьба твоих рукописей – когда будешь публиковать. Ведь ты вложил столько энергии до твоих исследований, время спешит! Есть такие возможности без риска публиковать? – скажи, Леня. Желаю тебе всего хорошего, береги себя, привет Неле. Мирек³.

Конец XX столетия все смешал на карте бывшей Восточной Европы. У Москвы и раньше случались с соседями конфликты, в том числе вооруженные. Но в 1950-е годы находился хоть какой-то повод применять силу. В Чехословакии оправданного повода не было, и забытые, казалось, представления о «русской угрозе» теперь воскресали не в одной голове. Из опасения вызвать раздражение патрона в подвластных фактически странах, внутри блока, об этом не говорили вслух, но последствия были ожидаемы. Едва замерцала возможность, прибалты, венгры, поляки, чехи, словаки, румыны, болгары с облегчением устремились в европейские политические и военные союзы. Массовость и поспешность бегства из одного блока в другой выдавала их общий страх упустить момент, опоздать вырваться, уйти.

У чешских политиков, традиционно осторожных, любой напряженности избегающих, не было симпатий к альянсам, будь то Североатлантический пакт или Варшавский договор, оба военных союза чужды их национальному чувству. Но когда в 1999 году Чехия, не считаясь с российским неудовольствием, передоверила свою безопасность коллективным силам Европы, решение поддержало больше половины (60 процентов) населения. Как ни обидно это признать, но в массовом сознании, еще недавно абсолютно про-российском, они теперь уходили не «куда», а от «кого».

Можно сколько угодно изощряться в поисках неких скрытых мотивов, упрекать неблагодарных чешских политиков, но чехи знают, и мы сами знаем, что решающим для народа аргументом был застрявший в исторической памяти 1968-й год.

Массовый побег из зоны оказался удачным не только для вырвавшихся, их не вернули, он оказался поучительным для нас самих, граждан России, теперь имеющих возможность осознать, как ненадежен и зыбок любой искусственный монолит, при первых же нагрузках распадающийся.

Картина, разумеется, упрощена, не передает накала и драматизма событий, когда страны, для Москвы «братские», едва представилась возможность, стали торопливо покидать военный союз и державу, которая в них вкладывала, что могла, иногда в ущерб себе. Беглецы это помнили, были благодарны, но уже никакая сила не могла их остановить. Европа им виделась желанным берегом, где может вернуться к ним ощущение, в их судьбе важнейшее, большой страной не пережитое и ей непонятное: ощущение, что есть на свете уважительный к ним мир, где – по словам Томаша Масарика – «что ни Чех, то Человек»⁴. Этого, по их признаниям, им не хватало под патронатом СССР.

Первого мая 2004 года Вацлавская, Староместская, все площади Праги ликовали по случаю вступления Чехии в Европейский Союз, а самые нетерпеливые ринулись на своих машинах к границе с Германией и Австрией, чтобы пересечь их без паспортов и убедиться, что им теперь открыта вся Европа (их тогда вернули обратно, не все еще было готово для свободного, в любом месте, пересечения границ); люди радовались самой возможности ощутить себя в семье европейских народов с населением под полмиллиарда человек. Теперь на зеленом поле Европы два основных игрока – Евросоюз и Россия.

Было начало августа 2007 года, когда мы с Нелей приехали в Прагу и вечером гуляли по Вацлавской площади. Не доходя до памятника Святому Вацлаву, примкнули к группе английских туристов, их вела пожилая чешка-экскурсовод. У фотографий Яна Палаха и Яна Зайца, где всегда цветы и горящие свечи, она говорила о русских танках и двадцати годах оккупации, и по ее горечи видно было, что слова у нее не заимствованы из путеводителя, а подсказаны собственными чувствами. Когда женщина повела группу дальше, я пошел с ней рядом, мы разговорились. Говорит, училась в Союзе, но уже лет сорок там не была. «Знаете, я понимаю, что сегодняшняя Россия уже не СССР, а совсем другое государство. Но для моей памяти, простите, разницы нет».

Эти слова я вспоминал, думая о том, как разошлось чешское общество в спорах, нужно ли разрешать американцам создавать в Восточной Европе систему противоракетной обороны и к юго-западу от Праги строить радиолокационную станцию слежения, способную просматривать территорию Рос-

сии до Урала. Все смутилось в чешских душах. Они успели поверить, что больше нет для них российской угрозы, и чужая военная база только уязвляет их национальное чувство, и рискованно снова испытывать выдержку России: в случае угрозы от радара намечается перенацелить российские ракетные комплексы на станцию слежения в Чехии. А зачем малому народу быть жертвой несговорчивости двух держав? Чехи протестуют против намерения своих властей и требуют референдума. Очевидно общее желание предупредить беду, даже если ее вероятность мала. «Мы в своей истории довольно пострадали, давайте нам привыкнуть к покою...» – вот лейтмотив бесед с чехами, начинающими жить по своей воле.

Эмоции могут охватывать толпу, толпа способна возбудить массы. Но не с них спрос за безопасность государства. На то есть горстка лидеров, чтобы по воле народа, им доверивших власть, быть мудрыми в мыслях и профессиональными в делах. Когда природа возможного конфликта неясна, а ракетное нападение с любой стороны возможно, кажется логичным участвовать в системе, обещающей себе и своим соседям безопасность. Тем более если чешская станция слежения и польская ракетная база в связке станут звеном будущих международных систем безопасности.

В Праге чешский коллега вызвался прогуляться со мной по улице На Поржичи от отеля «Атлантик» до станции метро Флоренс, к центральному автовокзалу. Мы с женой собирались на пару дней к Мирославу Зикмунду, и я шел взять билеты до Злина. Коллега был родом из тех мест, где намечают строить станцию слежения, и мы весь путь говорили о радаре, посчитаются или не посчитаются чешские власти с неудовольствием России. Когда подошли к автовокзалу, приятель остановился:

– Не знаю, опасаться ли нам иранцев или северных корейцев, но ты должен знать, кто дал нам повод подумать об американской станции слежения или о чем-то другом, предупреждающем об опасности. От политиков правды не жди, а я тебе скажу, когда эта мысль в мою голову пришла первый раз. В августе шестьдесят восьмого, когда двое моих детей проснулись от грохота под окнами. Тебе это трудно понять. В стекла бил ослепительный свет. Дети прижимались ко мне и плакали. По ночной улице шли ваши танки. Тогда я подумал, что этот кошмар не должен повториться. Ты скажешь, вы теперь другая страна. Но чтобы все-все забыть, нужно время.

Утром 9 августа мы с Нелей едем автобусом в Злин к Мирославу Зикмунду. По дороге мне вспоминается разговор в их «Татре», в сибирской тайге в 1964 году.

– Иржи, – спрашивал я, – что тебе больше всего нравится в Миреке? Без какой черты нельзя его себе представить?

– Великая систематичность. Он увлеченно работает, забыв обо всем. А после работы может обо всем забыть, стать душой общества, развлекать друзей. Я так не могу.

– Иржи, ты когда-нибудь кривил душой?

– Никогда, если это сделаешь раз, уже пропал духовно. Я могу смотреть каждому в глаза, ни за какую строчку мне не стыдно. Бывало, где-то смолчал, сдержался, были такие обстоятельства. Но никогда не сказал и не сделал ничего против совести.

Подсаживаюсь к Миреку:

– Что тебе нравится в Иржи больше всего?

– Его открытость. Очень сходится с людьми и совершенно доверчив. Даже там, где не следовало бы или где его все равно не понимают.

Я сейчас слышу их голоса, глядя сквозь стекла автобуса на поля их милой родины. Мирослав и Мария обещали рассказать, как уходил из жизни Иржи Ганзелка.

Удивителен этот дом на вершине холма, в глубине фруктового сада. За сорок два года, прошедших с тех пор, как я был здесь первый раз, ничего не изменилось. Внутри все тот же музей этнографии, где стены снизу доверху в диковинных предметах, не меняющихся более полувека; от книг на подоконниках, на полу ощущение уюта, для гостей особенного, а хозяевам привычного.

Мирек, неужели тебе 88-й год?

Мария ставит на стол яблочный пирог, Мирослав разливает сливовицу собственного производства, ищет предлоги оттянуть тяжелый разговор.

– Знаешь, за год до поездки по Советскому Союзу, в 1961 году мы с Юрой попали в Новую Гвинею после того, как ее покинули голландцы. Это был последний день их власти. Издать книгу о стране удалось через сорок лет. Вот, посмотри. «Там-тамы времени. Мир, о котором вы думали, что он уже не существует». Прага, 2002 год. Это наша последняя книга, изданная при жизни Юры. Хорошо, что он успел увидеть...

А вот «Континент под Гималаями». Мы ее закончили в шестьдесят восьмом, в свет она вышла в шестьдесят девятом. В ней ни слова о политике, но авторы не признали ввод войск приглашением, и книги как будто не существовало. Ее выдавали по списку членам правительства, а остальной тираж, сто двадцать тысяч экземпляров, пылился в заброшенном амбаре. Можешь представить, что чувствовали мы оба, проходя мимо заколоченного амбара и видя в щели гору книг. Для властей это было шестьдесят тонн макулатуры, подлежащей уничтожению.

Ты знаешь, я очень... ценил – можно так сказать? Прости, я стал забывать русский. Я очень ценил Юрия. Его выдержка – есть такое выражение? – фантастическая. Я много раз был у него в больнице в Праге. Он лежал сначала в факультетской больнице Карлова университета на Карловой площади, потом в больнице на Виноградах. Передвигался с большими трудностями. Тогда я подумал, как у вас говорят – ирония судьбы? – он лежал по больницам три с половиной года. Это был точный срок нашего первого путешествия по Африке и Южной Америке, когда мы издали семь томов книг, их перевели на одиннадцать языков. Теперь Юрий знал, что из больниц ему уже не выйти⁵. Мирек принес пачку фотографий.

– Это мы, молодые, в Мексике. Вот Юрий, белозубый блондин, герой американского фильма! На улицах юные красавицы, отставая на три шага, ходили за ним гурьбой: «Рубио! Рубио!» Светлый, светловолосый! Я смеялся и завидовал... А когда в 1990 году мне пришлось лететь в Австралию без Юрия, в первый раз одному, можешь представить, что было на душе.

...А это снимок 25 октября 1999 года. Утром в Пражском Граде президент Гавел наградил нас обоим медалями «За заслуги перед Чешской Республикой». Я поспешил к Юрию, в больницу на Виноградах. Смотри, он стал на

ноги. Рассматривает медаль, улыбается. В клетчатой кофте и голубых больничных шароварах. Ну, думаю, пока радуется – жив!

Палата на четверых, ни телевизора, ни радио. Хотели перевезти в другую больницу, в лучшие условия. Не соглашался.

– Что же случилось, Мирек?

– Ты знаешь, трагедия шестьдесят восьмого была огромной нагрузкой на психику. Всем было стыдно за унижительные действия наших властей. Это не может представить, кто не пережил. Чтобы кормить семью, Иржи подрезал деревья на Петршине. Он работал в телогрейке, которую привез из Сибири. Потом свою кому-то отдал и пришел ко мне: «Мирко, у тебя сохранилась телогрейка?» Стал носить мою. А по ночам читал и писал. Со временем стал хуже видеть, ему оперировали глаза. Пришлось носить линзы, а техника была не так... можно сказать – авторитетна? – как сейчас. Когда не получалось с линзами, носил тяжелые очки, тринадцать или четырнадцать диоптрий. Без них не видел, терял ориентировку. Однажды в Седло упал, сломал тазобедренный сустав, с тех пор не выходил из больниц. Старался никого не огорчать, не вызывать к себе жалости. Набрасывался на газеты. С таким зрением! Не только я, все друзья, кто к нему приходил, были поражены, как он следит за событиями в мире.

...Слушаю Мирека, а перед глазами строчки старых писем:

«...Уже несколько лет у меня хроническое воспаление печени, последствия тропических заболеваний...» «Но только в апреле месяце узнали в больнице... что во время путешествий было у меня до десяти серьезных инфекционных заболеваний печени (желтухи), которые я, конечно, не лечил. Знаешь, что на пути работают, не лежат...» «Сейчас пустили домой и сказали: "лежать!" Но скажи, Ленька, разве это возможно?» «...И ты хорошо знаешь условия и положение. Тогда зачем я буду терять дальнейшее время в кровати?» «...Знаешь хорошо, как я проработал двадцать лет жизни. Отдал обществу буквально все. И сейчас уже десять лет изолирован от работы, бесспорно полезной, любимой, и на уровне, за который мне никогда стыдно не будет. Полная 1/3 активной жизни!!! Все знания, опыт, способности, горы материалов и двадцатью годами труда проверенная жажда служить обществу просто выброшены, и все. Кажется, уже недалеко время, когда придется распрощаться с моим домом, где я живу с детьми» «...Если это касалось бы только одной, случайно моей личной судьбы, ничего. Так в жизни бывает. Но это касается целых поколений прекрасных, плодотворных людей...»

– Примерно за шесть недель до смерти Юрия мы виделись в последний раз. Это было в больнице на Виноградах. Тогда впервые он сказал мне: «Мирко, так можно сойти с ума...» Это я услышал от него первый раз в жизни. В тот момент почувствовал: Юра, Юра, Юра... Но ничего не сказал, только: «Все будет хорошо...»

Последние годы с ним рядом была Ольга Кноблова, преданный, хороший друг. Она приходила в больницу каждый день, ухаживала, как за ребенком.

Ты хочешь знать, как хоронили Юрия.

Представь, я не был на похоронах!

В те дни, когда Юрий умирал в Праге, «скорая помощь» меня увезла в больницу. Сначала в Оломоуце, оттуда вернули в Злин. Была операция на сердце. Пятнадцатого февраля я лежал после операции, еще не пришел в се-

бя, как из Праги позвонил Юра младший: «Утром... папа умер...» Я не мог двигаться. С лучшим другом не сумел проститься. В Прагу выехала Мария. Говори, Мария, я переведу...

Мария сидела за столом, не шелохнувшись.

Оказалось, девятнадцатого февраля в Праге хоронили не только Иржи Ганзелку, но и Мирослава Горничека, легенду чешской сцены, любимого народом актера, комика, режиссера. Они умерли в один день, два самых тогда известных человека в республике. С Горничеком прощались в Национальном театре; тысячи пражан шли за катафалком. О печальном событии извещали газеты, радио, телевидение.

На прощании с Иржи Ганзелкой были двенадцать человек – только родственники и друзья семьи. Никого больше. Не было панихиды, речей, корреспондентов, никакой публичности. В ритуальном зале с люстрами, закрытыми черным крепом, на возвышении стоял гроб, внизу сидели пришедшие проститься.

Звучал Бах, любимый композитор Иржи Ганзелки.

Так решили Юрий и Ганна, дети Иржи.

– В Праге меня встретил молодой Ганзелка и повез к себе домой. Там была вся семья. Мы сели за стол. У меня с собой была бутылка сливовицы, я поставила бутылку на другой столик, рядом. Мы тихо разговаривали и где-то через час – взрыв! Разорвало бутылку со сливовицей. Какая-то мистика, у меня до сих пор все дрожит при воспоминании. На другой день мы ехали в крематорий. На постаменте стоял гроб, весь в больших красных розах. Я тоже привезла розы. Никто ничего не говорил, только играл орган. Иржи, вы знаете, любил играть на органе. Мы сидели внизу и молча слушали. Были семьи Юрия и Ганны, родственники, Ольга Кноблова, Мирослав Елинек (редактор «Млада фронта», старый друг семьи), Мирослав и Милена Галушковы, профессор Ирина Шикова... Мы не заметили, как гроб медленно поплыл во врата, исчез за шторкой. Молодой Юрий не объяснял, почему он не хотел прессы, много народа, прощальных речей. Все было скромно и достойно. Ольга переживала, что слишком скромно. А я сказала: «Юрко, ты все правильно сделал, когда я умру, хочу, чтобы все было так же».

– Урну с прахом Юрия захоронили на кладбище городка Тршебонь в Южной Чехии, рядом с могилой Ганны Ганзелковой (Ибсеровой), первой жены, матери его детей. Я приехал на могилу с друзьями из Злина. На камне было два слова: «Семья Ганзелкова».

Мы с Миреком выпили сливовицу.

– Это интересно, знаешь, я сейчас пишу о Суматре, мы были там в 1962 году, и мне все время кажется, что Юра сидит рядом со мной, мы продолжаем спорить над корректурой, и сотрудничество продолжается. Последняя книга Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда будет называться «Суматра: ловушка на экваторе»...

В дни, когда Иржи не стало, в Злин Мирославу пришло много сочувственных писем. Вот одно, с неразборчивой подписью. Возможно, от врача больницы, в которой умирал Иржи. «Ваш друг Юрий Ганзелка замечательный. Это было невозможно, но он собрался с последними силами и терпел, и ждал один день, – целый день! – чтобы не испортить вам день рождения...»

День рождения Мирослава был накануне, 14 февраля.

Фотографии к главе 13



Командующий союзными войсками в Чехословакии ген. Иван Павловский и командир 7-й воздушно-десантной дивизии ген. Лев Горелов (в центре) в начале 1980-х стали военными советниками в Афганистане...



В случае развертывания элементов ПРО в Чехии и Польше, со стороны России может последовать превентивный удар с применением ядерного оружия еще до того, как возникнет прямая угроза, предупредил начальник Генерального Штаба Вооруженных сил России генерал Юрий Балухевский («Известия», 21 января 2008 г.)

Послесловие

Непростительно долго я тянул с этой книгой, не мог себя заставить сесть за нее. Дело не только в житейских заботах, но я ловил себя на том, что испытывал облегчение каждый раз, когда появлялась причина повременить, отложить разбор бумаг и прослушивание массы кассет, снова наполнять комнату голосами людей, теперь все чаще этот мир покинувших. Все казалось, не хватает еще чьих-то воспоминаний, не все документы, какие хотелось, удалось раздобыть. Я был в смятении еще и потому, что время ставило новые вопросы, а ответов у меня не было. Приходила мысль не маяться, а издать книгой только воспоминания, хотя бы часть. Но если признаваться до конца, то дело, конечно, в другом. Историческая драма 1968 года рвет на части душу: гусеницы прошли по народу, к которому принадлежат дорогие мне люди, и нисколько не меньше – по моему собственному народу. Что взять за камертон – источник чистого точного звука?

Я часто теряюсь, пытаюсь сценку, увиденную в одной стране, мысленно представить в другой. Вот уличный эпизод в Москве перед моим отлетом в

Прагу в декабре 1991 года. Везде митингуют, спорят, заывают в новые партии; молодежь, интеллигентные по виду старики и старухи жаждут выговориться. Слов не разобрать, и каждый людской островок на бульваре, как театр пантомимы. Перед редакцией «Московских новостей» говорят о Ельцине: еврей он или не еврей? Старушка, судя по виду, деревенская, все порывается вмешаться, но ее перебивают. Она переводит глаза с одного говорящего на другого, зрочки ходят туда-сюда. Чувствуется, ей жаль бедного Ельцина. Она не знает, еврей он или не еврей, но пользуясь секундной в дискуссии паузой, врывается в центр и умоляющим голосом защищает Ельцина: «Может, он только... наполовину?!»

Это Пушкинская площадь в Москве.

А на Староместской площади в Праге, переходя от одной группы спорящих к другой, прислушиваясь к разговорам, я долго и безуспешно пытаюсь уловить ответ на вопрос, который возникает каждый раз, когда заходит речь о Пражской весне: почему все же чехи не сопротивлялись вторжению? Я слышал реплику туриста на Карловом мосту: «Понятно, как чехам удастся сохранять столько памятников. Они никогда не защищались, сразу отдавали город – австро-венграм, немцам, русским. Умели бы воевать, Прага была бы в развалинах, как Сталинград в 1944 году...»

Какие мы разные... Мы накроем ковровой бомбардировкой не то что чужие, а даже собственные города, под обломками будут тысячи людей, но мы ни вершка своей земли врагу не отдадим. Это традиционная шкала наших приоритетов. Когда я сказал об этом чешскому приятелю, он погрузился: «Никогда нам не понять друг друга. Вас много, вы можете себе позволить быть агрессивными, готовы воевать, не жалеть жизни. Вашу философию вам дала история и география. Чех даже подумать о таком не может; он ищет компромисс, хочет сохранять свои города, культуру, язык – свою нацию».

Я давно понял, что не бывает, скажу осторожнее – почти не бывает, спорных моментов между государствами, когда бы одна сторона была явно права, а другая столь же очевидно была неправой. Своя правота есть у каждой стороны, и надо думать не о том, как непременно одержать верх, а как обе правоты совместить с наименьшим ущербом для честолюбия каждой.

Москва, январь 2008 года.

Сию с приятелем в кафе на Тверской, смотрим утренние газеты. Первые полосы продолжают критику Чехии и Польши, членов НАТО, за их согласие разместить у себя элементы американской противоракетной обороны.

Мой приятель когда-то работал в Праге:

– Я всегда осуждал ввод войск в Чехословакию, до сих пор считаю это ошибкой. Но теперь, после того, как чехи, пусть символически, но участвовали в акции США против Югославии, когда послали своих солдат в Ирак, а теперь хотят строить американскую станцию слежения, они должны пересмотреть взгляд на события 1968 года. Разве у нас тогда не было права на защиту своих стратегических интересов? Или американцам можно, а нам нельзя? Знаешь, я даже рад, что чехи так себя повели. Они сняли камень с моей души. У меня больше нет перед ними чувства вины за 1968 год. Хватит! Мы больше никому ничего не должны. Нельзя великой России идти вперед с

головой, повернутой назад. Ты меня понимаешь?

Как не понять.

Все смешалось в когда-то возбужденных, а теперь усталых головах. Был единый лагерь, мы в нем главенствовали, всех кормили и защищали, а войска ввели потому, что так надо было, они сами нас просили. Ввели и ввели, у нас было на это право, мы их от немцев освободили. А будут станцию слежения у себя размещать, мы перенацелим на них наши ракеты. Пусть призадумаются. И не забывают, кто среди равных – старший. Такие вот мысли и чувствования.

Существует и другое восприятие. Узнавая из газет о том, как нехорошо – по мнению политиков – сегодня ведут себя страны-соседи, и Чехия в их числе, при этом наблюдая, как у нас крепнет культ силы, военной мощи, многие снова опасаются за возможные непредсказуемые действия властей. Не надо за прошлое каяться, все слова уже сказаны, лучше учиться слышать других, пусть малых, даже слабых, считаться с ними и стараться договариваться. Размеры земли у нас разные, но естество земли одинаково, не различить.

Мне эта психология ближе.

Письмо из Москвы в Злин Мирославу Зикмунду (15 февраля 2008 г.)

Дорогой Мирек, прости за мой запоздалый ответ на твои укоризненные вопросы в письмах от 11.01.2000, от 28.01.2002, от 31.12.2003, от 15.12.2004 – «когда будешь публиковать?» Молчание мне самому мучительно. Что-то мешало, сопротивлялось. Но ты меня доконал, я сдался, вот тебе, что у меня получилось. Обнимаю, твой Леня. Привет Марии от Нели и от меня.

P.S. Сегодня, 15 февраля 2008 года, ровно пять лет, как Иржи не с нами. Пусть эта книга будет и моей горстью земли к его холмику в Тршебони.

Примечания

Принятые сокращения:

USD – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.

Архив Института современной истории Академии наук Чешской Республики (Прага).

АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации.

РГАНИ – Российский государственный архив новейшей истории.

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории.

РГВА – Российский государственный военный архив

ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Примечания

Глава первая

¹ Некоторые замечания по вопросу подготовки военно-политической акции 21.VIII.68 г. (о вводе союзных войск в Чехословакию) [Текст]: [Отметка на документе: «Обнаружено в закрытом рабочем письменном столе Л.И.Брежнева при осмотре его рабочего кабинета в здании ЦК КПСС 12.XI/82 г.»] // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 6. Ед. хр. 776. Л. 128–144.

² *Ляховский А.А.* Операция «Байкал-79» // *Линия судьбы: Сб. статей, очерков, эссе.* М.: Собрание, 2007. С. 422.

³ Письмо А.Д.Марченко к Л.И.Шинкареву от 4 ноября 1989 г. Архив автора.

⁴ *Гордиевский О., Эндрю К.* КГБ: Разведывательные операции от Ленина до Горбачева. М.: Центрполиграф, 1999. С. 488.

⁵ Степан Васильевич Червоненко (1915–2003) – дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Чехословакии (1965–1973).

⁶ Подр. см.: *Марьина В.В.* Советский Союз и чехословацкий вопрос во время Второй мировой войны 1939–1945 гг. Кн. 1: 1939–1941 гг. М.: Индрик, 2007. 448 с.

⁷ РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 15. Л. 3–4.

Через три дня в адрес Наркомлегпрома СССР (С.Г.Лукина) и Наркомтекстиля СССР (А.Н.Косыгина) уйдет письмо председателя Экономсовета при СНК СССР А.И.Микояна о немедленном выделении НКВД «...за счет других потребителей для обеспечения интернированных офицеров и солдат чешского легиона бывш[ей] польской армии по 700 телогреек, ватных шаровар, комплектов нательного белья, кожаных ботинок, шапок-ушанок одеял, простынь».

⁸ Правильно: подполковнику.

⁹ РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 15. Л. 59.

¹⁰ Там же. Л. 318.

¹¹ Беседа Л.И.Шинкарева с П.И.Камбуловым 25 октября 1989 г. г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. Под именем Мохова в Праге находился Л.А.Михайлов, резидент НКВД в Чехословакии (1939–1941); он возглавлял канцелярию Генконсульства СССР. Выступая утром 22 июня 1941 г. по германскому радио, Й. Риббентроп назвал Мохова главой «русской разведывательной сети, которая простиралась над всем Протекторатом...» (См.: Военно-исторический архив. 2002. №1(25). С.125–131.)

¹² *Судоплатов П.А.* Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 –1950 годы. М.: Олма-Пресс, 1997. С. 180

¹³ Беседа Л.И.Шинкарева с П.И.Камбуловым 25 октября 1989 г.

¹⁴ В переговорах, проходивших 12–23 января 1941 г., участвовали с советской стороны Фитин и вице-консул в Стамбуле Вершанский (Василевский), с чехословацкой – Пика и Кумпошт. В Стамбуле Л.Свобода навестил чехословацкого разведчика Ф.Гиека (См.: Публ. историка В.Я.Кочика. http://nvo.ng.ru/spforces/2007-03-23/7_praga.html).

¹⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с П.И.Камбуловым 25 октября 1989 г.

¹⁶ *Свобода Л.* От Бузулука до Праги. М.: Воениздат, 1963. С. 115.

¹⁷ Проблемы Восточной Европы. Нью-Йорк, 1985. № 11–12. С. 177.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Млынаржем 3 марта 1989 г., г. Мюнхен: [Аудиозапись] – Архив автора.

²⁰ 20. Беседа Л.И.Шинкарева с М.В.Зимяниным 14 июня 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²¹ Там же.

²² Беседа Л.И.Шинкарева с А.М.Александровым-Агентовым 10 октября 1990 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²³ Беседа Л.И.Шинкарева с В.М.Кривошеевым 11 апреля 1990 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²⁴ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 639. Л. 13.

²⁵ Там же. Д. 322. Л. 15.

²⁶ Там же. Д. 432. Л. 7.

²⁷ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 6. Д. 233. Л. 2–3.

²⁸ Ивашутин Петр Иванович (1909–2002) – генерал армии, участник войны с Финляндией 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., первый заместитель председателя КГБ при Совете министров СССР (с 1954), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР и начальник Главного разведывательного управления (с 1963). Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

²⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом А.М.Майоровым 30 июля 1998 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. Фрагменты беседы опубликованы в газете «Известия» (1998. 21 авг.) и в книге: Майоров А.М. Вторжение. Чехословакия, 1968: Свидетельства командарма / Лит. запись В.Ведрашко. М.: Права человека, 1998. 350 с.

³⁰ Там же.

³¹ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1998 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

³² Беседа Л.И.Шинкарева с генералом А.М.Майоровым 30 июля 1968 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

³³ Беседа Л.И.Шинкарева с П.И.Камбуловым 25 октября 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

Глава вторая

³⁴ Полный текст радиообращения М. Зикмунда в гл. 7.

³⁵ Поездки И.Ганзелки и М.Зикмунда проходили под патронатом Академии наук СССР; в архивах сохранились отчеты официальных лиц, сопровождавших путешественников, адресованные ЦК КПСС, КГБ при Совете министров СССР, Академии наук, иногда еще и Генеральному штабу Вооруженных сил СССР.

³⁶ ЦА ФСБ РФ. Общий следственный фонд. «Дело по обвинению Колчака Александра Васильевича и др.». № Н-501. Т. 1. Л. 3. См. также публикацию текста документа: Шинкарев Л.И. Цеденбал и его время: В 2 т. Т. 2. М.: Собрание, 2006. С. 23.

³⁷ Цветков Ж. Мятеж, начавший гражданскую войну: Судьба чехословацкого корпуса в России // Родина. 2001. июнь (№ 6). С. 55–61.

³⁸ Там же.

³⁹ ЦА ФСБ. Общий следственный фонд. Д. Н-501. Т. 9. Л. 199. Отрывки из телеграммы

см.: Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. Иркутск, 1974. С. 158. См. также: Шинкарев Л.И. Цеденбал и его время. Т. 2. С. 22–23.

⁴⁰ Там же. С. 200.

⁴¹ Там же. ЦА ФСБ. Т. 1. Л. 51. См. также в статье: Шинкарев Л.И. «...Если я еще жива»: Неизвестные страницы иркутского заточения Александра Колчака и Анны Тимиревой // Известия. 1991. 18 окт.

⁴² Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой и М.Зикмундом 21 августа 1964 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴³ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 27 июля 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

⁴⁴ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 30 декабря 1964 г. из г. Готвальдов (Чехословакия). – Архив автора. Здесь и далее письма И. Ганзелки и М. Зикмунда приводятся по оригиналам, в транскрипции авторов писем.

⁴⁵ Здесь и далее фрагменты рукописи: Ганзелка И., Зикмунд М. Спецотчет № 4. 1964–1965 гг. [Текст]: Машинопись. Копия. – Архив автора.

⁴⁶ Г.Макин, А.Макаров, В.Демин – общественные деятели Иркутска; А.Чмыхало – красноярский писатель, автор романов об историческом прошлом Сибири.

⁴⁷ Иосиф Мацек – академик, в 1960-х годах директор Института истории чехословацкой Академии наук. В декабре 1968 г. правительство СССР направило правительству ЧССР протест, требуя изъять сборник из обращения и «привлечь к ответственности лиц, связанных с выходом его в свет» (подр. см. в гл.9.)

⁴⁸ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 22 июля 1965 г. из г. Праги (Чехословакия). – Архив автора.

⁴⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Зикмундом 30 октября 1990 года, г. Готвальдов (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора.

⁵⁰ Открытка с юмористическим изображением Праги, провожающей И.Ганзелку и М.Зикмунда в первое путешествие в 1947 г.

⁵¹ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 18 февраля 1966 г. из г. Готвальдов (Чехословакия).

⁵² Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 5 мая 1966 г. из г. Праги (Чехословакия).

⁵³ Письмо И.Ганзелки и М.Зикмунда к Л.И.Брежневу от 18 марта 1968 г. [Текст]: [Ксерокопия]. – Архив автора.

⁵⁴ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 7. Д. 56. Л. 3.

⁵⁵ Там же. Л. 6.

⁵⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с «полковником Петровым» 27 марта 1997 г., г. Москва. [Аудиозапись] – Архив автора.

⁵⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 27 июля 1989 г., г. Москва.

⁵⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с А.П. Капицей 15 августа 1990 г., г. Москва.

Глава третья

¹ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 6 января 1990 г., г. Прага (Чехословакия). [Аудиозапись] – Архив автора.

² USD. Sb. KV CSFR. D 11\ 6.

³ Беседа Л.И.Шинкарева с А.М. Александровым-Агентовым 4 июня 1991 г. Москва [Аудиозапись] – Архив автора.

⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с Б.Шимоном 2 августа 1998 г., г. Прага (Чехия). [Аудиозапись] – Архив автора.

⁵ USD. Sb.KV CSFR. D 11\ 6.

⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1989 г., г. Москва. [Аудиозапись] – Архив автора.

⁷ USD. Sb. KV CSFR. D 11\ 6. Между тем, 7 мая 1968 г. газета Práce комментировала ста-

тью из газеты Le Monde с заявлением генерала А.А.Епишева, якобы сказавшего на пленуме ЦК КПСС о том, что «группа верных коммунистов» обратится к СССР и другим странам Варшавского договора с просьбой о помощи в защите социализма в Чехословакии. Автор комментария выразил недоверие к этой информации. Согласно вашей конституции, пишет газета, за помощью мог бы обратиться президент по предложению правительства или Национального собрания. Военная интервенция была бы выражением авантюристической политики и «невероятно, чтобы какой-либо член такого ответственного органа, каким является ЦК КПСС, мог обсуждать такую возможность». Военная «помощь» неизбежно осложнила бы развитие социализма в Чехословакии и в мире. Поэтому утверждение Le Monde о генерале Епишове, заключает газета, «едва ли соответствует действительности». (АВП РФ. 138 А. Референтура по Чехословакии. Оп.49. Пер.17. П.148. Л.58). Как показали дальнейшие события, генерал Епишев проговорился о действительных намерениях ЦК КПСС и Министерства обороны.

⁸ USD. Sb. KV CSFR. D 11\ 25.

⁹ Там же.

¹⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом А.М.Майоровым 30 июля 1998 г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. См. также: *Майоров А.М.* Вторжение... С. 171.

¹¹ Беседа Л.И.Шинкарева с А.М.Александровым-Агентовым 4 июня 1991 г.

¹² Беседа Л.И.Шинкарева с К.Т.Мазуровым 12 августа 1989 г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

¹³ Беседа Л.И.Шинкарева с А.М.Александровым-Агентовым 4 июня 1991 г.

¹⁴ *Арбатов Г.А.* Мы в ведре «кипятили эпоху» // Воспоминания об Александре Бовине. Политик. Журналист. Дипломат. М.: Любимая Россия, 2006. С. 43. 71.

¹⁵ *Бовин А.* XX век как жизнь: Воспоминания. М.: Захаров, 2003. С. 171.

¹⁶ Там же. С. 183.

¹⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с А.М.Александровым-Агентовым 4 июня 1991 г.

¹⁸ Чазов Е. Здоровье и власть: Воспоминания «кремлевского врача». М.: Новости, 1992. С. 75. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

¹⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с К.Ф.Катушевым 25 июля 1998 г.

²⁰ USD. Sb. KV CSFR. D 11\ 27. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²¹ Беседа Л.И.Шинкарева с П.Е.Шелестом 14 марта 1991 г.

²² Там же.

²³ Там же.

²⁴ USD. Sb. KV CSFR. Z\SA\21.

²⁵ *Бовин А.* XX век как жизнь... С. 177.

²⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с Е.П.Бовиной 5 января 2005 г.

²⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Е.Бовиным 3 декабря 1991 г.

²⁸ Во время беседы с чехословацкой правительственной делегацией 9 июля 1947 г. об отношении к плану Маршалла и перспективах экономического сотрудничества с СССР Сталин призвал Готвальда и всю делегацию отказаться от участия в намеченной в Париже конференции 16 стран.

²⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с В.Кадлецом 8 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия).

³⁰ Шик О. Весеннее возрождение – иллюзии и действительность: Мемуары. М.: Прогресс, 1991. С. 164.

³¹ Цит. по: Лисичкин Г.С. Карл Маркс – злейший враг российских большевиков: Размышления о причинах кризиса в России. Минск, 1993. С. 20.

³² См.: Известия. 1966. № 49.

³³ Лисичкин Г.С. План и рынок. М.: Экономика, 1966. 96 с.

³⁴ Здесь и далее приводятся фрагменты расшифровки аудиозаписи: Беседа Л.И.Шинкарева с Г.С.Лисичкиным 27 ноября 2007 г., г. Дагомыс.

³⁵ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 322. Л. 3–28.

³⁶ Ядерная индустрия России: Сб. статей / Под ред. А.М.Петросьянца. М.: Энергоатомиздат, 2000. С. 576.

³⁷ Чапек К. Беседы с Т.Г.Масариком. М.: МИК, 2000. С. 243.

³⁸ Семенов Н.П. Тревожная Прага: Воспоминания советского вице-консула в Чехословакии 1968–1972 гг. М.: Международные отношения, 2004. С. 24, 25.

³⁹ Там же. С. 26.

⁴⁰ Речь о просьбе В.Демина передать академику И.Мацеку материалы для установления авторства гранитного бюста В.И.Ленина в Иркутске. Были основания предполагать, что это работа З.Майснера, ученика известного скульптора Яна Штурсы, из стрелкового полка имени Яна Гуса 1-й стрелковой дивизии легионеров, находившейся в 1920-х годах в Иркутске; версия не подтвердилась.

⁴¹ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 29 ноября 1967 г. из г. Праги (Чехословакия).

⁴² На Нивах – название улицы в Готвальдове (Злине), где на склоне холма находится дом М.Зикмунда.

⁴³ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 3 января 1968 г. из г. Готвальдов (Чехословакия). – Архив автора.

⁴⁴ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 20 мая 1968 г. из г. Праги (Чехословакия). – Архив автора.

⁴⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с В.Ф.Новокшеновым 22 августа 1968 г., г. Ангарск. [Аудиозапись] – Архив автора.

⁴⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с В.Ф.Новокшеновым 29 августа 1968 г.

⁴⁷ Там же. Об отношении интеллигенции к Пражской весне свидетельствует А.Бовин, в июле 1968 г. оказавшийся у академика П.Л.Капицы. «Капица сердится, стыдит меня: вот вы там рядом с начальством, неужели вы не можете твердо сказать – оставьте Прагу в покое, пусть делают “лицо”, которое хотят, нам бы о своем лице лучше позаботиться. Я тоже разозлился. А почему вы, ученые, молчите? Меня, моих друзей легко выгнать, мы заведем только словами. А вы и ваши друзья заведуете оружием. Капицу, Келдыша, Харитона не выгонишь. Так что же вы молчите? Судьба Сахарова смущает? Потому что вы обрекли его на одиночество, позволили измываться над ним...» (См.: Бовин А. XX век как жизнь... С. 199.)

Глава четвертая

¹ Семенов Н.П. Тревожная Прага... С. 140.

² Николай Викторович Подгорный (1903–1983) – политический деятель, работал на Украине, секретарь ЦК КПСС (1963–1965), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965–1977), член Политбюро ЦК КПСС, участник смещения Н.С.Хрущева, один из ближайших сподвижников Л.И.Брежнева, в том числе при подготовке вторжения в Чехословакию.

³ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В. Червоненко 13 сентября 1989 г.

⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с М.В.Зимяниным 14 июня 1991 г. Далее фрагменты этой же беседы.

⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Е.Бовиным 10 ноября 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

⁶ Речь о книге автора – «Путешествие по острову АЕ», изданной в Новосибирске в 1967 г., в ее основе поездка с И.Ганзелкой и М.Зикмундом от Ангары до Енисея в 1964 г.

⁷ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 5 июня 1968 г. из Праги (Чехословакия) в Иркутск. – Архив автора. Это письмо от Ганзелки окажется перед вторжением войск последним. Новые письма будут уже от другого Ганзелки – пражского безработного, садовника в садах на Петршине; его детям власти перекрыли путь в университет.

⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с П.Е.Шелестом 14 марта 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с А.М.Ямщиковым 14 ноября 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись]

– Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

¹⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1989 г.

¹¹ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора.

¹² Беседа Л.И.Шинкарева с М.В.Зимяниным 14 июня 1991 г.

¹³ Мысль о замене Новотного давно обсуждалась в кругах интеллигенции. Назывались разные имена... «И тогда я сказал: “А почему не Людвик Свобода? Генерал, Герой Советского Союза и Чехословакии, народ его уважает... Свобода не сразу понял, что ему предлагают. Дубчек объяснил, о чем речь. “Мы бы хотели, товарищ Свобода, чтобы ты ездил по стране, выступал перед рабочими и крестьянами, поддерживал нашу Программу действий”... Свобода был членом партии, но не публичным, не активным. Наверное, помнил, как ему говорил К.Готвальд: “Конечно, ты коммунист, товарищ Свобода, но в Национальном фронте для нас лучше указывать на тебя как на беспартийного”». (Беседа Л.И.Шинкарева с Л.Новаком 5 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись]. – Архив автора.

¹⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с З. Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г.

¹⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с Л. Новаком 5 мая 1991 г.

¹⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с З. Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г.

¹⁷ Здесь и далее по тексту фрагменты расшифровки записи: Беседа Л.И.Шинкарева с З.Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г.

¹⁸ *Фалин В.М.* Без скидок на обстоятельства. М.: Республика, 1999. С. 115.

¹⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с З. Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г.

²⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с П.И. Камбуловым 25 октября 1989 г.

²¹ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1989 г.

²² Там же.

²³ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Клусаковой (Свободовой) 11 мая 1991 г.

²⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с О.Черником 12 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия).

²⁵ *Млынарж З.* Холодом веет от Кремля. Нью-Йорк, 1988. С. 168.

²⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с О.Черником 12 мая 1991 г. Далее фрагменты этой же беседы.

²⁷ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 6 декабря 1990 г. в Иркутск. – Архив автора.

²⁸ Речь о книге: *Шинкарев Л.И.* Путешествие по острову АЕ. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. 272 с.

²⁹ Почтовая открытка М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 20 августа 1968 г. из Сплита в Иркутск. – Архив автора.

Глава пятая

¹ Беседа Л.И.Шинкарева с В.В.Нефедовым 10 августа 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

² Цит. по: *Кыров А.М.* Десантники в операции «Дунай»: (Советско-чехословацкие военно-политические отношения 1968 года). М., 1996. С. 6.

³ Как вспоминает начальник политотдела военно-транспортной авиадивизии полковник Н.Р.Карманов, «каждую ночь прилетали представители из ЦК, проверяли готовность. В самолеты одного полка мы загрузили легкие танки, второго – артиллерию, три полка должны были нести десант. 12 августа маршал Скрипка сообщил нам с комдивом время взлета и кодовую команду. Она могла поступить в любую минуту, а на носу был праздник – День авиации. А вдруг экипажи будут в “праздничном состоянии”? Тогда я потребовал от администрации близлежащих населенных пунктов запретить продавать крепкие спиртные напитки. Литовцы поступили иначе. В ста метрах от клуба находилась часовня, в ее подпол местными жителями был завезен запас водки. Сидим мы 17 августа в клубе на торжественном собрании, я смотрю, летчики по двое, по трое выходят куда-то и возвращаются уже нетвердой походкой. К вечеру в двух полках – все пьяные. Если бы тогда назначили боевой вылет – ни один бы самолет в воздух не поднялся, а нас с генералом Гладилиным (командир авиаци-

визии генерал В.Гладилин. – Л.Ш.) за невыполнение приказа расстреляли бы». (Челябинский рабочий. 1998. 15 авг.).

⁴ Беседа [по телефону] Л.И.Шинкарева с генералом Л.Н.Гореловым 25 марта 2008 г., г. Одесса: [Аудиозапись] – Архив автора.

⁵ Шинкарев Л. Это было в Праге: Три интервью – политика, военачальника, солдата – корреспонденту «Известий» о том, что происходило в чехословацкой столице 21 августа 1968 года // Известия. 1989. 19 авг. Публикация развела читателей. Из письма И.М.Трубчеева из Пскова: «Я считаю, что реформаторы в Праге онемечились и забыли, что чехословацкий народ – славянское племя, и то, что они устроили, было предательством дела славян, содружества Варшавского договора. Войска, не только советские, сообща пресекли это предательство...» Из письма инженера А.Стройковского: «Публикация “Известий” – первое мало-мальски объективное освещение событий 1968 года. Два интервью взяты у политика и военачальника, стоявших близко к прежней власти, и они, естественно, ни в чем не раскаиваются. Иное дело – прозревший ефрейтор Нефедов, участник выброшенного 21 августа в Прагу десанта, которому тогда внушали, что он послан спасти социализм в братской стране. Именно его взгляд на прошлое есть то новое, что позволяет считать публикацию проявлением современного мышления».

⁶ Письмо А.Курилова к Л.И. Шинкареву от 12 ноября 1989 г. из Запорожья. – Архив автора.

⁷ Там же.

⁸ Письмо Н.Успенского к Л.И.Шинкареву от 13 сентября 1991 г. Далее фрагменты из переписки с Н.Успенским 1991 –1992 гг.

⁹ Мне рассказывал генерал С.М.Золотов, член Военного совета и начальник Политотдела 38-й армии, как в Чопе один советский солдат пришел в отделение чехословацкой милиции и положил на стол свой автомат: «Я не понимаю, зачем мы сюда пришли». В то время, говорит Золотов, «это было для нас такой дикостью. Милиция пригласила советского офицера, он забрал оружие. Что с солдатом дальше было, не скажу, есть органы, которые такими делами занимаются. Слышал, что его отправили в СССР, скорей всего судили...». (Беседа Л.И.Шинкарева с генералом С.М.Золотовым 10 марта 1989 г., г.Москва: [Аудиозапись]. – Архив автора.

¹⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом А.А. Ляховским 24 марта 2008 г., г.Москва.

¹¹ Там же.

¹² Беседа Л.И.Шинкарева с капитаном Э.А.Медведевым 20 октября 1989 г., г. Москва. Далее фрагменты этой же беседы.

¹³ Sedm pražských dnů 21–27 srpen 1968; Documentace: Studijní materiál – pouze pro vnitřní potřebu. Vydáno v zari. Praha, 1968. S. 32.

¹⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с Л.Черным 6 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись]. – Архив автора.

Глава шестая

¹ Беседа Л.И.Шинкарева с К.Т.Мазуровым 15 августа 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

² Тезис К.Т. Мазурова и советских политологов, трактующих международную ситуацию к августу 1968 года как кульминацию «холодной войны», по оценкам чешских дипломатов, противоречит фактам. Мирослав Полрейх, работавший в МИД ЧССР на американском направлении, после шестидневной войны на Среднем Востоке, когда контакты между США и СССР фактически прекратились, по просьбе советской стороны выполнял роль посредника в переговорах между двумя державами. В результате удалось договориться о встрече Джонсона и Косыгина в Глассборо (23–25 июня 1967 г.), после чего в советско-американских отношениях наступил перелом. В июле 1968 г. ООН приняла совместный американско-советский проект договора по нераспространению ядерного оружия; обе державы согласились начать переговоры по всеохватывающему ограничению и снижению наступательных стратегических вооружений и противоракетной обороны.

Даже в то время, считает дипломат, «когда во внешней политике СССР преобладали

мотивы и цели с характерным для них субъективистским подходом к решению проблем, работали во внешнеполитических службах и в центрах теоретических исследований люди, способные оценивать развитие с акцентом на глобальные взаимосвязи и военное решение положения в Чехословакии ни в коем случае не поддерживали. Последствия августа 1968 г. приостановили интенсивное и положительное развитие международных отношений. Иронией истории является то, что внешнеполитическая служба ЧССР в период до августа 1968 г. внесла немаловажный вклад в положительное развитие международных отношений и августовские события стали тормозом такого развития». Письмо М.Полрейха в редакцию газеты «Известия» от 03.09.1989 г. в ответ на публикацию «Это было в Праге». – Архив автора.

³ Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. М.: Международные отношения, 1995. С. 265.

⁴ Там же. С. 265–266.

⁵ Беседа Л.И. Шинкарева с генералом И.Г.Павловским 15 мая 1989 г. Далее фрагменты этой беседы.

⁶ О чрезвычайной редкости фигуры бунтаря в советском (российском) высшем военном сообществе свидетельствует история генерала П.Г.Григоренко, участника Отечественной войны, известного деятеля правозащитного движения в СССР, автора ряда исторических и публицистических работ, в 1964 году насильственно помещенного в психиатрическую больницу за критику ошибок Хрущева. Генерал выступал против вторжения советских войск в Чехословакию. В 1969 году был вторично насильственно помещен в психиатрическую больницу. Освобожден под давлением мировой общественности (1974), стал членом Московской Хельсинской группы, в 1977 г. выехал с женой в США на встречу с сыном, покинувшим СССР раньше. Умер в США после тяжелой болезни в 1987 году.

⁷ Генерал И.Г.Павловский умер в 1999 году в возрасте 90 лет, похоронен в Москве.

⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом С.И. Радзиевским 14 ноября 1995 г., г. Москва. Далее фрагменты этой же беседы.

⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом А.М.Майоровым 30 июля 1998 г. См. примеч. 29 к главе 1.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. Генерал А.М.Майоров умер в 2008 г. в Москве.

¹² Беседа Л.И.Шинкарева с генералом Б.П.Ивановым 17 сентября 1990 г. Далее фрагменты этой же беседы.

¹³ РГАНИ. Ф. 89. Пер. 61. Док. 6. Л. 132–133.

¹⁴ Письмо городского совета Брно генералу Б.П.Иванову от 22 августа 1968 г. [Текст]: Копия. – Архив автора.

¹⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом Н.И.Левченко 12 мая 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

¹⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом М.Я.Сухаревым 19 марта 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

¹⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом Н.И.Левченко 12 мая 1989 г.

Глава седьмая

¹⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с М.Г.Стуруа 16 декабря 2007 г. [Аудиозапись]. – Архив автора.

¹⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Гаеком 2 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия). Далее фрагменты этой же беседы.

²⁰ РГАНИ. Ф. 89. Пер. 61. Док. 6. Л. 137–138.

²¹ Письмо И.Гаека в сокращении опубликовано 15 сентября 1989 г. газетой «Известия» в рубрике «Резонанс» по материалу «Это было в Праге».

²² Там же.

²³ Беседа Л.И.Шинкарева с Я.Петранеком 5 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора.

²⁴ См.: Известия. 1968. 3 сент. (№ 207).

²⁵ Архив «Известий» (без сигнатуры). Опубликовано также в материалах Самиздата, 16 т. Собр. 1968 г., АС-1056 «Четыре письма в различные инстанции по поводу клеветнической кампании против Министра иностранных дел ЧССР Иржи Гаека и анонимный комментарий к этим письмам (без даты), сентябрь-декабрь 1968 г.».

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

²⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Гаеком 2 февраля 1990 г.

²⁹ Автор благодарит сотрудников международной правозащитной организации «Мемориал», позволивших использовать собранный ими материал до выхода в свет «Словаря диссидентов Центральной и Восточной Европы».

³⁰ Андрей Андреевич Громыко (1909–1989) – государственный и политический деятель. В 1968 г. министр иностранных дел СССР.

³¹ Гаек И. «Оставаться людьми»/ Беседа вел Л.Шинкарев // Известия. 1991. 30 мая (№ 128).

³² Беседа Л.И.Шинкарева с З.Форманеком 13 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

³³ В 1960-х годах управление национальной безопасности было подразделением Министерства внутренних дел Чехословакии (министр И.Павел).

³⁴ Sedm pražských dnů 21–27 srpen 1968... S. 190.

³⁵ РГАНИ. Ф. 89. Пер. 61. Док. 6. Л. 137–138.

³⁶ Práce. 1968. 21 авг.

³⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с В.Шилганом 7 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия). Далее фрагменты этой же беседы.

³⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с М.Зикмундом 3 октября 1990 г., г. Злин (Чехословакия).

³⁹ Радиообращение Зикмунда к своим советским друзьям от 25 августа 1968 г.: копия записи. На чешском языке опубликована в местной (г. Готвальдов) газете Naše pravda 26 августа 1968 г. Публикуется с минимальными сокращениями.

Глава восьмая

¹ Бовин А.Е. XX век как жизнь... С. 192.

² Фучик Ю. Избранное. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 323.

³ Там же. С. 449.

⁴ Запись Г.Фучиковой в блокнот Л.И.Шинкарева от 12 января 1966 г., г. Прага.

⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1989 г.

⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Млынаржем 16 декабря 1989 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора. См. также: Млынарж З. Холодом веет от Кремля. С. 168.

⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с С.В.Червоненко 13 сентября 1989 г.

⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с Й.Ленартом 10 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора. Далее фрагменты этой же беседы.

⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Е.Бовиным 3 декабря 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

¹⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Н.Яковлевым 14 ноября 1998 г. Далее фрагменты этой же беседы.

¹¹ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом Л.Н.Гореловым 25 марта 2008 г.

¹² РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 57. Л. 1. Стенограмма переговоров тт. Брежнева Л.И., Косыгина А.Н., Подгорного Н.В., Воронова Г.И. с тт. Дубчеком и Черником 23 августа 1968 г.

¹³ Там же. Л. 28–29.

¹⁴ Там же. Л. 17.

¹⁵ Там же. Л. 27.

¹⁶ Там же. Л. 29.

¹⁷ Там же. Л. 41, 45.

¹⁸ Чазов Е. Здоровье и власть... С. 74

¹⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с Г.А.Арбатовым 12 апреля 2005 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с Г.И.Вороновым 21 ноября 1979 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

²¹ Стенограмма переговоров тт. Брежнева Л.И., Косыгина А.Н., Подгорного Н.В., Воронова Г.И. с тт. Смрковским, Шпачеком и Шимоном 24 августа 1968 г. [Текст] // РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 58. Л. 1–42.

²² Беседа Л.И.Шинкарева с Б.Шимоном 5 августа 1998 г., г. Прага (Чехия): [Аудиозапись] – Архив автора.

²³ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 297. Л. 18–19.

²⁴ Там же. Л. 19.

²⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с Л.Новаком 8 мая 1991 г.

²⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с Г.И.Вороновым 21 ноября 1979 г.

²⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с О.Черником 12 мая 1991 г.

²⁸ Стенограмма переговоров тт. Брежнева Л.И., Косыгина А.Н., Подгорного Н.В., Воронова Г.И. с тт. Смрковским, Шпачеком и Шимоном. 24 августа 1968 г. // РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 58. Л. 2.

²⁹ Там же. Л. 4–5.

³⁰ Письмо д-ра А.Хонек (А.Нопек) в правительственную Комиссию по анализу событий 1967–1970 гг. чехословацкой Академии наук от 25.07.1991 г. [Текст]: Ксерокопия. Архив автора.

³¹ Беседа Л.И.Шинкарева с О.Черником 12 мая 1991 г.

³² Там же.

³³ Выступление председателя правительства О.Черника на встрече с гл. редакторами газет 28 августа 1968 г. в Зволене [текст] // АВП РФ. 138 – А. Референтура по Чехословакии. Оп. 49. Пор. 17. П.148. Л.150-151.

³⁴ На той же встрече с редакторами газет появился президент Свобода. На вопрос, что следовало бы писать о СССР и других социалистических странах, он ответил, что «лучше всего о них не писать ничего, ни положительного, ни отрицательного, игнорировать их». Он сказал также, что никто не будет арестовывать людей, но предупредил о присутствии в стране сотрудников НКВД и рекомендовал активистам Пражской весны пока скрываться. Президент говорил это в присутствии советских офицеров.

³⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с Л.Новаком 8 мая 1991 г.

³⁶ Стенограмма переговоров тт. Брежнева Л.И., Косыгина А.Н., Подгорного Н.В., Воронова Г.И. с тт. Смрковским, Шпачеком и Шимоном. 24 августа 1968 г. // РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 58. Л. 2.

³⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с Й.Ленартом 10 мая 1991 г.

³⁸ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 28 июля 1989 г. – Архив автора.

³⁹ Шик О. Весеннее возрождение – иллюзии и действительность... М., 1991. С. 293.

⁴⁰ Каплан К. Советские советники в Чехословакии в 1949–1956 гг. // Проблемы Восточной Европы. Нью-Йорк, 1985. № 11–12. С. 72.

⁴¹ Там же. С. 42.

Министр национальной безопасности ЧССР Л.Копршива вспоминает, как прибывший из Москвы старший советник В.Боярский в начале 1950-х годов добился согласия Готвальда на создание в министерстве специального антиссионистского отдела. (Там же. С. 46).

⁴² Запись беседы члена редколлегии «Правды», редактора по отделу социалистических стран А.Луковца с членом Президиума ЦК КПЧ, главным редактором газеты «Правда» 20 мая 1968 г. в Праге [Текст] // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 26. Л. 7.

⁴³ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ванчурой 11 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с Р.Криегловой 13 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴⁵ *Млынарж* З. Холодом веет от Кремля. С. 175.

⁴⁶ Дуэль (газета). 1998. 4 авг. (№ 24(71))

⁴⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Сынеком 7 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Шедивым 7 мая 1991 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴⁹ Bilak Vasil. Milníky mōjho žívota: Воспоминания [Текст]: Рукопись, копия. – Архив автора.

⁵⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с О.Черником 12 мая 1991 г.

⁵¹ Václav Havel. Přemýšlení o Františkovi K. MUDr. František Kriegel. 10.4.1908 – 3.12.1979. Praha, 1990. S. 3–10.

⁵² Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 24 июля 1987 г., д. Седло (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора.

⁵³ Беседа Л.И.Шинкарева с П.Е.Шелестом 14 марта 1991 г.

⁵⁴ Там же.

Глава девятая

¹ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 233. Л. 6.

² Беседа по телефону Л.И.Шинкарева с В.Зорзой, находившимся в Лондоне, 10 октября 1990 г.

³ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 233. Л. 7–12. Далее приводятся фрагменты этого же письма.

⁴ В демонстрации на Красной площади участвовали К.И.Бабицкий, Л.И.Богораз, Н.Е.Горбаневская, В.И.Делоне, В.А.Дремлюга, П.М.Литвинов, В.И.Файнберг. С ними вышла также 20-летняя студентка Н.Баева, но в руках у нее не было плаката, и в отделении милиции участники демонстрации уговорили ее сказать, что у Лобного места она оказалась случайно.

⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с Л.И.Богораз 10 августа 1998 г. Далее фрагменты этой же записи. См. также публикацию в «Известиях» (1998. 21 авг.).

⁶ Даниэль Ю.М. «Я все сбиваюсь на литературу...»: Письма из заключения. Стихи / Сост. А.Ю.Даниэль. М.: Звенья, 2000. С. 669.

⁷ Письмо Э.Леонтьева Л.И.Шинкареву от 03 апреля 2007 г. из Иркутска. – Архив автора.

⁸ РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 32. Л. 58. Далее фрагменты этого же документа.

⁹ Информация об откликах трудящихся гор. Москвы в связи с положением в Чехословакии [Текст]. – Секретно // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 1. Л. 106–110.

¹⁰ Информация об организаторской и политической работе Московской городской партийной организации по разъяснению среди трудящихся сообщения ТАСС от 22 августа 1968 года и материалов, опубликованных в газете «Правда» [Текст] // Там же. С. 112–116.

¹¹ Сообщение Министерства охраны общественного порядка СССР от 26 августа 1968 г. [Текст]. – Секретно // Там же. Д. 233.

¹² Сводка отдела писем «Литературной газеты» от 29 ноября 1968 г. [Текст]. – Секретно // Там же. Д. 60. С. 264–269.

¹³ Письмо В.Урина секретарю ЦК КПСС П.Н.Демичеву от 23 сентября 1968 г. [Текст] // Там же.

«Литературная газета» подготовила «Открытое письмо писателям Чехословакии», но согласие ЦК КПСС на публикацию задерживалось. А.Чаковский 17.10.1968 г. обращается к П.Н.Демичеву с просьбой ускорить рассмотрение вопроса, поскольку «буржуазная пропаганда на все лады перепевает утверждение о том, что советские писатели не поддерживают действия Советского Союза в Чехословакии и находятся в оппозиции к ним». Чаковский ссылается на московского корреспондента «Вашингтон пост» Шуба, который сообщает, что «до сих пор одобрительно об оккупации Чехословакии открыто высказались только Шолохов, химик Несмеянов и секретариат Союза художников». Шуб утверждает, что бессмысленно «добиваться одобрительных заявлений по поводу оккупации от таких прогрессивных

писателей, как Солженицын, Аксенов, или ученых, как Капица, Сахаров, Либерман или Конторович... Два влиятельных члена Союза писателей А.Твардовский и Л.Леонов наотрез, пишет Шуб, отказались подписать заявление партийного актива относительно оккупации. Композиторы Кабалевский и Щедрин, несмотря на оказанное на них давление, тоже отказались подписать заявление. Театральные деятели и ученые, судя по всему, тоже не поддаются давлению со стороны партии». Если у ЦК нет особых, неизвестных мне соображений против напечатания письма, пишет Чаковский, я полагал бы необходимым опубликовать его в следующем номере «Литературной газеты». Дальнейшая задержка превратит это письмо в неэффективный документ для «размахивания после драки».

См.: Открытое письмо писателям Чехословакии // Литературная газета. 1968. 23 окт. «Ответ т. Урину дан», сообщат 4 ноября 1968 г. руководству сотрудники ЦК КПСС А.Дмитрюк и Ю.Мелентьев.

¹⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с Ю.Д.Левитанским 3 мая 1993 г. Фрагменты опубликованы в «Известиях» (2001. 21 мая).

¹⁵ Знамя. 2003. №10. С.143.

¹⁶ Беседа Л.И. Шинкарева с В.М.Кривошеевым 8 ноября 2004 г.

¹⁷ Семенов Н.П. Тревожная Прага... С.150.

¹⁸ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Н.Яковлевым 14 ноября 1998. г. Далее приводятся фрагменты этой же беседы.

¹⁹ «Белая книга» – вышедший в Москве сборник статей, направленных против реформаторов и Пражской весны: К событиям в Чехословакии: Факты, документы, свидетельства прессы и очевидцев. М., Пресс-группа советских журналистов, 1968. 160 с.

²⁰ Sedm pražských dnů 21–27 srpen 1968... Этот сборник материалов, подготовленный Институтом истории Чехословацкой академии наук в сентябре 1968 г., по замыслу составителей предназначен «только для внутреннего пользования». В нем собраны личные свидетельства и официальные документы о первых днях оккупации, созданные по горячим следам событий. Книга тотчас была издана в Москве издательством «Прогресс» для узкого круга лиц. Из предисловия к русскому переводу: «...издание имеет антисоветскую направленность и, по-видимому, подготавливалось в большой спешке, отпечатано на ротопринте, изобилует небрежными и противоречивыми формулировками, содержит полиграфический брак». На самом деле книга – высший класс чехословацкой журналистики второй половины XX в.

²¹ Как следует из секретной записки В.Кузнецова и К. Русакова в ЦК КПСС, во время советско-чехословацких переговоров в Киеве 7-8 декабря с.г. внимание чехословацких руководителей было обращено на то, что в Чехословакии издан и распространяется сборник «Семь пражских дней...», получивший известность как «Черная книга». «Этот сборник имеет ярко выраженный антисоветский характер и используется для разжигания националистического психоза внутри страны и враждебной антисоветской пропаганды за рубежом. До настоящего времени чехословацкие руководители не приняли мер по изъятию из обращения «Черной книги» и привлечению к ответственности лиц, издавших ее. Распространение указанного сборника продолжается. Отдел ЦК КПСС и МИД СССР считают целесообразным заявить правительству ЧССР официальный протест по поводу издания и распространения «Черной книги», направив соответствующую ноту через посольство в Праге с требованием изъятия книги из обращения и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее составлению».

²² Нота Советского правительства правительству ЧССР [Текст]. – Секретно // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 23. Л. 6–7.

²³ РГАНИ. Ф. 5. Оп. 67. Д. 949. Л. 3.

²⁴ Млынарж З. Холодом веет от Кремля. С. 279.

²⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 27 июля 1989 г., г. Москва.

²⁶ Стенограмма переговоров тт. Брежнева Л.И., Косыгина А.Н., Подгорного Н.В. с Л.Свободой 23 августа 1968 г. в Москве [Текст] // РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 57. Л. 82.

²⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 27 июля 1989 г.

²⁸ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 2 февраля 1969 г. [Почтовая открытка из

Коломбо (Цейлон) в Иркутск]. – Архив автора.

²⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с М.Зикмундом 3 октября 1990 г., г. Злин (Чехословакия).

³⁰ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 10 января 1972 г. [из Праги в Иркутск]. – Архив автора.

³¹ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом С.М.Золотовым 10 марта 1989 г., Москва.

Глава десятая

¹ РГАНИ. Ф. 89. Пер. 38. Док. 62. Л. 1–3.

² *Млынарж З.* Холодом веет от Кремля. С. 279.

³ Беседа Л.И.Шинкарева с Э.Гореловой 6 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия).

⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с Я.Петранекком 5 февраля 1990 г.

⁵ Беседа Л.И.Шинкарева с д-ром З.Кмуничковой 3 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия).

⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с д-ром Я.Черным 4 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия).

⁷ Справка о реализации предложений по совершенствованию информационно-идеологической работы в связи с событиями в Чехословакии [Текст] // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 19. Л. 201–203.

⁸ Vondrová J., Navrátil J. Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967–1970. Září 1968– květen 1970. Praha; Brno, 1997. S. 260–261.

⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с д-ром Я.Черным 4 февраля 1990 г. Доцент Черный тайно вынес из клиники записи о Палахе, в тетрадях и магнитофонные, спрятал в доме отца в небольшом чешском городке. И запретил детям участвовать в политических акциях, чтобы не дать повода для обысков дома. В 1970 году доктора, как многих, исключили из партии, лишили преподавательской работы, медицинской практики в государственных клиниках. После всего, что пришлось пережить, он был уверен, что никогда больше его язык не повернется произносить русские слова, и он швырнул русско-чешский словарь в горящий камин. «Грех, конечно, книги не виноваты, но так было», – говорил Я.Черный.

¹⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с Я.Петранекком 5 февраля 1990 г.

Глава одиннадцатая

¹ «Семь писем из Праги»: Письма чешского интеллигента, отправленные им своему другу на Западе в декабре 1973 – феврале 1974 гг. Paris: Editions de la Seine, 1975. С. 36.

² О материале, переданном В.Биляком в Отдел ЦК КПСС [Текст]: [Датировано 03.04.1986 г.] – Секретно // РГАНИ. Ф. 4. Оп. 35. Д. 7. Л. 1.

³ Беседа Л.И.Шинкарева с И.Ганзелкой 27 июля 1989 г., г. Москва.

⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с М.Зикмундом 4 февраля 1990 г., г. Злин (Чехия).

⁵ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 18 июня 1973 г. – Архив автора.

⁶ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 21 февраля 1974 г. – Архив автора.

⁷ Имеется в виду книга «Сибирь: откуда она пошла и куда она идет», изданная в 1974 году в Иркутске.

⁸ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 27 февраля 1976 г. – Архив автора.

⁹ В 1977–1981 гг. автор работал в Улан-Баторе собственным корреспондентом «Известий» в Монголии и КНДР.

¹⁰ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Улан-Батор от 14 января 1979 г. – Архив автора.

¹¹ Речь о Евгении Александровиче Евтушенко.

¹² Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Улан-Батор от 23 января 1980 г. – Архив автора.

¹³ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Москву от 13 января 1984 г. – Архив автора.

¹⁴ В 1987 г. в дом Иржи Ганзелки пришла чешская актриса Юлия Хорватова, Юлианка, как он ее звал.

-
- ¹⁵ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Москву от 13 августа 1984 г. – Архив автора.
- ¹⁶ В 1983–1987 гг. автор работал собственным корреспондентом «Известий» в Мозамбике и странах Юго-Восточной Африки.
- ¹⁷ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Мапуту от 2 июля 1987 г. – Архив автора.
- ¹⁸ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву в Мапуту от 29 августа 1987 г. – Архив автора.
- ¹⁹ Речь о внуке автора Евгении Шинкареве.
- ²⁰ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 2 июля 1988 г. – Архив автора.
- ²¹ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 24 июня 1989 г. – Архив автора.
- ²² Сахаров А.Д. Воспоминания: В 2 т. / Ред.-сост. Е.Холмогорова, Ю.Шиханович. Т. 1. М.: Права человека, 1996. С. 418.
- ²³ Ганзелка И. «Народам нельзя жить обидами» // Известия. 1989. 24 июля (№ 206).
- ²⁴ Анна Алексеевна Капица.
- ²⁵ Подразумеваются стихи Левитанского со строчками «Прости меня, Влтава...», о которых Л.И.Шинкарев рассказывал Ганзелке (см. главу 9).
- ²⁶ Речь о книге Петра Леонидовича Капицы «Письма о науке. 1930–1980» (М., 1989). Анна Алексеевна передала мне экземпляр с автографом для пересылки Ганзелке. На втором экземпляре, для меня, Анна Алексеевна написала: «...Письма не только о науке, но письма-беседы, вероятно, Петр Леонидович думал о просвещении “Власти”. От А.Капица. 17.08.1989. Москва».
- ²⁷ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 31 июля 1989 г. – Архив автора.
- ²⁸ Имеется в виду посол СССР в Чехословакии С.В.Червоненко.
- ²⁹ Имеется в виду книга академика Р.Б.Баратова «Горы открывают свои тайны» (Душанбе: Ирфон, 1981).
- ³⁰ Речь об отклике Иржи Гаека, бывшего в 1968 г. министром иностранных дел ЧССР, на материал «Это было в Праге» («Известия». 1989. 15 сент.).
- ³¹ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 3 октября 1989 г. – Архив автора.
- ³² Речь о статье доктора экономических наук В.Шейниса «Августовская жатва» (Известия. 1989. 13 окт.), которая продолжала разговор, начатый публикацией «Это было в Праге».
- ³³ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 5 ноября 1989 г. – Архив автора.
- ³⁴ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Млынаржем 16 декабря 1989 г.
- ³⁵ Здесь и далее по тексту приведены фрагменты расшифровки аудиозаписи: Беседа Л.И.Шинкарева с А.Дубчеком 3 января 1990 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись]. – Архив автора.
- ³⁶ Беседа Л.И.Шинкарева с генералом С.М.Золотовым 7 апреля 1990 г., г. Москва.
- ³⁷ Беседа Л.И.Шинкарева с А.Дубчеком 21 мая 1991 г., г. Москва: [Аудиозапись] – Архив автора.

Глава двенадцатая

- ¹ Беседа Л.И.Шинкарева с З.Млынаржем 5 марта 1990 г., г. Мюнхен (Германия): [Аудиозапись] – Архив автора.
- ² Здесь и далее по тексту фрагменты расшифровки аудиозаписи: Беседа Л.И.Шинкарева с З.Млынаржем 16 декабря 1989 г.
- ³ Млынарж З. Горбачев в объятиях Брежнева // Проблемы Восточной Европы. Нью-Йорк, 1987. № 19–20. С. 17.
- ⁴ Млынарж З. «Я социалист на вольной ноге»: [Интервью] // Lidove noviny. 1989. № 11.
- ⁵ Заявление «Хартии-77» к 40-й годовщине окончания Второй мировой войны (послано президенту Чехословакии г. Гусаку и председателю правительства Л.Штроугалу) // Проблемы Восточной Европы. Нью-Йорк, 1985. № 11–12. С. 279.
- ⁶ Книга, о которой речь, под названием «Reformátoři nebývají šťastni» вышла в свет в

1995 году в Праге на чешском языке (Горбачев М.С. Реформаторы не бывают счастливы: Диалог со Зденекком Млынаржем. Прага, 1995).

⁷ Текст беседы автора с З.Млынаржем см.: Демократия перед соблазном демократуры // Известия. 1991. 29 окт.

⁸ Горбачев М.С. Памяти Зденека Млынаржа (памяти друга) // Независимая газета. 1997. 18 апр.

⁹ Беседа Л.И.Шинкарева с М.Зикмундом 3 октября 1990 г., г. Злин (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора.

¹⁰ Здесь и далее по тексту фрагменты аудиозаписи: Беседа Л.И.Шинкарева с В.Гавелом 7 февраля 1990 г., г. Прага (Чехословакия): [Аудиозапись] – Архив автора. Беседу с В.Гавелом в сокращенном виде см. также: Гавел В. Путь без насилия // Известия. 1990. 23 февр. (№ 65).

¹¹ Гавел В. Сила бессильных. Минск: Полифакт, 1991. С. 6–7.

¹² Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 10 января 1991 г. – Архив автора.

¹³ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 10 апреля 1991 г. – Архив автора.

¹⁴ Кондрашов С.Н. На сломе эпох. 1982–2006. Летопись очевидца: В 2 т. Т. 1. М.: Международные отношения, 2007. С. 385–386.

¹⁵ Там же. С. 419.

¹⁶ Кропоткин П.А. Записки революционера. Т. 1. СПб.: Товарищество «Знание», 1906. С. 156.

¹⁷ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 13 июня 1994 г. – Архив автора.

¹⁸ Речь о книге: Hanzelka Jiří, Zikmund Miroslav. Život snů a skutečnosti: 50 otázek po 50 letech. Praha, 1997.

¹⁹ Письмо И.Ганзелки к Л.И.Шинкареву от 20 августа 1997 г. – Архив автора.

Со временем в дом Ганзелки придет Ольга Кноблова, давний друг Иржи и Юлианки. Ольга будет с Иржи до конца его дней.

²⁰ Беседа Л.И.Шинкарева с Л.Вацуликом 6 августа 1998 г., г. Прага (Чехия).

²¹ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 11 января 2000 г. – Архив автора.

²² Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 28 января 2002 г. – Архив автора.

²³ Информация о положении церкви ЧССР от 26 апр. 1968 г. [Текст] / Посольство СССР в Чехословакии. – Секретно // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 24. Л. 56–64.

²⁴ О настроениях духовенства в связи в чехословацкими событиями [Текст]: Записка в ЦК КПСС председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР В.Куроедова от 15 ноября 1968 г. – Секретно // Там же. Л. 131–136.

О проблемах государственно-церковных отношений в Чехословакии в первой половине XX века см.: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов XX века. Очерки истории. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2008. 807 с.

Глава тринадцатая

¹ Имеется в виду журналистская поездка автора в 2001 году в Стамбул, Тегеран и Каир.

² Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 31 декабря 2003 г. – Архив автора.

³ Письмо М.Зикмунда к Л.И.Шинкареву от 15 декабря 2004 г. – Архив автора.

⁴ Masaryk T.G. Naše nynější krize. Praha, 1908. S. 423.

⁵ Здесь и далее по тексту фрагменты расшифровки аудиозаписи: Беседа Л.И.Шинкарева с М.Зикмундом 9 августа 2007 г., г. Злин (Чехия): [Аудиозапись]. – Архив автора.